



КОЛОМЕНСКИЙ АЛЬМАНАХ



Литературный ежегодник

Орган творческого объединения писателей Коломны

ИЗДАЕТСЯ КОМИТЕТОМ ПО КУЛЬТУРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА

Выходит с 1997 года

2010

ВЫПУСК
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРВАЯ
КОЛОНКА

И.И. ЛАЖЕЧНИКОВ. Стихи 5

ПРОЗА

Владимир ВИКТОРОВИЧ
НАЧАЛО КОЛОМЕНСКОГО ТЕКСТА 11

Виктор МЕЛЬНИКОВ
ПОСЛЕДНИЙ УРОК. Рассказ 31

Сергей МАЛИЦКИЙ
РАССКАЗЫ С НАШЕГО ДВОРА 63

Виктория НЕЧАЕВА
ВЫСОКИЕ КАБЛУКИ. Рассказы 87

Алексей КУРГАНОВ
СОМНЕНИЯ ДЕДА ТИТКА. Рассказ 99

Владимир МИРОШНИЧЕНКО
ИЗ СОЗВЕЗДИЯ БЕССМЕРТИЯ.
Фантастический рассказ 107

ПОЭЗИЯ

Евгений ЮШИН
ВАСИЛЬКОВЫЙ ДЫМ 117

Вадим КВАШНИН
СКОЛЬКО ДОРОГ К ТЕБЕ 127

Евгений КУЗНЕЦОВ
ЗВУЧИТ КОЛОМЕНСКАЯ МГЛА... 135

Михаил ПРОХОРОВ
ЭТО ТИХОЕ ТОРЖЕСТВО 143

Лариса МОРОЗОВА
СВЕЧА ВО ТЬМЕ 147

Евгений ЗАХАРЧЕНКО
Я ЗАМЕР У ОКНА 153

Екатерина УСТИНОВА
БЕЛОЕ БЕЗМОЛВИЕ 157

МИР ЛАЖЕЧНИКОВА

Роман СЛАВАЦКИЙ
ЛАЖЕЧНИКОВ И ЕГО ГОРОД 163

Михаил СТРОГАНОВ
ТВЕРСКИЕ ДВОРЯНЕ
ЛАЖЕЧНИКОВЫ 175

Александр СОРОЧАН
«РОДНЫЕ МНЕ ПО СЕРДЦУ...» 185

Николай ИНЮШКИН
ДИРЕКТОР УЧИЛИЩ 197

Нина МОЛЕВА
«ПОТАЁННЫЙ МОСКВИЧ» 205

Рубен НАЗАРЬЯН
«ОБИТЕЛЬ НАДЗВЁЗДНАЯ,
СЖАЛЯСЬ, РАСКРЫЛА ПРИЮТ...» 211

Иван ЛАЖЕЧНИКОВ-мл.
СТРАНИЦЫ ТВОРЧЕСТВА 218

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

ПОЛЕ КУЛИКОВО

БЫЛА ВОЙНА

Борис ПИЛЬНЯК
НА РОДИНЕ ЛАЖЕЧНИКОВА 227

Иван ЛАЖЕЧНИКОВ
НОВОБРАНЕЦ 1812 ГОДА 233

Валерий ЯРХО
НЕВЫДУМАННАЯ ТРАГЕДИЯ
ФРАНЦУЗСКОГО ТЕАТРА 247

Владимир КРУПИН
СВЯТОЕ ПОЛЕ 273

Владимир ДАГУРОВ
«БУДЕМ, БРАТИЕ, БОРОТЬСЯ!» 279

Виктор КАМАЕВ
КОМУ НЕСТИ ПЕЧАЛЬ СВОЮ? 291

Лариса РЯБКОВА
ПОТЁРТЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ 339

Клавдия ДАРЗИМАНОВА
ПИСЬМА С ФРОНТА 343

Сергей СМОЛИН
АДРЕС МОЙ — ПОЛЕВАЯ ПОЧТА 355

Валерий КОРОЛЁВ
ВETERAN 369

Николай ГУЩИН
МОЯ ВОЙНА 375

Михаил МАНОШКИН
ПОКЛОНИСЬ ПЕХОТЕ... 381



РОССИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ



Медаль за веру в великую Россию

В последний день января в подмосковном городе

Жуковском прошла церемония награждения деятелей культуры и искусства медалями Общероссийского общественного движения «Россия православная». Медали имени Ивана Александровича Ильина «За развитие русской мысли» был удостоен «Коломенский альманах», а также его главный редактор Виктор Мельников. Присуждают медаль «в честь общественного признания и благодарности, за верность

Отечеству, веру в Великую Россию и неустанные труды на благо народа».

Награда именная — связана с именем русского религиозного философа И.А. Ильина.

Иван Александрович Ильин (1883–1954) — выдающийся русский философ, национальный мыслитель, активный политический писатель, яркий публицист, богослов, правовед, литературный критик. Автор выдающихся работ в области истории искусств, истории права, геополитики. В 1922 году выслан из России. Профессор Русского научного института в Берлине (с 1923 года), издатель журнала «Русский колокол». Иван Ильин всеми силами способствовал развитию России во всех сферах её жизни. Неотъемлемой частью любого вида деятельности он полагал его духовное наполнение.

Медаль «За развитие русской мысли» имени Ивана Александровича Ильина учреждена Общероссийским общественным движением «Россия православная» в 1998 году. Девиз награды — слова великого соотечественника: «Служить России и только России». Первые «Медали Ивана Александровича Ильина» были вручены двенадцати его соратникам, ученикам, родственникам и последователям за продолжение дела своего учителя.

Стоит отметить, что коломенское издание — второе средство массовой информации, удостоенное столь высокой награды. Несколько лет назад медаль им. И.А. Ильина получила газета «Россия». «Коломенский альманах» рекомендован к награде Вольной академией духовной культуры города Жуковского.

«Это высокая оценка нашего труда, — сказал В.С. Мельников. — Это огромной важности событие не только для нашего издания и для меня лично, но и для всего нашего города».



И.И. ЛАЖЕЧНИКОВ
(1790–1869)

Иван Иванович Лажечников по праву считается основоположником жанра отечественной исторической романистики. Его поэтическое наследие сравнительно невелико, но и здесь Лажечников оставил свой след. Его песня «Сладко пел душа-соловушка» положена на музыку Александром Александровичем Алябьевым.

Песня

из романа «Последний Новик»

**Сладко пел душа-соловушка
В зеленом моём саду;
Много, много знал он песенок.
Слаще не было одной.**

**Ах! та песнь была заветная,
Рвала белу грудь тоской;
А всё слушать бы хотелось,
Не расстался бы ввек с ней.**

**Вдруг подула со полуночи,
Будто на сердце легла,
Снеговая непогодушка
И мой садик занесла.**

**Со того ли со безвременья
Опустел зелёный сад:
Много пташек, много песен в нём,
Только милой не слышать.**

Слышите ль, мои подруженьки?
В зеленом моём саду
Не поёт ли мой соловушко
Песнь заветную свою?

«Где уж помнить перелётному, —
Мне подружки говорят, —
Песню, может быть, постылую
Для него в чужом краю?»

Нет! — запел душа-соловушко —
В чужедальной стороне
Он всё горький сиротинушка,
Он всё тот же, что и был.

Не забыл он песнь заветную:
Всё про край родной поёт,
Всё поёт в тоске про милую;
С этой песней и умрёт.

Песня

из романа «Последний Новик»

Отворяй, барон, воротá:
Едем в гости к тебе.
Высылай навстречу ты нам
Кастеляна с ключом.
Меченосцев в латах золотых,
Пажа, нёс чтоб привет.

Отворяй, барон, воротá:
Едем в гости к тебе.
Ты задай на славу нам пир!
Вот как, скажут, барон
Угощает сына, жену,
Столько лет не видал!

Отворяй, барон, воротá:
Едем в гости к тебе.
Ты поставь на стол, у тебя
Что ни лучшее есть:

Своё сердце в желчи, в крови,
Очи милой своей.

Отворяй, барон, воротá:
Едем в гости к тебе.

Стансы

Когда б я был любим, прекрасная, тобою,
Минуту каждую с дыханием твоим
Впивал бы счастье я пламенной душою.
Когда б я был любим!

Когда б я был любим, дров робкие листочки
Шептали бы любовь; ласкаясь нежно к ним,
Дышали бы всяк миг прохладны ветерочки,
Когда б я был любим!

Когда б я был любим, то мог ли ненавидеть
Несчастных, голос чей любовью доносим?
Мне ль в радостях страданья чужды видеть,
Когда б я был любим?

Когда б я был любим — средь тихих наслаждений
Исчерпал бы я жизнь, прильнув к устам твоим:
Завидна б смерть была в минуты упоений,
Когда б я был любим!

Когда б я был любим — увы! то сна мечтанье,
Которое с зарёй мы улетевши зрим! —
Я рая б не просил в том сладком упованьи,
Что я тобой любим!

Русская песня

(Посв<ящается> тверскому соловью О.А. Петрову)¹

Смолкни, смолкни, молодой ямщик,
Мимо наших окон едучи;
Не тревожь ты красной зореньки,
Не буди напрасно полночи.

¹ Известный оперный певец (бас) Осип Александрович Петров (1807–1878), один из основоположников русской вокальной школы.

В слободе другой ты сдерживай
Разудаленьких своих коней;
Про других девиц ты складывай
Песни громкие, рассыпчатые.

Проезжай скорей, проваливай,
Мимо наших окон едучи;
Груди белой не надсаживай,
Сердцу ты назолу не давай.

За моё-то поджиданьице
Поумывшись красна зоренька,
Иль молчунья чёрна ноченька
Песни мне иные подарит.

Не ямщик поёт их молодой,
А пролётная зазнобушка,
Что дорожку, будто полотно,
Стелет под Царя и под бояр.

Он зальётся, словно реченька,
Говорит в бегу по камышкам;
Он застонет, словно горлица,
Что воркует знойно во саду,

Будто чарами недобрыми
Песни те заговорил:
Просится к нему душа моя,
Сердце хочет выскочить от них.

Чу! Запел он... Припади к земле,
Ветер буйный, гость назойливый.
Замолчи, валдайский колокол:
Дайте мне наслушаться его.

Ах! прости, прощай, родимая!
Убегу, куда потянет песнь,
Пропадай, моя головушка,
Воля моя, воля девичья!

Подберу те речи жаркие,
Что бросает по ветру колдун;
Унесу их и в могилушку:
Сладко спать под них в земле сырой.

Заднее крыльцо

«На тяжкий путь и жребий свой унылый
Ты жалобу приносишь без конца,
Сам виноват, сам виноват, мой милый:
Не знал ты заднего крыльца...

Всегда, везде в своих поступках строгий,
За правду, честь ты ждал себе венца.
Не лучше ль своротить с прямой дороги?
Под сенью заднего крыльца...

Стократ счастлив, кто, бросив все науки,
Одну умел постичь от мудреца:
Науку *взять и дать* искусно в руки...
И лазить с заднего крыльца...

Искусство главное — поверь как другу —
Найти — умней великих тайн жреца:
Секретаря, жену, любовь, прислугу —
И входы с заднего крыльца...

Тогда носи чай, шаль, крупу, индейку,
Кредитки, золото, серебрецо;
Но входом лишь не ошибись — лазейку
Найди на заднее крыльцо...

Ты не смотри, что сильный гневно мордой
Тряхнёт не раз и огорчит словом,
Исчезнет гнев с его личины гордой,
Лишь задним обойди крыльцом...

Казнит он зло при всех, как громоносец,
На золотого наступив тельца.
Сунь куш в пакет — и он тебя взасосец
Целует с заднего крыльца...»

ЭПИГРАММЫ

* * *

Какой-то бедный муж, в мир лучший отправляясь,
Харона спрашивал, с боязною озираясь:
Зачем он через Стикс злых перевозит жён?
«За них-то первая мне от Царя награда! —
Сказал ему Харон: —
Без них ведь не было бы ада!»

* * *

Что зеркало души глаза — пример живой:
Судья Антип кривой.

* * *

О чудо из чудес! что видел я сейчас!..
Розету без румян и даже без прикрас!

* * *

Державина гроб завалили
Огромной кипюю стихов.
Что, если б ожил он для нас, как Феникс, вновь? —
Стихи на смерть Певца его б вновь умили!

* * *

Какие чудеса Поэтом ни творились!..
Войны ударил гром;
Отец и сын, не зная друг друга, вмиг сразились;
Но лишь Поэт махнул пером —
И жизнь их спасена, мечи остановились!

* * *

Жаль Рифмина: его творение упало.
Стараясь поддержать его, кричу не мало:
Печать новейшая, сафьянный переплёт!
Докучливы судьбы! чего ж недостаёт?..



ПЕРВАЯ КОЛОНКА



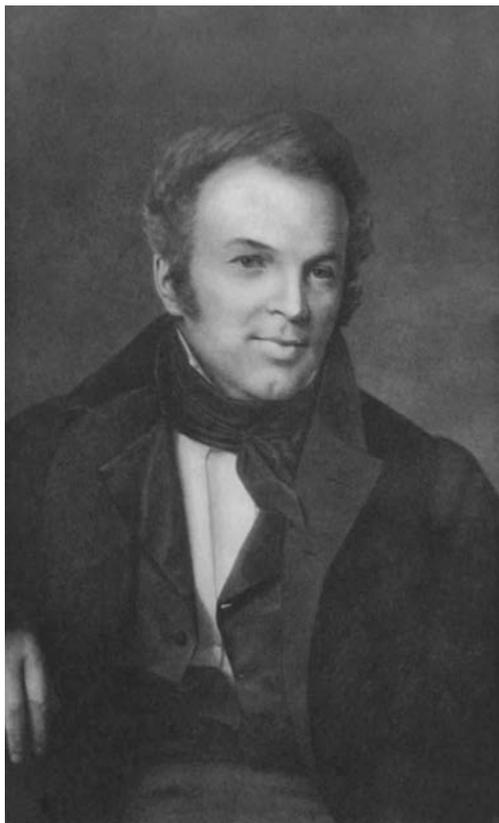
НАЧАЛО КОЛОМЕНСКОГО ТЕКСТА

«Не только географический термин»

Четвёртого мая 1869 года Московский артистический кружок организовал торжественное заседание в честь старейшины русской словесности, всеми уважаемого Ивана Ивановича Лажечникова. На нём выступил другой наш именитый земляк — Никита Петрович Гиляров-Платонов. Все славили юбиляра как основоположника русского исторического романа, труженика на государственной и общественной ниве, замечательно-соборного человека (о чём ёмко сказал А.Н. Островский). Гиляров-Платонов, имея в виду и то, и другое, и третье, построил свою речь как апологию «коломенского гражданина». «Коломна, — утверждал он, — не есть только географический термин, и наш юбиляр не просто родом из Коломны. Он из коломенских граждан в тесном смысле слова; не только коломенец родом, но по происхождению коломенский гражданин».

Что имел в виду Никита Петрович, настаивая на выражении «гражданин в тесном смысле слова»?

Заглянем в словарь В.И. Даля, современника Гилярова и Лажечникова. Здесь выделено два на то время основных значения слова: 1) «Член общины или народа, состоящего под одним общим управлением; каждое лицо или человек, из составляющих народ, землю, государство»; 2) «Гражданином известного города называют приписанного к этому городу купца, мещанина или цехового. *Именитый гражданин*, старое звание богатейших и почётней-



И.И. Лажечников. Художник А.В. Тырнов

дения сравнительно с земляками-дворянами.

Я полагаю, что абсолютизация гиляровского тонкого намёка привела бы нас в объятия недоброй памяти вульгарного социологизма, во главу угла поставившего принцип сословного, классового происхождения художника. Однако стоит вышелушить зерно истины (а оно здесь, безусловно, есть), достаточно представить хотя бы колоритное «местничество» орловского мещанина Н.С. Лескова. Не следует утрировать при этом и дворянскую культурную отвлечённость: XIX век, то есть век в основном-таки дворянский, шёл по пути освоения «местного колорита» как неотъемлемой части общенациональной культуры. Карамзин был лишь в самом начале этого пути.

Не менее интересно было и другое сравнение, сделанное Гиляровым: карамзинского Симбирска и лажечниковской Коломны. «Симбирск — это целый Заволжский край, из которого Симбирск не выделяется выпукло». Поэтому не следует искать именно симбирского колорита в творениях Карамзина. Другое дело — Лажечников и Коломна. «Изыскательность несколько изощрённая отыщет в “Новике”, “Ледяном доме” и “Басурмане” следы, оставленные этим историческим городом, — городом-пригородом Москвы, старым пограничным постом на границах Москвы, Орды и Рязани; оставленные этими пре-

ших купцов. *Почётный гражданин*, нынешнее звание, даруемое купцам и недворянам за заслуги и выслугу...»

«Тесное значение слова», на котором настаивал Гиляров, — очевидно, это второе значение по Далю. Гиляров намекал на особенность коломенского «гражданства» Лажечникова, выходца из среднего, купеческого сословия. Купечество было в большей степени городским, нежели дворянство, делившее свою жизнь между городом и усадьбой. Тут же, сравнивая Лажечникова с его кумиром Н.М. Карамзиным, Гиляров замечает, что Карамзин — «симбирский дворянин», однако сей факт не делает его симбирским гражданином: «дворянство есть и было всегда сословием более всероссийским, нежели местным». Можно догадаться, что и сам попovich Никита Гиляров лично в себе ощущал куда большую привязанность к *месту происхождения*

даниями, в которых мешается и Москва, и татары, и Донской, и Сергей Преподобный, и Марина Мнишек; этими изгрызенными развалинами старых башен; этим московским говором, однако близким и к говору вятчей, и к говору новгородцев; этими напоминаниями о Новгороде, которые даются ссыльными новгородцами-дедновцами, составлявшими искони и до самых последних времён главнейший контингент к заселению самой Коломны».

Итак, чем отличается Коломна и что хранит в своей генетической памяти? Она издревле не глубинка, а пограничье: коломенского человека формировало не устойчивое бытие «во глубине России», а нестабильность «стыкового» (а то и стыкового) существования, когда каждая из равнодействующих сил — Москва–Орда–Рязань — тянет в свою сторону и на всём ставит свою печать (не случайно Пильняк, чуткий, как барометр, в своём первом романе переименовал Коломну в Ордынин). Жизнь на толкучем перекрёстке формирует собирательную родовую память (в ней живут и татары, и Донской, и Сергей, и Маринка) и, что не менее важно, самый язык, втягивающий в себя и московское, и вятское, и новгородское наречия. Коломенский стиль жизни, если уж он действительно существует, наравне с «аборигенами» определяют «пришлые»; так, род Лажечниковых (Ложечниковых) ведётся от новгородских посадских людей, тех самых переселенцев, заброшенных в Коломну по воле грозного царя.

Время, как известно, лечит старые раны, но не стирает их из «памяти сердца». Лажечников произвёл свой расчёт с Иваном IV в пьесе «Опричник» (известной и по одноимённой опере П.И. Чайковского), но ещё значительнее, на мировоззренческом уровне, память предков сказалась на сюжетостроении трёх его знаменитых исторических романов: «Последний Новик», «Ледяной дом», «Басурман». Везде русская история в её переломных, стыковых эпизодах, везде борьба властолюбия и гуманности, жестокости и любви.

Гиляров-Платонов предложил «изошрённой изыскательности» найти коломенский след в перечисленных трёх романах Лажечникова. Это не так уж трудно! Вот главный герой романа «Последний Новик», трагической судьбой оторванный от родины, лелеет в душе детские воспоминания: «Деревню, в которой провёл я первые годы моего детства и которую описываю, называли Красное сельцо. Часто говаривали в ней о Коломне, и потому заключаю, что она была неподалеку от этого города. Не знаю, там ли я родился, но там, или близко этих мест, хотел бы я умереть». Красное сельцо — старое название отцовского имения Кривякина; получается, что Лажечников подарил герою-патриоту самое дорогое — свои детские воспоминания. В эти дорогие автору места он отправляет другого столь же симпатичного ему героя, но с противоположной, шведской стороны — Густава Траутфеттера, и таким образом коломенская земля символически соединяет двух патриотов воюющих стран, России и Лифляндии. Истинный патриотизм — говорит своим романом Лажечников — не ведает злобы, идиосинкразии. Правда, впечатления пленного шведского офицера не так уж идилличны: «Густав Траутфеттер проводил время своего скучного заточения в Коломне (за сто вёрст от Москвы). Квартира ему была назначена у одного богатого купца, смот-



ревшего на постояльца своего, как обыкновенно невежественный класс русских смотрит на иностранца — существо, которое в глазах их есть нечто между человеком и животным. С ним вместе никогда не ели, не пили; для него была даже собственная посуда, осквернённая устами басурманскими. Впрочем, хозяин ласкал его, исправно натапливал печь в его комнате и потчевал его пирогами, говядиной и мёдом хоть до упаду. <...> Нередко дочери хозяина, две пригожие девушки, из затворнических своих светлиц то бросали цветы в милого незнакомца, то нежили слух его заунывными песнями».

В этом коломенском эпизоде уже намечена тема будущего романа Лажечникова «Басурман» и даже пунктирно обозначена основная сюжетная линия: внутренне противоречивое отношение к «басурману» русских людей (к тому же, очевидно, привычных для Коломны старообрядцев), пути изживания национального изоляционизма.

Между «Последним Новиком» и «Басурманом» располагается «Ледяной дом», где ирония в адрес земляков (точнее, землячек) прорывается в одном полшутливом описании: «Вот человеческий лик, намалёванный белилами и румянами, с насурьмлёнными дугою бровями, под огромным кокошником в виде лопаты, вышитым жемчугом и яхонтами. Этот лик носит сорокаведерная бочка в штофном, с золотыми выводами, сарафане; пышные рукава из тончайшего батиста окрыляют её. Голубые шерстяные чулки выказывают её пухлые ноги, а башмаки, без задников, на высоких каблуках, изменяют её осторожной походке. Рекомендую в ней мою землячку, коломенскую пастильницу».

Эпизод в целом предвещает будущее сатирическое описание женского общества купеческой Коломны в «Беленьких, чёрненьких и сереньких» (мы ещё вернёмся к нему). Обратим внимание лишь на одну подробность. Пастильница — торговка пастилой. Лажечников в данном случае проявил лучшее качество исторического романиста школы Вальтера Скотта — достоверность бытовой детализации. Слава коломенской пастилы утвердилась именно в описываемые им времена Анны Иоанновны.

Упоминания Коломны в романах Лажечникова свидетельствуют о том, что его связь с малой родиной не была «невольной» и «бессознательной», то есть только на генетическом уровне; она была, по выражению Гилярова, «добровольной, сознанный, разумно ценимой и разумно управляемой».

Всё это так, но зададимся вопросом: можно ли эти упоминания Коломны (или подобные у других писателей) считать частью искомого коломенского текста? Чтобы ответить на него и чтобы идти дальше, пора, следуя золотому правилу, договориться о словах.

Что такое коломенский текст?

Когда известная нам местность N, точка или область на географической карте, находит своё вербальное отражение не только в констатирующих (научных, мемуарных, туристских и прочих) описаниях, но и в художественных вымыслах, образующих другую (вторую) реальность, мы можем говорить о рождении N-ского текста. Он не только вещественная материальность (в нашем случае реальный город) и не только миф, он и то и другое вместе. В отечественной науке начало такому объёмному представлению положил известный исследователь «области мифопоэтического» Владимир Николаевич Топоров, когда ввёл термин «петербургский текст».

Учёный дал исчерпывающее определение: «Петербургский текст представляет собой не просто усиливающее эффект зеркало города, но устройство, с помощью которого совершается... *пресуществление материальной реальности в духовные ценности*» (курсив мой. — В.В.). В формирование петербургского текста внесли лепту едва ли не все классики «золотого» и «серебряного» веков русской литературы. Поэтому Петербург, бездна зла и вместе с тем архипелаг триумфов русской культуры, не имеет себе равных по интенсивности образного инобытия. Даже Москва, лишь на одно столетие уступившая «высочке» властительную порфиру, бледнеет в лучах его мифопоэтического величия. Собрав огромный (но даже в своей огромности не исчерпывающий) материал о литературных отражениях Петербурга, В.Н. Топоров, как мне кажется, и сам был заморожен этим величием, когда выдвинул тезис о единственности петербургского текста. Так, учёный отверг существование самостоятельного московского текста, отдав ему роль дублёра, своей инаковостью только оттеняющего достоинства и недостатки главного объекта.

Отечественную филологию, подхватившую идею локального текста, не остановил запрет, наложенный первопроходцем. Явились исследователи, защищавшие права «московского текста», а следом за ним «северного», «пермского» и др. Оставляя в стороне издержки научной моды, следует признать, что расслоение локального текста предопределено характером русской жизни и, соответственно, русской литературы. Петербург, при всей исторической и эстетической компрессии, им совершённой, всё же не мог говорить за всю Россию. Начиная с Пушкина («Евгений Онегин», «Повести Белкина», «Капитанская дочка») всё настойчивее звучала тема русской провинции. Таким образом, основоположник петербургского текста, автор «Пиковой дамы» и «Медного всад-

ника» в то же время явился и родоначальником текста провинциального. Новая русская литература, последовав за Пушкиным, так и расположилась между этими двумя полюсами, и самая Москва (московский текст) при таком раскладе оказывалась не более как форпостом провинции, что совершенно очевидно, скажем, в художественном пространстве «Евгения Онегина». В послереволюционной России Москва вернула себе столичный статус, и эти два города поменялись ролями.

На провинциальном полюсе формировалась особая и даже, можно сказать, автономная институция — *усадебный текст*. Дворянская усадьба, следуя запросам и вкусам владельца, чаще всего отстаивала свою оригинальность и самодостаточность, преодолевая неизбежную унифицированность провинциальной жизни. Зимую в городе, уездном или губернском, а на лето переезжая в усадьбу, дворянин географически оставался в провинции, ментально же перемещался из «общего» в «своё» пространство. (Не потому ли так велика устремлённость современного горожанина на дачу или хотя бы на *приусадебный* участок?) Усадьба хороша была ещё и тем, что органично встраивалась в естественный ландшафт, где человек ощущал себя частью природы. Это забытое чувство придавало усадебному быту неизъяснимую прелесть. В русской литературе её адекватно выразили Пушкин, Тургенев, Гончаров, Л.Толстой, Чехов, Бунин, Набоков... Так образовался поэтичный усадебный текст, противостоящий петербургскому и в какой-то мере провинциальному. Один из его исследователей, В.Г. Шукин, убедительно доказывает, что «текст-код» или основной архетип усадебного текста — это миф о райском саде, утраченном и вновь, хотя бы частично, обретаемом.

Что останется, если вычесть из всеобъемлющего «локального» — эсхатологический «петербургский» и полуидиллический «усадебный» тексты? Останутся город, губернский или уездный, и деревня, то есть не дворянские, а крестьянские усадьбы. Землю, политую потом хлебопашца, язык не поворачивается назвать провинцией. Да и могуче возросшая в лоне отечественной словесности так называемая деревенская проза ощущала себя в центре, а не на периферии национального бытия. «Провинциальность» как категория парная относительно «столичности» порождена соревнованием *городов*, в итоге которого первенствующий становился столицей, а все остальные — провинцией. Эти последние в порядке компенсации любят называть себя центром хоть какого-то, хоть самого малого локуса. Так нежно любимую Коломну мы, теща себя, самозванно почитаем как «Москвы уголок» и провозглашаем то культурной, то духовной, то ещё какой-нибудь столицей окрестных территорий. А наши соседи не поперхнулись на въезде в город размахнуться плакатом: «В России три столицы: Москва, Питер, Луховицы». На него подолгу любуются водители, стоящие здесь в привычной пробке: развязки нет, объездной дороги нет, зато амбиции налицо. Это, кстати говоря, одна из наиболее ярких черт провинциальности вообще.

Провинциальный текст в русской литературе (точнее было бы сказать — текст провинциального города) имеет большую и весьма разнообразную историю, простирающуюся от гоголевского города N до

горьковского Окурова и затем продолжившуюся в новую постреволюционную эпоху. К этой истории мы ещё вернёмся. Когда и при каких обстоятельствах внутри этого «большого» текста сложился один из «малых сих» — коломенский?

Любой локальный текст, как я полагаю, начинается с имени, в данном случае с топонима *Коломна*. Много споров о его происхождении, они любопытны и поучительны, поскольку показывают, что *нам* хотелось бы видеть в этом слове. Не имея очевидных источников, этимология всегда гипотетична и, пользуясь языком реставраторов, любит строить «новоделы». И как в реконструкции архитектурной мне интереснее полёт моей собственной фантазии, нежели материализовавшийся проект пускай даже самого умного «новодельца», так и в реконструкции лингвистической мне интереснее ощущаемые мною связи данного слова с *живым языком*. Именно по этому пути пошёл в своё время Борис Пильняк, полюбивший обыгрывать название нашего города, исходя из живых смысловых ассоциаций и фонетических созвучий: «что-то такое круглое, белое, облое»; «Коломна корнем слова имеет колымный, круглый, облый, обильный» (любопытно отметить, что писатель отталкивается от совершенно иного созвучия, сопровождающего образ петербургской Коломны в местном городском фольклоре: «Коломна всегда голодна»); «где некогда крупитчатые жили люди... колымные, как коломенская пастила, сладкие»; «откуда и как пошло слово *Коломна*? От того ли, что кольями били здесь много... День сер, всё мокро, облака цепляются за колокольни»; «Коломна прикрыла... колокольным Николиным звоном». Коловращение коломенского бытия у Пильняка замкнуто *кругом* (коло), этим символом завершённой гармонии статики, противопоставленной динамике уходящей за горизонт прямой линии. Самого Пильняка манил таинственно-непредсказуемый горизонт, но душевно-хорошо ему было лишь в пределах круга. Парадоксально, почти по-розановски, звучит признание «метельного» модерниста: «Я люблю русскую культуру, русскую — пусть нелепую — историю, её самобытность, её несуразность, её лежанки (знаете, этикие кафельные), её тупички...»

Имя — это, как известно, судьба. В языковом сознании современного человека слово «Коломна» играет новыми и старыми обертонами, на что-то намекая. Как долго нам ещё вглядываться и вслушиваться в них, стараясь угадать ускользающий смысл? Бог весть.

Предыстория

Историческое начало города мы относим к моменту, когда его имя было наконец *написано*. Коломна первый раз упомянута в летописи под 1177 годом. Разумеется, город существовал и ранее этой даты, но такова уж сила запечатлённого слова. Наиболее значимо для русской истории «участие» Коломны в замечательном памятнике куликовского цикла — в «Задонщине». По поводу летописного именовславия города Н.М. Карамзин остроумно заметил: «Вообще имя Коломны встречается в истории по двум случаям: или татары жгут её, или в ней собирается

русское войско идти против татар». Город веками жил как бы в страдательном залоге, накапливая и сосредоточивая силы для отпора. Всё это формировало его «вещественное» и «невещественное» лицо — оборонительный ландшафт и вечно чего-то выжидающий характер обитателей.

В предыстории коломенского текста один из самых ярких — так называемый «коломенский эпизод» (по определению Д.С. Лихачёва) в цикле повестей о Николе Зараском (Зарайском) первой четверти XVI века. Чудотворная икона Николы ввиду угрозы татарского набега была перевезена в Коломну и поставлена в одном из кремлёвских храмов. Выдающаяся святыня безмерно радовала коломенцев, однако нашёлся среди них предприимчивый человек, «некий сребреник именем Козлок», выкрававший богатый оклад чудотворной иконы. Как отмечает историк А.Б. Мазуров, ограбление церкви не было исключительным событием для тогдашней Коломны. Однако на сей раз святой угодник постоял за себя и совершил чудеса, возвратившие оклад на своё место. Таков первый коломенский сюжет. Второй связан с возвращением иконы в Зарайск, также чудесным образом, когда великий князь Василий III распорядился задержать её в Коломне. Икона сама себя переместила в Зарайск и тем указала самодержцу пределы его земной власти.

Оба сюжета вполне замечательны по смысловому наполнению. Едва ли не самые могучие на Руси пороки — воровство и властолюбие, ничем не ограниченные, привычно переступают черту и пасуют лишь перед вмешательством вышних сил.

В XVII веке Коломну описывали знатные иностранные путешественники. Павел Алеппский, прогостивший в Коломне осень и зиму 1654–1655 гг., не устал дивиться сметливости и умению горожан приладиться к суровому климату, их беспредельному терпению, соединённому с истовой набожностью. Впрочем, это последнее достоинство в глазах антиохийского соглядатая переходило в свою противоположность: преданные Православию «московиты до крайности ненавидят еретиков и язычников» (тема будет подхвачена и драматически развёрнута И.И. Лажечниковым в романе «Басурман»).

Как и Павла Алеппского, другого иноземного наблюдателя Коломны, Адама Олеария, поражали город храмов, открытая миру молитва в камне и вместе с тем воинственная неприступность кремля. Поражали и люди, в которых враждебная недоверчивость быстро сменялась наивным радушием. Олеарий в своём «Описании путешествия в Московию...» (1674) рассказывает, как быстро собравшаяся на бобреневском мосту толпа любопытных коломенцев с готовностью разобрала часть моста, чтобы высокая «заморская» ладья (изготовленная, впрочем, в Дединове) смогла проехать. Жители «весёлых местностей» чрезвычайно приглянулись путешественникам, и один из спутников Олеария, немецкий поэт Пауль Флеминг, пришёл даже в восторг:

Так, значит, здесь сошла ты в наше поколение,
Святая простота, святое украшеньё,
Ушедшее от нас? Так, значит, вот страна,
Что честью, правдою и до сих пор полна?

Скорее всего, это преувеличение, но ведь было же что-то в наших предках, что дало повод к столь замечательному вопросу?

Традиции заморских гостей в следующее столетие продолжил «русский немец», академик петербургской Академии наук Герард Миллер. Географ, историк, исследователь Сибири, он потратил своё отпускное время летом 1778 года на поездку по городам и уездам московской провинции. Описание этой поездки, в том числе главы «Езда в Коломну» и «Описание Коломны», были, очевидно, составлены с помощью русского переводчика Александра Андреева, сопровождавшего академика в его познавательном путешествии. Кроме хозяйственно-экономических, географических, исторических сведений Миллер интересуется этнографией, записывая, например, предание о происхождении названия древнего Голутвина монастыря: «...а в старину, сказывают, был там густой лес, в котором до состроения монастыря жили разбойники, и оттого произошло имя *Голутвин*, а имянно от голудбы, то есть от сонмища *людей голых*...»

Ещё один путешественник в Коломну — Николай Михайлович Карамзин. Через десять лет после открывавших вербальное окно в Европу «Писем русского путешественника», в сентябре 1803 года, будучи издателем журнала «Вестник Европы», Карамзин предпринимает «Путешествие вокруг Москвы». Так называется задуманная им новая книга, и тоже в жанре путевых писем друзьям. Странное, казалось бы, название: можно ли *путешествием* назвать прогулку по ближнему Подмосковию? Эта кажущаяся странность подначивает читателя: так ли уж хорошо знает он всё, что у него под боком? Карамзин успел написать лишь «Письмо первое из Коломны». Другой замысел отвлек его: он уже стоял на пороге грандиозной «Истории государства Российского». Путешествие в древнюю Коломну оказалось прологом к новому этапу жизни писателя, ставшего теперь «последним летописцем». Историк и художник соединяются в этом письме неожиданным образом. Историк смело замечает, что Коломна, «может быть, древнее, и гораздо древнее Москвы», а поэт забавляет читателя версией о происхождении слова «Коломна» от итальянской знатной фамилии «Колонна» (на эту удочку попадались потом те, кому не хватало чувства юмора).

Будущая идейная направленность «Истории государства Российского» уже всерьёз ощущается в глубокомысленной оценке исторической роли Коломны: важно, утверждает Карамзин, не только то, что здесь «Дмитрий Донской осматривал легионы свои, победившие Мамая», но не менее значимо и то, что «здесь же он примирился торжественно с рязанским князем Олегом, человеком сварливым и беспокойным». Бояре требовали наказать предателя, но Дмитрий поднялся над мстительностью, собственными обидами и амбициями во имя единства Руси. Вот для Карамзина пример мудрого политика, вот почему Коломна дорога ему как русскому патриоту.

Продолжателем краеведческой линии был поэт, историк-дилетант Николай Дмитриевич Иванчин-Писарев, автор «Прогулки по древнему Коломенскому уезду» (1843). Чрезмерная доверчивость автора к легендарным источникам вызвала насмешливую реакцию профессиональных историков, но нельзя не воздать должное пафосу сохранения старины,

весьма своевременному для только-только начинавшегося тогда движения за спасение исторических памятников.

Все эти описания и упоминания Коломны дороги и ценны для нас, но образуют ли они, даже в совокупности, завершённый коломенский текст? Думается, что пока мы имеем лишь предысторию такового. Целостный образ Коломны явится лишь тогда, когда над созданием его потрудятся три основоположника коломенского текста — И.И. Лажечников, Н.П. Гиляров-Платонов и, наконец, Борис Пильняк.

Коломна — Холодня — Луковки

Трилогией русской истории можно назвать романы «Последний Новик» — «Ледяной дом» — «Басурман». Драматизм описываемых событий неизменно окрашен у Лажечникова авторским лирическим участием. Возможно, поэтому столь естественным был для него переход к автобиографическим произведениям, также составившим своеобразную трилогию: «Новобранец 1812 года» — «Беленькие, чёрненькие и серенькие» — «Немного лет назад». Объединяющим все эти разножанровые произведения (по нарастанию: очерк — повесть — роман) оказался главный, он же лирический, герой (Иван Лажечников — Ваня Пшеницын — Володя Патокин), а вместе с ним его родина, уездный город (Коломна — Холодня — Луковки) с его жителями и окрестностями.

Первый, во многом предварительный, подход к автобиографическому жанру намечен Лажечниковым в пьесе «Новобранцы 12-го года», написанной к сорокалетию войны. Действие перемещается здесь из подмосковного имения Лавиновых (неназванное Кривякино) непосредственно в Коломну. Центром, организующим коломенское пространство, оказывается развалившаяся башня Кремля на берегу Коломенки (совершенно исчезнувшие теперь Косые ворота) с замечательным видом на Запруды, Москву-реку и Замоскворечье — по всем описаниям, даже чрезмерно подробным для драматического жанра, декорации должны были представить одно из самых любимых коломенцами мест родного города — так называемое «блюдечко». Как мы убеждаемся, для Лажечникова в этой именно топографической точке сосредоточивается незримая душа



*Копия с акварели неизвестного художника «Вид города Коломны из-за Москвы-реки от Бобренева монастыря» (1880 год).
Такую Коломну видел Лажечников*

города. Решающее судьбу героя событие — бегство из родительского дома — происходит в доме Лавиновых, повторяющем дом Лажечниковых на Астраханской улице.

Очевидно, работа над пьесой (не исключая, что автор в это время реально побывал в родном городе) подтолкнула Лажечникова к продолжению автобиографической линии, но уже в прозаическом документальном жанре почти одноимённого очерка «Новобранец 1812 года». Коломенское пространство и здесь, как и в пьесе, сосредоточено в двух местах. Дом Лажечниковых на Астраханской организует бытовое измерение, а чудные коломенские дали, открывающиеся с «блюдечка», — это измерение бытийное.

Очерк Лажечникова претендует на документальную достоверность, но при этом воображение писателя не слишком сковано заданным ограничением. Биография биографией, требования её выдержаны в основных параметрах, но подспудно она уже устремлена к легенде, то есть воображаемой реальности творимого на наших глазах биографического мифа. В следующем произведении автобиографической трилогии — повести «Беленькие, чёрненькие и серенькие» — тенденция к мифотворчеству усиливается настолько, что все ограничения оказываются снятыми. Перед нами вполне художественная картина. Коломенские реалии остались, и они особенно очевидны для читателя-коломенца, но из них на наших глазах вырастает обобщённый образ уездного русского города. Автор даёт ему имя «Холодня» и сам же шутит по этому поводу, сравнивая себя со страусом, который спрятался «в это дупло», но хвост оставил снаружи. «Хвост» — и в созвучии имён (Коломна — Холодня), и в множестве примет реальной подмосковной Коломны.

Художественное пространство повести организовано тремя топографическими центрами. Первый — это старый дом Пшеницыных (ещё одно «страусиное» переименование: Ложечниковы и Пшеницыны — типично низовые фамилии, ориентированные на хлеб насущный), расположенный за речкой Холодянкой (Коломенкой) в Запрудье (Запрудях). Второй — строящийся новый дом Пшеницыных «на Московской большой улице» (Астраханской, ныне Октябрьской революции). Третий — дом соляного пристава и его дочери на берегу Холодянки, возле развалин крем-



Особого рода «панорамность» города, замеченная ещё художниками XVII века, передана была Лажечниковым в автобиографической повести «Беленькие, чёрненькие и серенькие»

лёвской башни (реальных Косых ворот). Вероятно, уже при Лажечникове этот третий уголок прозывался «блюдечком» — отсюда, говорит автор, «видны, как на блюдечке, Запрудье, деревни и те живописные поля, рощи, овраги, которые Ваня любил посещать с своим дядькой». Две композиционные точки (Запруды — «блюдечко»), связывающие первую и последнюю часть, имеют общий панорамный обзор (картина коломенских далей, закольцовывая художественное пространство, сама по себе удваивается, варьируется) и при этом «смотрят» друг на друга («Внизу под башней шумит мельница. Её-то Ваня видел из дома на Запрудье...»), а вместе с третьей (новый дом) образуют треугольник, вокруг которого группируются живописные подробности холодненских/коломенских красот. Можно предположить, что домик возле «блюдечка» (ныне дом № 17 по ул. Лажечникова) связан был с какими-то дорогами для автора воспоминаниями, возможно, первой любви, — так тянет его к этому месту: трижды через него проходит ностальгический маршрут писателя, в двух «Новобранцах» и в «Беленьких...»

Треугольник «старый дом — “блюдечко” — новый дом» организует и символический топос повести: он соединяет «беленьких» героев, честного купца Пшеницына и честного дворянина Горлицына, две семьи, живущие по правде и по сердцу.

Между ними, в средней второй «тетради» повести («Замечательные городские личности») расположились «серенькие» и большей частью «чёрненькие» герои. Мне уже приходилось писать о щедринском колорите этой главы, как бы оправленной идиллической рамой. Лажечникову, ещё до Щедрина, пришла идея описать историю города как череду сменяющихся градоначальников, один «чернее» другого. Эта часть повести, рисующая нравы городской бюрократии, исполнена язвительно-печального сарказма. Город превращён в данника растущих appetitов начальства и его ненасытной челяди («расходы граждан получили быстрое развитие и преуспевание»). Историческая перспектива иногда видится автору в гоголевско-щедринских очертаниях фантазмагорического апокалипсиса: «появлялся оборотень, который по ночам бегал в виде огромной свиньи, ранил и обдира лкыками прохожих...»

Удержав сатирическое рвение и остановившись на полпути к «истории одного города» (желчному гению Щедрина дано было дойти до конца), Лажечников поспешил противопоставить чёрно-серым «городским личностям» людей в «белых одеждах», без коих, как известно, не стоит ни один город, — их в повести трое: предводитель дворянства Подсохин, соляной пристав Горлицын, купец Пшеницын. Тем самым устанавливается некое равновесие сил добра и зла, и общий вид Холодни гармонируется (чересчур поспешно, как заметил рецензент «Современника» Салтыков-Щедрин).

Следует ли искать в истории Коломны реальных прототипов «чёрненьких» или «беленьких» героев повести? В принципе прототипичность не исключена: здесь можно припомнить корреспонденцию «Из Коломны» в сатирическом журнале Н.И. Новикова «Трутень» (23 июня 1769 г.) о судье, выведенном под говорящим именем «Забылчество» или, почти через век, заметку в герценовском «Колоколе» о «подвигах» реаль-



ного коломенского предводителя Скорнякова. Однако, при всей полезности таких разысканий, не забудем, что лажечниковская Холодня — обобщённый образ уездного русского города, и автора питали не одни коломенские впечатления.

В начале 1858 года в письме к М.Н. Каткову, редактору «Русского вестника», где полтора года назад были опубликованы «Беленькие, чёрненькие и серенькие», Лажечников сообщал: «Если Бог даст, в марте буду в Москве и тогда примусь усердно за сотрудничество в “Русском вестнике”. Хочется нанять под Москвою хорошенькую избушку и отдохнуть от тревог должностных и всяческих. Мои “Беленькие” разовьются в роман: видно, такова моя натура...»

Речь в письме — о будущем романе «Немного лет назад», опубликованном в 1862 году отдельным изданием. Время действия романа — в основном эпоха недавней Крымской войны с отступлениями в предысторию текущих событий. Роман соединяет с предшествующей повестью автора, где действие развёртывается в начале XIX века, не исторический, а семейный хронотоп. В романе перед нами хроника рода Патокиных (несомненно влияние недавней «Семейной хроники» С.Т. Аксакова, только там — история дворянского, а здесь — купеческого рода), в которой отчетливо просматриваются некоторые реальные эпизоды из жизни деда и отца писателя, а в новобранце Крымской войны Владимире Патокине очевидна автобиографическая, а вернее, автопсихологическая основа. Роман начинается в уездном городе Луковки (не сыграла ли некоторую роль в выборе названия известная в Коломне фамилия Луковниковых, дом которых донине красуется в историческом центре?), а затем перемещается в Красное сельцо (автор использовал старинное название Кривякина). Так, если продолжить по карте линию, идущую от нового дома Лажечниковых к их старому дому в Запрудях, то она приведет нас в эту усадьбу Лажечниковых, из которой начинался путь авто-

биографического героя «Походных записок русского офицера» и «Новобранца 1812 года».

Провинциальный текст. Версия Лажечникова

Коломенский текст, как уже говорилось, следует осмыслить как неотъемлемую часть общероссийского провинциального текста. Основные параметры этого последнего на долгие годы заложил Н.В. Гоголь. «Миргород», уездный город в «Ревизоре» и губернский в «Мёртвых душах» сконцентрировали все те яды провинциального морока, что были разлиты в литературе того времени. В раболепном поклонении «столичности» провинция, как показал Гоголь, и действительно может стать столицей... пошлости.

То, что Гоголь растворил в живых картинах и диалогах, Герцен тогда же сфокусировал в остром избличительном слове. В «Записках одного молодого человека» во многом автобиографический повествователь посылает проклятие обобщённо-провинциальному городу Малинову и его гражданам, живущим «тесными, узкими понятиями»: «И этот мир нелепости чрезвычайно последовательно учредился, <...> и в нём всякое изменение на сию минуту невозможно, потому что он твёрдо растёт на прошедшем и верен своей почве. Вся жизнь сведена на материальные потребности: деньги и удобства — вот граница желаний, и для достижения денег тратится вся жизнь. <...> утром Малинов на службе; в два часа Малинов ест очень много и жирно... После обеда Малинов почивает, а вечером играет в карты и сплетничает. <...> И говорят все одно и то же, <...> всякий раз одни и те же остроты... Человечество может ходить взад и вперёд, Лиссабон проваливаться, государства возникать, поэмы Гёте и картины Брюллова являться и исчезать, — малиновцы этого не заметят».

Ничем и никем не изменяемая статика бытия — всеопределяющий параметр провинциальности. Если основной архетип усадебного текста — утраченный «райский сад», то на подобную же роль в провинциальном претендует не менее древняя мифологема сонного царства. Вот как И.А. Гончаров в «Обрыве» описывает провинциальный город: «Было за полдень давно; над городом лежало оцепенение покоя, штиль на суше, какой бывает на море, штиль широкой, степной, сельской и городской русской жизни. Это не город, а кладбище, как все эти города. Он не то умер, не то уснул или задумался».

На фоне то недалёких, то блудливых «отцов города» Лажечников также воссоздаёт знакомый миф провинции как сонного царства. Вот его ключевое описание: «В Холодне... ничто не изменяло мёртвой тишины города. По-прежнему нарушалась эта тишина мерными ударами валька по мокрому белью и гоготанием гусей на речке; по-прежнему били на бойнях тысячи длиннорогих волов, солили мясо, топили сало, выделяли кожи и отправляли всё это в Англию; по-прежнему в базарные дни... скрипели на рынках сотни возов с сельскими продуктами и изделиями, а меж ними сновали, обнимались и дрались пьяные мужики. По воскрес-

ным дням толпы отчаливали к городскому кладбищу, чтобы полюбоваться на земле покойников очень живыми кулачными боями». Состояние «мёртвой тишины», кажется, только подчеркнуто псевдинамикой «живого» круговорота («по-прежнему»).

В градообразующей, как бы теперь сказали, среде — похожие картины. «Пузатые купцы, как и прежде (курсив мой. — В.В.), после чаепития упражнялись в своих торговых делах, в полдень ели редьку, хлеба-ли деревянными или оловянными ложками щи, на которых плавало по вершку сала, и уписывали гречневую кашу. После обеда, вместо кейфа, беседовали немного с высшими силами, т.е. пускали к небу из воронки рта струи воздуха, потом погружались в сон праведных». Кейф (слово только входило тогда в русский язык) и «сон праведных» как-то заслоняют «упражнения в торговых делах» — проявляется истинная система жизненных ценностей.

Следом идёт описание женской половины купеческого города: «Прекрасный пол в Холодне имел тоже свои умильные забавы. Купчихи езжали друг к другу в гости. Посещения эти начинались киванием головы, как у глиняных кошечек, когда их раскачают, и прикладыванием уст к устам. Затем усаживались чинно, словно немые гости на наших театральных подмостках; следовали угощения на двадцати очередных тарелках с вареньями, пастилою и орехами разных пород. При этом неминуемо соблюдалась китайская церемония бесчисленных отказов и неотступного потчивания с поклонами и просьбою *понудиться*. Кукольная беседа нарушалась только пощёлкиванием орешков и оканчивалась такими же китайскими церемониями... И возвращались гости домой довольные, что видели новые лица, подышали на улице свежим воздухом и свободой!» Кукольная комедия женских посиделок и смешная, и грустная: словно живая жизнь (жажда «новых лиц» и «свободы») затянута в умертвляющий корсет, дух сонной одури превращает людей в китайских болванчиков. Совершенно очевидно, что здесь Лажечников идёт в русле гоголевских традиций, ведущих затем к Щедрину.

Образ Коломны как сонного царства через шесть десятилетий перехватит у Лажечникова Борис Пильняк — и впервые, кстати сказать, в очерке «На родине Лажечникова» (1918): «Я иду по улочкам города. В небе точно расколосось солнце и брызжет раскалёнными лучами. Заполдни, — тот час, когда бывают миражи, и когда видишь сны наяву». Возможно, это те самые сны, которые снились Лажечникову, про диких чудовищ, что бегают по холодненским улицам и обдирают прохожих. Страшные сны посещают сонный город, ибо сон разума рождает чудовищ. Эти сны наяву возвращаются к Борису Пильняку через много лет. «Нет, не мираж. Так же описывал Коломну и Ив. Ив. Лажечников. Только с тех пор она не изменилась ничуть». И дальше рефрен: «сон давних дней», «сон давних дней» — пять раз. И всё заканчивается описанием заснувшего на солнце старика-рассказчика.

Ещё один компонент провинциального текста — лютый информационный голод, едва утоляемый пересудами о ближних и дальних, старожилах и новосёлах. Полёт провинциальной утки гениально прослежен в «Ревизоре» и в «Мёртвых душах» (чего стоит разговор двух дам, просто

приятной и приятной во всех отношениях). Е.А. Ган в повести «Идеал» (1837) в свою очередь утверждала, что «мелочная зависть и сплетни — это язва провинциальных городов». Более снисходителен первостроитель города Малинова в русской литературе В.И. Даль (повесть «Бедовик», 1839): «...в тесном кругу стесняются и мысли; политикой мои малиновцы не занимаются вовсе, за что я их от души похваляю; а между тем каждый божий день надобно же было о чём-нибудь поговорить!» Герцен со свойственной ему иронией прибавляет, что малиновцы «находят просто поэтическое удовольствие в том, чтобы знать все домашние дела ново-прибывшего». Как пелось уже в одной советской песенке (режимы меняются, нравы остаются!): «Не уйти от придирчивых глаз».

В.И. Даль в той же повести сообщает важное наблюдение об этом своеобразном альтруизме жителей (и в особенности жительниц) города Малинова: «Все они друг другу... смотрят отвесно в горшок и в кастрюлю и чрезвычайно заботятся о том, когда у кого бывает ботвинья, когда щи, суп или борщ; это, так сказать, ещё одни цветочки созерцательной жизни их, а ягодки бывают впереди, когда изо всего этого выходит наконец огромный клубок или моток сплетен...»

Не знаю, помнил ли об этом наблюдении своего хорошо знакомого и корреспондента И.И. Лажечников, когда через два десятилетия писал о провинциальных нравах в «Беленьких, чёрненьких и сереньких»: «В маленьких городах, в которых, кажется, и сами дома насквозь видны, где знают, что у вас каждый день готовится в горшке или кастрюле...» (прервём пока цитату). Ещё через три года тему продолжил Ф.М. Достоевский в «мордасовской летописи» под названием «Дядюшкин сон» (опять же затруднительно сказать, да и не важно, читал ли он перед этим Даля или Лажечникова: провинциальный текст в какой-то мере создаёт сам себя): «Инстинкт провинциальных вестовщиков доходит иногда до чудесного, и, разумеется, тому есть причины. Он основан на самом близком, интересном и многолетнем изучении друг друга. Всякий провинциал живёт как будто бы под стеклянным колпаком. Нет решительно никакой возможности хоть что-нибудь скрыть от своих почтенных сограждан. Вас знают наизусть, знают даже то, что вы сами про себя не знаете».

Вернёмся, впрочем, к прерванной цитате из Лажечникова. В маленьком провинциальном городе Холодне известно не только то, что у вас убежало из кастрюли, но, как уверяет повествователь, «также скоро узнаётся и нравственность человека. Спросите, приехав в любой из этих городков, первого лавочника, первого трактирного слугу, каков такой-то, и, если вы не ревизор, против которого заранее подведены все подступы и приготовлены все камуфлеты, лавочник и трактирный слуга верно опишут вам человека с ног до головы». Куда это клонит Лажечников? А вот куда: «Вскоре граждане прозвали Горлицына честным и, что для них значило одно и то же, простым человеком». Речь у Лажечникова, видите ли, идёт об одном из «беленьких» героев. Оказывается, что «стеклянный колпак» провинции может не только плодить бесконечные сплетни, но и способствовать... выявлению праведников, на коих, как известно, держится любой город.

С торной дороги осмеяния провинции автор «Беленьких, чёрненьких и сереньких» шагнул в сторону и очутился перед едва заметной тропой,

намеченной тем же Гоголем в набросках второго тома «Мёртвых душ» (с восторгом принятых Лажечниковым после их публикации). Лихо и смачно описав «чёрненьких» и «сереньких», летописец Холодни-Коломны захотел показать и «беленьких». Здесь, в «третьей тетради» под названием «Соляной пристав и его дочь», автор пытается доказать нам, что в провинции живут не только зависть и жадность, но и благородство, верность долгу, чистая любовь.

Писатель невольно вступил на почву идиллии, за что был осмеян передовыми (читай либеральными) контролёрами по части литературы. Впрочем, один из его критиков (не самый суровый, что удивительно) — М.Е. Салтыков-Щедрин в «Губернских очерках», напечатанных в «Русском вестнике» следом за «Беленькими...», тоже ведь позволил себе сойти однажды с торной дороги. В разделе «Богомольцы, странники и проезжие» Щедрин как будто вышел из зловонного помещения на чистый воздух и обнаружил там, прямо на соборной площади Крутогорска, посреди «мира сплетен и жирных кулебяк», иные — «свежие и благодушные типы, которыми (оказывается! — В.В.) кишит народная толпа». Может быть, не там искал своих «беленьких» героев Лажечников? Хотя почему они должны были явиться только из народной, а не из, скажем, дворянской или купеческой среды (что вскоре покажут Лев Толстой и Островский)? Или тем паче из поповской (что открывают Лесков и наш Гиляров-Платонов)? Думаю, что дело было ещё и в том, как Лажечников перестраивал «провинциальный текст». Щедрина читатель готов был поверить ещё и потому, что своих праведников он выставил в свете народных преданий и легенд. Фантазии хороши, да жизнь-то идёт своим чередом, с ними ничуть не считаясь, — как бы говорил автор. Лажечников, напротив, бросил своих идеальных героев напрямую в *действительную* муть провинциального города — и... «свалился» в идиллию. Писатель ещё не овладел вполне тем двуязычием, что впоследствии позволило с художественным блеском разрешить эту проблему Лескову в «Соборянах» и Достоевскому в «Братьях Карамазовых». Как сказал современный поэт, «авантюра не удалась, за попытку спасибо».

Таких «авантюристов» было тогда не много, но они были и, что называется, готовили почву для будущих всходов. Упомяну наиболее ярких — чуть опередившего Лажечникова С.Т. Аксакова с его «Семейной хроникой» и следом идущую Н.С. Кохановскую с её провинциальными повестями. Первый покориł читателей дотошной наблюдательностью, не позволяющей усомниться в чудесных явлениях «образа Божьего» в «диких помещиках», а вторая — песенной стихией, истекающей из сердечной глубины тех же урюмых обитателей медвежьих углов. Лажечников со свойственным ему горячим энтузиазмом приветствовал появление Кохановской в русской литературе. Созвучно ему оценил её и замечательно проанализировал в «Русской беседе» Н.П. Гиляров-Платонов. «Через посредство г-жи Кохановской, — с удивлением писал критик иной, западнической ориентации, П.В. Анненков, — провинциальному быту возвращена вера в самого себя и право открыто исповедовать её. После долгой репутации отсталости и безумия, весь этот мир осмыслен

повестью г-жи Кохановской; его радости, печали, привычки и воззрения — всё осветилось лучом поэзии...».

Мало кто помнит сегодня имя этой писательницы, точно так же позабыли мы и опыт пересоздания провинциального текста, предпринятый И.И. Лажечниковым. Мы знаем вершины (ещё раз с удовольствием повторю названия: «Соборяне», «Братья Карамазовы»), нимало не заботясь о тех трудных путях, которые вели к ним.

Искания Лажечникова не пропали даром и для становления собственно коломенского текста. Их продолжили Гиляров-Платонов и Пильняк. Коломенский текст явился им неотъемлемой частью общего провинциального текста русской литературы. Борис Пильняк, оказавшийся на высшей точке подъёма, наиболее кратко и ёмко выразил свои полномочия: «я... мерил мир Коломной».

В конечном итоге я полагаю, что коломенский текст — это некий свертхтекст, проявляющий себя достаточно независимо от индивидуальных особенностей творящих его художников. Через них (хотя и не за них) Коломна заговорила от лица российской провинции. Надо только расслышать, **что** она сказала.

Владимир ВИКТОРОВИЧ,
профессор, доктор филологических наук

В этом году исполняется 220 лет со дня рождения знаменитого русского писателя, в личности которого удивительно переплетаются великий талант, патриотизм, честность и сердечная доброта. Значение Лажечникова для коломенской культуры и самосознания — огромно. Отдавая дань памяти писателю-земляку и радея о сохранении и развитии художественных традиций российской литературы, мы посвящаем ему этот номер.

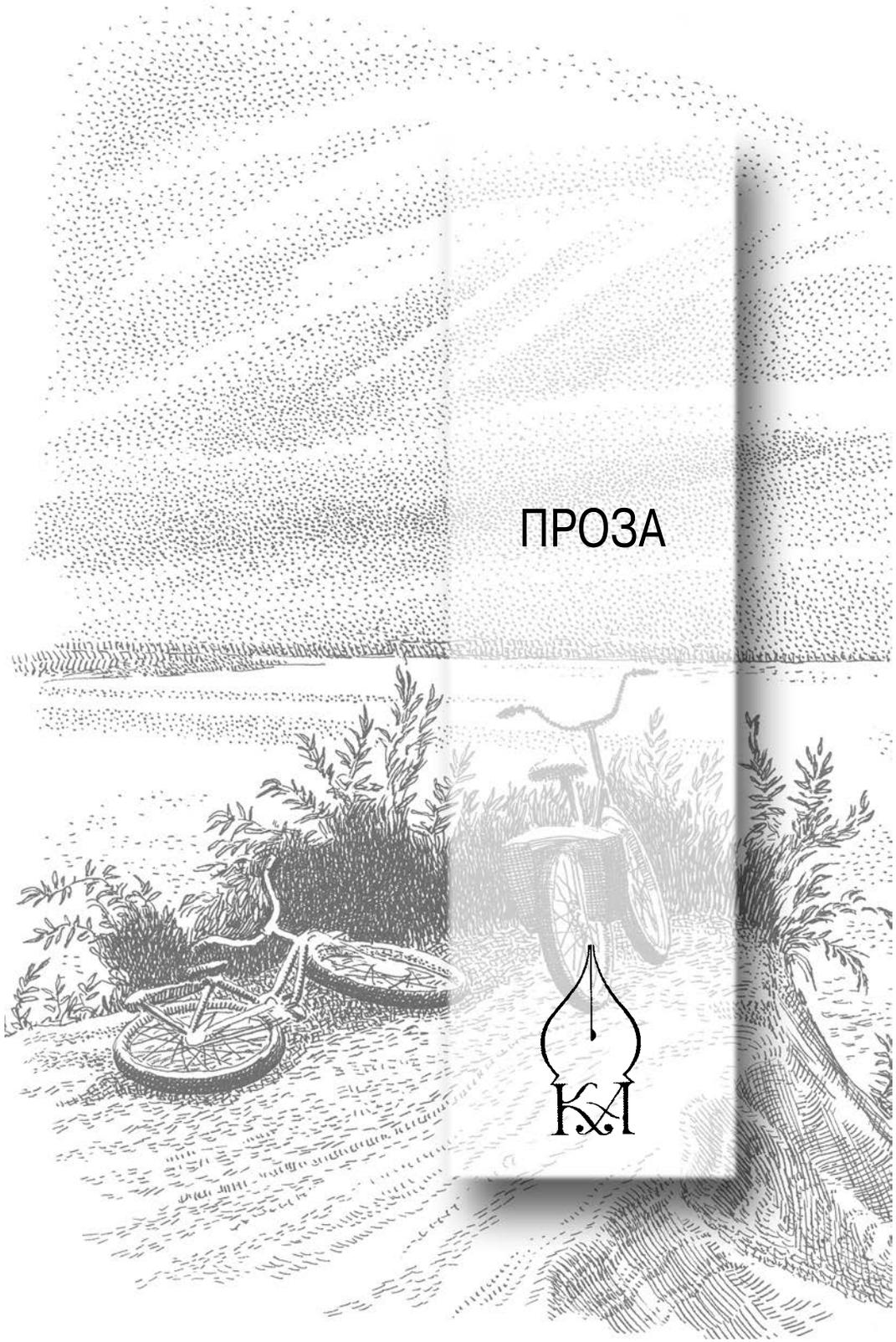
Внимание к творчеству великого земляка наши ученые проявляют не только в связи с юбилейной датой.

Владимир Александрович Викторovich, доктор филологических наук, заведующий кафедрой филологии Коломенского педагогического института, целые десятилетия отдал исследованиям творчества Лажечникова, делая удивительные открытия, разыскивая редкие издания писателя, ещё не опубликованные его произведения, письма и рукописи. В.А. Викторovich впервые поставил вопрос о точной дате рождения И.И. Лажечникова. И во многом именно благодаря его трудам эта загадка была разрешена. Статья В.А. Викторovichа в этом номере альманаха — интереснейшее исследование о Лажечникове как родоначальнике коломенского текста.

Его коллега, профессор **Александр Петрович Ауэр**, также оказывает нам всемерную поддержку, привлекая в альманах солидные научные силы.

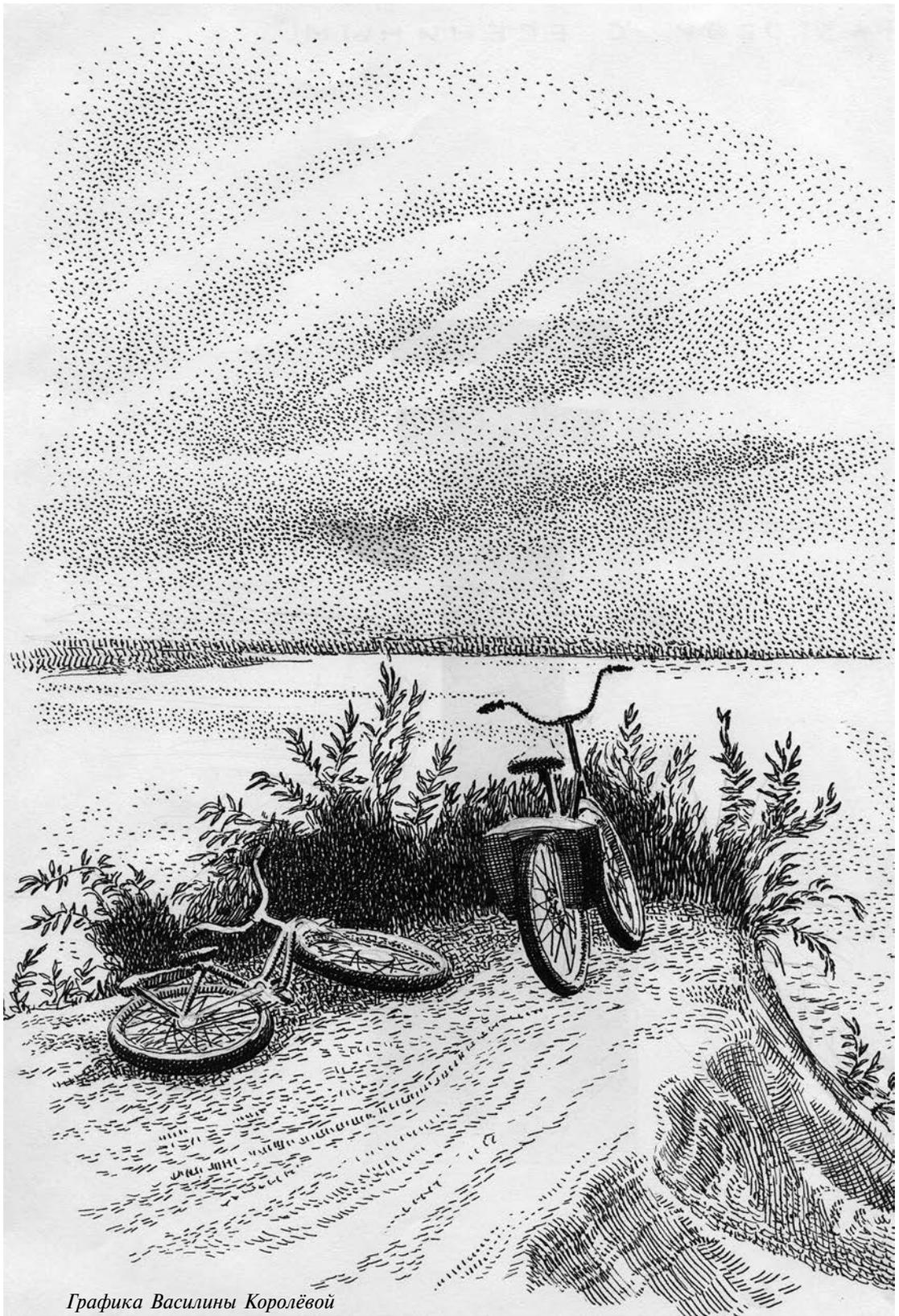
Доброго слова заслуживает и **Александр Юрьевич Сорочан**, кандидат филологических наук, доцент Тверского университета и наш «тверской коломенец». Без его поисков и находок «лажечниковский» номер был бы куда менее интересным.

Низкий поклон и великая благодарность всем вам, благородные рыцари науки!



ПРОЗА





Графика Василины Королёвой



Виктор Семёнович Мельников вышел из поколения, которое росло после войны.

Первый его рассказ «Мужская дружба» был опубликован в 1970 году. Молодой автор занимался в рижском литобъединении под руководством поэта Леонида Черевичника. Участвовал в работе семинара молодых прозаиков Латвии (1974). Снисходительно-комплиментарное напутствие почастливилось получить от маститого мастера прозы — Николая Задорнова.

Виктор Мельников — автор восьми книг прозы. Лауреат премии им. И.Д. Сытина (2002), дипломант областной литературной премии им. М.М. Пришвина (2006). В 2009 году награждён дипломом и юбилейной медалью Московской городской организации Союза писателей России «За верное служение отечественной литературе». В 2010 году удостоен медали «За развитие русской мысли» имени русского религиозного философа Ивана Александровича Ильина.

Член Союза писателей России.

РАССКАЗ

Виктор МЕЛЬНИКОВ

ПОСЛЕДНИЙ УРОК

Над неприютной головой
Пылай, кочующее небо!

София Парнок

31 декабря

Снег валил весь день. К вечеру низкорослый старичок-городишко завернулся в белый тулуп. Только свечи церковей да бронзовых колоколен поднимались посреди оснеженных кварталов двухэтажных домов. Ликовала ребятя, выкатывая по свежачку огромные белые колобки для толстых снежных баб. Серебряной паутиной гирлянд замерцала гигантская ёлка перед городской управой. Подножие её ребятишки устелили золотой мандариновой кожурой, и в морозном воздухе кружился мандариновый запах Нового года.

Причудливо переливались разноцветные нити иллюминации, пестрели рекламы, наперебой зазывая людей в магазины. Горожане шагали торопливо, перегоняя друг друга. С пустыми руками никто не шёл. Кто нёс ёлку, кто — сосновую лапу. Но таких уже было мало. Большинство тащили пёстрые переполненные пакеты с продуктами, из которых нет-нет да и выглядывала улыбающаяся бутылка шампанского, укутанная золочёной фольгой, словно головастая матрёшка.

Не радовался этой предновогодней суете только старый бомж — Василий Сыч. Не успел он приготовиться к зиме... Выцветшие, обвисшие спортивные штаны продувало насквозь, стоптанные ботинки плохо держали тепло, подобранный на помойке худой военный плащ не грел.

Нагруженный стеклянной тарой, прихрамывая на правую ногу, Сыч шагал по аллее заснеженного сквера. Шагал быстро, твёрдо опираясь на землю больной ногой. Со стороны казалось, что он торопится не опоздать туда, где его ждут. Но никто нигде его не ждал. В грязных парусиновых сумках позвякивали оледеневшие бутылки. Будто это не бомж брёл, а шли, приплясывая, весёлые цыгане с бубенцами.

Улица за деревьями сквера двигалась живым конвейером: люди — машины — бродячие собаки — и снова люди... Сыч плыл рядом со всеми, как плывёт по реке бесхозное бревно. Прохожие обходили этого бородастого старика с немывтыми, всклокоченными седыми волосами. Если бы кто остановился и увидел его синие, задумчиво-грустные глаза, может, и усомнился бы: старик ли? Сколько ему лет — семьдесят, шестьдесят? А может, сорок?

Бродяга свернул к скамейке, смахнул рукавицей пушистый снег и присел. Пакеты опустил на землю. Один из них расщелился, и бутылки, как кегли, раскатились около ног.

— Ну подышите, подышите, голубушки, свежим воздухом, — ласково сказал им старик.

Василия не из-за сходства с сумеречной зловещей птицей зовут Сычом, хотя и живёт он замкнуто, уединённо, в «стае» быть не любит. Это по паспорту он был Василий Иванович Сыченников. Был. А теперь — просто Сыч. Коротко и ясно.

Сыч вытащил из кармана чуть надломленный окурок, закурил. Сигарета была дамской, и от неё потянуло сладким дымком. От такого наслаждения веки устало сомкнулись. Замёрзшими губами начал он шептать свою привычную уже молитву: «Господи, помоги! Если я недостоин покоя, то дай мне хотя бы понимание! Ради чего я живу, ради чего я так мучаюсь? Чем я не угодил Тебе? Ведь Ты же Сам даровал мне жизнь; что ж она такая тяжёлая оказалась, жизнь-то эта? Не по силам мне, Господи, крест этот, не по силам... Душа кровит, Господи, сердце надывается... Укажи мне, Господи, какой смысл в этой муке? На всё Твоя воля, Господи, но ради чего Ты послал мне такое наказание?»

Со стороны дороги послышались резкие голоса. Старик недовольно открыл глаза. За сквером, у красной спортивной машины, двое мужчин о чём-то яростно спорили. На багажнике лежала чёрная папка. «Небось деньги не поделили, — хмыкнул бомж. — Всё хапают, хапают — никак не насытятся. Ишь какие лощёные...»

Спор разгорался не на шутку. Деловой лоск куда-то улетучился, разговор, шедший на повышенных тонах, перешёл на крик. Бродяга с испугом смотрел на эту боевую сцену. По своему опыту знал: лучше быть подальше от таких «кручёных мужиков». Как бы не стали палить друг в друга... И тут один из них действительно выхватил из-под полы растёгнутого пальто пистолет. Василий торопливо стал собирать свои разбежавшиеся бутылки — надо уходить, а то влипнешь в историю...

Но до стрельбы дело не дошло. Мужчина спрятал пистолет и быстрым шагом направился в сторону чёрного «бандитского» джипа. Залез в него, с силой хлопнул дверцей, и под визг прокручиваемых колёс машина рванула с места. На снегу остался лишь длинный чёрный след. Хозяин спор-

тивной машины взглянул на полосу, сплюнул на снег и быстро залез в авто. Завёл его и тоже уехал, но не так бешено. Сыч заметил, что папка так и осталась лежать на багажнике. Он с охотничьим азартом следил за ней. Даже привстал со скамейки. «Ведь упадёт, ей-богу, упадёт. Повезёт же кому-то...» — с досадой думал он. Сердце изгоя загнанно колотилось.

И всё-таки Сыч «выследил» её. На его глазах папка слетела с багажника, перевернулась на лету, будто чёрное грачиное крыло, и упала в сугроб. Старик, сильно припадая на правую ногу, метнулся по глубокому снегу, перемахнул кованую оградку и одним пыхом выхватил папку из сугроба. Оглянувшись — не заметил ли кто? — быстро сунул её под плащ и вернулся к своей скамейке.

Старик был вне себя от радости. Перед глазами плыл какой-то молочный туман. Сыч крепко прижимал папку к груди, чувствуя, что наконец и ему посчастливилось поймать свою «золотую рыбку». И только старик собрался уходить со своей находкой, как вдруг неожиданно увидел возвратившуюся красную машину. Она остановилась почти на старом месте. Мужчина выскочил из машины и огляделся. Поток людей плыл мимо, не обращая на него никакого внимания. Он что-то спрашивал у прохожих, но те от него только отмахивались. Василий посмеивался, наблюдая со своей скамьи, как тот метался вдоль дороги, разбивая ногами наваленные снегоуборочной машиной сугробы, иногда нагибаясь и разгребая их руками. «Ищи-ищи, — злорадствовал Василий. — Дорогая, значит, папочка. Будто не папку ищет, а упавший с неба метеорит».

Выждав немного, он встал и подошёл к ограде сквера.

— Эй, господин! — обратился Сыч к мужчине. — Чего ищешь?

Незнакомец мельком взглянул на оборванца и отвернулся.

— Чего всё-таки потерял? Может, я могу чем помочь?

«Хозяин жизни», хватаясь за соломинку, одарил бомжа пристальным взглядом и, поборов в себе гордость, медленно подошёл к нему.

— Папка такая... чёрная... Я её где-то вот здесь уронил, — и он показал на дорогу.

— Папка? — нарочито удивился старик. — Ну куда ей деться? Найдётся. Правда, если к хорошему человеку попадёт. — Сыч начал уже торговаться.

— Вот именно: если к хорошему человеку... — Мужчина продолжал оглядываться по сторонам. — Только где нынче такому взяться? Одни прощелыги и авантюристы.

— Ну ты, голубь, погодь, — возразил ему бомж, переступая с ноги на ногу: было холодно стоять на снегу. — Не торопись судить людей. Ведь никто у тебя ничего не украл.

— Слушай, ты... — разозлился мужчина. — Шёл бы ты, дед, своей дорогой. Здесь и без тебя проблем выше крыши.

В кармане незнакомца зазвонил сотовый телефон. Мужчина рывком вытащил его и отвернулся от бродяги.

Ноги старика мёрзли уже по-настоящему. Да и спина стала стынуть. Разговор с хозяином папки не клеился. Значит, пора уходить. Но Сыч вдруг, неожиданно даже для самого себя, застывшими пальцами вытащил наружу нагретую папку:

— Эта, что ли?

Мужчина резко обернулся.

— Да какого ж ты чёрта... — И затем, уже более миролюбиво: — Она! Она, родимая! Она...

Незнакомец радостно выхватил папку из рук Сыча. Расстегнул её, судорожно пролистал листки с печатями.

— Мужик... Ну, мужик...

Кажется, у него даже глаза повлажнели.

— Ну спасибо, дедуля! — мужчина потряс руку старика. — Ты извини, если я что... Сам понимаешь... Такая ситуация. Нервы на пределе. Я думал, всё: не увижу больше своей папочки.

— Как видишь, не всё в жизни так безнадежно...

Мужчина смутился. Потом вдруг спохватился, метнулся к машине, бросил туда папку и взял пухлую барсетку. Открыл её, вытащил, не считая, пачку красных пятитысячных бумажек и протянул своему спасителю:

— Вот, возьми!

— Благодарю, не ожидал... — обрадовался старик и заочечневшими руками принял деньги. — Был ты, Иванович, бичом, а стал богачом... Как говорили древние римляне: времена меняются, и мы меняемся вместе с ними...

Владельца красной машины словно что-то пробило. Он внимательно всмотрелся в лицо старика.

— Пойдите, пойдите... Чапаев? — неожиданно робко спросил он. —

Василий Иванович?

Старик вздрогнул и растерянно поскрёб седую бороду. Юродство его сразу же улетучилось, и он произнёс обычным, немного хриплым от неожиданности голосом:

— Как вы сказали?.. А ведь действительно меня так звали ребятишки в школе. Сорванцы! Но я на это не обижался. Эта кличка ко мне прилипла из-за моего имени-отчества. Но всё равно было приятно. Ещё бы! Легендарный комдив!.. Кстати, такое прозвище меня ко многому обязывало... Но всё это было очень давно... А сейчас меня кличут, как кота помойного, — Васькой. Бывает, конечно, и Ивановичем назовут, ну, это кто постарше; по фамилии полностью давно не называют. И вообще сейчас я не Чапаев и даже не Сыченников, а просто Сыч... Господи, как давно это было... Словно в другой жизни. А теперь я — простой бомж, хотя мне больше нравится старинное — бич. Бывший интеллигентный человек. Но вам откуда ведомо моё имя?

— Так ведь я Виталька! Виталий Мартынов. Вы меня учили. Я до сих пор помню ваши уроки истории. Помните наше село Усердино, нашу деревянную школу? Ну, вспомнили?

Дрогнули большие жалостливые глаза старика. Бывший учитель весь как-то выпрямился, улыбнулся, лицо его просветлело, и он как будто стал на несколько лет моложе.

— Виталик! — Старик действительно его узнал. — Ну надо же, каким франтом стал! — Он обхватил своего бывшего ученика обеими руками за плечи и радостно встряхнул. — Ну надо же, как тесен мир. Я же нарочно далеко ушёл от родимой стороны, чтобы меня никто и никогда не узнал.

И дым Отечества нам сладок и приятен! Что ты тут делаешь? — Старый учитель снова перешёл на «ты». — Как жизнь твоя сложилась? Хотя чего это я, старый король Лир, спрашиваю? Вижу: богат и славен Кочубей...

Тут он осёкся, улыбка несколько пригасла, он опустил руки, опасаясь испачкать дорогое пальто своего визави.

— Ну ладно... Счастлив был тебя увидеть. Ты это... езжай, что ли. Да и я пойду. Мне надо ещё успеть посуду сдать.

Снег заскрипел под старыми ботинками Василия Ивановича.

Виталий вдруг сорвался с места и догнал учителя.

— Подождите! Какую ещё посуду сдать? Я вас никуда не отпущу! Мы поедем ко мне домой! — Он ухватил Василия Ивановича за плечо и решительно повёл к своей машине.

И хотя Сыченников сопротивлялся, в глубине души он очень хотел, чтобы Виталик не передумал.

— Нет... Да не могу я... Честное слово...

— Вы лучше не сердите меня. А то я вас силой увезу. Кстати, вон патрульная машина едет... Давайте не будем привлекать её внимание...

Это подействовало на старика магически. Он сел в машину и, снова перейдя на «вы», продолжал твердить:

— Это как-то неловко. Ну зачем я с вами поеду?.. У вас своя жизнь, у меня — своя. Что было — то уже давно прошло... Лишнее это совсем... Вы и так меня хорошо отблагодарили. Даже чересчур.

— Лучше пристегнитесь, — не слушал своего пленника Виталий.

И пока Василий Иванович путался с ремнями, машина легко тронулась и повезла его навстречу Новому году. Пакеты с бутылками остались лежать у скамейки. Их уже основательно припорошило снегом. Под этими двумя еле заметными холмиками навсегда была захоронена ещё одна часть жизни Василия Ивановича Сыченникова.

Едва только зажёгся зелёный свет, как милицейский уазик на лихой скорости проскочил мимо них. Сыченников облегчённо вздохнул: не желал он близкого общения со стражами порядка... И были на то серьёзные причины.

* * *

...День был похож на сегодняшний: ледяная стужа, мороз. Он бредёт по дороге, согнувшись от ветра, в желудке пусто ещё со вчерашнего вечера, и в голове только одни мысли о смерти: скорей... скорей... Неожиданно около него остановилась патрульная машина.

— Залазь, бомжара! — скомандовали оттуда.

Дверца открылась, как врата рая.

Стуча зубами от дубового холода, Василий Иванович с наслаждением забрался в тепло. В машине сержанты были с ним вежливы. Даже дали закурить. А в дежурке — вообще фантастика: покормили обедом и спать уложили. И не в холодной камере, а в тёплой комнате, на кожаном диване. Такой сладкой ночи не припоминалось в его жизни давно. Чудны дела Твои, Господи!

Утром его вызвали к следователю. Всё та же обходительность. На столе в кружке — свежесваренный чай и пирожки с капустой. Почти как у тётки в деревне!

— Ну что, Василий Иванович, сам расскажешь о своих похождениях или мне это сделать?

— Это вы о чём, гражданин начальник? — прихлёбывая чай, спросил Сыченников.

— А сам ты не догадываешься? Давно за тобой следим... — прищурился глаза от дыма, ответил капитан. — Ты думаешь, мы ничего не знаем? А детский садик этой осенью кто обворовал? А дачу директора стадиона кто обчистил? Хватит или ещё перечислять?

Василий Иванович отодвинул от себя кружку.

— Где стол был яств, там гроб стоит, — весьма уместными оказались строки Державина, вовремя припомнились. — Так бы и начали, без экивоков. Висяк хотите на меня повесить? И на сколько, милейший, это потянет?

— Учítывая, папаша, твой преклонный возраст, много тебе не дадут. Ну, года три, не больше. А может, и меньше, учítывая твоё чистосердечное признание... Ты понял?

— Ну как тут не понять, гражданин начальник! — Сыченников с жадностью поглядывал на недоеденные им пирожки.

Капитан вплотную наклонил голову к Сычу и произнёс внятно и строго:

— Слушай, ты, грабитель без определённого места жительства... Для тебя это лучший вариант. Дурень... Я же тебе вместо голода и холода предлагаю сытную кормёжку и тёплый барак.

— Вы хотели, голубчик, сказать: нары? — язвительно уточнил Сыченников.

— Ты не хами, батя: будут тебе и нары, и баня... Конечно, не на курорт поедешь. Но зато будешь у властей на учёте, как живой человек. А то плывёшь по течению, как мусор по реке...

Сыченников хотел пофилософствовать на тему мусора, но поостерёгся, вспомнив, что его ждёт на улице. И снова почувствовав позыв к жизни, предусмотрительно расовав пирожки по карманам, сказал:

— Да ладно. Согласен я...

И он об этом не пожалел. В лагере у него неожиданно появилась возможность вернуться к своей прежней профессии. Учить зёков в вечерней школе ему так понравилось, что, когда у него закончился срок, расставание с учениками вышло трогательным, даже сентиментальным.

* * *

Сыч разомлел от тепла в машине, только замороженные ноги сильно покалывали и чесались до самых колен. Старик незаметно поскрёб ногу и снял шапку.

— Да расслабьтесь вы, Василий Иванович! — Виталий заметил, как ёрзает его пассажир. — Всё нормально. Сейчас я вас привезу домой. Веруне такой сюрприз преподнесём!

— Это жена твоя? — Он снова перешёл на «ты».

— Ну да! Вы её должны помнить. Тоже наша. Вера Кленюшина. Сейчас-то она Мартынова. Классом младше меня была.

— Кленюша — твоя жена? — удивился старый учитель.

— А что?

— Ты, Виталий, такой разгильдяй был... извини, конечно. А Вера — девочка положительная...

— Вы правы. Её положительность до сих пор оказывает на меня благотворное воздействие, — согласился Виталий. — Я верую только в свою Веру!

— А дети у вас есть?

— А как же? Двое. Илья и Ульяна. Они на Новый год уехали к бабушке.

— А это что у тебя за маскарад такой? — кивнул головой Василий Иванович в сторону зеркала, на котором болталась плюшевая мышка, а чуть пониже, буквально под ней, была приставлена к лобовому стеклу картонная иконка святого мученика Виктора.

Сыченников взял её в руки и прочитал: «По вере Вашей да будет Вам...»

— Икона — понятно. А мышь-то зачем?

Виталий смутился:

— Это мой талисман. Я по гороскопу крыса.

— Ну какая ж ты крыса! Это я ею стал, — возразил ему учитель.

— Ну зачем вы так про себя? — не согласился Виталий. — Вы самый настоящий человек. Человечнее не бывает. Сейчас мода такая — жить по восточному гороскопу. Один рядится кабаном, другой обезьяной... Впрочем, в этом что-то есть: как примеришь на себя какого зверя, так и стараешься жить соответственно. А крыса не такое уж обидное животное...

— Чушь всё это, — возмутился старый учитель. — У человека в душе должно быть что-то одно... Ну как это можно — верить одновременно в Христа и в Будду?

— Да это так, ерунда, — оправдывался Виталий. — Ведь и у Достоевского сказано, что русский народ, несмотря на свой видимый звериный образ, в глубине души носит другой образ — образ Христа.

— Мне в связи с этим анекдот вспомнился: еврей-выкрест лежит на пляже. Кто-то подходит к нему и говорит: «Одно из двух — или снимите крест, или наденьте трусики». Это я к тому, что в выборе и принятии решений не следует ловчить. Один раз только стоит изменить себе, а дальше тебя понесёт, как по горной речке...

Перед «лежачим полицейским» Виталий сбавил скорость и больше машину не гнал. Мышка затихла, перестав болтаться на оранжевой резиночке. А за окном, не переставая, валил снег. Дочь Деда Мороза вязала для земли снежный покров.

Виталий лихо повернул руль, и машина, обогнув квартал старинных домов, оказалась на главной улице. Василию Ивановичу было неудобно в таком комфортном салоне. Поскрипывало под ним мягкое кресло из свиной кожи, переливалась нежным зелёным цветом панель приборов. Давно он не катался в таких машинах... Что значит «давно»? Он вообще

никогда на них не ездил. И так бы и прожил свою жизнь, если бы не эта встреча... Но праздничная предновогодняя мишура за окном отвлекала его внимание. Вот и кремль показался, расцвеченный праздничной иллюминацией. В тёмном небе фантастическими видениями парили силуэты башен и храмов...

— Сколько войн прошло, сколько веков пролетело, а ведь сохранился кремль, стоит... — задумчиво произнёс старый учитель. — Вот смотрю я на всё это и думаю: ведь и раньше люди жили здесь; наверно, были такими же, как мы. Вглядывались в глубины своего сердца и в бесконечное звёздное небо этого старинного городка. А теперь только древние стены напоминают о них. Я люблю бывать здесь, и каждый раз, когда прихожу сюда, мне кажется, что именно в этом месте века сошлись в тесном пространстве...

Машина остановилась перед светофором у выезда из Старого города. Справа, под кремлёвским холмом, открылась огромная бетонная конструкция. Ледовый дворец, как огромная подводная лодка, всплыл рядом с кремлём, который в таком соседстве казался хрупкой игрушкой.

— Прямо не дворец, а какой-то Летучий голландец. Подплыл к храму и сел на мель, — недовольно заметил Василий Иванович. — Неужели другого места не нашлось? Конечно, детворе дворец нужен: коньки, кружева на льду... Но очень опасно рядом с рекой строить — поплывёт фундамент...

— Вы правы, — согласился Виталий.

— Что, другого места, что ли, не нашлось? Теперь человек даже не может перекреститься на Божий храм.

— Да, панорама собора исчезла, — вздохнул Виталий.

* * *

Чем дальше отъезжали от города, тем ужаснее становилась дорога.

— Не дорога, а стиральная доска, — нарушил молчание Сыченников.

А тем временем всё кругом, до самого горизонта, затянулось белой тенью. Карликовые кусты у шоссе, размашистые лапы сосен и даже высоковольтные провода были оторочены тонкой вязью пушистого снега. Уже давно перестали попадаться деревни, дачи. Сплошным косяком шли только леса и перелески. Они въезжали в какой-то необжитый медвежий угол.

* * *

Это был не дом, а настоящая усадьба посреди густого и тёмного леса. К центральному двухэтажному корпусу примыкали два боковых крыла, образуя просторный, вымощенный плиткой двор. Главный вход обрамлял размашистый портик: две колонны с треугольным фронтоном. Над боковыми входами нависали кованые козырьки с широким выносом. Кирпичная постройка опиралась на цоколь из камня. Стены лакового

кирпича оттенялись белыми карнизами и наличниками в духе классицизма. Всё это говорило об основательности хозяев и их желании создать в своём жилище настоящее родовое гнездо.

Охранник предупредительно открыл дверцу гостю и тут же замер в столбняке, будто увидел перед собой пришельца из космоса.

— Спокойно, Николай, это со мной, — деловито произнёс хозяин, направляясь к парадному входу. — Василий Иванович — прошу! — Этим жестом он как бы подчеркнул, что с ним важный гость.

Первый этаж дома был просторным и светлым. За небольшим тамбуром-прихожей открывался холл с парой двухмаршевых лестниц из дорогого тёмного дерева. Пространство между ними украшала мозаика с изображением римских руин. Стены мерцали белым мрамором, озарённые светом большой люстры, похожей на хрустальный сталактит.

Из холла двери вели в столовую с высоким камином и просторную кухню.

— Аркадий Романович! — зычно воззвал Виталий.

На крик выглянул и начал спускаться по лестнице представительный мужчина с благородной сединой на висках, смахивающий на английского дворецкого.

— Вечер добрый, Виталий Валентинович, — степенно произнёс он.

— Тут вот такие дела, Аркадий Романович. Это мой учитель, Василий Иванович. Он попал в трудную жизненную ситуацию. Надо привести его в надлежащий вид. И поторопитесь, чтобы не опоздать к новогоднему столу, — спокойно распорядился Виталий.

— Будет исполнено, — невозмутимо ответил управляющий. — Через три часа вы его не узнаете. — И, поклонившись гостю, произнёс: — Будьте добры, следуйте за мной.

— К вашим услугам, — в тон ему ответил Василий Иванович и усмехнулся в свои заросли, именуемые бородой.

* * *

Его парили с прополисом, отмывали банановым шампунем, натирали тело ореховым маслом, и только потом, для стрижки, передали в руки Аркадия Романовича.

— Я, конечно, не дипломированный мастер, — приговаривал управляющий, — но ничего, как говорится, с горчишкой сойдёт.

Василий Иванович хмыкнул:

— Галантерейное, чёрт возьми, обхождение...

Через три часа Сыченников сам себя не узнал. Из зеркала на него смотрел совсем не старик, а пожилой интеллигентный, вполне домашний человек. Даже лицо уже не было таким лиловым и набрякшим, как прежде. Исчезла борода, волосы легли на английский пробор. Одели Василия Ивановича в ношенные хозяйские вещи. Иностранная «джинса» была ему немного велика и смотрелась мешковато, но это даже придавало пикантную элегантность. Как будто деревенский дядюшка приехал с американского ранчо навестить своего племянника.

— Вас ждут, — степенно сказал вошедший Аркадий Романович, делая приглашающий жест.

В столовой, отделанной дубовыми панелями, уютно потрескивал камин. Овальный стол сверкал белоснежной скатертью с рисунками гжели. Скатерть не просто лежала на столе — она была натянута без единой морщинки.

Виталий с женой стояли около камина. Василий Иванович даже приподнял брови от удивления, взглянув на хозяйку. В этой яркой, уверенной женщине трудно было узнать прежнюю Кленюшину. Бордовое вечернее платье «в пол», открытые плечи и ухоженные руки, красивая гладкая причёска, жемчужное кольцо и серьги — ну просто леди, сошедшая со страниц романов Голсуорси. И только глаза сияли, как когда-то в школе, — яркие, русалочки.

Она шагнула навстречу.

— Василий Иванович!

— Кленюша... — произнёс он ласково, как называл её когда-то.

Женщина бросилась к нему, обняла — совсем как на том прощальном школьном балу...

— Василий Иванович! — снова повторила она.

И потащила к столу:

— Да садитесь же!

Учитель сел на высокий белый стул. Он волновался. В голове всё мутилось, а перед глазами снова поплыл тот же молочный туман. Происходящее с ним было настолько неправдоподобно и ненормально для него, что впору было сойти с ума.

В дверях появилась женщина в белом фартуке — этакая русская красавица в кустодиевском духе: несколько полноватая, круглолицая, с яркосиними добрыми глазами и удлинёнными, летящими к вискам бровями.

— Можно подавать?

— Да, Капитолина Тимофеевна.

Сыченников обратил внимание на то, что его бывший ученик ко всей прислуге относился с уважением и каждого почтительно называл по имени-отчеству. Повариха и симпатичная молодая горничная принялись расставлять угощения, мило улыбаясь Василию Ивановичу. По всей видимости, Виталий уже проинструктировал свой персонал. От роскошного изобилия у гостя заняло внутри. На фарфоре сияла осетрина с колечками лимона, изящные валоуны с икрой, салаты, украшенные ажурными кружевами зелени...

Василий Иванович, оглядывая стол, начал как бы его описание:

Шекснинска стерлядь золотая,
Каймак и борщ уже стоят;
В графинах вина, пунш, блистая
То льдом, то искрами, манят;
С курильниц благовонья льются,
Плоды среди корзин смеются...

— Bravo, Василий Иванович! — не скрывая удивления и восторга, заплодировал Виталий.

— А я, Василий Иванович, ещё когда к вам на кружок ходила, запомнила державинский съедобный цветник, — улыбнулась Вера. — Помните?

Багряна ветчина, зелены щи с жёлтком,
Румяно-жёлт пирог, сыр белый, раки красны,
Что смоль, янтарь — икра, и с голубым пером
Там шука пёстрая — прекрасны!

— Вот это да! — Виталий был потрясён. И виновато улыбнулся: — Багряной ветчиной угостить не можем, вы уж извините, — Рождественский пост... Мы уже несколько лет так встречаем Новый год. Впрочем, Капитолина Тимофеевна так искусно готовит, что особой разницы не чувствуется. Но, если пожелаете, можно ветчинки нарезать.

— Нет-нет, что вы! — запротестовал старый учитель. — Вы молодцы, что так правильно живёте. А стол у вас и без мяса хорош.

А про себя подумал: «Мне бы вот так поститься всю жизнь!»

— Ну что? Пожалуй, пора проводить Старый год.

Виталий разлил прозрачное белое вино.

— Прощай, Старый год! — сказала Вера. — Ты оказался милостив к нам до самой последней минуты. Мы обожаем тебя!

Зазвенели хрустальные бокалы, и Василий Иванович почувствовал на губах нежный вкус давно позабытого муската.

— Сегодня чудесная ночь, — улыбнулась Вера. — Чудесная во всех отношениях. С нами Василий Иванович! Наш спаситель. Наш ангел. Наш учитель. И это замечательно!

— А теперь, дорогие мои, скажите всё-таки, что же было в той чёрной папке, что Виталий так щедро отблагодарил за неё?

— Договорной проект с одной крупной немецкой компанией, — серьёзно сказала Вера. — Там уже были собраны все подписи, печати... Если бы договор был с нашими, то никаких проблем бы не возникло. Повторили бы всё по второму кругу. Но немцы же педанты! Пунктуальны до ужаса! То, что для них нормально, для нас — смерть или в лучшем случае — шестая палата! Да если бы Виталька к ним заявился: мол, извините, я документы потерял... Кто бы с ним после этого стал разговаривать? Аннулировали бы договор, и все дела. «Если этот думкопф даже бумаги не смог сбересть, чего же от него дальше ожидать?» Иди, ходи, доказывай. И что самое удивительное — они безусловно правы. И плакал бы наш проект горячими слезами...

— А сколько взяток в него вложено было! — добавил Виталий. — В каждую подпись, в каждую печать!

— Что-то продать им хотели? — попытался уточнить старый учитель.

— Да нет, — ответил Виталий, допив остаток вина. — Задумали строить дачный комплекс. Для элиты. Подальше от мегаполиса. Сейчас это в моде. Ну и, конечно, в этот проект с самого начала были втянуты большие деньги.

— А немцы зачем? — удивился Сыченников. — Таджики же подешевле. Виталий улыбнулся.

— Таджики — это не тот уровень. Сегодня рынок требует европейские технологии, европейское качество...

Неспешное застолье, шутки, воспоминания... Так провожали они старый год.

Вера вышла в другую комнату, а старому учителю вспомнилась вдруг давно пережитая история.

— А я однажды видел целое кладбище дач, — решил он рассказать Виталию. — Представляешь: шестьдесят или семьдесят домов, практически готовых. И ни одной души! Стоят себе, и неизвестно, кто их хозяева, где они. Я там два лета прожил.

— Убили, наверное, — предположил Виталий. — А может, прогорели и за границу сбежали.

Старый учитель потерянно взглянул на него и негромко попытался:

— Гнусная российская действительность, — Василий Иванович задумался. — Ведь когда ещё Белинский приговор такой вынес, а ничего в России не изменилось. Друг друга за копейку удавят. Ужасный век, ужасные сердца!

— Что и доказал сегодня мой партнёр и бывший друг, можно сказать...

— Да, крутая у вас разборка получилась. Ещё чуть-чуть — и возник бы новый финал известной дуэли: господин Мартынов — на снегу, с раной в груди...

— Ну, Витька Зубров на Лермонтова не тянет, мелкий подлец...

— А знаешь, мне вот кажется, поэта можно было спасти.

— Это как же? — заинтересовался Виталий.

— Помнишь, Мартынов своё решение о дуэли первому сообщил Глебову. А жили они в одном доме. Так вот, если бы Глебов был немного решительнее, мужественнее, дуэль могла бы и не состояться...

— Но он и так Мартынова отговаривал. Даже секундантом его быть отказался.

— Надо было не отговаривать, — вскипел Василий Иванович. — Надо было его этой же ночью задушить! И докажи, кто это сделал! Может, горец какой...

Виталий ошарашенно покрутил головой.

Вернулась Вера, предложила:

— Давайте в гостиную перейдём. Там и ёлка, и зомби-ящик... А то ведь скоро президент начнёт выступать.

* * *

Гостиная была обтянута гобеленами под старину; наверху мерцал резными узорами деревянный потолок, горел камин, а в противоположном углу стояла живая ель, сияющая разноцветными огоньками гирлянд. На стене висел огромный плазменный телевизор. Свежий хвойный запах слегка оттенялся смолистым дыханием камина.

Виталий Валентинович и его учитель стояли у приоткрытого окна и курили дорогие сигареты, пуская дым за стекло, в тёмное небо.

— А знаете, когда закончилось моё детство? — неожиданно признался Виталий.

— А ну-ка, ну-ка, уточни.

— Когда я перестал верить в Деда Мороза, — с грустинкой ответил Виталий.

— Мужчины! Время! — засуетилась Вера, поглядывая на телевизор и на стрелки нарядных бронзовых часов. На экране уже появился президент.

— А и правда, можем проморгать, — Виталий подмигнул Василию Ивановичу и первым затушил сигарету. Подошёл к столу, вытащил из ведёрка со льдом бутылку шампанского и, накинув салфетку, стал выворачивать пробку.

— Быстрее, быстрее! — била в ладоши Вера.

— Настоящее одиночество — это, наверное, когда тебя с Новым годом поздравляет только президент по телевизору, — пошутил Виталий, бросая взгляды то на телевизор, то на бутылку, которая никак не хотела открываться.

Если молодые люди не проявляли к речи Медведева ни малейшего интереса, то Василий Иванович, наоборот, с жадностью прислушивался к его выступлению, стараясь не пропустить ни одной фразы.

Наконец раздался негромкий хлопок вылетевшей пробки. Бой курантов со Спасской башни наполнил гостиную хрустальным звоном. Закипело шампанское в высоких бокалах.

— С Новым годом! — торжественно сказал Виталий и с нежностью поглядел на жену.

— С новым счастьем... — сказала она в ответ.

В тон кремлёвским часам зазвенели три бокала.

* * *

Они сидели в креслах с гобеленовой обивкой. С экрана телевизора звучала старая зимняя песня:

Потолок ледяной,
Дверь скрипучая,
За шершавой стеной
Тьма колючая.
Как шагнёшь за порог —
Всюду иней,
А из окон парок
Синий-синий.

— Василий Иванович... Что же всё-таки с вами произошло? — тихо спросила Вера, поворачивая в пальцах искристый бокал.

— Обычная история, Кленюша, обычная история... — Старый учитель поёжился и как-то жалко улыбнулся. — Не надо мне было тогда уезжать из села. Не надо... Как говорят: лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе. Но разве можно было удержать то бесплодное мечтание: в Москву, в Москву! «Когда легковёрен и молод я был...» Это классика. Ну а

если серьёзно, то главным моим аргументом были «Ленинка», «Таганка»... Впрочем, это сбылось. В Лобне нам дали квартиру сразу, как обещали, да и с работой всё хорошо устроилось. Нас с женой приняли в только что выстроенную школу. В общем, жизнь наша наладилась. Город, правда, не ахти какой. Без архитектуры. Сплошной спальный район.

Василий Иванович взял мхатовскую паузу.

— А уж когда дочь в институт поступила, мы все были на седьмом небе от счастья... Лида училась в Москве, а жила дома. Ну что такое тридцать минут езды на электричке? И как-то вечером Анастасия с дочерью пошли в магазин... И откуда он только взялся, этот пьяный водитель? Прямо на тротуар выехал... И так я остался один... Вы не представляете, как это тяжело — хоронить своего ребёнка... Но для меня моя девочка не умерла. Она живёт во мне...

Пальцы Веры дрогнули, и тоненькая струйка шампанского выплеснулась на пол.

— Вот так, ребята... И началось моё превращение из Чапаева в Сыча. Незаметно стал я поклоняться Бахусу. Да, запил! Со школой пришлось расстаться, а деньги на водку были нужны. В общем, всё гнило в Датском королевстве! Да и долгов к тому времени набралось... А из чего их отдавать? И тогда я решил изменить свои жилищные условия. Одиному человеку трёхкомнатная квартира ни к чему. И конечно же, как в плохом детективе, угодил в лапы аферистов. Это сейчас я о них много знаю. А тогда я доверился им, как мальчонка. В общем, очутился я на улице: без дома, без денег и без документов. В одночасье стал беден, как Ир. Для сегодняшнего дня обычная история, дети мои... Это вам повезло. А многие сейчас живут в нищете. Еле концы с концами сводят. Новыми бедными их кличут.

— Вы, наверное, не любите богатых? — спросила Вера.

— Коварный вопрос, Кленюша, — ответил, не задумываясь, Василий Иванович. — Я понимаю: можно любить женщину, лошадей, голубей... А вот любить богатых — это, наверное, извращение. А вот вас я люблю. В вас сохранилось нравственное начало, которого так сейчас не хватает многим людям...

Вера пожалела, что задала такой дурацкий вопрос: расчувствовалась, заморгала длинными ресницами, схватила салфетку и начала промокать глаза, чтобы тушь не расплылась от слёз. Ей стало вдруг стыдно перед своим старым учителем за ту обеспеченность и роскошь, в которой она живёт. Как же так? Ведь он такой умный, интеллигентный... Почему же так несправедливо обошлась с ним судьба?

И словно прочитав её мысли, Виталий потрясённо спросил:

— Как же вы жили до сих пор? Ведь вы же уважаемый... — (В прошлом — чуть было не сказал он). — Уважаемый человек. Ну в конце концов, вернулись бы в Усердино. Неужели бы вам не помогли?

— Возвращался я один раз, — неохотно вспомнил старый учитель. — Да что толку? Прошёлся по улице: никто меня, слава богу, не узнал, или притворились, что не узнали. Кому нужен старый учительшко? Многие дома уже поносили, на их местах стоят новые, в два этажа. И хозяева тоже новые. Не живут уже Тарасовы, Васюковы, Игнатовы... Дошёл я

до окраины, к нашей старинной земской школе. А школа заколочена. В войну не закрывалась, а тут — плохим горбылём крест-накрест...

— Как?!

— Да, Виталик. Ты, видать, давно в родных краях не бывал... Твои-то родители где сейчас?

— В Москву перебрались... И Верины там же.

— Ах... — вздохнул Василий Иванович. — Плохо это. И для крестьянина — разве он приживётся в городе, — и для села — погибнет оно без настоящих корней.

— Ну и что школа? — вернул к прежнему разговору Виталий.

— А что школа? — встрепнулся, закашлявшись, Василий Иванович. — Окна забиты досками, двери на замке. Обошёл я родные стены, вспомнил ребячьи голоса, линейки наши школьные. Прогулялся по запущенному саду, среди яблонь и вишен, которые своими руками сажал... А потом отправился в сельсовет. Там все пришлые люди. Они мне и подтвердили, что школу давно закрыли, что директор наш, Илья Николаевич, помер, что многие дома сельчане продали городским под дачи, а сами перебрались — кто в город, а кто на погост, и что помочь они мне ничем не смогут. И так мне грустно стало... Верите ли, иду по дороге к нашей переправе и плачу. Потом добрался до вокзала, выпил — и вроде полегчало. Вот такой весёленький сюжетик...

Старый учитель замолчал и долго, заворожённо смотрел на огонь в камине. Он будто и не слышал бодряю мелодию с экрана телевизора:

И уносят меня,
И уносят меня
В звенящую снежную даль
Три белых коня,
Эх, три белых коня —
Декабрь, Январь и Февраль.

— А вы знаете, — нарушил молчание Виталий, — в этом, наверное, есть что-то символическое, что именно вы — мой учитель — оказались рядом со мной в трудную минуту. Давайте выпьем теперь за вас, чтобы в вашей жизни всё наладилось.

Выпили за учителя, потом пили и за счастье, и за любовь, и за здоровье... Желали друг другу добрых поворотов судьбы, дней в красоте и душевной гармонии и веры в то, что дальше, с новым президентом, будет лучше, потому что хуже уже и быть не может...

Щурилась и подмигивала своими гирляндами разукрашенная ёлка. Неожиданно Василий Иванович почувствовал, что он куда-то поплыл или поплыло всё вокруг него...

— Совсем меня что-то развезло, ребятки, после шампанского, — заставил себя улыбнуться старый учитель. И улыбка получилась хмельная и сонная. — Я пьян, как зюзя... Пойду-ка спать! Что вам праздник портить?

Новогодняя сказка продолжилась в спальне: белая кровать, шёлковые, цвета небесной синевы тёмно-голубые шторы, синяя подсветка со стен, нежно-лазоревого ковер на полу... Было такое ощущение, что спальня находилась не на втором этаже каменного дома, а на облаке...

* * *

В первую ночь нового года старому учителю приснился странный сон. Будто он снова оказался в школе. Вся она была залита прозрачным светом, таким ярким, который бывает только на грани весны и лета. Солнце лилось сквозь окна, блестело на свежей краске. Запах школьного ремонта удивительно бодрит! Василий Иванович прошёл по коридору, стукнул в дверь директорского кабинета и вошёл. Илья Николаевич сидел за потёртым столом и с любовью смотрел на огромный букет сирени, который стоял перед ним в глиняной крынке.

Директор поднял скуластое лицо, расплылся в улыбке и пригладил седые волосы тяжёлой ладонью.

— А, Иванович, заходи!

Тепло разлилось в сердце, и классный руководитель выдохнул:

— Господи, как я рад тебя видеть! А мне сказали, что ты помер.

Директор вскинул глаза.

— Злые языки страшнее пистолета! Впрочем, говорят, что это неплохая примета, — почти в рифму ответил Илья Николаевич. — Значит, долго буду жить.

— Живи, дорогой, — не переставал радоваться Василий Иванович. — Не время нам ещё помирать.

— Это верно. Ладно, ты лучше скажи, как там твои хулиганы? Эти, как их... Мартынов с Назаровым. Парты докрасили?

— Докрасили. Я их отпустил. Купаться побежали.

— Добро. Ты за ними всё равно следи, а то напишут какую-нибудь пакость на заборе, да ещё казённой краской. Даже великий гуманист Пирогов говорил, что мальчиков надо пороть для их же пользы. В отпуск-то когда пойдёшь?

Но ответить педагог не успел. За окном раздалось:

— Василий! Василий Иванович!

— Жена ищет, — подсказал Илья Николаевич. — Ну ладно, иди к ней. Да, кстати, не передумал ли в область переезжать?

Василий Иванович отвёл глаза, потом вздохнул:

— Да раздумал...

— Вот и правильно. Подальше от царей, голова будет целей. Ну кем ты там будешь? Простым учителем. А здесь ты король! Ну ступай, ступай. Небось Настасья на борщ зовёт.

Сыченников кивнул и вышел в коридор. Навстречу ему, хмураясь, шла жена. Но дочь обогнала её, сверкнули синие глазищи, и она уткнулась отцу в грудь. Встрёпанные русые волосы пахли свежим сеном и солнцем.

Нежность переполнила душу отца, у него повлажнели глаза. Анастасия сменила гнев на милость, улыбнулась и покачала головой:

— Уже никого нет, все разошлись по домам. Один ты здесь воин. Ну, ты пойдёшь с нами обедать? Борщ уже остыл, пока тебя дозвалась.

— Иду, иду! — выдохнул Василий Иванович, и сердце его зашлось от радости.

А когда проснулся, долго лежал не шевелясь, боясь расплескать ощущение счастья в груди...

1 января

Завтракали в столовой. Когда убрали посуду и подали чай, Вера под- села к своему учителю.

— Василий Иванович, но неужели вы так ничего и не предприни- мали? Смирились с тем, что вас обобрали? Есть же милиция, наконец, прокуратура...

Старик взглянул на неё, как смотрят на ребёнка, и погладил по го- лове.

— Кленюша, солнышко моё, да знаешь ли ты, во что превратились современные «правоохранительные органы»? Хотя не отвечай: по глазам вижу, что не представляешь. Я Виталию уже рассказывал, что паспорт у меня забрали эти, как их... риелторы. На руках у меня остался один военный билет. И то ненадолго. Однажды проходивший мимо меня ми- лиционер решил проверить мою личность. Я по наивности рассказал ему свою историю, но вместо сочувствия и помощи угодил на сутки в «обезьянник». Наутро меня выпустили, а «военник» не вернули. Я почти каждый день ходил в злосчастное отделение милиции, умоляя отдать билет. Но всё впустую. Один раз даже избили... Таким, как я, лучше дер- жаться от милиции подальше... «Слухачом» работать я не могу...

— А что это за работа такая? — удивился Виталий.

— Есть такие, на милицию работают. Бродят по вокзалам, электрич- кам... Прислушиваются к разговорам, присматриваются... Но это опас- ный «хлеб»: за такие дела могут и башку проломить.

Вера сжала виски пальцами.

— Как прогнила система...

— При чём тут система? — не согласился старый учитель. — Страна прогнила, а не система. И отдельные примеры разложения — это лишь частные симптомы всеобщей болезни... Мы с каким-то безумием строим у себя «американскую модель». Это же бред какой-то. Европа вымирает, я имею, конечно, в виду белую расу, а теперь вымирает и Россия. И какое же средство спасения выбирается? Американщина! Державничать-то на- до тоже с умом! Вы послушайте, что говорил Ницше, заметьте — это ещё только рубеж XIX–XX веков. Думаю, что моя фотографическая память меня и сейчас не подведёт... «Если мы заглянем в среду людей обеспе- ченных, образованных, то здесь точно так же мы увидим картину упадка, принижения умственных интересов и всеобщего измельчания личности. Современное общество заражено американизмом; есть что-то дикое в той алчности к золоту, которая характеризует современных американцев и всё в большей степени заражает современную Европу. Всё чаще начина- ет встречаться тип человека, поглощённого всецело денежными делами: в погоне за наживой он не знает покоя, он стыдится отдыха, испытывает угрызения совести, когда мысль отвлекает его от текущих забот дня».

Видя их изумление, Василий Иванович рассмеялся.

— Это ещё не конец цитаты. Продолжаю: «Мы постепенно утрачи- ваем чувство формы, чутьё к мелодии и ко всему прекрасному. В отно- шениях между людьми господствуют деловитость и рассудочная ясность; мы разучились радоваться жизни; мы считаем за добродетель “сделать

возможно больше в возможно меньшее время”. Когда мы тратим время на прогулку, беседу с друзьями или на наслаждение искусством, мы считаем нужным оправдаться “необходимостью отдыха” или “потребностями гигиены”. Скоро самая склонность к созерцательной жизни войдёт в презрение...»

Супруги сидели присмирив, словно на одном из лучших уроков своего любимого учителя.

— Ну, Василий Иванович, вы нас поразили... Это нечто.

— А вы думали, что алкоголь окончательно притупил мою память? Нет, дорогие мои, талант не пропёшь! Правда, сейчас мои способности уже ни к чему... Это раньше они выручали, когда инспектора понаедут к нам в село и давай учить нас уму-разуму. Это меня, практика, учить, который понимает в своём деле в сто раз больше них? Вмажешь им цитату из классиков или страницы две из Макаренко — они и притихнут. Вот тогда память была полезна. А сейчас кому цитировать? Моим собутыльникам?

— Тем более — изречения полоумного философа, — вставил Виталий.

— Ну, это ты зря. Эти слова Ницше говорил, когда ещё не совсем спятил. Да и потом, при всём его философском хулиганстве насчёт американщины он прав на все сто и сегодня.

Старого учителя вдруг передёрнуло, болезненная судорога прошла по всему лицу. Он виновато поглядывал на молодых, ожидая, когда отпустит боль.

— Может, воды? — вскочила Вера.

— Нет-нет, всё нормально. — Голос его немного дрожал. — Ну ладно, это я, старый алкоголик, могу что-то не понимать. Но вы, молодые и трезвые, объясните мне: что происходит? Почему учителей ни во что не ставят? Откуда появился этот идиотский электронный экзамен? Почему в школе сокращают литературу? И какую культуру дают взамен!.. Был золотой век, был серебряный, а теперь наступает время дилетантов!

Василий Иванович вскочил, задыхаясь, и нервно заходил по комнате.

— Впрочем, что литература? Снявши голову, по волосам не плачут! Скажите мне, дети мои, куда Россия делась? Вы оба живёте за городом. Вы видите, во что превратилось русское поле? Вместо пшеницы и картошки — дикое глухое место, всё поросло ядовитым борщевиком. И не это самое страшное. Главная жуть — это мёртвые деревни... Оживает деревня только летом: когда дачники приезжают, создаётся ложная имитация жизни. Одна видимость! Они же не хозяйством приезжают заниматься, а на травке полежать, цветочки понюхать. Это ведь безнравственно — иметь землю и ничего на ней не выращивать! А зимой вообще лучше не глядеть на деревню — ни света в окне, ни дымка из трубы. Весело, как в мертвецкой.

— Вы, конечно, правы, Василий Иванович, — согласился Виталий. — Любит, конечно, русская интеллигенция порассуждать на кухне. Хлебом не корми. Так и Россию «проговорили» в семнадцатом. А вот закатать рукава и что-то сделать самому — на это часто силёнок не хватает. Вот и вы тоже отошли от жизни. Я не хочу вас обижать, но ваш принцип

жизни, мягко говоря, наблюдательный... Так на нас, наверное, смотрят пришельцы из космоса. Но вы-то на земле родились! И потому спрос с вас совсем другой. Возвращайтесь к жизни! С документами я вам помогу, да и к делу какому-нибудь пристрою.

По лицу старого учителя словно тень прошла. Он долго молчал и наконец слабым голосом проговорил:

— Спасибо, Виталий, что заботишься обо мне. Да только всё это бесполезно. Я стал почти юродивым. Был в старину такой род людей. Их речи и поведение были странными: они ходили полуодетыми, зачастую — босиком в любое время года. Но если такой человек юродствовал во Христе, то есть был настоящим молитвенником, он иногда получал дар чудотворения. Одни были прозорливцами: могли угадывать будущее, другие видели прошлое, иные могли исцелять, и так далее...

Лицо Василия Ивановича взмокло, он протёр лоб ладонью, сдержанно покашлял и, отчётливо выделяя каждое слово, произнёс:

— Мне, дети мои, не хватает веры, потому и говорю о себе, что я почти юродивый. Я просто бродяга: одеваюсь во всякое рваньё, но достаточно тепло; хожу отнюдь не босой, и главное — пью, чего классическому юродивому не полагается. Потому и чудес не творю. А документы... Что ж, документы — дело хорошее, но ими душу не вылечишь. Я уже давно перепутал всё: время, города, людей... Мне всё сейчас безразлично. Потому что я знаю точно, что в этом мире уже давно нет той двери, которую открыли бы мне моя жена с дочерью. Всё остальное для меня не имеет смысла.

И он пристально и печально поглядел на тёплые огоньки камина.

— Мы вам поможем, Василий Иванович, — Вера обняла своего учителя и прижалась к нему. — Всё теперь у вас будет превосходно. Помните, вы нам говорили: чтобы увидеть радугу, надо переждать дождь.

— Нет, Верочка, по-новому жизнь уже не развернёшь. Что-то давно сломалось во мне, хотя это, может, и к лучшему. По крайней мере, я не увижу печального умирания своей Родины. А вот вам и деткам вашим придётся узреть многое, чего не хотелось бы видеть. Дай Бог, чтобы я ошибался... У Юлии Друниной, в прощальном её стихотворении, есть такие строки:

Потому выбираю смерть.
Как летит под откос Россия,
Не могу, не хочу смотреть...

И я ищу эту смерть. Но она что-то не хочет со мной встречаться... — Его глаза повлажнили, и он, стыдясь своих слёз, встал и подошёл к камину.

3 января

Ослепительно-зимнее солнце билось в голубые шторы. Василий Иванович проснулся и испуганно вскочил. Оделся и вышел на лестницу. Ни на втором этаже, ни на первом голосов не было слышно. Дом словно вымер. Учитель спустился вниз и по запаху набрёл на кухню. Увидев Капитолину Тимофеевну, поздоровался:

— Здравствуйте...

— А, Василий Иванович! — обрадовалась женщина. — Выспались?

— Можно пройти? Не помешаю?

— Да конечно, проходите! — ответила повариха, сбрасывая в кипящую кастрюлю нарезанные овощи. — У меня здесь самое людное место. За день столько народу проходит... Жуть! А я всем рада.

— Вкусно у вас пахнет, — шмыгнув носом Василий Иванович. — Вот на запах и идут.

Женщина вытерла руки и подошла к Сыченникову.

— Давайте я вас покормлю. Будете?

Василий Иванович пожал плечами.

— Значит, будете... Я специально для вас приготовила.

И Капитолина Тимофеевна выставила на стол жаркое из телятины с вишней в глиняном горшочке, куриные оладушки, творожные пряники.

Села напротив и, оперев руки в подбородок, стала разглядывать Василия Ивановича.

— Мне нравится, когда вот так вкусно едят мужчины, — призналась повариха.

А ему тоже было необыкновенно хорошо и легко с этой женщиной. Будто знакомы они давным-давно, и этот зимний день у них не первый, а один из тысячи... И он поплыл от этого тепла и стал рассказывать Капитолине о своей жизни. Сыченников старательно припоминал подробности из детства и потом уже из взрослой жизни — ничего не утаивая и не вымышляя. Ему было непонятно: зачем он затеял эти воспоминания? Может, просто хотелось выговориться, а может, самому оправдаться?

— Да... Не сладко у вас всё сложилось... Ещё повезло, что встретились с Виталием Валентиновичем. Зиму у нас перезимуете, а там видно будет...

— Это медведь в берлоге может перезимовать. А человек должен ходить по земле... И зимой, и летом. Он должен быть всегда свободным, даже если он родился в оковах. Вот такая жизнь мне нравится, Капитолина Тимофеевна.

— Ну как такое может нравиться? — искренне возмутилась женщина. — По разговору видно, что вы образованный человек. Ну как вы не брезгаете общаться с бомжами? Это же... ну, я не знаю... Отбросы какие-то. Да и здоровье, опять же... Пить и в подвалах ночевать... Тут не только печень отвалится, тут и замёрзнуть можно насмерть или ещё хуже — калекой стать. И что тогда? Оставайтесь здесь — лучше и не придумаешь.

— Не знаю, Капитолина Тимофеевна, не знаю... — ответил Сыченников. — Как бы вам объяснить... Видите ли, среди бомжей тоже ведь разная публика встречается. Есть и «человеческие очистки», как Булгаков говорил, а есть и народец весьма любопытнейший... Вы не поверите: я тут недавно с одной семейной парой познакомился. Спившиеся люди... Так же, как и я в своё время, пострадали от квартирных аферистов. Но ведь оба — кандидаты наук, на каком-то секретном заводе работали. Или вот другой товарищ по несчастью — писатель-неудачник. Но как читает стихи великого князя Константина Романова! Да не просто читает, а разбирает их, в каждую метафору может вникнуть. А что касается болез-

ни... Скажу вам откровенно, милейшая Капитолина Тимофеевна: я уже множество раз хотел бы умереть. Не будь я крещёный, честное слово — давно бы руки на себя наложил. Нашего брата много по своей воле на тот свет ушло...

— Господь с вами! Какие ужасы вы говорите!

— Ничего подобного, — возразил он ей. — Я на этом свете давно уже забытый... как потерянное письмо... Жены нет, дочери нет... Ради кого мне жить? К ним хочу...

После таких слов оба долго молчали. Чтобы хоть как-то сменить тему, Василий Иванович предложил:

— А давайте-ка я лучше вам чем-нибудь помогу. А то какой-то невесёлый разговор у нас с вами получается.

— Ну, можете почистить картофель для салата, — и она поставила перед ним кастрюлю с картошкой «в мундире».

Сыченников потёр руки.

— Нравится мне такая картошка, — признался Василий Иванович. — У неё и вкус какой-то другой, и пролежать она может дольше. А самое главное — чистить надо только ту, которую сразу съешь.

Капитолина Тимофеевна рассмеялась. Она убавила огонь, отошла от плиты и начала протирать горку только что вымытых тарелок. Не удержавшись, женщина снова продолжила разговор:

— А скажите: неужели за всё это время вы ни разу не подумали, что можно жить иначе? Нашли бы тихую пристань, добрую женщину...

— Ну отчего же? — охотно отозвался Сыченников. — Думал, конечно... Я же не сразу опустил. У меня ведь сестра есть. Однажды мне как-то посчастливилось подкальмить на одной разгрузке. В общем, прилично заработал денег. Сходил я на них в баню, в парикмахерской постригся, купил кое-что из одежды и махнул к сестре. Приняла она меня ласково... Но пожил я у неё только недельку и тайком сбежал.

— Да почему?! — удивилась женщина.

— Как вам объяснить... Потребность свободы, вы понимаете? Сестра — родной человек, но у неё своя семья. А в семье свои законы. И я ушёл туда, где могу распоряжаться сам собой, где свобода. Для меня это невероятно важно. Свобода — это особенный воздух... Если у вас к нему нет вкуса, то вы его не почувствуете...

— И зачем она нужна, такая свобода, когда ты никому не нужен? — воскликнула Капитолина Тимофеевна, протирая тарелку с таким ожесточением, словно хотела высечь из неё огонь. — Мне кажется, что вы просто свою пьянку прикрываете свободой. Вот и всё.

Сыченников снисходительно улыбнулся.

— Я не знаю таких бродяг, которые хлебнули бы этой вольницы, а затем от неё отказались. Вы поймите: в обычной жизни человек повязан сотнями обязательств. Работа, хлопоты по дому, семья, расходы... И везде: плати, плати, плати. И вдруг — ты никому и ничем не обязан. Абсолютная свобода! Не о чем заботиться, потому что нечего терять! Пообедал в церковной столовке, подкальмил где-нибудь на разгрузке или бутылок собрал, выпил, — и волюшка тебе воля!

— Кошмар какой-то! — не выдержала Капитолина Тимофеевна.

— Погодите, — прервал её Сыченников. — Не надо ничего говорить. Я всё заранее знаю. Конечно, вы скажете, что такая жизнь — ниже человеческого достоинства, что в такой ситуации ты никому не нужен, что тебе никто не поможет. И я заранее согласен. Но честное слово — мне такая жизнь нравится. Вот только ребяташек жалко. Много их сейчас бродяжничают. Злые, как волчата. Что с них будет?

— Ну, а если бы вы всё-таки встретили женщину, полюбили бы её? Неужели бы вы ей подвал предложили? — не то в шутку, не то всерьёз спросила повариха.

— Если бы встретил... — вздохнул Василий Иванович. — О, я многое бы сделал! Я снова вернулся бы к своей профессии. Я построил бы домик, вырастил бы вишнёвый сад. Я бы тогда сказал: Капитолина Тимофеевна, выходите за меня замуж.

Фарфоровая тарелка выскользнула из рук поварихи и разбилась. Сыченников бросил картофелину и нож, схватил совок и принялся неловко помогать женщине, которая собирала осколки дрожащими пальцами.

7 января

Рождественский сочельник сходил на землю морозным покровом. Василий Иванович отказался ехать с молодыми в церковь и остался смотреть телевизор. По каналу «Культура» показывали «Иоланту». На сцене ночь и стужа, крупными хлопьями падает снег, над хрустальной комнаткой повис безжизненный диск луны. Деревья, безжалостно выдернутые из почвы, грустно покачивали корнями над сценой...

Хозяева вернулись после ночной службы чуть ли не под утро. Сыченников не спал, дожидаясь их.

— Зря, Василий Иванович, вы отказались ехать с нами в храм! — сокрушалась Верочка. — Так хорошо было в церкви! Ощущение такое, будто в лесу стоишь: ёлки кругом, и как бы сквозь них иконы блестят, и огоньки светятся... А крестный ход какой был!

— Я бы не выдержал... — оправдывался старый учитель. — У меня от тесноты голова кружится. Да и привычки нет молиться под церковными сводами. Ладан, нагар свечей... От всего этого дыхание перехватывает. Зато я оперу посмотрел. Когда мне такое ещё посчастливится?

— Понравилась? — поинтересовался Виталий.

— Божественно! — старый учитель закрыл глаза от наслаждения. И не стал говорить им о том, что судьба одинокой девушки, не нашедшей места в жестоком и равнодушном мире, спроецировалась на его собственную жизнь...

Весь день прошёл в праздничной суете. Праздничный стол, как сказочная скатерть-самобранка, украшался изысканными закусками. Василий Иванович не без гордости отметил про себя, что в приготовлении некоторых блюд и он принимал самое активное участие. За эти дни у него с Капитолиной сложился своеобразный альянс. Стесняясь навязывать своё общество Виталию с Верой, старый учитель сидел у себя в спальне, читал, ходил по дому, но больше всего предпочитал гостить на кухне. С самого первого дня,

когда Василий Иванович познакомился с Капитолиной, он стал заглядывать сюда каждый день, и они подолгу вдвоём беседовали, вспоминая прошлые годы. Повариха принадлежала к числу тех дородных и красивых женщин, характеру которых свойственны особое спокойствие и деликатность.

Василий Иванович часами просиживал в уютном мирке кухни, наблюдая, как проворно и в то же время спокойно женщина совершает свои кулинарные чудеса, как солнце играет на её волосах, на белой косынке, складках платья, кружевном воротничке... И удивительное тепло разливалось на сердце. У него было такое чувство, будто он открыл для себя чужую, но необыкновенно родственную душу.

Иногда она поручала гостю какие-нибудь простые дела: почистить картошку, помыть овощи. Во время этой работы, сопровождаемой стуком ножа или жужжанием миксера, они вели неспешные беседы. Это было странное общение: они рассказывали о своих родных, вспоминали всякие забавные случаи, житейские анекдоты, и казалось, что души умерших участвуют в их разговоре.

И было неудивительно, что их оживлённый разговор и смех иногда внезапно прерывался, и они глядели друг на друга с печальной лаской.

* * *

Ради великого дня решено было не ограничиваться утренним чаем. Открыли бутылку настоящего французского шампанского. Вино кипело в сияющих фужерах. Прохладная влага, очень чистая, без малейшего оттенка дрожжей, приятно покалывала язык. То ли оттого, что он плотно позавтракал, попробовав из каждой салатницы, то ли под влиянием общего подъёма, Василий Иванович не захмелел, как обычно, а напротив — взбодрился и, против обыкновения, был очень оживлён и мил. Шутил к месту, умело поддерживал беседу и несколько раз заставил своих бывших учеников хохотать до слёз над забавными остротами и каламбурами.

Потом перешли в гостиную, куда была приглашена вся обслуга этого богатого дома. Виталий Валентинович вручал каждому коробки с подарками, те тоже отдаривались скромными сувенирами и, как правило, спросив разрешения, тут же распечатывали коробку и ахали. Вещи большей частью были не дешёвыми. Когда все наахались, навосхищались и ушли, Виталий обратился к старому учителю:

— Василий Иванович... дорогой... Получается, что этим подарком я как бы поощряю одну вашу вредную привычку. Но честное слово, другого я не смог придумать. А для мужчины, я думаю, это нужная вещь.

И он протянул Сыченникову алый футляр с золотым тиснением. Старик раскрыл его. Серебряный портсигар... Металл матово поблёскивал, сверкая тонкими полированными полосками, и приятно тяжелил руку.

— Я не могу принять такой подарок... — смутился старый учитель. — Он слишком дорогой...

— Василий Иванович, ну что вы! Берите и не выдумывайте. Мы так признательны вам! Это только частичка нашей благодарности.

Учитель смущённо положил вещицу в карман.

— А чем мне теперь отдариться? Может, стихи почитать?

Глаза у Верочки загорелись, она захлопала в ладоши.

— Конечно, Василий Иванович! Вы так чудесно читаете!

Старый учитель глянул в окно, за которым сквозь мёрзлую морозную дымку сияло зимнее солнце, и волна радости накатила на него. И он сразу вспомнил пушкинское: «Мороз и солнце...» Читал вдохновенно, ярко, с наслаждением пробуя на вкус каждое слово.

Потом были строки Никитина, Кольцова, Есенина... Василий Иванович не мог остановиться: расхаживал по гостиной, останавливался, свободными жестами подчёркивал интонацию, выделял малейшие смысловые оттенки. И голос его то гремел, словно горное эхо, то становился мягким и глубоким, точно просторная река в Константинове...

Виталий с Верочкой сидели, как зачарованные. Казалось, даже окружающее пространство изменилось. Когда старый волшебник добрался до Блока, в гостиной повеяло пронзительной печалью. Даже погода за окном изменилась. Набежала тень, солнце скрылось за седыми облаками.

И уже не блоковскую, а собственную боль выплёскивал он — надрыв, оскорблённую гордость и величие души:

Пусть я умру под забором, как пёс,
Пусть жизнь меня в землю втоптала,
Я верю — то Бог меня снегом занёс,
То вьюга меня целовала!

54

В глазах Сыченникова мелькнули слёзы, дыхание перехватило, и он отошёл к окну. Начинаясь метель...

10 января

Зима забелила мелом всё без разбору: крышу огромного дома, деревья, длинный тротуар и пожухлую траву у забора...

Вечерами Василий Иванович смотрел телевизор, который вдоволь «накормил» его «Аншлагами» и «Голубыми огоньками», Галкиным с Пугачёвой в большом количестве и непрекращающейся рекламой продолжения фильма «Ирония судьбы». Так прошли первые десять дней его новой жизни...

Виталия Валентиновича и Веру Петровну он стал видеть всё реже и реже. Замотанные работой, они приезжали домой только к вечеру, и то поздно. Развлекал гостя охранник Николай. Вдвоём они играли в бильярд, купались в бассейне, попивали пиво... Мужчина он был компанейский, и с ним было весело.

— Слушай, — спросил его однажды Василий Иванович, — а что случилось с мужем Капитолины? Она мне сказала, что вдова, а подробности выспрашивать неудобно...

— История эта давнишняя, — доверительно ответил охранник. — Володька у неё по пьянке попал в аварию. Сам — насмерть, машина в гармошку, а дочь чудом уцелела. С тех пор и лежит пластом: что-то у неё с позвоночником. И неизвестно ещё, когда встанет...

— И что... ничего нельзя сделать? — удивлённо спросил Сыченников. — Операцию какую-нибудь...

— Да была уже операция... Виталий Валентинович возил девочку за границу, денег кучу истратил, а толку мало... Не встаёт.

Вечером Василий Иванович пересчитал весь свой гонорар. Денег оказалось около семидесяти тысяч. Здесь были ещё и доллары, но Сыченников не знал, сколько их в пересчёте на наши рубли. Завернул всё в газету и понёс на кухню.

— Заберите их немедленно! — испугалась Капитолина Тимофеевна, когда он сунул свёрток ей в руки. — Они вам нужней. Может, помогут вашу жизнь выправить... — Повариха заметалась по кухне: от плиты к холодильнику, от мойки до стола, не решаясь близко подойти к Василию Ивановичу. Потом подбежала к раковине и пустила воду.

— Нет, назад я их не заберу, — твёрдо отрезал Сыченников. — Мне они счастья не принесут. Легко достались, легко и промотаются. Это для дочки вашей. — Он взял деньги со стола и подошёл к женщине. — Возьмите, Капитолина... Очень вас прошу.

Она стояла перед ним прямо, прижав свёрток к груди, как буханку хлеба. Вскинув голову, женщина смотрела на него, потом вдруг покачнулась, приникла головой к плечу Сыченникова и заплакала. Василий Иванович растерянно улыбнулся и стал неумело гладить её блестящие волосы.

...А ночью он долго не мог уснуть. Лежал с открытыми глазами, и мысли его роились беспорядочно и суетливо, как бы ненароком касаясь последних событий: то это была чёрная папка Виталия Валентиновича; то Новый год у камина; беседы с Капитолиной; и наконец, сегодняшний вечер, когда он ей отдал свои деньги, когда она прижалась к нему... Капитолина, Капитолина...

* * *

Русский Новый год стучался в двери, хрустел снегом, потрескивал дровами в камине, расходился волной сердечного тепла. И, подхваченный этой волной, Сыченников впервые за долгие годы жил, ни о чём не заботясь и не задумываясь. И трудно было ответить: где он? В раю или в прочитанной в детстве сказке? Скорее всего, это походило на сладкий сон, который он видел сотни раз на чердаке или в подвале, кутаясь в рваное одеяло.

Но недаром говорят, что слишком хорошо тоже нехорошо: при всех жизненных удобствах и беззаботности ему было всё-таки как-то не по себе. Однажды он признался в этом Виталию Валентиновичу:

— Красиво у вас, но пресно как-то. Мне деревня больше нравится. Свиньи в лужах, утки в прудах, старики на лавочках... Нет, всё у вас хорошо, — спохватился Василий Иванович, — но жить бы я у вас не стал. Здесь только повинность отбывать...

Виталий Валентинович ответил ему улыбкой. Потом, вдруг вспомнив, сказал:

— Завтра мы с вами поедem в город. Оформлять паспорт. Я уже с нужными людьми договорился.

— Паспорт? Мне? — удивился Сыченников.
— Разумеется, вам, кому же ещё?! Должно же быть у человека удостоверение личности!

13 января

В город поехали рано утром. Вначале сфотографировались, а потом прибыли на бывшую главную площадь, где в бывшей старинной гостинице размещался когда-то бывший горком партии. Сейчас там располагалось управление федеральной миграционной службы.

Через улицу, напротив бывшего партийного учреждения, стоял серебристый Ильич с вытянутой рукой и указывал на это трёхэтажное красное здание. Во время «перестройки» на Ильича напали эстремисты и отдубасили его так, что повредили ему руку и даже физиономию. Потом руку поставили на место, лицо подштукатурили, но не совсем удачно: лицо вождя приобрело какое-то больное выражение, как у человека, перенёсшего оспу. Несмотря на перенесённые побои, Ленин по-прежнему энергично указывал на бывший горком, но при этом словно собирался обличить: «Вот вы где засели, оппортунисты и ренегаты!»

Василий Иванович добродушно подмигнул вождю мировой революции, но Виталий тут же втащил своего спутника в здание и повёл по широкой лестнице. Там старик расписался в каких-то бумагах и документах, и они тут же отправились домой, где полным ходом шла подготовка к празднику. Василия Ивановича сразу же подрядили на помощь в украшении гостиной.

Хотя Виталий Валентинович и уверял, что одной ёлки будет вполне достаточно, супруга с ним не согласилась. Вдвоём с учителем они притащили стремянку и принялись развешивать по стенам гирлянды из фольги и цветной бумаги. Потом к ним добавились несколько венков из искусственной хвои, украшенных колокольчиками и нарядными коробочками. Между делом Василий Иванович не забывал забегать на кухню навестить Капитолину и поболтать с нею за чаем. Он чувствовал, как его неудержимо тянет к ней, и это были для него самые вожаделенные минуты.

Наконец наступил вечер. Все пошли переодеваться. Василию Ивановичу предложили чёрный блестящий костюм, но он от него категорически отказался, согласившись только на одну белую рубашку. Около десяти вечера хозяева и Василий Иванович собрались в столовой. Ждали гостей. Виталий Валентинович уже начинал беспокойно поглядывать в сторону холла, когда в комнату заглянул Николай.

— Приехали!

Двери распахнулись, и в столовую торжественно вошла пара. Средних лет полноватый мужчина, внешне похожий то ли на хитрого купца, то ли на сельского дьячка, вёл под руку роскошную светлую шатенку в вечернем платье. Сам он был одет тоже изысканно — в чёрный элегантный смокинг.

— Пётр Ильич! Надежда! Как вы великолепны! — воскликнул Виталий Валентинович, выходя навстречу.

Мужчины обнялись, дамы расцеловались, и все подошли к ёлке.

Хозяин представил гостям Василия Ивановича.
— Учитель?! — удивлённо переспросил гость. — Вас, батенька, мне как раз и нужно!

Свет люстры ярко сверкнул в его выпуклых карих глазах и отразился на аккуратной круглой лысине, обрамлённой тёмными кудрями. Он улыбнулся и продолжил очень ласково:

— Понимаете, у меня сын Максим учится в шестом классе... Нехоть, каких ещё поискать...

— Где он, кстати? — поинтересовалась Верочка.

— Наказан, — прохладно ответила Надежда Николаевна.

— Совсем от рук отбился, паршивец... — уже серьёзно произнёс Пётр Ильич. — Учителя в школе ничего поделывать с ним не могут. Вы по какому профилю специалист?

— По гуманитарному, — ответил Сыченников. — История, литература...

— Это то, что нам надо! Я приглашаю вас в наш дом домашним учителем. Подтяните нашего оболтуса по гуманитарному циклу. Мужчина-учитель... вот чего не хватает сегодняшней школе! Что вы так печально молчите?

— Я уже давно дисквалифицировался, — с горечью признался Василий Иванович.

— Оставьте! — махнул рукой Пётр Ильич. — Чтобы учитель моего лучшего друга потерял квалификацию? Да быть такого не может! Соглашайтесь! Ну, а что касается вашей зарплаты, то, как поётся в старинной народной песне: «Золотою казной я осыплю тебя».

— Пётр Ильич! Да не напирай ты так на человека! — пришёл на выручку Виталий Валентинович. — Предложение, конечно, хорошее, но ведь надо и подумать. Василию Ивановичу ведь не двадцать лет...

— Конечно, конечно... — закивал головой гость. Было видно, что надежда призвать хулигана-шестиклассника к порядку сильно его обрадовала. — А вы подумайте, подумайте...

Василий Иванович поднял бокал и предложил:

— Давайте выпьем за Веру, Надежду и Отечество!

— Отличный тост! — мужчины с готовностью подняли бокалы.

Проводы старого года прошли своим чередом. После нескольких торжественных тостов компания разделилась. На одном конце стола дамы щебетали о чём-то своём, на другом гость травил анекдоты, а Виталий Валентинович с учителем по мере сил его поддерживали.

Старый Новый год отправились встречать в гостиную. Но после того как отзвенел хрусталь, веселье как-то пошло на убыль. Стало непривычно тихо, только женщины перешёптывались между собой. Верочка поставила эстрадную музыку, но это веселья не прибавило.

— Ты что такой грустный, Пётр? — спросил хозяин.

Гость опустил бокал.

— Да что-то не клеится в последнее время в моём бизнесе. И тебя туда втянул...

— Это ты насчёт развлекательного комплекса с бассейном?

— Его самого. Докладываю: стройка моя тормознулась.

— Я слышал. А в чём дело?

— Понимаешь, — ответил Пётр Ильич, глядя на него в упор, — когда мы загнали экскаваторы, первый же выброс ковша озадачил нас всех. На поверхность из ямы вместе с комьями земли были извлечены человеческие кости.

— Как?!

— Да вот так! — выкрикнул Пётр Ильич. — Я, конечно, остановил работы, позвонил в региональный центр. А потом и сам засел в архивах за изучение военных документов и карт. И выяснил, что это красноармейское кладбище военного времени. Где-то поблизости госпиталь располагался, ну, и солдатиков, которые умирали от ран, — сюда свозили. О боях в наших местах я, конечно, знал, но не думал, что сам так близко столкнусь с войной... В моей семье в сорок первом трое в московское ополчение ушли. Да какие из них вояки?.. Молодытина одна... В общем, все трое тогда и погибли. Вот я и подумал: может, кто из моих здесь лежит? И как представлю, что я над их могилой в бассейне плескаться буду, — тошно мне становится. Да и не в том дело, есть тут мои или нет! Те, кто тогда головы свои положил, — они все — наши! Ты понимаешь?

— Чего уж тут не понять... — дрогнувшим голосом отозвался Виталий Валентинович. — Вот тебе, бабушка, и бассейн... Настоящее солдатское поле... — И, ухватившись за эту мысль, предложил: — А может, огородить захоронение, мемориальную стелу поставить — и ладно? А для комплекса другое место подыскать?

— Да я просил у районных властей выделить мне для комплекса другой земельный участок, — признался Пётр Ильич, — а на этом — увековечить память солдатиков. Но и в том, и в другом случае мне отказали. Знаешь, что ответили? «Всё поскорее вывезти и закрыть тему».

Старый учитель не выдержал:

— Карамазовщина... Вот времена! Вот нравы!

— А может, самим, на свои собственные деньги, сделать там мемориальный погост? — осторожно предложил Виталий Валентинович.

— Я тоже думал про это, — признался Пётр Ильич. — Но ведь на это сколько времени уйдёт! Нужно как минимум год ходить по бюрократическим кабинетам. Есть давно утверждённые кладбища, там стоят памятные камни. И прежде всего — компаньонов надо уговаривать. Я к Витьке Зуброву пошёл — он ведь один из основных партнёров.

— И что он сказал? — не выдержав, спросил Виталий Валентинович.

— Не хочу повторять его поганый язык. Короче: выразил своё несогласие. Вернее сказать — завизжал, словно его кастрировать собрались. Вот такие мои проблемы. Ты же знаешь: с Зубром связываться — себе дороже. Или шелкуна какого найдёт, или сам не побрезгует...

— Да знаю... — согласился Виталий Валентинович. — В последний день прошлого года мы с ним крепко схлестнулись... Вот, Василий Иванович не даст соврать. — Он допил свой бокал и поставил его на столик. — Тут есть два выхода. Или пригласить поисковиков, чтобы они перезахоронили останки, но это будет ещё дольше. Или взять за основу твой вариант, но тогда нужно у Зубра всю его долю выкупать. — И поинтересовался: — Велика его часть?

— Да не так чтобы очень, но приличная. А ты возьмёшься за это? Давай, а? Вдвоём мы потянем! Только вот вдруг Зубр не согласится?

— Не беспокойся, я его уговорю. Я ему свой кусок проекта предложу. Проглотит не задумываясь.

Тут в разговор вмешался старый учитель:

— А поисковиков вам в любом случае придётся пригласить. Как я понял: из архивных документов ясно, что солдаты не были брошены посреди поля, что это просто госпитальные захоронения. Согласитесь, есть разница? — Он выдержал паузу. — Да, хоронили их под обстрелами, в боевых условиях, возможно, наспех. Поэтому нужно восстановить все имена. А для начала поставьте поклонный крест и пригласите священника отслужить панихиду.

Виталий Валентинович и его собеседник удивлённо поглядели друг на друга. Наконец Пётр Ильич, хлопнув себя по лбу, воскликнул:

— А вот вам и директор мемориала!

— А что... это действительно настоящая кандидатура! — поддержал его Виталий Валентинович.

— Нет, ребята... Для такого дела я стар. На эту должность лучше какого-нибудь отставного офицера пригласить. Вот на должность домашнего учителя я, пожалуй, соглашусь...

Пётр Ильич обрадовался и потряс руку Василия Ивановича.

Но едва только возобновилось веселье, Василий Иванович почувствовал, как гостиная начала тихо вращаться вокруг него. Было ясно: пора в постель. Старый учитель неловко извинился и неверными шагами пошёл к выходу, неловко натываясь на мебель.

В спальне он с трудом разделся, упал на кровать и мгновенно заснул.

14 января

И снова ему приснилась школа. Та же пора — на грани весны и лета. Он сидел в своём классе, и вдруг ему почудилось, что его зовут снаружи. Он встал и быстро подошёл к двери. Но когда распахнул её, то с ужасом увидел, что за порогом стоит ледяная зима, идёт снег. А вдалеке стояли они — Анастасия с Лидой. Учитель бросился к ним, лихорадочно думая про себя: «С ума сошли! Ведь замёрзнут».

Он бежал за ними, а они всё отдалялись от него и отдалялись. Василий Иванович вдруг понял, что стоит в городе, у знакомого дома. Вот и дверь в подвал. Сыченников, прихрамывая, прошёл несколько метров в темноте, увидел знакомое лежбище, освещённое тусклой лампочкой. У тёплой трубы лежало несколько шуб, подобранных у мусорных ящиков. Василий Иванович с облегчением уселся, прислонился к трубе и смежил веки.

И он снова увидел их: и Настасью, и Лиду. Только они больше не улыбались ему, а смотрели молча, с горьким упреком. Сыченникову показалось, что они куда-то зовут его. Он попытался встать, но не смог. Он собрал все силы, напрягся и сумел приподняться.

В окно смотрело серенькое зимнее утро. Василий Иванович приподнялся на локтях и оглядел царскую спальню в доме своего ученика.

Вся ложность его положения вдруг пронзила сознание. Приживала! Живёт у людей за чужой счёт, словно паразит какой-то... Срам!

Стыд захлестнул его горячей волной...

«Бывают странные сны, а наяву страннее», — вспомнил он слова Грибоедова.

18 января

Свой паспорт, новенький, ещё пахнувший типографской краской, Василий Иванович получил в самый Рождественский сочельник. И не один, а целых два.

— А второй-то зачем?

— А второй — заграничный, — объяснил, улыбаясь, Виталий Валентинович. — Мы с Верочкой всё в Рим съездить мечтаем — может, и вы нам компанию составите?

Василий Иванович расчувствовался и от неожиданности не нашёлся что ответить.

— Теперь вы — полноценный гражданин, — продолжал Виталий Валентинович. — Вопрос прописки, я думаю, у вас тоже скоро решится. Я недавно ездил к вашей сестре... Она, к сожалению, умерла два года назад... Но в доме живут её дети, внуки... Они вас помнят и готовы принять. Кстати, по наследству вам там принадлежат пять гектаров земли.

На Сыченникова что-то нахлынуло, сдавило... Крик искал выход наружу. Но он не вырвался, а застрял в горле... И Василий Иванович отчётливо слышал его стон.

— Как вы их нашли? Ведь это совсем в другом городе... — наконец выдал он из себя.

— Пётр Ильич помог, — торопливо сказал Виталий Валентинович.

На глаза Василия Ивановича навернулись слёзы.

— Не может быть, — давась рвущимся наружу стоном, проговорил он. — Они вам так и сказали?

— Ну не выдумал же я! — улыбаясь, ответил Виталий Валентинович.

* * *

Вечером Василий Иванович зашёл к Капитолине.

— Ну вот и всё, — нерешительно произнёс он. — Закончились мои каникулы. Я уйду.

Капитолина перестала мыть посуду. Вытерла руки о фартук и подошла к нему.

— А может, останетесь? — нерешительно спросила она. — Перейдёте ко мне жить... Вы один, и я одна... Давайте попробуем? Квартира у меня есть...

Сыченникову хотелось сказать какие-то слова: он чувствовал, что это надо сделать, ведь он из-за этого сюда и пришёл... Но вырвалось совсем другое:

— Да нет... какой я вам муж? Вам нужен другой мужчина... настоящий. А я — так... Перекати-поле. Сегодня здесь, завтра там... — слова получились какими-то неверными и холодными.

— Ну что вы на себя наговариваете! — возмутилась Капитолина. — Вы такой образованный... Добрый, надёжный... Вон как сердце ваше открылось! Меня совсем не знаете, а пожалели...

— Да нет, Капитолина... Непригоден я для семьи. Старый я для таких дел. Был конь, да изъездился.

— Ну что ж. Вольному воля... — перестала уговаривать его Капитолина.

— Ладно... Не сердитесь на меня! Сыч — птица одинокая. Пойду я... Прощайте... — Сыченников толкнул дверь.

Ушёл Василий Иванович из дома ранним утром. Даже с хозяевами не попрощался. Только записку оставил: *«Дорогие Виталий и Кленюша! Я слишком стар и не вынесу поездки в Рим. Учитель из меня теперь никакой, да и стыдно быть вашей обузой. Спасибо за хлопоты, только это всё напрасно. Прощайте, не поминайте лихом. В.И.»*

— Наверное, к детям сестры уехал, — высказал свою догадку Виталий Валентинович.

— Ну и слава богу, — отозвалась жена. — Он столько натерпелся...

* * *

А через два месяца охранник Николай рассказал Капитолине, что видел Василия Ивановича на городском рынке. С протянутой рукой, в чёрной коляске, без обеих ног...

— Как без ног? — в ужасе выкрикнула Капитолина.

Он в ответ только кивнул головой и подтвердил:

— Да, без ног... Маленький такой сидит... култышки торчат. Я его еле узнал. По голосу. «Подайте юридивому!» — кричит. Подошёл к нему и спрашиваю: что с вами, Василий Иванович, произошло? Что это такое? А он мне: «Да вот такая случилась со мной житейская нескладница. Пока я жил у вас, моё место в подвале заняли. Пришлось ночевать на новостройке. Ну, а там что? Отопления нет... Одни холодные стены. Ну вот я и отморозил ноги... Началась гангрена... Но об этом лучше не рассказывать... Хорошо, что рабочие нашли меня и отвезли в больницу. Сам я в тот момент даже ступить на ноги уже не мог... В этот же день мне и сделали обрезание. Вот такие, брат, дела. Так что я, считай, уже одной ногой в могиле. Хотя даже не ногой — такой привилегии у меня нет. Животом подполз к ней и жду: когда же она меня к себе заберёт? Да ты, брат, иди... Только денежку брось мне какую-нибудь...» Я, конечно, поинтересовался: «Да как вы живёте? Где ночуете? Как добираетесь?» А он мне: «С этим у меня всё в порядке. Живу я под крышей. Кормлюсь регулярно. А сюда меня привозят и увозят. Я как бы работаю сейчас. Так что ты иди, иди... А то Зубр, хозяин мой, запрещает мне подолгу с людьми разговаривать...» Я, конечно, смикитил, что к чему, и поинтересовался: так вы что, в рабстве? Он мне на это ничего не ответил,

лишь напоследок попросил: «Ты только никому обо мне не рассказывай. Не надо, чтобы обо мне так знали...» А это он велел передать Виталию Валентиновичу, — Николай положил на стол серебряный портсигар. — Вот такая произошла встреча. Я ему, конечно, купил продуктов, что под руку попало. Так ему некуда было даже их положить... Ноги обрезаны выше колен. Так и опустил кулёк около коляски. Жалко старика...

— Что же он натворил? — навзрыд заплакала Капитолина. — Что же он натворил?

Все, кто в это время были на кухне, переглянулись и ничего не сказали. А что тут скажешь?

Из почты

В редакцию альманаха пришло письмо из города Мельбурна, от **Галины Михайловны Липкиной**.

«Уважаемый Виктор Семёнович! В Австралии проживаю с 1995 года, и “Коломенский альманах” присылают мне с момента его первого выпуска; все номера усердно мною прочитаны. Диву даюсь: почему коломенский, а не все-русский?! Да много ли таких альманахов в России, учитывая талантливость, истинную русскость его содержания?».

Вдали от Родины именно через альманах ощущает Галина Михайловна «дух русский», прелесть языка поэтических строк, рассказов, романов, любовь авторов к своему городу, к «родному Подмосквью, краю небесной красоты».

О коломенской интеллигенции Галина Михайловна знает не понаслышке: она прожила в нашем городе почти тридцать лет, работала директором Дворца культуры. Вспоминает, как был «битком набит зал ДК», когда ждали приезда народного артиста СССР Леонида Когана. «Помню: это было время цветения сирени. В 15.30 в Шереметьеве приземлился самолёт “Париж—Москва”, на борту которого летел знаменитый скрипач. Машина с Л.Коганом подкатила к Дворцу в 18.30. Концерт начался ровно в 19 часов».

Трудно представить атмосферу, царившую в зале... публика так тепло принимала знаменитого скрипача, с таким пониманием и достоинством! Маэстро, помню, мне сказал: “А мне здесь было комфортнее, чем в Москве и Париже!” Вся сцена была покрыта сиренью».

А секрет особенной, творческой атмосферы, по мнению автора письма, заключается в том, что Коломна — уникальный город, она «сумела сохранить в душах, умах и поведении людей веру в истинность русского характера, благочестие, восторг от рек, храмов, любовь к ближним, согражданам», сумела «не потерять в XXI веке всего этого, несмотря на глобальные катаклизмы».

И «Коломенский альманах», по мнению Галины Михайловны, нашёл путь, позволяющий раскрывать своеобразие города и живущих в нем людей: «Вы, Виктор Семёнович, смогли объединить такой творческий коллектив, одарённых, талантливых прозаиков, поэтов, художников, с таким потенциалом, что когда читаешь альманах, оторопь берёт, в хорошем понимании этого слова».

Ну что же, постараемся не разочаровать наших читателей и в дальнейшем.

Сергей МАЛИЦКИЙ

РАССКАЗЫ С НАШЕГО ДВОРА



Сергей Вацлавович Малицкий родился в Иркутской области в октябре 1962 года. С 1983 года живёт в Коломне.

В 2000 году вышла первая книга рассказов «Легко».

Произведения печатались в журналах «Москва», «Полдень. XXI век», «Реальность фантастики», в сборниках рассказов издательств «Альфа-книга», «Амфора» и других.

С 2006 года по 2009 год в издательстве «Альфа-книга» вышли книги «Миссия для чужеземца», «Отчёт теней», «Камешек в жерновах», «Муравьиный мёд», «Компрессия», «Арбан Саеш», «Оправа для бездны», «Печать льда».

Продолжает профессионально заниматься литературой.

РАССКАЗЫ

Прогул

В четверг Олежек не пошёл в школу. По уму, следовало прогулять пятницу, чтобы захватить субботу и воскресенье, но прогулялся отчего-то четверг. Мамка убежала на работу, когда Олежек ещё спал, будильник прозвонил вовремя, но заливался недолго. Олежек пристукнул его ладонью и внезапно решил не идти в школу. «Проспал!» — прошептал мальчишка и улыбнулся. За окном шумел лёгкий ветерок, заднюю стену комнаты согревали расчерченные кружевным тюлем квадраты апрельского солнца, детство было отмотано едва ли на две трети и легкомысленно сулило бессмертие и бесконечность. Олежек потёр зачесавшийся нос и уснул ещё на час.

Он проснулся от непонятной тревоги и тяжести в животе. Соскользнул с диванчика, вздрогнул от холодного пола, подкрался к двери и долго прислушивался к звукам пустой квартиры. Затем выскочил в коридор, добежал до туалета, облегчился, метнулся на кухню, плеснул в кружку воды и едва успел скрыться в комнате, как во входной двери заскрежетал ключ. Соседка Розочка, огорчённо подумал Олежек, запер комнату изнутри и вытащил ключ, — соседка могла заглянуть в замочную скважину. Её тапочки прошлёпали на кухню и обратно, звякнуло что-то жестяное, затем в ванной зашумела вода. Олежек с сожалением поводит во рту языком, подсадовал, что не успел

почистить зубы, но махнул рукой. Потянулся к исцарапанной гитаре, тут же опомнился и, выкрутив ручку громкости, щёлкнул тумблер телика. Всплывший на экране сытый дядя в клетчатой рубашке и фетровой шляпе размахивал на фоне тучного поля толстой рукой и беззвучно кричал в микрофон. На втором канале сухая женщина с учительским лицом втолковывала что-то невидимым слушателям. Олежек показал диктору фигу, скатал постель, бросил её на мамкину кровать, скользнул взглядом по книжкам — всё читано и перечитано, подошёл к окну, но выглядывать не стал, бабки увидят — мигом донесут матери. Шпингалет предательски скрипнул. Олежек застыл на одной ноге, но всё-таки потянул на себя створку и впустил в комнату холодный воздух. Убежище наполнили запахи весны и оттаявшей осени, птичий гомон и шум железнодорожного депо. Ветер шевельнул занавески, задрал их к потолку, смахнул тетрадку с письменного стола. Сквозняк! — испугался Олежек и тут же прикрыл окно. Точно, Роза распахнула балконную дверь в своей комнате. Стирку опять затеяла? Странно. Обычно она начинала возиться с бельём, когда Олежкина мамка собиралась помыться или сама вытаскивала стиральную машину из стенного шкафа. Теперь точно нос из комнаты не высунешь, — огорчился Олежек. — Может быть, повалиться ещё с часик?

Мальчишка присел на кривоногий стул, положил руки на холодный подоконник и уставился на бледное небо. Не любила соседка ни Олежека, ни мамку его. При встрече расплывалась в улыбке, жмурилась, но в спину только что зубами не скрипела. Мамка хмурилась, возмущалась, но ничего не могла исправить. Разве она была виновата, что приносила из столовой свёртки с едой? Как ещё было растить парня? С её зарплатой, чтобы купить Олежеку лёгкую болонью куртку на осень, приходилось три месяца откладывать, а на ботинки и того больше! Зимнее пальто так и вовсе перешивала, надставляла рукава полосками драпа, чтобы тонкие Олежкины руки не торчали на морозе! А простенький приёмник с проигрывателем за семьдесят рублей Олежек у неё два года выпрашивал! Разве её вина, что Роза варила компот из сушёных яблок, суп из килек в томате, грызла баранки к чаю, да всего-то и имела прибýtка от собственной работы горничной — простыни с чёрным штампом гостиницы, их и на улицу не вытащишь, только на балконе сушить. Впрочем, вина виной, а выставишь кастрюльку на плиту, бросишь кубик мяса, так и стой рядом, чтобы соседка крышку не подняла и не плюнула в бульон. И всё же повезло соседке, две комнаты на двоих с сыном Серёгой имела, да и балкон у неё был. Хорошо с балконом, всё равно что ещё одна комната. Летом на балконе спать можно! Накрылся марлей, чтобы комары не закусали, и спи!

Олежек поёжился от апрельской свежести, натянул футболку, чмокнул дверью урчащего холодильника, достал серую столовскую котлету, положил её на кусок хлеба и стал кусать, запивая водой. В телевизоре люди со скучными лицами бродили по цехам завода. При их приближении другие люди у станков выпрямлялись и меняли сосредоточенное выражение лиц на счастливое. Олежек тоже попытался сделать счастливое выражение лица, но улыбка не получилась, для хорошего настроения явно не хватало горячего и сладкого чая, да и странное беспокойство

переместилось в сердце и теперь постукивало в нём, пытаясь биться в унисон. Олежек подержал ладонь под ключицей, потом отрезал от чуть подсохшей буханки ещё кусок, размазал по нему масло, посыпал солью и спрятал бутерброд в холодильник. Дойдёт очередь и до чая, не будет же Роза весь день толкаться в квартире. А если будет? — зашевелилась под рёбрами тоска.

Мальчишка плюхнулся на диван, вздрогнул от заскрипевших пружин, притаился, но Роза и сама громыхала тазиком, да и вода шумно била в дно ржавой ванны, и услышать его соседка не могла. В неплотно прикрытое окно продолжало тянуть сквозняком, Олежек поморщился, но не встал, потянул со спинки дивана потёртую скатерть, на которой мамка гладила бельё, закутался, повернулся на бок, подтянул колени к груди и закрыл глаза. Если у Розы дежурство во вторую смену, до обеда она из дома не уйдёт, значит, и он сам не высунет носа раньше на улицу. Оставалось только помечтать.

Он предавался этому занятию ежедневно, а то и не по одному разу. Мечтал в классе, когда физик закрывал окна шторами и запускал какой-нибудь скучный фильм. Мечтал на школьных собраниях и линейках, потому что выступать ему там не приходилось, а прислушиваться было не к чему. Мечтал в автобусах, когда добирался из школы домой или отправлялся с одной городской окраины на другую к бабушке, чтобы поменять куски столовской колбасы на банку варенья и добрые бабушкины ладони. Мечтал в душном зале районного кинотеатра. Мечтал в постели, укладываясь спать только после пятого или десятого мамкиного предупреждения. Иногда его мечты переходили в сны, и тогда Олежек замирал от счастья и ещё во сне начинал умолять неведомого сномеханика отсрочить огорчительный момент пробуждения. Но сны, как и собрания, и автобусные маршруты, заканчивались, и после самой сладкой ночи рано или поздно наступало утро.

Олежек открыл глаза и подумал, что если бы он заболел, то можно было бы не пойти в школу и завтра, и в субботу. А там зацепить и понедельник, но сначала надо придумать болезнь, потом тащиться в районную поликлинику, сидеть рядом с рыхлыми женщинами и хмурыми мужиками, нюхать больничные запахи и уже в кабинете врача соответствовать выдуманному диагнозу — куда уж проще отсидеть день в школе. Да и обидно заболеть перед выходными: болеть надо с понедельника, чтобы выздороветь к субботе. Нет, хватит и четверга, не стоит злить классную. Когда он так просыпал в последний раз? Ещё по осени? Надо и совесть иметь. «Совесть иметь», — прошептал Олежек и снова закрыл глаза. Заготовленная мечта не складывалась, сползала в предсонный сумрак, к тому же что-то натянулось в животе, да посторонние мысли не давали сосредоточиться и уводили, уводили его за собой.

Совесть совестью, но лучше было бы иметь какой-нибудь талант. Например, классно петь и играть на гитаре или пианино, тогда можно было бы пристроиться в школьный ансамбль — ведь был же у Олежака когда-то голос, заливался руладами на пении в начальных классах, вот только со слухом не сложилось, слова учительницы о первом или втором голосе так и остались китайской грамотой. И с гитарой без слуха

толком не срослось. И со здоровьем не повезло, сколько ни болтайся на турнике, всё одно и вполонину от крепыша Димки из соседнего дома не подтянешься, хотя уж тот точно специально и не смотрит в сторону перекладины, а на уроке физкультуры подпрыгивает и не тянется подбородком к стальной трубе, а размашисто бросает тело вверх — раз, два, три, четыре... Спрыгивает на двенадцати, ухмыляется, и каждый понимает, что лень Димке мышцы бугрить, а то так и мельтешил бы вверх-вниз. Вот бы так вышел перед строем одноклассников Олежек и не висел, как сосиска, дёргая коленями, а подтягивался как Димка! Или даже больше Димки! Или подтянулся бы на одной руке! И сделал после этого выход силы! Тоже на одной руке! И тут же подошёл бы к гире в тридцать два килограмма и выжал бы её десять раз! И левой рукой! И не толкая гирию всем телом, а плавно отжимая от плеча!

Олежек открыл глаза, плотнее закутался в одеяло, накрылся с головой, как в детстве, когда отхватывал от страшной темноты безопасное пространство, и подумал, что, верно, никаких талантов у него вовсе нет. Породы нет, как сказал бы физкультурник. Ничего такого он про Олежека, конечно, не говорил, но про Димку сказал, что у того — порода. Порода, сказал, есть, а вот с мозгами не повезло. Олежек тогда ещё удивился, порода — это ведь про собак! Породистые собаки живут по квартирам, а беспородные бегают по улице. Но Олежек же не бегают по улице? Это как раз Димка всё больше по улице шляется! Нет, вряд ли физкультурник что-то понимал в талантах. Да и классная говорила, что каждый человек может найти своё предназначенье, что у каждого есть талант, просто он чаще всего спрятан, закопан, невидим. У некоторых талант на виду — голос, сила, ловкость, хорошая память, умение рисовать, склонность к математике, к танцам, к музыке, а у некоторых в глубине. Нужно только отыскать его. Ага. Отыщешь тут. Даже если беспородных на самом деле нет. Породы тоже разные бывают. Вот дог во втором подъезде живёт, это порода! В спине хозяину по пояс. На прогулку выходит, так дворняги или от страха на месте приседают, или отбегают гавкать на великана чуть ли не на другой край двора! Дог — это сила и рост! А этажом выше живёт болонка. Она тоже породистая. Только её порода пустяшная. Декоративная. Так может, и у Олежека порода пустяшная? Может быть, он тоже декоративный?

Мальчишка высунул нос наружу, втянул свежий воздух. Беспокойство никуда не исчезло, только ослабло немного или растворилось, как сахар в чае. Или соль. Олежек даже решил было достать дневник и посмотреть задания на нынешний четверг, вдруг упустил что-то важное, но почему-то не шевельнулся. Mamka хочет, чтобы он стал инженером. Неважно каким, просто инженером. Она даже произносит это слово с придыханием — инженером. Только вот куда это самое инженерство применить? Ну, станет Олежек инженером, окончит какой-нибудь институт, придёт работать на какой-нибудь завод или вот в депо, точно такое же, как за пятиэтажкой и сквером: с рельсами, промасленным щебнем, гудками и гнусавым голосом диспетчера. И что? Будет приходить домой вечерами, как и мамка, усталый, и жаловаться, что на железо смотреть не может, как мамка не может смотреть на кастрюли и плиту? А если нет у него

таланта к железу? Если будет выматывать его работа сильнее, чем школьная химичка, которая заставляет зубрить ненавистные формулы? И всё? Вот так на всю жизнь?

Олежек ещё сильнее зажмурил глаза, но вместо того чтобы привычно углубиться в вымышленные подвиги и победы, снова свалился в размышления о талантах. «У меня всё получится», — прошептал он, едва шевельнув губами. Главное — верить и добиваться! И бабушка так говорит. Главное, верить. Про то, что следует добиваться всего собственным трудом, уже говорит мама. Ну что ж, трудом так трудом! Главное, что талант есть у каждого. Даже у самого никчёмного человека есть талант. К примеру, Колян из второго подъезда — конкретный тормоз. Ему всё по два раза приходится объяснять, ладно бы только на математике, но и на улице! Когда задумывается, кажется, что у него скрежест что-то в голове. Зато как играет в футбол! Любого обводит, словно вокруг столба с мячом идёт! Играет классно, а учится плохо. Читает до сих пор почти по слогам. А если в этом весь секрет? Ничто ниоткуда не берётся и ничто никуда не девается. Если что-то Бог даст, так что-то непременно и отнимет. Насчёт Бога с бабушкой, конечно, соглашаться не следует, а вот насчет отъёма... А если и впрямь у каждого талантливого человека есть какой-то изъян? Тот же силач Димка — отличный парень, но зато глаз у него один не видит, зрачок пустой — то ли осколок бутылки, то ли кусочек карбида попал во время давней детской шалости. Или вот доходяга Вовик, шпыняют его все, кому не лень, а когда он фотографии притаскивает в класс, ничего, кроме криков восторга, не слышно. У многих есть фотоаппараты, у Вовика не лучше прочих, обычный старый ФЭД, но с его фотками ничьи отпечатки не сравнятся! Или тот же Серёга, сын соседки Розы, — тоже не первый ученик в своём классе, а вся комната техникой заставлена. Всё может починить — и телевизоры, и редкие магнитофоны, и приёмники! Сидит в клубах канифоли и лепит, лепит детальки на крохотные платы! Олежек тоже хотел приобщиться к радиodelу, полистал потрёпанную книжку, поехал в магазин, купил деталек, собрал детектор, только так и не поймал ни одной станции. Серёга объяснил, что надо диоды проверить. Вставляй, сказал, стеклянный диод в розетку радиотрансляции, если светится — хороший. Все диоды Олежек проверил, все хорошими оказались. Только уж когда по второму разу Олежек их проверить решил, понял, что посмеялся над ним Серёга. Поэтому и не стал по его же совету конденсатор через сетевую розетку заряжать. Не стал и не стал, совсем уж дураком не прослыл, а таланта радиотехника в себе всё одно не обнаружил. Так может, не талант надо было в себе искать, а изъян?

Мальчишка повернулся на бок, уткнулся носом в диванную спинку и представил, что на земле не осталось ни одного человека. Представил брошенные магазины и дома. Пустые кинотеатры и улицы. Оставленные машины и велосипеды. И себя — единственного человека в пустом городе. На всей земле! Вот тогда ему точно не потребовался бы никакой талант. Умения какие-нибудь пригодились бы, а талант ни к чему. Выходит, талант нужен не для самого себя, а для других? Вряд ли. Димка же на турнике не для других подтягивается, ему вообще наплевать, что он силь-

нее других, он добрый, это Валерка злой, потому как выделиться хочет, а выделиться ему по учёбе не удаётся, и мамка его пьёт, и одевается Валерка бедно, да и в классе трое ребят сильнее его, поэтому он и злится, издевается над теми, кто слабее. Так даже у Валерки талант отыскался: никогда не играл на гитаре, а только взял в руки Олежкину шаховскую фанерную, так через минуту и гимн СССР подобрал, и «Цыганочку», и «Вологду», а Олежек, чтобы самую простую песенку сбренчать, должен аккорды у ребят переписывать. Да и врёт Олежек почти каждый мотив; сам не слышит, а другие говорят, что врёт.

Что-то подкатило к горлу, защемило в переносице, закололо в груди. Олежек чихнул, тут же замер в ужасе, но соседка по-прежнему возилась в ванной, и он подумал о вовсе страшном. А что будет, если он так и умрёт бесталанным? Или просто умрёт? Олежек поочерёдно представил лица одноклассников и приятелей и решил, что ничего не будет. Да, мамка, наверное, с ума сойдёт, бабушка так и вовсе не выдержит, и так то и дело выцарапывает из-под ватки крохотные таблетки. А всё прочее останется, как есть. Вот ведь сбила в прошлом году машина его одноклассницу Алку и одноклассницу Серёги Ирку, так ничего и не изменилось. Всё как было, так и осталось. Разве только исчезли две девчонки: одна повыше, другая пониже. Одна с простеньким, бледным лицом, другая весёлая, с всегда оттопыренной нижней губой. Одна добрая, другая — гроза мальчишек. Олежек вспомнил, как Алка подошла к нему как-то с просьбой что-то списать, а он вдруг словно ополоумел, мотнул подбородком в сторону её короткого платьяца и попросил: «Покажи. Покажи, что там у тебя...» Она даже не ударила его. У неё бы не задержалось, да и случилось уже такое, а тут девчонка просто вытаращила глаза и ответила тихо: «Дурак ты, что ли?» «Дурак», — прошептал Олежек и снова втиснул нос между спинкой и диванной сидухой, затрясся, зажал уши ладонями, как зажал их, когда мамка позвонила бабушке и сказала, что девчонки погибли и надо бы, чтобы Олежек вернулся на похороны. Он не поехал, остался и на улицу больше не вышел до конца холодных осенних каникул. Не смог поехать, не захотел увидеть девчонок мёртвыми. Вот и изъян отыскался, — подумал Олежек, морщась от накотившей в грудь боли, — я трус. Осталось найти талант. Господи, если ты только есть, помоги мне.

Мальчишка рывком сел, сбросил одеяло и нырнул в поношенный свитер. Голова проскочила в тесный ворот, он открыл глаза, но свитерная тьма не исчезла. Глаза не увидели ничего. И уши не услышали ничего, словно все звуки исчезли, растворились в чёрной пропасти. И сам Олежек исчез в чёрной пропасти, сорвался с её края и полетел, полетел вниз, размахивая руками и страшась неминуемого удара о дно! Кожа на макушке сжалась, Олежек задохнулся от ужаса, заморгал, и тьма исчезла. Пошатываясь, он поднялся, открыл окно и высунул лицо навстречу апрельскому ветру. Не было такого никогда, никогда не было. Была страшная боль в животе, когда он корчился на дачном стульчаке, объевшись зелёной смородины и горьких яблок. Изредка случался тупой укол в грудь, когда он застывал, не в состоянии с минуту или больше двинуться с места. Однажды настала невыносимая головная боль, ког-

да он перегрелся на солнце и лежал в бреду, сбрасывая со лба мокрую тряпку, а врач из «скорой помощи» зачем-то требовал от него подтянуть подбородок к груди. Один раз Олежека даже ударило током, да так, что он свалился со стула! И правильно, нечего грызть провод от настольной лампы. Но свет никогда не исчезал!

Олежек поставил локти на холодный подоконный отлив и мотнул головой влево, вправо, как сквозь сон увидел высунувшуюся с кухни Любку из соседнего подъезда, бабок на скамье, вечно пьяного соседа с пятого этажа Зайцева по кличке Заяц, Розу, которая шла с пустым тазом (когда это она успела бельё выстирать?), но не стал всматриваться, хотя что-то важное успел заметить в каждом, и не ринулся обратно в комнату, а почему-то медленно, словно спросонья, начал оглядывать двор заново, запоминая каждую мелочь. Разорённую детскую площадку, состоящую из сломанных каруселей и качелей. Гнилую деревянную беседку за пучками голой сирени. Верёвки с бельём, подпёртые жердями, чтобы протыни не чиркали по прошлогодней траве. Ободранный «Запорожец» у противоположного дома. Пятна бумажек, пустых молочных пакетов и сигаретных пачек от тротуара до тротуара. Чёрные коньки деповских зданий. Провода, порезавшие небо. Коляна, почему-то возвращающегося из школы. Солнце, почти уползшее за угол дома. Ещё раз Коляна...

— Ты почему в школе не был? — заорал Колян, забросив портфель за плечо. — Заболел? А то я ходил на поле, подсохло, можно мячик попинать!

«Четыре года, — подумал Олежек. — Четыре года тебе осталось, Колян. А потом ты утонешь в пруду. Напьёшься и полезешь купаться, а вытащат тебя только через час».

— А? — ещё громче закричал Колян.

— Да я... — хотел ответить Олежек, но отчего-то закашлялся, махнул рукой и только замотал головой.

— Понятно, — кивнул Колян, подумал и добавил: — Горячего чая с малиной надо выпить, — задумался ещё раз и тут же замотал головой: — Не! Лучше не надо горячего чая с малиной, а то точно в футбол нельзя! Лучше так выходи! Побегаешь, заодно и пропотеешь!

— Какой футбол? — скривился Олежек и едва сдержал слёзы, потому что вдруг явственно увидел лицо Алки, услышал её шёпот: «Дурак ты, что ли?» — и просипел только короткое: — Нет!

«Четыре года тебе осталось, Колян», — почти вслух прошептал Олежек, снова посмотрел на Зайца, который, как и положено, к обеду был уже пьян, и перевёл взгляд на Розу, что присела с пустым тазиком на скамью рядом с бабками. Заяц был мутным, как заплёванное стекло в подъезде. Прошлое вздымалось в нём, подобно непроцеженной браге, а будущее тонуло в сизой дымке, потому как после сорока годов Заяц продолжал пить точно так же, как пил с отрочества, вот только перестал трезветь во все и опустился в неизбывный хмель надолго. «Надолго», — судорожно вздохнул Олежек, потому что смотрел уже на Розу, и увиденное ему не нравилось. Она была черна, словно пропасть, но её пропасть не казалась бездной, потому что она расширялась из чёрных точек Розиных глаз подобно воронке, захватывая, засасывая широкой, бескрайней частью

Олежека. Он затрепыхался, с усилием оторвал взгляд от крашеной, с седыми корнями макушки и сполз на пол. Почему из глаз, она же даже не посмотрела на меня? — родился внутри Олежека немой крик. Это талант? — тут же звякнул в голове глупый вопрос, но в глазах, в ушах, в носу и на корне языка мгновенно проявилось осознание того, что начало воронки было не в чёрных глазах маленькой и нервной женщины, а в том воскресном утре, когда суматошная, какая-то невсамделишная жизнь Розочки закончилась. Когда она не только поняла, что молодость, а с ней и всё светлое или кажущееся светлым не просто уходит или уже ушло, а сорвалось в пропасть. Когда она, уснув в субботу рядом с привычно пьяным мужем, проснулась утром рядом с трупом. Проснулась и сорвалась. Сорвалась и куда-то поползла — вниз или вверх, неважно, наоборот, — в ту сторону, откуда на неё смотрел Олежек. Поползла, обдирая тонкими пальцами скользкий склон, поползла и продолжала ползти все эти годы, потому что ей казалось, что она всё время скатывается обратно в то воскресное утро, и некому было её удержать — старший сын женился, уехал куда-то и вовсе забыл о матери, а Серёга, что Серёга? Что Серёга? — спросил себя Олежек и вдруг отчётливо понял, что стоит ему увидеть Розочкина сына, и он тут же, неминуемо узнает — и что Серёга, и куда Серёга, и надолго ли, и каким образом...

Олежек потянулся к диванному подлокотнику, поймал кружку, выхлебал остатки воды и вытер со лба липкий пот. Розочке оставалось ещё долго. Лет двадцать или больше. Что с ней будет потом — Олежек не разглядел, но расплзающаяся тьма, обдавшая его холодом, ясно давала понять, что ничего хорошего её не ждёт ни в один из оставшихся дней. «Она сойдёт с ума, — то ли сказал, то ли подумал Олежек и произнёс уже точно вслух, только чтобы услышать собственный голос: — Она уже сошла с ума».

Мальчишка поднялся, удивился задрожавшим коленям и подошёл к зеркалу. На него смотрел обычный подросток. Почти прошедший синяк под глазом от Васьки из третьего подъезда всё ещё был на прежнем месте, бесцветные глаза смотрели настороженно, да и непослушные, выгоревшие до соломенного цвета вихры тоже торчали в стороны настороженно. Футболка висела на широких, но острых плечах. Шея казалась и была тонкой. Подбородок острым. Нос — ободранным и конопатым. Ну как не дать такому по морде? — ржал Васька, когда встречал Олежека у дома. Ржал, но дальше насмешек не заходил, впервые ударил только на неделе, да и то лишь потому, что нажрался какой-то дряни, вывалился из детской карусельки с остановившимся взглядом и принялся махать кулаками, ничего не разбирая перед собой. Олежек просто не успел увернуться. Хорошо, ещё никто не видел. Вроде бы не видел. Васька сам-то уж точно не помнит, а то уже давно бы потешались ребята над Олежеком всем домом. А так-то — сказал всем, что подрался. Зашёл в подъезд, стиснул зубы, разбил кулаки о сухую штукатурку, залил костяшки зелёной — ну точно, подрался! Всего-то и пропустил один удар... Mamka заплакала, классная только головой покачала. Нет, всё-таки хорошо было бы отметить Ваську, жаль только, что старше он Олежека на два года, выше на голову и сильнее. И колени у Васьки никогда не дрожат. Да и не умеет

Олежек драться. Ведь так трудно драться, когда противник сильнее тебя; с другой стороны — зачем драться с теми, кто слабее? Это Димка может драться с теми, кто сильнее. Сам здоровяк, но всегда готов кинуться и на тех, кто ещё здоровее. Васька тоже перед старшими не пасовал, но дрались они по-разному, Олежек видел. Димка вдруг становился весёлым и быстрым, гибким, как зверь. А Васька — пустым. Глаза у него становились пустыми и холодными, и шипенье из горла раздавалось, и сам он становился как змея; всякий должен был понять — если и погибнет такой в схватке, всё равно ужалит насмерть. Нет, так слишком страшно. Лучше быть, как Димка. «Тебе легко, — вздохнул как-то Олежек, — ты сильный». «Ага, — хмыкнул Димка и согнул крепкие руки так, что рукава застиранной футболки почти затрещали на мышцах. — Легко или нет, не скажу, а насчёт силы ты не прав». — «Почему?» — не понял Олежек и сам согнул руки, даже закричал, так хотел вспучить несуществующие бицепсы. «Не здесь сила», — ответил почти одноглазый троечник Димка. «А где?» — не понял Олежек.

— А где? — повторил он вслух, глядя на собственное отражение, и внезапно вспомнил и про непроглядную тьму, и про свитер, и начал судорожно и торопливо сдирать его через голову, пытаясь вернуться в счастливое утро и забыть, забыть весь этот внезапный кошмар: и пропавшие несколько часов четверга, и чёрную воронку Розочки, и будущую смерть Коляна, как вдруг замер. Он смотрел на себя в зеркало и не видел ничего. Нет, он видел обычного мальчишку, но не видел ни собственного будущего, ни прошлого. «Показалось», — облегчённо вздохнул Олежек.

Он выскочил на улицу через пять минут. Уже в подъезде застегнул сшитую мамкой из серой плащёвки ветровку, простучал стоптанными ботинками по ступеням, перепрыгивая через одну с четвёртого до первого этажа, толкнул дверь и замер. Во дворе никого не было. Жмурилась на скамье кошка, чирикали на голом кусте сирени воробьи. Куда-то исчезли Розочка, Заяц, исчезли бабки, просиживающие на вынесенных из дома подушечках у подъездов часы. Олежек теперь уже снизу скользнул взглядом по окнам, зацепился за Любку, всё так же торчащую из окна, но не стал всматриваться, потому что тревога снова засвербела в груди, и пошёл, почти побежал за угол, к магазину. «Показалось, — шептал он про себя, но зубы против его воли отстукивали: — нет, нет, нет».

— Ты чего в школе не был? — услышал он окрик в спину, обернулся, вздохнул и поплёлся в сторону одноклассницы Светки.

Она смотрела на него выжидающе, готовая или посочувствовать какому-то незапланированному несчастью, или похихикать над внезапной хитростью. Она ничего больше не говорила, ждала. Светка умела ждать: полненькая, рыжая, куда там Олежкиным конопушкам, — то ли старательная троечница, то ли ленивая хорошистка, она редко придумывала что-нибудь сама. Жила себе в удовольствие, озиралась по сторонам и ждала, когда ближайшая минута, час, день, вся её жизнь предложат ей какой-нибудь выбор, вынудят её шагнуть вправо или влево, и только тогда шагала. Чаще всего не осознанно, а как шагнётся. Так всё и будет, — отрешённо подумал Олежек, — выйдет замуж за мужика на пятнадцать

лет старше. Не его приспособит под семейный уют, а сама пропитается его холостяцкими привычками. Ни на кого толком не выучится, родит мальчика и девочку, разругается, рассобачится с мужем, поменяет с десяток приятелей, сопьётся, будет работать сначала официанткой, потом уборщицей, потом дворничихой, покуда в шестьдесят два года не умрёт в собственной постели от разорвавшегося сердца — со счастливой улыбкой, потому как если бы не сердце, подыхала бы долго и мучительно от начавшегося уже рака печени.

— Ты чего в школе не был? — повторила вопрос Светка и расплылась в хитрой улыбке.

— Ты дура, Светка, — неожиданно сказал Олежек.

Слова вырвались изо рта против его воли; он ужаснулся тут же, едва произнёс их, и внезапно почувствовал, что обрётённый им талант покрывает его если не коростой, то скорлупой, и ему больно не только смотреть вокруг и видеть, но даже просто шевелить руками и ногами.

Светка поскуичнела. В другой раз она бы непременно брякнула что-нибудь вроде — сам ты дурак, или: а ты вообще урод, но видно было что-то в лице Олежека, отчего улыбка просто медленно сползла с её конопатого лица и губы скучно вымолвили:

— А ты разве умный?

Она помолчала, затем пожалела, наверное, показавшегося ей жалким и несчастным Олежека и добавила.

— Я знаю.

И ещё:

— Все дураки.

И ещё:

— Где кулаки-то рассадил? Подрался он! Я видела, как Васька тебе по роже съездил.

Сказала, сдвинула Олежека с тропинки на прошлогоднюю траву и пошла домой, в двухкомнатную квартиру, на пятый этаж, в первый подъезд. Олежек иногда приходил к Светке рисовать школьную стенгазету или настраивать гитару к её старшему брату Женьке. Женька, недавно пришедший из армии, смотрел на Олежека с презрением, словно сам факт дружбы с его сестрой был признаком ничтожества для любого парня, однако гитару настраивал отлично. Олежек сидел на шатком стуле, слушал, как его фанерный инструмент обретает строй и звук, и страдальчески моргал слезящимися глазами, потому что от ног разувшегося Женьки несло отвратительной вонью, но замечал этот запах словно только один Олежек.

— Ну? — Колян уже вычеканивал возле подъезда мяч. — Пойдём по-стучим?

Олежек почесал нос и подумал, что идти ему некуда. Куда бы он ни пошёл, всё равно придётся возвращаться в двенадцатиметровую комнатушку к родной несчастной мамке, к Розочке и её сыну Серёге, к одноглазому Димке и Ваське с пустыми глазами, и что прогуляй он хоть половину учебного года, ничего в его жизни не изменится.

— Ну? — нетерпеливо повторил Колян и ловко поймал мяч плечом и щекой. — Идёшь или нет?

— Нет, — отчего-то закашлялся Олежек и неопределённо махнул головой в сторону. — Я... я к мамке.

— Ну, ты смотри, если что, — недовольно протянул Колян и крикнул Олежеку уже в спину, — я всё одно ребят соберу, хоть по воротам постучим.

Он шёл зажмурившись. Через полуприкрытые глаза мелькали только тени людей, но даже теней было достаточно, чтобы почувствовать десятки будущих смертей, разглядеть червоточинки и прорехи в телах, которые если уже не стали болезнями, то рано или поздно станут ими. «Они все умрут, — шептал Олежек и, ловя плечами нервную дрожь, повторял это уже как заклинание, — они все умрут! И я умру, только не знаю когда!»

Не знаю когда.

Внезапно он остановился.

Он шёл к мамке.

Что он увидит, когда поднимется на второй столовский этаж и вызовет из мясного цеха мамку? То же самое?

Олежек открыл глаза. По тротуару брела женщина с детской коляской. Она что-то напевала вполголоса и улыбалась. Ребёнок был у неё первым, но она родит ещё двух, воспитает почти десяток внуков и успеет понынчиться с правнуками, пока...

— Аллё!

Сзади стояла запыхавшаяся Светка. Она смотрела на Олежека хмуро, и острый кулачок, которым только что заехала ему между лопаток, не опускала, держала его перед грудью, словно одноклассник должен был немедленно дать ей сдачи.

— Неправильно кулак держишь, — принялся объяснять девчонке Димкину науку Олежек. — Зачем указательный выставила? Вместе держи пальцы! Ровно! Не прячь большой палец в кулак, держи его снаружи! Да не выставляй! Будешь так бить — сама покалечишься! Вот! Ударять нужно костяшками указательного и среднего пальцев. Вот этим местом! Кулак сильно не стискивай, расслабься. Отведи локоть назад, держи кулак пальцами вверх. Бьёшь ровно вперёд, поворачиваешь кулак пальцами вниз, вкручиваешь его и напрягаешь уже при контакте! Поняла? Ну-ка... Уй... Неплохо... для первого раза...

Он напряг пресс или что там у него было вместо пресса, но Светка попала в солнечное сплетение, и Олежек тут же присел на бордюр. Светка скукожилась рядом, подула на ушибленные пальцы, покосилась на перекошенное лицо приятеля, буркнула в сторону:

— Сам дурак.

Помолчала и добавила:

— Я всё Ваське рассказала. Он на детской сидит с Коляном, мяч хотят погонять, только команды нет. Васька, оказывается, не помнил ничего. Теперь злой на тебя. Сказал, что кулак о твою рожу разбить давно уже собирался, а удовольствия никакого не получил. И ещё Колян ему сказал, что ты хвастаешь, что подрался с кем-то в заречном микрорайоне.

— Мне всё равно, — выдохнул наконец Олежек.

— Что на тебя нашло? — спросила Светка.

— Не знаю, — пожал плечами Олежек, посмотрел на ровненькие Светкины коленки, расправил плечи. — Что бы ты сделала, если бы видела каждого человека насквозь? Ну, к примеру, его прошлое и будущее, чем заболит, во что вляпается, когда умрёт?

— Ничего, — выпятила губу Светка и почесала конопатый нос крашеным ногтем. — Ну, пошла бы в милицию, преступников ловить, или врачом — чтобы лечить. Это ж самое главное — видеть человека насквозь. Мамка, когда с дежурства приходит, всегда говорит, что лечить легко, знать бы, что лечить, да вовремя начать. А то у человека спина болит, а у него на самом деле, может быть, сердце разваливается. Только это всё потом, а пока лучше никому ничего не говорить. А то в дурку отправят. Хотя можно шпионов ловить!

— Ага, — кисло согласился Олежек.

— Только так не бывает, — снова стиснула кулачок Светка и выкинула его перед собой.

— Ага, — опять согласился Олежек и увидел соседского Серёгу, который тащил под мышкой старый радиоприёмник. Сопьётся, сойдёт с ума, сохнет в пятьдесят лет в той самой дурке с отнявшимися ногами.

— Чего ты сказал? — не поняла Светка.

— Привет, малявки! — бодро гаркнул Серёга и потопал в сторону дома.

— Привет, — пробормотал Олежек и посмотрел Светке в лицо. — У тебя и ресницы рыжие.

— Я вся рыжая! — надула Светка щёки, тут же поняла, что сболтнула лишнее, и залилась краской.

— Нельзя говорить, — пробормотал Олежек. — Я думаю — нельзя говорить, что всё знаешь про людей! Вот кино ещё было про бессмертных, которые живут очень долго, вовсе не умирают.

— Сказки, — сморщила носик Светка.

— Может быть, — кивнул Олежек. — Но если не сказки, если они есть, то о них никто не должен знать. Вот представь себе, что тебе уже сорок или пятьдесят, а на вид всё ещё лет тридцать...

— Восемнадцать! — мотнула головой Светка.

— Ну, пусть восемнадцать, — продолжил Олежек. — Думаешь, что так вот и будешь себе топтать до старости в восемнадцать лет? И пенсию так пойдёшь получать? Нет, Светка, если человек владеет каким-то... таким талантом, он должен таиться. Прятаться.

— Скучно так, — нахмурилась Светка. — Вот, представь себе, что мне восемнадцать лет. И что мне будет восемнадцать ещё лет тыщу! И всю эту тыщу лет я буду Светкой Козловой, толстухой с конопатым носом и рыжими ресницами? Дурой, как ты сказал!

— Тысяча лет — большой срок, — хмыкнул Олежек, — можно и поумнеть.

— Повеситься, какой большой, — прошептала Светка и наклонилась к самому Олежкиному уху. — Папка мой, когда с работы приходит, когда там у них в депо что-то не ладится, так шипит, блякает всё время, ругается и говорит, что загробный мир существует! И рай, и ад! Вот только Бога никакого нет, а загробный мир есть! И что он не знает, как рай, а ад

как раз у них в депо и находится! И мне кажется, что вот это всё вокруг нас и есть ад!

— Да ну? — попробовал сделать умное лицо Олежек, оглянулся, посмотрел на апрельское небо, на обрубленные кочёшки тополей с набухшими почками, на трещины в асфальте, на пёстрые занавески в окнах ближайшей пятиэтажки, перевёл взгляд на встревоженное лицо Светки. — Ты в каком классе учишься?

— В шестом, как и ты, — не поняла Светка.

— Правда? — усомнился Олежек. — Полистаю на переменке классный журнал, проверю.

— Проверяй, — вскочила Светка, одёрнув короткую юбочку, под которой мелькнули белые трусики. — И я вместе с тобой! — и побежала обратно к дому. — Заодно прогулы тебе выставлю за сегодня! Съел?

— Съел! — кивнул Олежек и, глядя вслед однокласснице, подумал, что вот захочешь так специально прожить — чтобы муж старше на пятнадцать лет, дети, пьянство и пустота, ничего не получится. Или — ничего трудного? А всё-таки вкусно от Светки пахнет, точно успела барбарисовую карамельку за щёку дома сунуть.

— Олег! — раздался над аллежкой голос Коляна. — Олег! Тебя Васька зовёт!

— Чего он хочет? — поднялся Олежек.

— Поговорить, — шмыгнул носом Колян. — Пошли, всё равно куда не денешься. Пошли, он мячик забрал.

— Ты это... — Олежек поёжился, даже свитер вдруг показался ему слишком просторным. — Ты не ходи к нашему пруду. Особенно через четыре года. Вот перед выпускным — не ходи. Ещё утонешь.

— Ты дурак? — поскрёб в носу Колян. — Чего каркаешь? Во-первых, я после восьмого пойду в ПТУ, какой выпускной? Во-вторых, я плавать не умею. В-третьих, кто ж в нашем пруду купается, там столько железа на дне, брюхо можно распороть! Слушай, может быть, ты и правда заболел? Хочешь, я Ваське скажу, чтобы он не лез к тебе?

— Он тебя послушает? — отчего-то безразлично поинтересовался Олежек. Колян всё так же отвечивал будущим утоплением. Не купаться он пойдёт на пруд, просто нажрётся до беспамятства и забредёт туда, заблудившись.

— Не знаю, — сплонул Колян. — Мамка-то скоро твоя со смены пойдёт?

— В восемь вечера, — как эхо отозвался Олежек, но привычного страха не почувствовал. Точнее, страх был, но он оказался придавлен той самой тьмой, что накрыла его в ворота свитера. — В ворота свитера, — пробормотал Олежек и тут же снова стянул с себя свитер. И снова надел. И снова его стянул. Холодный апрельский ветер схватил мальчишку за плечи, но тьма в глазах не исчезла, она просто разорвалась на части и спряталась во встречных фигурах. Обернулась несчастной или счастливой жизнью, скорой или нескорой смертью, болезнями и радостями, неудачами и везеньем.

— Пойдём, — занял Колян. — Не будет ничего, не бойся!

— Так не бывает, — убеждённо произнес Олежек. — Не бывает, чтобы знать будущее! Оно происходит само собой. Вот я остановился и никуда

не иду, вот я опять иду, всё зависит от человека. Нельзя точно знать, что будет даже через пять минут!

— Можно! — тоскливо сдвинул брови Колян. — Через пять минут любому тебе придётся говорить с Васькой. Он так и передал, что ждёт, и сказал, что встреча... — Колян ещё сильнее наморщил лоб и произнёс: — не-от-вра-ти-ма.

— Наверное, — почему-то легко согласился Олежек и с удивлением покосился на собственные ноги. Колени у него не дрожали. Нет, слабость была, он вообще еле шёл, ему казалось, что он должен был упасть ещё десять шагов назад, но он продолжал идти, хотя больше всего хотелось присесть всё на тот же бордюр и закрыть глаза, чтобы никого не видеть и не слышать.

— Пошли, пошли! — принялся торопить приятеля Колян. — Он в беседе тебя ждёт.

В беседе, понял Олежек, — значит, из дома их никто не увидит и Васька будет делать с ним всё, что захочет. Ну и пусть. Пусть делает всё, что захочет. Год назад Васька докопался до Вовчика из жёлтого дома, приём ему какой-то показывал, руку в локте сломал. Неизвестно, как он с родителями Вовчика всё уладил, а самого пацана теперь за десять шагов обходит. Может быть, и с ним такое же случится? Интересно, больно это — ломать руку?

В беседе было грязно и сыро. На огрызках стола лежал кусок мокрого ДСП, тут же валялись сигаретные фильтры, подсыхали плевки. Младший брат Васьки Игорёк деловито тасовал колоду карт, ровесник соседского Серёги Виталик из противоположного дома сортировал собранные по урнам «бычки». Васька, встряхивая головой, чтобы непослушная прядь чёрных волос сползла со лба, наматывал на кулак тонкую стальную цепочку, на конце которой висел перочинный нож.

— Ну, привет-привет, урод, — сплюнул на дощатый пол Васька. — Значит, в заречный микрорайон ходишь драться? Я уж думал и сам сходить посмотреть, кому ты там рыло начистил! В кровь разделал, судя по кулакам?

— Чего хочешь? — спросил Олежек.

— Что? — вытаращил глаза Васька. — Ты ж только мычал раньше! Разговаривать научился? А ну-ка, замычи!

«Сядет, — подумал Олежек. — Не теперь. Что теперь будет — не ясно. Муть какая-то в глазах вместо “теперь”. Через десять лет сядет. Там и кончится. Страшно кончится. Поднимут его за руки и ноги в камере и ударят о пол. Упал с нар, скажут. Но это через десять лет будет, а до тех пор ещё успеет гадостей натворить, потому что изнутри гадкий. Гадкий и грязный. И всё, к чему он прикасается, обращается в грязь и мерзость».

— Я не корова тебе, — сказал Олежек, едва сдерживаясь, чтобы не упасть.

— Сейчас будешь, сучонок, — оскалился Васька и подозвал Коляна. — Вмажь ему.

— Так это... — залепетал что-то невнятное Колян.

— Боишься? — поднял брови Васька и выщелкнул короткое лезвие. — Я, что ли, буду шелупонь эту учить? Или мне мячик твой на лоскуты пустить?

— Не надо мячик! — побагровел Колян.
— Не буду! — расплылся в улыбке Васька. — Виталик, отдай ему мяч. Только имей в виду, парень, если мы разойдемся, то сходимся по-другому будем.

— Держи, спортсмен, — выкатил из-под скамьи мяч Виталик. — А сам побудь здесь пока. Тебя никто не отпускал.

— Что он сделал? — хрипло спросил Колян.

— Да ничего, — выпятил губу Васька. — Врёт много. Надо бы, чтобы не врал.

— Так он больше не будет, — затосковал Колян.

«Жаль, что я трус, — подумал Олежек, чувствуя, как сводит ненавистью пальцы. — А ведь Виталик в порядке. Всё у него почти будет: и семья, и дом, и дорогая машина, и дети, а чего не будет, никак не разглядеть. Но не будет чего-то, точно».

— Конечно, не будет! — хихикнул Васька. — Получит по рылу и не будет! Или ты не мужик, Колян?

— Борзых учить надо, — пискнул Игорёк, который через восемь лет попадёт на какую-то войну, натворит там дел, грязных дел натворит, но и сам сгинет.

«Войну? — удивился Олежек. — Какую ещё войну?»

— Ну, ты это... — почти заплакал Колян и ударил Олега кулаком в плечо.

— Нет, — чмокнул Васька. — Не пойдет. Ты бы его ещё погладил! Сюда надо бить, сюда! — он постучал по собственной правой скуле. — Обновить надо синячок, понял?

— Понял, — потерянно прошептал Колян, но Олежек его не услышал. Колян ударил его в плечо. Не больно ударил, так, только обозначил тычок, но что-то хрустнуло в Олежке от удара. Не в плече хрустнуло, в голове. Хрустнуло, но не сломалось, а словно исчезло. Исчезли боль, страх, слабость, но и ненависть не прибыла, нет. Она растворилась вместе со страхом, а остались только досада и удивление, что он сам пришёл к этой мерзости и выслушивает всякую чушь, и что хороший парень Колян на его глазах сам становится мерзостью, потому как нельзя оставаться чистым, если общаешься с грязью, и что тот же Виталик со всем своим будущим благополучием тоже будет грязью, но грязью удачливой и покрытой позолотой. До времени.

— Сюда нужно бить! — ткнул себя пальцем в скулу Васька.

— На себе не показы... — пискнул Игорёк, но не успел договорить, потому что Олежек схватился за лист ДСП и ударил сам. Беседка повалилась куда-то в сторону, или это упал Олежек, он не понял. Мир перевернулся, рассыпался на картинки и звуки, которые никак не хотели складываться друг с другом, — искажённое лицо Васьки, блеск лезвия, выпученные глаза Игорька, в кровь разбитый нос Виталика и истошный рёв Коляна.

— Ерунда всё, ерунда, мне и не больно! — услышал Олежек радостный голос Коляна, когда мир успокоился и сложился. Мальчишка снова слышал чириканье воробьёв, увидел беседку с выломанной стенкой, каких-то людей, загораживающих кого-то, похожего на Ваську или Виталика, ревушего Игорька, Светку с испуганными глазами и посеревшими вес-

нушками, её мать, заматывающую бинтом руку Коляну, и откуда-то взявшегося Димку, который пытался вырвать из рук Олежека обломок ДСП.

— Чего ты ржёшь, дурак? — весело шурился больным глазом Димка. — Ничего смешного. Этот урод и ножом пырнуть мог, вон Коляна зацепил, когда тот его держал. А хорошим Колян оказался парнем, я думал, что размазня. И про тебя думал, что ты размазня.

— Я и есть размазня, — засмеялся Олежек, уже начиная понимать, что, кроме ссадин и царапин, ничего не заработал, разве только синяк ему успел обновить или Васька, или Виталик, и что беспокойство, мучившее его с утра, растворилось без следа.

— Тогда чего ржёшь? — не понял Димка.

— Не вижу ничего больше, — сказал Олежек. — Не понимаешь? Ну и ладно! Да нет, не бойся, так вижу. Внутри не вижу. Про тебя вот ничего не могу сказать. Не могу разглядеть.

— А что про меня говорить? — поднял брови Димка. — Вот я! Весь на виду! Ты сам-то как? Чего в школе не был? Заболел?

— Нет, не заболел, — прошептал Олежек, оглянулся и зажмурился, чтобы мир не превратился в цветную карусель. — Разве только умер.

Пёс

78

Когда Макарову исполнилось двенадцать лет, он вместе с мамой покинул родную деревню и отправился навстречу лучшей жизни. Лучшая жизнь задорно подмигивала из будущего, но не подпускала, держала дистанцию. И Макаров следовал за взмахом её ресниц, не предполагая, что однажды лучшая жизнь окажется за спиной и будет точно так же подмигивать из прошлого, но ни сил, ни возможностей устремиться за ней уже не будет.

Пятиэтажка, в которой мама Макарова получила комнатуху, напоминала брошенный на замусоренный луг силикатный кирпич. Роль густой травы исполняли разлапистые ели, а роль мусора — многочисленные погребки и сарайчики, сооружённые в ближайшем овраге местными жителями из подручных материалов, благо ельник рос без присмотра. Картину жизни дополняла колючая проволока притаившейся за поворотом дороги воинской части, а завершал дощатый забор убогой турбазы, занимавшей противоположную сторону обезображенного оврага. Дети, которых угораздило оказаться «кирпичными» обитателями, тонули в обозначенном пейзаже, словно муравьи, заблудившиеся в высокой траве, но муравьи беззаботные, а оттого счастливые. Одним из них, пусть и не особенно счастливым, и стал Макаров.

Сначала он чурался новых знакомых, потом выпячивал грудь и тарашил глаза, в ярких красках расписывая своё «героическое» деревенское прошлое, пока наконец почти не притёрся к компании, которая гоняла футбол на кочковатом поле между ельником и пятиэтажкой, собирала окурки на территории турбазы, купалась в вонючем пруду и затевала костры и шалаши в ближайшем березняке. Вот только друзей Макарову

не удавалось найти. У него появились приятели, но назвать их друзьями Макаров не мог, потому что из деревенского прошлого помнил: друг — это тот, который всегда друг, а не до того момента, как над тобой начнёт насмехаться какой-нибудь великовозрастный переросток типа старшеклассника Санька. Друг не обязан биться головой о стену, но вливать угодливый смех в оскорбительный хохот не должен тоже.

Однако никакие насмешки не продолжались вечно, грустное «сегодня» неизменно превращалось в смутное «вчера», близилась осень, а вместе с ней и школа, что означало новые знакомства и новые переживания, и Макаров незаметно для самого себя пустил в новой реальности сначала корешки, потом корни, а затем и распустился первыми листочками: у него появилась мечта — собака.

У Макарова никогда не было собаки. Оставленная в деревне бабушка предпочитала собаке кошку и кур, и стенания внука, подкреплённые закладками в потрёпанном томике по служебному собаководству, неизменно разбивались о бабушкину неуступчивость. Теперь давняя мечта ожила. Вокруг пятиэтажки бродила свора беспородных собак, которые не требовали ухода, но так или иначе были разобраны между подростками. Каждая псина имела кличку и хозяина, который время от времени баловал её лакомством. К примеру, вожак стаи — худосочный Шарик — принадлежал Саньку и следовал за ним неотступно. Кудлатый и независимый Тарзан обихаживался сопливым Колькой. Коротконогий Тузик, вообще-то принадлежавший водителю турбазовского автобуса, проявлялся благосклонностью столь же мелкого Игорька. Неунывающий, облепленный репьями Дружок был всеобщим любимцем, но больше других чтит нагловатого Серёгу.

Макарову собаки не досталось. Конечно, он не упускал случая погладить любую псину, благо каждая готова была подставить голову для ребячьей ласки, но никакая ласка не могла её удержать, стоило настоящему хозяину окликнуть питомца. Ни одна из этих собак не смотрела на Макарова такими преданными глазами, какими смотрела она на хозяина. Ни одна из этих собак не променяла бы хозяина на тысячу Макаровых, даже если бы у каждого из них был припасён кусок вкусной колбасы в мятой газете, ну разве только на несколько секунд. Ни одна из них не принимала Макарова за своего, хотя он, точно так же, как сопливый Колька, готов был бежать домой, размазывая сопли и слёзы по щекам, когда, возмущённый поражением Шарика в короткой схватке с Тарзаном, Санёк переломил о спину последнего ивовый лук.

А потом из ельника вышел огромный пёс.

Может быть, он появился вовсе не из ельника. Может быть, он пришёл со стороны воинской части или из-за реки, за которой тонула в грязи маленькая деревенька, — это было неважно. Всем обликом, исключая обвисшие уши, пёс напоминал немецкую овчарку и вёл себя соответственно. Он лениво рыкнул на Шарика, заставив того поджать хвост, равнодушно перешагнул через Тузика, не обратил ни малейшего внимания на Дружка. Пёс аккуратно взял с ладони Макарова зеленоватую турбазовскую котлету, позволил себя погладить, равнодушно помахал хвостом и пошёл по своим делам, не одарив преданным или просящим

взглядом никого из мальчишек, хотя впалые рёбра никак не намекали на прошлое благополучие великана.

— Вот это псина! — восхищённо пробормотал кто-то.

— Телёнок! — хмыкнул другой.

— Ерунда, — не согласился Санёк, свистнул посрамлённому Шарик и вразвалку отправился прочь.

— Мой будет! — заявил ровесник Макарова Серёга.

Но пёс остался ничьим. Он не подчинился никому, хотя от угощения не отказывался. Он позволял себя гладить, но подрагивающая возле жёлтых клыков чёрная губа не давала смельчаку расслабиться ни на мгновение. Пёс не отзывался ни на какие клички и не пытался занять какое-либо место в ребячьей или собачьей стае. Он был сам по себе, и Макаров смотрел на пса с завистью. Наверное, потому, что его даже тихий рык неизменно отгонял четвероногую мелочь и освобождал дорогу от двуногой.

Пёс проявлял некоторую благосклонность только к Макарову. Он бесцеремонно обнюхивал карманы поклонника, снимал сизым языком с ладони лакомство, но однажды зарычал и на мальчишку. Валяясь на траве, Макаров откатился в сторону и случайно залетел под пса. От неожиданности тот подскочил, накрыл съёжившегося Макарова четырьмя лапами и зарычал по-настоящему, именно так, как зарычал на Шарика, заставив того поджать хвост. Макаров не поджал хвост, но страх, сковывающий мышцы, почувствовал. Он съёжился, прижал руки к животу и замер, разглядывая сквозь зажмуренные глаза оскаленную пасть. Пёс нехотя спрятал зубы, с явным недоумением обнюхал испуганное лицо Макарова и лизнул того в нос, а потом перешагнул через нечаянную жертву и ушёл.

— Теперь он — твой хозяин, — хихикнул Серёга, пряча в голосе зависть.

— Да пошёл ты! — принялся отряхиваться Макаров.

— Сам пошёл, урод, — тут же отозвался Серёга. — Собачья подстилка!

— Сам урод! — стиснул кулаки Макаров.

— Ну, — прищурился Санёк. — И кто кого? А ну-ка! Пацаны! Сейчас Макар с Серёгой драться будет!

— Чего это мне драться? — не понял Макаров, который драться не умел и ещё никогда толком не дрался.

— Да трус он, — сплюнул Серёга.

Макаров оглянулся. Верзила Санёк смотрел на него с презрением, а остальные — с любопытством, которое в одно мгновение могло обратиться таким же презрением. Он почувствовал противную дрожь в коленях и, чтобы не выдать её, широко расставил ноги и сжал кулаки.

— Кто трус?

— Да ты! — скривился Серёга.

Макаров ринулся на врага первым. Он зарычал точно так же, как только что рычал пёс, обхватил противника левой рукой за шею, повалил, а правой ещё в паденье стал бить Серёгу в живот, не чувствуя, что выбил палец и продолжает разбивать костяшки кулака об армейскую бляху Серёгина ремня.

— Прямо как пёс! — хихикнул кто-то из толпы, в ответ накатил хохот, а Макаров взглянул в испуганные, расширенные глаза побледневшего

Серёги, который замер под ним так же, как минуты назад застыл сам Макаров, и почувствовал, как через захлёстывающее торжество струится мелкое гадливое чувство.

— Ладно, — раздался разочарованный голос Санька. — Пошли на пруд купаться.

— А ты молодец, — подошёл к Макарову, который рассматривал опухающий кулак, Колька. — Пацан!

— Ничего так, — ударил его по плечу Санёк.

— Ещё и рычал! — подпрыгнул маленький Игорёк.

— Пацан! — подтвердил ещё кто-то.

Его хлопали по плечам, обсуждая подробности короткой драки, просили порычать до самого пруда, даже Серёга присоединился к общему хору. Макаров стал своим в один миг и, ощущая почти достигнутую лучшую жизнь, уже прикидывал, как перебинтует руку и будет рассказывать про сломанную кисть, что освободит его от последующих драк, и что переросток Санёк вовсе не такая уж мерзость, какой он показался Макарову при первом знакомстве, и о том, сколько теперь у него друзей!

На следующей день пёс не появился. Он не появился и на второй день, и на третий, и через неделю.

— Пришёл и ушёл, — высказал предположение Макаров, тасуя над брошенной в траву кепкой колоду карт и испытывая непонятную грусть. — Или хозяина отыскал.

— Ага, — хихикнул Колька. — Санёк его на поводок взял и в лес отвёл. Мы его на суку повесили. Хрипел ещё, тварь такая! Тяжёлый! Серёга ему камнем глаз выбил, а он всё дёргался!

Макаров бросил карты, поднялся и, жмурясь от дурноты, пошёл прочь.

Стекло

По вечерам Степан приезжал домой на грузовике. Если был пьяным, то выпадал из кабины на траву и тут же засыпал, если выпивши — спихивал на затылок кепку, улыбался и растопыривал руки, чтобы обнять троих пацанов — двух собственных сыновей и племянника. «Сыны!» — бубнил он слюняво и ждал, когда парни притащат спички и поднесут огонёк к размятой беломорине. Затем вставал на колени и заползал в избу на четвереньках, таща на себе хохочущую троицу. В сенях обычно спотыкался, опускался на локти и вскоре оглашал старенький пятистенок залившимся храпом. «Лошадь сдохла!» — с кривой усмешкой объявляла Нинка, жена Степана. «Тьфу!» — сердчала её мать. «Ну хватит уже, хватит! — морщилась сестра Нинки и мать Степанова племянника Тонька. — А ну-ка быстро мыть ноги! Да чисто! Пятки, пятки оттирайте!»

Если Степан не успевал уснуть, то вскоре его весёлость куда-то улетучивалась, он становился злым и мрачным и уже в постели начинал томительные разговоры. В доме стояла ночь, за окном качался уличный фонарь, но

от шевеления кружевных отблесков на стенах племяннику Степана казалось, что качается дом, а не фонарь. И что шум летнего дождя за окном на самом деле шум волн, и изба никакая не изба, а парусник, который режет килем чёрные волны. Только голос Степана всё портил. Дядька привычно ныл, что дом старый, что вот венцы поменял и фундамент подвёл, теперь перекрывать крышу, а дом записан на мать, ещё и Тонька тут с сыном своим пригrelась, за каким лешим он станет жилы рвать, если не на себя работать? Нинка что-то отвечала, успокаивала мужа, над дощатыми перегородками, что не доходили на ладонь до потолка, витал хмельной дух; Степан наконец засыпал и начинал привычно храпеть, а племянник продолжал качаться на волнах и думал, что раньше надо было засыпать, раньше, разве заснёшь теперь под этакий храп?

С утра Степан становился ещё злее, впрочем, с утра его почти никогда уже не было, как не было или Нинки, или Тоньки: они посменно трудились на сельской швейной фабрике; а вечером у калитки снова ревел грузовик, и маленький дворик, засыпанный опилками от предзимней пилки дров, оглашал пьяный крик Степана: «Сыны!»

В обед Степан приезжал трезвым. Иногда он приказывал поменять колесо, и вся троица дружно прыгала на стальной трубе, чтобы сорвать с места колёсные болты. Иногда требовал прибраться в кузове. Братья привычно карабкались через борт и сметали из кузова в вёдра зерно или комбикорм, сбрасывали в заросли шиповника кирпичи, перетаскивали во двор разбитые ящики или доски. Затем бабка загоняла работников обедать, и деревенская кухня наполнялась чавканьем и хрустом. Степан посыпал щи перцем, троица чернила и свои тарелки. Степан макал в солонку кольца белого лука, сыны хрустели вслед за ним и луком. Вот только сало Степан рубил кубиками, а племянник любил тонко, поэтому сердито хмурился и не хватался вслед за братьями за лакомство, не прилаживал его на чёрный хлеб. После первого на стол водружалась сковородка с картошкой, четвёрка дружно стучала по ней ложками, не забывая подцеплять из эмалированной миски сдобренную маслом капусту, потом сыны пили чай, а Степан выуживал из кармана четвертинку, срывал с неё кепку и, брякнув привычно: «Дай бог не последнюю, а если последнюю, то не дай бог», — опрокидывал чекушку-другую куда-то за полуметаллический прикус внутрь. Поймав в глаза блеск, Степан заводил грузовик и уезжал в совхоз, а троица наконец-то отрывалась от огородных забот и предавалась мальчишеским забавам — то есть казакам-разбойникам, футболу, речке и чужим клубничным грядкам.

Вечером племянник опять не мог заснуть: слушал храп Степана, посвисты братьев, сопенье Нинки и мамки, охи и ахи бабушки и пытался вспомнить собственного отца. Вспомнить не удавалось — перед глазами почему-то вставали армейские фотокарточки, счастливое лицо мамки, её руки в мыльной пене; потом начищенные сапоги, значок парашютиста, странная зелёная курточка с пришитой к воротничку белой тряпочкой — и сразу выгоревшие брови, беретка и испуганная тётка на деревенской автобусной остановке, которую его мамка била по лицу. На голове тётки колыхался украшенный пластмассовыми ромашками шиньон, она испуганно закрывалась руками и причитала: «Да что ты, Тонь, что ты», — а его мамка продолжала хлестать её по щекам и говорить что-то о бро-

шенном ребёнке и непутёвом папке, которого эта тётка куда-то увела. Ребёнок стоял тут же, сгорал от стыда и немочи, задирает руки локтями вверх и тербил на спине воротник рубашки. Потом он очень долго куда-то ехал вместе с мамкой в холодном вагоне и ещё дольше сидел в тёмном коридоре, в который выходило множество запертых дверей, и вроде бы ждал папку, но не дождался. Тётка, наверное, помешала, которая мыла пол в коридоре и всё время заставляла мамку переставлять табуретку, на которой та сидела вместе с сыном, из угла в угол. Почти сразу племянник вспомнил шумное московское метро и опять мамку, которая вдруг словно онемела, замерла, обмякла, задышала неровно, почти со всхлипами, а потом перебросилась несколькими тихими словами с неизвестным высоким мужчиной и вдруг потащила сына к эскалатору, и только там уже ответила на его незаданный вопрос:

— Так, человек один, предлагал жениться, но я папку твоего выбрала. Понимаешь?

— Mam, а ты женись на мне, — попросил мальчишка и даже приподнялся на цыпочки. — Я скоро вырасту! И никакая тётя меня от тебя никогда не уведёт!

— Ладно уж, жених! — засмеялась Тонька и почему-то спрятала нос в платок.

Племянник затыкал ухо краем мягкой подушки и думал, что рано или поздно его папка вернётся, а если не вернётся, то уж точно вспомнит, что в далёкой деревне у него остался никакой не племянник, а самый настоящий сын. И хорошо бы, чтобы он узнал, что двоюродные братья стараются не подпускать его к пьяному дядьке Степану, который в папкино недолгое бытие в этой же деревне как раз сидел за пьяную драку в тюрьме, орут, что это их папка, а не его, да он и сам не больно рвётся к тому обниматься, потому что когда тот пьяный, то сразу засыпает, а трезвый злой, и если братья подерутся между собой, то залетает в горницу разъярённый, выхватывает ремень и вытягивает по спинам всем троим, даже если дрались только двое. Хорошо ещё хоть, что злой он бывает редко, потому что пьяный почти всегда, а пока не проспится, всё одно не протрезвеет. Один раз только сразу трезвым сделался, когда домкратил угол дома и бревно щёлкнуло, вывернуло домкрат, выскочило наружу и замерло чёрным щелястым коплём в ладони от племянниковой щеки. Вот радости было, сразу разогнал мелких помощников, а то так бы и чистили кирпичи от ссохшейся глины, мешали раствор в корытце да припили ржавые гвозди до самого обеда!

Утром племянник проснулся рано, но открыл глаза не сразу, а сначала послушал кукареканье с заднего двора, потом стук сечки в курином корыте. Втянул носом запахи с кухни, но пирогов не почувствовал, да и разве праздник какой или выходной, вон и бабушка только встала, охает да заматывает серой лентой вздувшиеся синие вены на тонких ногах. Почему же тогда голос Степана на кухне? Злой и отрывистый, значит, трезвый с утра? Почему дядька не на работе? Неужели выходной? А если выходной, где ж тогда запах пирогов?

— Отпуск у Степана, — заприметила потайные глазные щёлочки бабушка. — Вставай, парень. Работа сегодня будет. И завтра. Крышу править

надо, а то течёт. Да не жмурься ты, думаешь, что твой папка справнее был? Такой же...

Племянник опустил ноги на холодный щелястый пол, одёрнул чёрные сатиновые трусы, заправил в них майку и выскочил на крыльцо. Там уже сидели братья, ёжились, стучали зубами от утренней прохлады, ловили острыми плечами солнечные лучи.

— Ну что, цыплята? — загремела молочным бидончиком в калитке их мамка. — А ну-ка, живо чистить зубы и за стол!

Тут же началась толкотня у медного рукомойника, потом локти встали на побитую ножом холодную клеёнку кухонного стола, потом Нинка погнала племянника перемывать руки: нечего трогать кота под столом, там уж и манная каша расплылась по разномастным тарелкам, и крошка масла в её центре начала обращаться в жёлтую каплю. Где-то над головой послышался непривычный в доме мат и стук сапог, а ещё через полчаса сыны с завязанными марлей мордочками в клубах пыли ровняли на чердаке керамзит. Какие-то мужики вместе со Степаном тут же новили стропила, во дворе лежали пласты шифера, осколки которого замечательно щёлкали в костре, валялась груда гнилых досок, ощетинившихся почерневшей дранкой. Сыны раздвигали по углам чердака коричневые шарики, набивали самыми большими карманы, дурачились, бросались друг в друга, хихикали, но дело двигалось. Сквозь пыль пробивался смоляной запах свежего дерева, мужики бодро стучали топорами, Степан что-то говорил про шиферные гвозди, как вдруг под ногами племянника хрустнуло и зазвенело.

— Итить твою... — рявкнул Степан, засадил топор в брус и побежал к сынам, перепрыгивая через балки.

Племянник замер в ужасе. У ног его искрились осколки стекла, а рядом, у бревна, стояло вынудное чердачное окно, одну створку которого Степан так и не успел застеклить и уже не успеет, потому что заготовленный прямоугольник только что растоптал его племянник.

— Это не я! — тут же заявил один из сынов.

— И не я! — пискнул второй.

Племянник увидел злые глаза дядьки, занесённую над ним тяжёлую руку и зажмурился.

Когда он открыл глаза, Степан молча собирал осколки в помятое, выпачканное в растворе ведро.

— Кыш отсюда! — прошипел дядька сквозь зубы. — Все трое!

Племянник проглотил непролитые слёзы, спустился по шаткой лестнице вниз, в очередь с братьями молча и без визга выдержал жёсткие пальцы тётки на собственной макушке, не заплакал от попавшего в глаза мыла и не захныкал от не слишком тёплой воды. Так же молча выхлебал тарелку супа, но на речку с братьями не пошёл. Слёзы ушли внутрь и остановились где-то в груди. Племянник даже поскрёб пальцами по рёбрам, но слёзы ни уходили глубже, ни поднимались к глазам. Мальчишка вышел на улицу и поплёлся вдоль засохшей под августовским солнцем колеи к безголовой церкви, своды которой коптила совхозная мастерская. Забрёл на старое кладбище, посидел на вывернутом из могилы чёрном камне, прошмыгнул через дырку в заборе к учительскому дому,

покачался на качелях, пробился через лопухи к заросшему ряской пруду. Мостки на краю пруда прогнили, но ещё держались. Племянник лёг животом на тёплое серое дерево и стал смотреть в воду. В зеленоватой глубине змеились коричневые водоросли, вздрагивали красные шарики каких-то жучков, серебристыми искрами взбрызгивали стрелки мальков. Где-то над головой трещали стрекозы, ветер гладил макушку, и казалось, что ничего не произошло. Племянник попытался представить, что было бы, если бы Степан отвесил ему подзатыльник, неужели сравнял бы с собственными сыновьями, но вместо этого вдруг пожалел себя и заплакал горько и неутолимо. Слезы потекли в воду и стали таять, не оставляя следа. И сам племянник словно растаял, раскинув руки и радуясь, что лето ещё не кончилось, и яблоки уже поспели в саду, и солнце греет ему спину, и что Степан всё-таки не посмел его ударить, и вечером придёт со смены мамка, и где-то далеко, наверное, всё ещё зачем-то топчет землю его собственный живой отец.

Он лежал долго, может быть, даже подремал, потом потянулся, поднялся и двинулся к бревенчатому совхозному складу, вокруг которого валялось никому ненужное добро. Выцарапал из размокшей под дождём картонки красный металлический зуб для сенокосилки или комбайна, поднял руки и вытоптал в крапиве тропинку к задней стене сарая, подтащил к окну пустой ящик, смахнул паутину и принялся отгибать зубом тонкие гвозди и выдирать из рамы посеревшие штапики. Наконец пыльное стекло шевельнулось и легло племяннику в ладони. Мальчишка осторожно слез с ящика, подхватил добычу полой рубахи и огородами пошёл домой. Незаметно забрался на чердак, поставил стекло возле рамы, облегчённо вздохнул и скользнул вниз, забрался в густой малинник.

— Так ты тут? — сунула ему через пять минут в руки миску бабушка. — А я уж замучилась тебя кликать! А ну-ка, собери ягодки мамке к чаю! Со смены уж скоро придёт!

— Сыны! — раздался пьяный крик Степана со стороны крыльца.

Чай

Известный мне рецепт хорошего чая прост, но повторить его сложно, практически невозможно. Нужные ингредиенты развеяны по ветру и по времени, да и само время стало иным, сменило краски и вкус. Остались только воспоминания. К примеру, для приготовления настоящего деревенского летнего чая потребуется следующее: старый деревянный дом с печкой, фаянсовый чайник, нагретый солнцем подоконник и буханка хлеба на нём, индийский чай в мягкой пачке со слонем, который тут же пересыпается в жестяную банку с обрубленной чайной ложкой, кипятилок из большого эмалированного чайника, веточка мяты (по желанию) или лимон и бабушка. Главным в данном списке, конечно же, является бабушка, поскольку все остальные составные части зависят именно от бабушки и подчиняются только ей. Старый деревянный дом сияет чи-

стотой и свежестью благодаря бабушке, фаянсовый чайник продолжает жить, несмотря на щербину на крышке, благодаря бабушке, и даже хлеб заполняет тесную кухню душистым запахом только потому, что бабушка выставила его под солнечные лучи. Мы толчёмся под острыми бабушкиными локтями, кромсаем душистый хлеб, посыпаем его солью, натираем глянцевую корочку чесноком и ждём рождения чая. Брат Сашка украдкой плюёт на рыжий чугун печной плиты, смотрит, как слюна сворачивается в белые комочки, и вздыхает — бабушкиных пирогов и плюшек, за которыми от противня тянутся коричневые нитки сахара, сегодня не будет. Что ж, зато есть затвердевшие конфеты «Коровка», неровный кусковой сахар и чай. Поспеваает, как говорит бабушка.

Она ополаскивает фаянсовый чайник кипятком и достаёт древнюю жестянку. Открывает скошенными ревматизмом пальцами одну за другой две её крышки и ловит обрубок чайной ложки. Чаинки сыплются в горячий фаянс с тихим шелестом. В воздух взмывает эмалированный чайник и исторгает через длинный изогнутый носик упругую струю кипятка. Мы в нетерпении, но заварочный чайник наполняется наполовину и, накрытый тряпицей, отправляется на край плиты. Сахарница уже открыта, чашки стоят на блюдцах, чайные ложки зажаты в кулаках и даже зубах. Сашка приносит из сеней плошку, в которой плавает кусок масла, и пытается отрезать от него пластинку прямо в воде. Бабушка тут как тут. Масло оказывается на тарелочке, чайник доливается кипятком доверху, ещё несколько минут — и кипяток смешается с заваркой уже в наших чашках. Прямо в густой аромат плюхаются кубики сахара. Гремят чайные ложки. Наклоняются чашки, и нестерпимо горячий чай разливается в блюдца. Исцарапанные физиономии принимают к покрытому клеёнкой столу, и раздаётся старательное выдувание и счастливое хлопанье. Я кладу кусок сахара в блюдце и смотрю, как он истаивает, подобно леднику, занесённому неведомым течением в тёплое море. Мы «чайпиём». Вся жизнь впереди.

Как это всё повторить?

Где отыскать чёрные щипчики, которыми сахар дробился на крохотные осколки?

Куда сгинул знающий все секреты чаеделия фаянсовый чайник?

И куда всё-таки делась бабушка?

Я вспоминаю волшебный вкус чая, который мне так никогда и не удалось повторить, и думаю, что настоящий секрет его заварки бабушка не открыла даже нам. Не о нём ли она плакала, когда ходила по полю между оставшимися от её родной снесённой деревни липами и говорила, говорила, говорила... Где и кто жил и куда делся...

Мы насыпаем в миску соду и с тряпками отправляемся во двор начищать самовар, потому что завтра день рождения бабушки, она ждёт гостей, а чай из самовара ещё вкусней, чем из эмалированного чайника. Затем помогаем вымести из избы густо рассыпанную по полу зелёную траву, которая оставляет после себя свежесть и чистоту. Затем отправляемся с ведрами на колонку. А бабушка расправляет потрескавшимся ногтем чайную фольгу и прячет её в шкаф. Там уже толстая пачка таких же листов. Бабушка мечтает оклеить фольгой хотя бы одну комнату. Чтобы блестело.



Виктория Александровна Нечаева родилась в Коломне. В продолжение семейной традиции окончила Московское Высшее техническое училище (МВТУ) имени Н.Э. Баумана, однако очень скоро распрощалась с профессией инженера и ушла в журналистику.

Коломенские газеты «Ять» и «Региональные вести» начинались при непосредственном участии Виктории — в качестве заместителя главного редактора.

Очень интересным и полезным в плане профессионального роста стал двухлетний опыт работы помощником по связям с общественностью главы Коломенского района. Достаточно продуктивным считает сотрудничество с газетой «МК».

Виктория Нечаева — профессиональный журналист. Но работать предпочитает *free lance*: «Чтоб не зависеть от начальников и графиков».

Член Союза журналистов России.

Живёт в Коломне.

РАССКАЗЫ

Виктория НЕЧАЕВА

ВЫСОКИЕ КАБЛУКИ

Новое платье Королёвой

Люди не умеют жить. Их этому не учат.

Мадемуазель Шанель

Не бывает неправильных фигур — бывают неправильные платья.

Эвелина Хромченко

Фамилия Ленке осталась от первого и единственного брака. Брак был недолгим, развод — ужасным, но девичью фамилию она решила не возвращать. Ленка надеялась, что звучное *Королёва* даст повод мужчинам называть её королевой. Вот такая была нелепая мысль. Хотя Ленку понять можно: вряд ли кому пришло бы в голову называть королевой гражданку Коленкину. Вот Королёва — совсем другое дело.

Но красивая фамилия не помогла: Ленка так и не вышла замуж и к «ягодному» юбилею имела взрослую дочь от человека, который не захотел стать её мужем, квартиру, требующую ремонта, и прекрасную мечту о собственной машине. Ленке казалось, что появившись у неё машина, и всё срастётся: появится рядом лучший в мире мужчина, хорошая работа и... Она не смогла бы, наверное, сформулировать чётко, что ещё должно произойти в её жизни с появлением машины, но точно знала, что именно машина чудесным образом разрешит все её проблемы.

Но машины всё не было, и чем дольше она не появлялась, тем мрачнее делался Ленкин взгляд. А тут ещё

бросил очередной любовник, грянул финансовый кризис, и Ленку уволили «по сокращению».

— И как прикажете теперь быть «ягодкой опять»? — вопрошала Ленка подружку Софу, запивая слёзы дешёвым коньяком.

Это был первый день рождения, на который изо всех возможных друзей и приятелей пришла только верная Софа, согласная выслушивать Ленкино нытьё бесконечно.

— Сорок пять лет. Мне сорок пять лет! — выла Ленка, заходясь от жалости к себе. — Жизнь прошла, а что в итоге? У меня даже машины нет!

— Ничего-ничего, — гладила её по плечу Софа. — Всё наладится, всё будет хорошо...

— Что? Ну что будет хорошо?! Я старая, страшная, никому не нужная кляча! — в самокритике Ленке не было равных. — Зачем вообще такая жизнь?

— Ничего-ничего... — Софа украдкой вздыхала и продолжала гладить Ленкино плечо.

Ленка проревела всю ночь. Софа сидела рядом, вздыхала в ритм подружкиным рыданиям, но под утро всё-таки заснула, свернувшись калачиком на краешке Ленкиной кровати.

* * *

Проснувшись около полудня, Ленка проводила подругу, умылась, надела тёмные очки от заплаканных глаз и отправилась в магазин: холодильник оказался угрожающе пуст. Ближайшим к дому был огромный супермаркет. Ленка не любила большие магазины, но сегодня просто не было сил идти куда-то ещё.

У стеллажа с овощами Ленку окликнули:

— Ленка? Коленкина? Ты?

Эффектная женщина в легкомысленной шубке поймала Ленкину руку, когда та тянулась к капусте:

— Не узнаёшь? Да ладно! Ну Ленка! Ну ты чё?!

И Ленка узнала. Вот по этому «Ну ты чё?!» и узнала. Красавица оказалась давней приятельницей сестры бывшего мужа Ленкиной... в общем, долго объяснять. Скажем короче: её звали Верой, и когда-то очень давно они с Ленкой были довольно близко знакомы.

— Привет. — Ленка не была расположена к разговорам о чужом счастье. А Вера так явно светилась им, что не заметить этого было просто невозможно.

— Ты чё, Ленка? Случилось что? Проблемы? — Вера убрала с лица улыбку и заглянула прямо в несчастную Ленкину душу.

— Ничего, всё нормально. — Ленка опять потянулась к капусте.

— Я вижу, как «нормально». Да брось ты эти овощи! Пошли! — Вера решительно обхватила Ленкину талию и с удивительной силой поволокла Ленку к выходу.

— Куда? Мне капусту... — вяло сопротивлялась Ленка.

— Потом. Успеет капуста. — Вера была непреклонна, и Ленка сдалась.

Они вышли из торгового зала и поднялись на второй этаж, в небольшую кафешку при кинотеатре.

Ленка позволила усадить себя за столик, уронила голову на руки и опять разрыдалась.

— Понятно. — Вера достала сигареты, шёлкнула зажигалкой, закурила. — Вот что, дорогая. Давай-ка вытирай сопли и рассказывай.

— Ммм!.. — Ленка покачала головой, обливаясь слезами и обозначая полную невозможность говорить членораздельно.

— Прекрати! — Вера стукнула кулачком по столу. — Взрослая девка, а ведёшь себя, как!.. Всё! Немедленно возьми себя в руки и рассказывай.

Ленка никогда не умела противостоять силе. Послушно утёршись бумажной салфеткой, она, громко икая и шмыгая носом, кое-как рассказала бывшей приятельнице свою печальную историю. Вера слушала внимательно, не прерывая и не переспрашивая. Только в самом конце повествования, когда Ленка готова была снова удариться в плач, резко оборвала:

— Понятно. — И опять закурила.

Ленка опешила. И это всё? А где слова сочувствия? Где сострадание к её, Ленки, неудавшейся жизни? Где попытки успокоить, утереть её слезы? Если ей так безразлична Ленкина судьба, зачем спрашивала?

Ленкины терзания прервал голос Веры:

— Всё ясно. Тебе срочно нужно новое платье!

— Что?! — Ленка не верила собственным ушам: у неё несчастье, жизнь не удалась, жрать скоро будет нечего, а она — платье! — Ты серьёзно?

— Абсолютно. Деньги есть?

— Да... немного.

— Хорошо. Не хватит — я добавлю. Пошли. — Вера встала, собрала со стола сигареты и зажигалку. — Пошли!

— Куда? — Ленка оторопела.

— Туда! — Вера опять бесцеремонно сграбастала Ленку и потащила к выходу.

— Но зачем? — Ленка пыталась сопротивляться хотя бы словом.

— Ты всерьёз полагаешь, что в этих вот обносках можно начать новую жизнь? — Вера не останавливалась, и Ленке пришлось ускорить шаг.

— Новую жизнь? — Ленка не понимала.

— Ну так прежняя не удалась, значит, надо начинать новую. — Вера была решительна. — А какая может быть новая жизнь без нового платья?

Ленка не понимала, какое отношение может иметь обыкновенное платье к новой жизни. Она вообще довольно прохладно относилась к одежде: Ленка считала, что её далеко (очень далеко!) не идеальную фигуру необходимо как можно тщательнее прятать, и потому носила исключительно тёмное, скрывающее всё и удобное. Платья она не носила вовсе.

— Я не ношу платья. — Ленка покорно семенила за Верой.

— Ну и дура!

Вера затащила Ленку на третий этаж, где загадочно мерцали витрины разнообразных магазинов и магазинчиков.

— Сюда. — Вера уверенно прошла вдоль пестрых рядов платьев, выбрала несколько («Размер? Ага») и потащила Ленку в примерочную.

— Сначала вот это, — протянула плечики с невесомым жемчужно-серым. — Давай-давай!

Ленка надела платье и обомлела: шёлк прохладно струился по её телу, деликатно скрывая лишнее и подчёркивая сиянием цвет её глаз.

— Ну как? — Вере, видимо, не терпелось, и она заглянула в кабинку без приглашения. — Класс! Самое то. Давай на всякий случай померяй ещё вот это и это, — и протянула ещё две вешалки.

Они тоже были очень хороши и очень удачно сидели на Ленке — маленькое чёрное и сложного кроя васильково-синее. И оба Вера похвалила. Но на кассу взяла то, первое, жемчужно-серое.

— Теперь туфли. — Вера решительно направилась в магазинчик напротив. — Это будет проще.

Но в этом магазинчике её ничего не привлекло, и пришлось обойти ещё несколько обувных лавок, пока она наконец воскликнула:

— Вот! То, что нужно! Размер? — и поставила перед Ленкой пару красных лаковых туфелек. Туфельки оказались очень удобными, но пугали Ленку высоченными каблуками.

— Я не ношу каблук! — взмолилась Ленка.

— Будешь! — отрезала Вера. — Так. Теперь мы поедem в одно интересное место... — Она запахнула шубку и увлекла Ленку вниз, к выходу. По дороге Вера забежала в магазинчик аксессуаров и что-то быстро убрала в сумочку, расплатившись с продавцом.

Ехали они недолго. Вера вела машину спокойно и уверенно. Машина у неё была тоже очень красивая.

— Мы куда? — Ленка даже не пыталась побороть любопытство.

— Увидишь. — Вера заглушила мотор, взяла сумочку. — Выходи, приехали. Захвати платье и туфли.

Салон красоты!.. Ленка уже и не помнила, когда последний раз была у парикмахера, а уж в салоне красоты!.. В день свадьбы, тысячу лет назад...

— Девочки, привет! — Вера по-хозяйски скинула шубку и засияла улыбкой. — Вот эту барышню приведите, пожалуйста, в порядок. А мне пока кофе соорудите — как всегда.

— Вер, я... — Ленка испугалась.

— Ты молчи. — Вера была, как всегда, непререкаемо категорична.

А Ленка и не собиралась — она не знала, о чём говорят в таких местах.

— К зеркалам её не подпускайте! — распорядилась Вера, попивая кофе и весело болтая о чём-то с молоденькой блондинкой.

Над Ленкой колдовали несколько часов: её стригли, красили, делали маникюр, накладывали макияж. Ленка беспрекословно подчинялась — она давно поняла, что спорить с Верой бесполезно.

— Верочка Анатольевна, мы готовы! — позвала, закончив колдовать над Ленкиным лицом, тоненькая брюнетка («Это Наташа, косметолог», — представила её Вера).

— Ну-ка, ну-ка, — Вера оценивающе разглядывала Ленку. — Ну вот! Совсем другое дело. Где платье? Переодевайся! Туфли не забудь!

Ленка покорно сняла сапоги, выдавший виды свитер, старенькие джинсы, застиранную футболку с Микки Маусом. И опять прохладный шёлк нежно заструился по её телу.

— Ну как вы там? — Вера заглянула в дверь и удовлетворённо хмыкнула. — Угу. Что и требовалось доказать. Иди сюда.

Она взяла Ленку за руку и подвела к огромному зеркалу:

— Вот! Теперь смело можешь начинать новую жизнь.

Ленка смотрела в зеркало и не узнавала собственного отражения: на неё смотрела статная, фантастически красивая женщина с умопомрачительными ногами, высокой грудью и роскошными плечами. Это было настоящим чудом: какой-то всего-то кусочек шёлка сделал её очень неправильную фигуру практически безупречной.

— И последний штрих, — Вера достала из сумочки длинную нитку крупного искусственного жемчуга и обвила вокруг Ленкиной шеи. — Ну? Посмотри! Внимательно посмотри! Ты королева, Коленкина! — она широко улыбнулась и отступила на пару шагов.

— Я Королёва, — прошептала, заливаясь краской, Ленка и внезапно поняла, что именно сегодня, вот прямо сейчас и начинается её новая, очень красивая и очень правильная жизнь.

* * *

Ленка вскочила как ужаленная. Буквально выпрыгнув из кровати, побежала в ванную, кое-как умылась, вернулась, растолкала Софу, стремительно напялила джинсы.

— Что случилось? — Софа отчаянно зевала, тёрла кулачком упорно не желающий открываться глаз.

— Вставай! — Ленка нашла наконец свитер. — Мне некогда. — Она никак не могла попасть в рукав. — Ладно, ключи в прихожей, потом занесёшь. Пока! — Ленка рванулась к двери, застёгивая на ходу куртку.

— Лен, ты куда?.. — Софа вконец растерялась от учинённого подругой урагана.

Ответ прозвучал уже с лестничной клетки:

— Покупать платье!

Часики Longines

Михалычу — единственному и неповторимому.

Новые часики я хотела давно. Не то чтобы старые надоели или разочаровались, нет. У меня красивые часики. Просто хотелось новых. И ещё впечатлял огромный рекламный щит, на котором очень убедителен был Олег Меньшиков — такой небрежно-элегантный за рулём открытого «ягуара». Щит украшал центр городка, и миновать его не было никакой возможности: красивый мужчина в ретрокабриолете (пусть и на картинке) не отпускал моего воображения. А звучало как вкусно: часики Longines!¹..

Но, несмотря на ласкающее слух название, чего конкретно хочется, я не знала. Примерно — пожалуйста: кожаный ремешок, прямоугольный корпус белого металла. Однако одно только наличие правильных ремеш-

¹ Longines (Лонжин) — знаменитая марка швейцарских часов, основана в 1832 году. Лицом марки («Послом элегантности компании»), сменив невероятного Хэмфри Богарта и других не менее замечательных мужчин, с 2001 года является русский актёр Олег Меньшиков.

ка и корпуса отнюдь не гарантировало, что именно такие часики мне понравятся. Со мной бывает: хочется одного, а итогом становится нечто диаметрально противоположное. И вовсе даже не факт, что в коллекции Longines было хоть что-нибудь подходящее.

Естественно, я с пристрастием разглядывала все витрины с часами. Естественно, посещение салона швейцарских часов тоже значилось в списке, но... Но случился — ага! как вы догадались? — финансовый кризис, и мечта о часах Longines начала стремительно растворяться в непонятной реальности. Нет, деньги в семье были — я только что уволилась с выплатой трёх окладов, однако будущее выглядело довольно мутно, и потому мы перешли в режим жёсткой экономии. «Ну и ладно, — подумала я. — Ну и фиг с ними, с часиками. Не повод для огорчения. В конце концов, у меня же есть замечательные часики — аглицкие, между прочим, и тоже, между прочим, со швейцарским механизмом — без новых временно обойдусь». На том и успокоилась.

Ну, не совсем на том. Для окончательного успокоения я купила себе новый L'Officiel — перелистывание модного глянца действует на меня, как мантра на йога: на втором десятке страниц я покидаю действительность и погружаюсь в нирвану. И там, в нирване, я вдруг узрела настоящее чудо: литые часы-браслет от Calvin Klein. Помните Эллочку-людоедку и её реакцию на золотое ситечко? Вот примерно то же случилось со мной. Но — не забудем! — я всё ещё была в нирване и потому в обморок от восхищения всё же не упала.

Сглотнув слюну, я показала картинку с чудом от СК Михалычу — как образец того, что мне хотелось бы носить на запястье. Как образец, не более (финансовый кризис — помним, да?). Михалыч одобрительно приподнял бровь и понимающе кивнул. Я с лёгким вздохом отправила журнал в стопку ему подобных, включила компьютер и села за работу.

Недели через две, когда я курила на кухне, думая какую-то безусловно приятную мысль (думать неприятные крайне вредно, и потому сие глупое занятие я оставила в забытом прошлом), Михалыч появился в дверном проёме с тем самым L'Officiel в руках:

— Эти часы ты хотела бы?.. — Журнал был открыт на страничке СК.

— Да! А что? — Я не подозрительна, я просто хорошо знаю Михалыча — без особых причин он таких вопросов не задаёт.

— Ничего, — он развернулся и ушёл в комнату.

Но я-то знаю, что значит это его «ничего»! Это очень даже «чего»! В данном конкретном случае «ничего» моего мужа могло означать только одно: он видел эти часики. Он точно видел эти часики не только в журнале — в магазине! Понимаете? Михалыч видел чудесные литые часики из последней коллекции Calvin Klein в нашем заштатном городишке!

Что стало со мной, описать невозможно: с одной стороны, я ощутила пугающую близость полного счастья (а обладание такими часиками, — безусловно, счастье), с другой стороны — упомянутый (будь он неладен!) финансовый кризис, который такое возможное счастье практически немедленно отменял.

Я рванулась в комнату:

— Ты их видел? Где? В старом городе? — Я уже вычислила, где он видел эти часики: в нашем городишке только один магазин мог позволить себе такую роскошь.

— Ну... — Михалыч неопределённо пожал плечами и уткнулся в журнал.

В течение ближайшего часа я понимала, что моя дальнейшая жизнь без новых часиков от СК абсолютно невыносима, и безмерно страдала по этому поводу. Молча, конечно. Ещё через полчаса я успокоилась — и не такое переживали. Журнал был опять со вздохом закрыт и отправлен в стопку. Часики... Нет, не забыты, но отправлены к прочим мечтам на «после кризиса».

Впрочем, где-то очень глубоко я прикопала — на всякий случай! — мыслишку, что, возможно, получу часики на день рождения — если, конечно, позволят финансы. Три месяца — не такой уж и большой срок, когда ждёшь часики своей мечты.

Ещё через неделю мне случилось побывать (исключительно по делу) в старом городе, в квартале от магазина, где... Ну, вы поняли. Конечно, я зашла. Конечно, посмотрела. И даже померила. И пришла в полный восторг: на моём изящном запястье часики смотрелись просто великолепно. Конечно, я их не купила — жёсткая экономия, ага. Я поблагодарила продавщицу и пошла домой, счастливая оттого, что в моей копилке будущих ценностей уже лежит такая прелестная штучка. Потому что кризис — это точно не навсегда.

А ещё через несколько дней в старом городе мы с Михалычем оказались вместе. Конечно, по делу. Нам позарез нужно было большое красное яблоко идеальной формы. Супермаркеты и магазины оказались в этом плане совершенно бесполезны: яблоки там были или зелёные, или мятые (а нам нужно было только безупречно гладкое яблоко), или недостаточно красные. В старом же городе функционировал небольшой стихийный рынок, где искомое яблоко вполне могло обнаружиться. Даже зимой.

Знаете, я иногда бываю страшно бестолковой. Особенно когда моя голова занята каким-нибудь островажным делом. Вероятно, весь толк в такие моменты уходит на это самое островажное. Именно такой момент и случился в тот день.

Вопрос, почему мы вдруг вышли на остановку раньше, возник у меня, когда мы уже вышли и автобус уехал. Михалыч на мой вопрос отреагировал весьма невразумительно, и я — в островажных размышлениях о яблоке — не обратила особенного внимания даже на сей возмутительный факт. А я ведь вовсе не отношусь к любителям шляться по улицам зимой, и чтобы пойти на это, мне нужна очень уважительная причина.

Мы шли по старому городу в направлении рынка. За яблоком. Под ногами хлюпала предновогодняя снежная жижа, Михалыч мирно жужжал о чём-то, не имеющем никакого отношения ни к зиме, ни к яблоку, ни к... Вот вы наверняка уже поняли, а до меня дошло только у дверей магазина! Нет, иногда я бываю просто неприлично бестолковой!

Не дойдя двух шагов до «Швейцарских часов» мы остановились. Михалыч открыл было рот, но я — вот в ответственные моменты я соображаю очень быстро! — его опередила: мне была просто невыносима мысль, что это я услышу от него:

бочку, не в силах переложить её в сумку. Я пыталась привыкнуть к мысли, что в моих руках совершенство и что оно теперь принадлежит мне.

Честно говоря, дальше я тоже плохо помню. Каким-то чудом мы таки нашли правильное яблоко и принесли его домой в целости и сохранности. И всё, что должно было с яблоком случиться, случилось в тот же день и очень удачно. Это очень важно было — яблоко, но я правда ничего толком не помню.

Занятно, но буквально через две недели сумма, выложенная Михалычем за часики, вернулась в семью: моя работа (помните, после просмотра L'Officiel я села за компьютер?) была принята и весьма прилично оплачена.

Наступил Новый год. Прошёл мой день рождения. Много, очень много подарков и радости было в эти дни. И не только в эти. Но вот ощущение от коробочки СК, которую я не могла просто положить в сумку и так и несла, крепко сжимая обеими руками, забыв даже надеть перчатки — я?! без перчаток?! зимой?! — останется со мной, наверное, навсегда.

А часики Longines... в тот день мы даже не подошли к их витрине. Может быть, когда-нибудь мои прекрасные Calvin Klein сменят и Longines. Но это будет совсем другая история.

Без протокола

На вечеринке, посвящённой чему-то не очень существенному — то ли концу отопительного сезона, то ли началу посевной, — Дэн слегка перебрал и уже в открытую не отходил от Веры.

— Ну сколько можно, Вер?! Ты скажи мне уже конкретно: ты вообще замуж не хочешь или не хочешь за меня?

Вера прыскала в салфетку и хохотала, рассыпая по плечам рыжие кудри:

— Пить надо меньше, капитан! Тебе одной жены не хватило?

Дэну хватило. И пяти мучительных лет рядом с истеричкой, и разрушительного развода, и редких встреч с сыном, с укором в его глазах и тихими, украдкой, вздохами. Но тяга к Вере была сильнее. До судорог в суставах он хотел сжимать в руках эту тонкую талию, мять эти сумасшедшие кудри, слышать этот звонкий смех и даже глотать её колкости — всегда точные и жёсткие, как укол плоской иглой в беззащитную подушечку безымянного.

— Вера!

— Ехал бы ты домой, капитан. Такси тебе вызвать?

— Вызвать. Но ты поедешь со мной.

— Ага. Щас!

— Вера!

— Хватит уже, Дэн! Напился — сиди, молчи в тряпочку.

— Я не могу в тряпочку.

— Хорошо, просто так молчи. Не можешь просто так — съешь что-нибудь. Ты поросёнка пробовал?

Дэн не пробовал поросёнка, и Вера положила на его тарелку два больших, сочащихся золотистым жиром куска и бросила сверху легкомысленную веточку петрушки:

— Это гарнир. Ешь!

Дэн вздохнул и взял в руку вилку:

— Приятного аппетита, Денис Николаевич!

Вера дёрнула плечиком и отвернулась.

Дэн познакомился с Верой на каком-то дурацком брифинге, посвящённом то ли внезапной активизации карманников, то ли нашествию божьих коровок. Вера тогда забыла удостоверение, а он не хотел её пускать.

— Да видела я ваших божьих коровок знаете где?! — Вера топнула каблук и встряхнула роскошной рыжей гривой.

— А будете ругаться, я на вас протокол составлю.

— Да хоть сто! — Она фыркала и негодовала так эффектно, так похожа была на породистую, но строптивую кобылицу, что Дэн невольно залюбовался.

— Тихо-тихо-тихо! — подбежал Серёга, которого Дэн заменил на минуточку на боевом посту. — Никаких протоколов. Проходите, Вера Андреевна, всегда вам рады.

Она опять фыркнула, презрительно встряхнула рыжей гривой и зацокала быстрыми каблукками по коридору.

— Хороша чертовка! — Серёга плотоядно облизнулся.

— Кто это? — Дэн тоже уже готов был облизнуться.

— Верка Морозова из «Вестей». Частенько захаживает. Весь личный слюни пускает — один ты со своим разводом не в курсе.

— Замужем?

— Не-а. Поди такую объезди...

И Дэн решил, что пора и ему пообщаться с прессой.

Вопреки бытующему мнению, пресса и милиция не только не враждуют, но и частенько вполне искренне дружат. Особенно — неженатые офицеры, особенно — с молоденькими журналистками. Сколько блистательных карьер произошло из такой дружбы! А сколько рухнуло!..

Дэн начал с малого: напрашивался в показательные (для прессы) рейды, участвовал в брифингах и пресс-конференциях и, наконец, дождался просьбы об интервью. Просьба пришла из «Вестей», и он согласился, но с условием — разговаривать будет только с Морозовой. Вот с того интервью и началось его близкое — слишком близкое — знакомство с Верой.

Пару месяцев они перезванивались — с целью получения информации, конечно, — иногда целомудренно встречались по кафешкам, и однажды, как и ожидалось, оказались в его постели. Роман случился бурный, отчаянно заметный, и теперь уже весь личный состав городского УВД, не скрывая, завидовал Дэну.

Дэн и сам себе завидовал: спина его, угнетённая разводом, распрямилась, плечи расправились — ходил он снисходительным гоголем, слегка переваливаясь на ходу от расправившего грудь самоуважения. Ещё бы — такую кобылку объездить!

И всё было хорошо. До тех пор, пока Дэн не решил, что пора уже им «оформить отношения».

— В смысле «оформить»? Бантики привязать? Шариками украсить?

— Штампиками.

Дэн оторопел: она не умирала от счастья. А девушкам положено хотеть замуж.

— На фига? — Похоже, она искренне не понимала: на фига.

— Ну... это... создать семью... — Он растерялся и, кажется, даже покраснел.

— Чего?! — Они сидели в кафе, и на её хохот обернулись все, включая бармена. Отсмеявшись, Вера промокнула салфеткой шальную слезинку и предложила: — Знаешь что, капитан, давай будем считать, что я этого не слышала. Ну, ей-богу, смешно.

— Почему смешно?

— Потому что смешно.

Дэн ещё не раз возвращался к этой теме, и Вера опять хохотала, но довольно скоро тема стала её раздражать.

— Отстань от меня, капитан. Не пойду я замуж. Мне и так хорошо.

Дэн отстал. И опять всё было хорошо. Пока не дёрнул его чёрт запить шампанским водку на этой дурацкой вечеринке.

Дожевав поросёнка, Дэн откинулся на неудобном стуле:

— Мы дикие животные — мы едим трупы.

— О! Гринпис тоже мне, — Вера посмотрела на него оценивающе: протрезвел хоть чуть? — Наелся? Кофе хочешь?

— Хочу.

Кофе был чуть тёплым и невкусным — похоже, растворимым.

— Не, ну они оборзели вообще?! Кофе растворимый!

— Ты чё разошёлся, капитан? Кофе тебе не такой, трупы тебе жрать некошерно. Ты чё?

— Ладно. Молчу. А тебе, можно подумать, кофе понравился.

— Не понравился, и что? Я теперь тоже должна орать на весь кабак?

— Ладно, Вер, не шуми. Не прав.

— То-то. — Она щёлкнула зажигалкой и выпустила тонкую струйку дыма.

— Поговори со мной, Вер.

— О чём?

— Да хоть о чём. Хочешь, я тебе про какой-нибудь необычный труп расскажу?

— Про что?! — Вера от неожиданности выронила сигарету и расхохоталась. — Это на тебя поросёнок так подействовал? Ну ты даёшь, капитан!

— А чё? Неинтересно?

— Отчего же, очень интересно. Антураж вот только... — Вера оглядела жизне-радостный, украшенный скучными шариками и пьяными лицами зал. — Ладно, давай про труп. Только вот что. Я все твои необычные трупы наизусть знаю. Давай про первый. Про самый первый труп, ага? Хоть какое развлечение.

— Да какое там развлечение... Лет десять назад было. Я тогда первый раз дежурил. Дежурство спокойное было: пару дебоширов в кутузку заправили, одного алкаша в вытрезвитель оформили. И тишина. По-моему, я даже закемарил слегонца. Часов в шесть утра — бригада на выезд, утопленника нашли. Я аж взвился, адреналин — вёдрами. Ну, думаю, ща я весь свой огромный сыскной талантище продемонстрирую — по горячим следам мокруху раскрою. Молодой был, глупый... Труповозку прицепили, едем. Река — мимо, пруд — мимо, фонтан — мимо. Где же это, думаю, жмурик наш драгоценный утоп? Приезжаем в обычную хрущобу: 33/29, санузел совместный. И в

санузле — в ванной то бишь — оно и плавает. Ребята из «скорой» на выход собираются — зря, говорят, приехали. Криминала никакого, гражданин пьян был в дым, вот и утонул — заснул и захлебнулся. Ну, я расстроился, конечно, составил кое-как протокол... Ничего интересного, в общем.

— Да, не повезло тебе с первым трупом. — Вера вроде как пошутила, но смотрела при этом на Дэна как-то уж очень пристально. — Больше ничего с того вызова не помнишь?

— А что там помнить? Жена его — ну то есть вдова — белугой ревела. И девочка ещё была. Дочь. Маленькая. Лет тринадцати. Серенькая такая, косичка до пояса. Ночнушка голубенькая. Спокойная, как удав. Только руки у неё тряслись — всё она руки за спину прятала.

— Серенькая... — Вера глубоко затянулась, и взгляд её стал вдруг тяжёлым и душным. — Хреновый ты сыскарь, капитан. Ночнушка голубая...

Дэн хотел было возмутиться, но она закрыла душистой ладонью его рот.

— Это я его убила, Дэн, — гримаска презрения пополам с отвращением исказила её лицо. — Редкой сволочью он был. Пил, как... — она запнулась, подбирая слово, — как не знаю кто, пил: каждый день — в хлам. Мать бил до полусмерти. По бабам шлялся. Много лет. Сколько себя помню. Я просила, умоляла: мама, родная, любимая, пожалуйста, разведись с ним! Не. «Не обращай внимания», — это она мне говорила. «Ты внимания не обращай». Нормально, да? Мать родную каждый божий день чуть не убивают, а я — внимания не обращай. Н-да... — Вера опять закурила и покачала головой в ответ на вопросительный Дэнов взгляд: молчи. — А в ту ночь не знаю, что со мной случилось: как затих он в ванной — чистопой хренов, ванну принимать после скандалов любил, — пошла, взяла на кухне скалку и приложила его со всей дури по затылку. А потом под воду... Волосы у него были красивые, густые, никто и не подумал блох поискать. Не поверишь, спала в ту ночь как убитая. Лет за десять первый раз. А утром мать его нашла... Дальше ты знаешь.

— Так это ты — с косичкой? — Дэн был так потрясён услышанным, что, кажется, даже протрезвел.

— Я. Тока теперь, капитан, ловить тебе нечего — срок давности. — И она изобразила самую язвительную свою улыбочку.

— Срок давности... — Дэн зачем-то судорожно пытался вспомнить, какой по сто пятой срок давности.

— Большой, — как поймала его мысль Вера. — Только он кончился. Правда. Я интересовалась. А странно мы с тобой пересеклись, капитан...

— Странно... А ты... меня совсем-совсем не помнишь?

— Не-а. Я оттуда вообще ничего не помню. Кроме ночнушки. Я её потом сожгла. Вместе со скалкой. На пустыре, где сейчас торговый центр.

— Зачем?

— Не знаю. Видеть её не могла. А сожгла — и полегчало. Будто и не было ничего... Ну что, капитан, — как-то вдруг развеселилась Вера, — протокол будем составлять?

— Ага. Два. — Дэн помолчал и вдруг решил: — Вер, поехали ко мне?

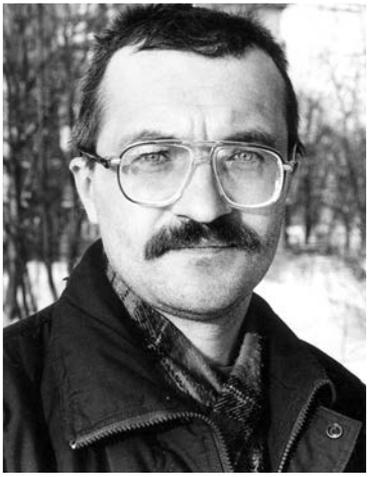
Вера приподняла бровь, взглянула на него с интересом, затушила очередную сигарету.

— Ну поехали.

Дэн вызвал такси и невесть чему улыбнулся.

Алексей КУРГАНОВ

СОМНЕНИЯ ДЕДА ТИТКА



Алексей Николаевич Курганов родился в 1958 году в Коломне. Окончил медицинский институт. Работал врачом, журналистом в газетах «Ять», «Региональные вести», «Грань» (город Раменское). Публиковался в журналах «Воин России», «Молодая гвардия», «Советская милиция».

Лауреат литературных конкурсов областной милицмейской газеты «На страже Родины» и региональной газеты «Грань».

Постоянный автор «Коломенского альманаха».

РАССКАЗ

Если будет нужно охарактеризовать деда Титкова одним словом, то долго ломать голову не придётся: Титок — з л о й. Злость — это его сущность, натура, смысл и образ жизни, манера поведения, основа существования, принцип мировоззрения — короче, всё-всё-всё и ещё немножко. Злость — его нормальное состояние, он злится всегда, везде, на всё и по любому поводу. Уникальный тип: ну никак не мог такой родиться, вырасти и дожить до седых волос в стране почти победившего социализма, который, как известно, воспитывал в человеке самые лучшие, самые светлые, самые добрые чувства — и нате вам, воспитал такое вот уродливое, пышущее лютой хронической злобой исключение. Как он ещё в диссиденты не угодил, как не пошёл гулять по Красной площади с каким-нибудь плакатом типа «Свободу Синявскому и Даниэлю!».

А вот не пошёл. Потому что он не только злой, но ещё и хитрый. Он, может, сразу просёк эту фишку про антисоветчиков, сразу понял, что хотя они могут на весь мир о злости своей трубить, но чревато это не совсем удобными последствиями, и потому ловить здесь абсолютно нечего. Хотя он академиев и не кончал, но куда там до нашего Титка этим самым злобным интеллигентам, выкорышам западных разведок и несоветских голосов! Да и самим этим «интеллидженс сервисам» и прочим шпионским лавочкам до деда Титка как до Луны. А умный потому

что. Ему палец в рот не клади. И руку тоже. Он если есть начинает, то сразу с головы.

А как же ему злым не быть — жизнь-то его не баловала, порой даже весьма ощутимо прикладывала. И чего же после таких пинков радоваться? Вон соседка его, бабка Матрёна, по глубокому титковскому убеждению — малахольная на всю голову. Всегда она улыбочивая, всегда приветливая, любому готова плечо подставить, помочь, обогреть, приласкать... А жизнь её много ласкала? Мужа в войну потеряла, тащила на своём совсем не богатырском горбу троих ребятишек да свекровь парализованную. И в это же время в «стальнухе» работала, в сталелитейном цехе. Здоровенные мужики и те порой не выдерживали, ломались — грохот, шум, грязь, жарница, вот уж настоящая адова преисподняя... Ведь не просто так здесь по «горячей» сетке работали, в пятьдесят лет мужики, в сорок пять бабы на пенсию уходили, и всегда с серьезными болезнями, а часто уже инвалидами — «стальнуха» соки из людей умеет высасывать... А Матрёна работала. До самой пенсии. И как она в той геенне огненной не изжарилась — чудо чудное.

Дед Титок даже Тютчева под свою злость приспособил: слышал когда-то, как внучка стихи учила, запомнил и саркастически изрекал: «Умом Матрёну не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать — в Матрёну можно только верить».

До шестидесяти лет прожила она в халупе, которую постоянно приходилось латать, красить, крысиные дыры без конца-края заделывать. Без водопровода и тёплой уборной, с печкой, которую каждый день надо было протапливать, а печка бестолковая, дров жрала много, а где их взять, дрова-то эти, а найдёшь (какое там «найдёшь»! купишь! А это всё денежки, денежки, а за спиной-то трое малых да бабка Люба, и все они есть-пить хотят, да и одежонку какую-никакую...), так привезти надо, а привезла — напили, наколи, сложи в поленницу да поглядывай, как бы соседи не украли... Это поставь в такие условия какую-нибудь англичанку, француженку, итальянку или американку, так они разом руки на себя наложат, развесятся по деревьям, утопятся в пруду, устроят из себя коллективную Анну Каренину. А нашей Матрёне страдать некогда, ей всё нипочём! С виду, понятно, нипочём. Сколько же она подушек слезами своими омыла, сколько раз казалось: всё, предел, сдохнуть — не встать, а она, бедолага, забьётся куда-нибудь в уголок, чтоб не видел никто и не слышал, навоется там от души — и опять вперёд, опять горбиться и снова поднимать, копать, собирать, набирать, пилить, рубить, опять в а л д о х а т ь... И еще другим помогать, будто своих забот мало... Точно не в себе баба, всю жизнь не в себе.

В общем, «феномен диковинной российской природы», — мудроно выражался Титок. Ну как на такую не злиться?

Но вот на кого никогда не злится Титок — на свою внучку Лизу и правнучку Поленьку. Живут они вместе, втроём, в старом, но крепком ещё бревенчатом доме. Раньше в двух его комнатах куда многолюднее было. Но уже лет пятнадцать как умерла жена Титка, богомольная Серафима, а три года назад, на Покров, — единственная дочь Нюша, от страшной женской раковой болезни. Нюшин муж, Мишка-прощельга, когда их дочке Лизоньке и двух лет не было, на Север подался, за длинным рублём, да

и сгинул там, успокоился, должно быть, заработал тугую копеечку полной ложкой... У Лизоньки с замужеством тоже не сложилось, родила, как говорится, для себя, да и правильно сделала, ей уже за тридцатник покатило, чего ждать-то, принцы на белых лошадях давным-давно по своим королевствам разъехались, а те королевичи, которые безлошадные, или своими семьями обзавелись, или спились, горемыки бесполезные... А втроём-то им больно хорошо! Спокойно, удобно, уютно, никто не шумит, кроме телевизора с холодильником, и у деда Титка поводов для злости нету. Денег хватает: Лиза технологом работает в железнодорожном депо, а железнодорожные всегда неплохо зарабатывали, дед же пенсию получает повышенную как участник трудового фронта (нашлась бумажка-то, нашлась, что окопы противотанковые в мальчонках рыл под Зарайском да в поле ломил с утра до ночи в орденоносном колхозе «Красная пойма»), шесть с лишним тысяч ему сейчас положили; вечерами Лизонька, после работы, ходит мусор подметать у привокзальных пивнушек, а это ещё полторы тысячи в месяц. У Титка тоже приварок есть — пустые бутылки: если водочные — по двадцать копеек, если пивные — по целому по полтиннику, всё не у Лизоньки на тот же «беломор» спрашивать.

И вдруг с л у ч и л о с ь... Поленька заболела. И такой болезнью, что мама не горюй — как сейчас молодые говорят. Очень редкое заболевание крови, осложнение после гриппа, после обычного, пустякового, на который всегда поплёвывали и за болезнь-то никогда не считали. Истаяла Поленька за какие-то три месяца: из пухленькой хохотушки с такими прямо до слёз трогательными ямочками на розовеньких щёчках-персичках превратилась в никакое существо с бледной кожей, синюшными губами, хриплым дыханием и застывшими в немом удивлении огромными, василькового цвета глазищами, которые так недоумённо и спрашивали: чего это со мной, деда, приключилось-то? И, главное, за что? Никого не обижала, никому не мешала (да и кому ребёнок помешать-то может, Господи?) — и на тебе, кровь заболела.

Вот и прав оказался дед: кругом одно сплошное злое-презлое зло.

— И это врачи? — орал дед, в очередной (какой уже по счёту?) раз появляясь в больнице и распугивая своим рёвом посетителей. — Ребёнка спасти не могут! Коновалы с купленными дипломами! Ничего, я найду на вас управу!

И, кипя от бешенства, отправлялся в комиссию по делам здравоохранения (бывший горздрав).

— Жулики! — разносился его крик по коридорам городской администрации, и здешние посетители тоже пугались, и охрана спешила на крик, чтобы утихомирить крикуна. — Негодяи! Без взятки и пальцем не пошевелите! В Москву буду жаловаться, там-то вам хвосты прищелят!

Дед — человек слова: рванул в белокаменную. Пропадал там два дня. Лиза на третий день разволновалась, позвонила родственникам, у которых дед должен был остановиться. Те успокоили: жив-здоров, носится где-то целыми днями, ничего не рассказывает, только знай себе матерится... На четвёртые сутки, вечером, дед вернулся. Лиза молча подняла на него глаза. Дед так же ушёл в свою комнату, даже не поужинав. Всё понятно: сейчас лужёной глоткой никого не проймёшь. Рынок, господа!

Ни профкомов вам, ни комитетов народного и партийного контролей! Если у вас в кошельке сытно шуршит — милости просим, в доску расшибёмся, а сделаем, всё будет чики-чики! А если у вас там «ветер северный, умеренный до сильного», то внимательно разглядывайте картину художника Репина «Приплыли». Разглядывание — бесплатно и временем не ограничено. Хоть усмотритесь до полного посинения.

И закурилось по новой: унылые казённые бесконечные коридоры поликлиник и стационаров, таблетки, уколы, капельницы, профессионально озабоченные лица врачей, консилиумы, консультации — и снова таблетки, и снова капельницы, и снова тоска больничных коридоров... Не оставили без внимания и экстрасенсов, колдунов, гадалок и прочих подозрительных целителей. И везде — мимо, везде — картина Репина. Замкнутый круг. Точка.

— Заходи, баба Матрёна!

— Здравствуй, Лизонька, здравствуй, милая... На смену собираешься? А дед где?

— К Поленьке пошёл. Её сегодня заведующий отделением должен был смотреть. Может, чего нового скажет...

— Я к ней заходила с рынка... Ничего, Лизонька, даст Бог, поправится... Я вот чего зашла-то. Вчера по телевизору передача была, там как раз про таких вот детишек рассказывали. И вот чего: предлагали людям, кто может, деньгами помочь — кому на операцию, кому на лекарства. Я и подумала: а чего бы тебе в ту передачу не позвонить? Телефон я записала.

— Неудобно как-то, баб Матрён...

— Да, с протянутой рукой по миру пойти — это не каждый может. Это ты права. А коли деваться некуда, тогда чего? Пойдешь, куда денешься...

Лиза заплакала: денег действительно нет, какие и были — закончились, лечение-то сегодня — дело дорогое, а Поленьке без операции никак нельзя — и где этот миллион (даже произнести страшно — миллион!) проклятуший взять? Матрёна разрешила все её сомнения.

— Пошли, — сказала как припечатала. — Нечего сидеть, делать надо. У Валюшки сегодня как раз дежурство, вот от неё и позвоним. Пойдём-пойдём! Тебе как раз по пути на работу. Ты ведь с работы-то не позволишь, постесняешься, я знаю...

Бабка неожиданно замолчала, вроде задумалась о чём-то.

— У меня, Лизавета, папаня бакенщиком был, — разлепила она губы. — Все ладони себе вёслами стёр. Я уж и не помню, с какой такой стати разговор однажды зашёл и о чём, но вот слова его хорошо запомнила. Сказал он: «Бывает, Мотя, что, кажется, и силов-то никаких уже не осталось, что всё — гребок-другой, и больше уже не поднимешься. И до цели ещё далеко, даже и не видно её, и отдыхать некогда, а то время упustiшь... Чего делать? А ничего! Грести. Просто грести...» Это я, знаешь, Лизонька, к чему? К тому, девонька, что грести надо. Кроме тебя — некому. Вот и весь сказ. Ну, собралась? Тогда пойдём...

На следующее утро, после смены, Лизавета уехала в Москву. Она и не ожидала, что телефонный звонок окажется таким удачным. Её вежли-

во выслушали, предложили, не откладывая, приехать, захватив с собой все имеющиеся медицинские выписки из истории болезни.

Домой вернулась поздно вечером: путь-то неблизкий, три с половиной часа только в один конец. Дед сидел на кухне: якобы пил чай, а на самом деле ждал. Услышав звук открывающейся двери, встречать не вышел, лишь повернулся expectantly.

— Это я, дед...

— Вижу... Ну чего там, в Москве-то? Небось опять одни... — И дед хотел было привычно выругаться, но выражение Лизаветиного лица его удержало.

— Я сама, деда, не пойму... Встретили хорошо, внимательно выслушали, сказали, что в начале следующей недели пришлют корреспондента и телеоператора, чтобы снимать это... ну, кино, что ли... в общем, передачу о Поленьке.

— А ты им и поверила, — заключил дед, усмехнувшись горько. — Эх, Лизавета, доверчивая ты душа...

— Поверишь, когда не знаешь, что делать. А делать надо. Надо грести.

— А, вот теперь понятно. Матрёна заходила. Научила, богомолка хренова...

— Да! Научила! — вдруг повысила голос Лизавета. Это было до того неожиданно — чтобы повысить голос на деда? И кто? Лизавета, внучка любимая, внучка единственная, свет в окошке! Такого никогда не бывало, да и представить такого было никак нельзя! Дед откровенно растерялся (тоже впервые в жизни), отступил, забормотал виновато:

— Да я ничего... Так, по привычке... Ты не сердись, Лизонька... Не со зла ведь...

И умолк как-то побито.

Тут уж пришла пора растеряться Лизавете: чтобы дед — да извиняться, прощения просить? Чудеса и только! Вот уж воистину неисповедимы пути твои, Господи!

— И ты меня, деда, прости. Я же вижу — ты и сам измучился, только виду не подаёшь, хорохоришься, как всегда. Только чего ж делать-то? Приедут, снимут, покажут... А вдруг?

— Я и говорю: доверчивая ты очень, Лизавета. Сама подумай — как это совсем незнакомые люди, совсем посторонние, тебе деньги будут присылать? С какой такой стати? Богач не пришлёт: он жадный, богач-то, хапуга, он за копейку удавится. А бедный, может, и хочет послать, а где же он возьмёт-то, если бедный? Это диалектика, Лизонька, наука такая! Или эта... философия мирового зла, вот! Короче, сплошной марксизм-ленинизм! Вон, Петровича третьего дня у магазина сердчишко прихватило, упал. Так что, кто к нему, думаешь, подошёл, поинтересовался: дескать, чего это ты, дядя, посерёд тротуара загорать удумал? Никто, ни одна... — дед матюкнулся, — не подошла! Даже наоборот, стороной обходили, да ещё чуть ли не плевались — пьяный, дескать, обожрался и вот теперь валяется, проход загородил для культурных, мать вашу, граждан, никакой жизни нет с этими алкоголиками! Хорошо, «скорая» мимо проезжала, подобрала; да только до больницы всё одно не довезла, крикнул Петрович по дороге. Думали, на самом деле пьяный, а оказалось — инфаркт! Его бы хоть чуть-чуть пораньше привезли — глядишь, выжил бы,

опять бы во дворе в домино играл, опять бы жульничал... Врачи сами его жене так и сказали: если бы пораньше, была бы надежда, а так... А он, Петрович, между прочим, на «заречке» почти пять десятков лет отбарабанил! Электромеханик высшей категории, это тебе не хухры-мухры, таких и всегда-то было единицы, а сейчас и подавно. На Доске почёта сколько раз висел! А помер, как собака! Никто и ухом не повёл, не подошёл, не спросил: чего с тобой, старый пенёк? Вот тебе, Лизонька, и люди. Самые распоследние козлищи!

— А те, кто в «скорой» был? Кто подобрал его? Те тоже?..

— Ты это... Ты, Лизонька, божий дар с яичницей не путай! У их работа такая — подбирать! Им за это деньги плотют!

— А с телевидения которые? Им какая радость так вот, добровольно, ехать к нам за сто с лишним вёрст? Их ведь никто не обязывает! Сказали бы мне: извиняйте, ничем помочь не можем, — и все дела, никакой канители. Здесь как?

— А тоже работа! Тоже деньги за неё получают! Не всё же время про проституток да бандитов фильму снимать, надо и другие передачи тоже зарабатывать!

— Ладно, может, и за зарплату... А баба Мотя? Почитай, каждый день к Поленьке ходит! Это как? Никакая не родная, просто соседка, своих внуков трое, да и по дому дел... Она-то чего? Без всякой зарплаты!

— Мотька всю жисть малахольной была! — категорически заявил дед. — Ей, бывалочи, самой жрать нечего, а другим давала! Малахольная, она малахольная и есть! Ходит — спасибо! Ей просто дома не сидится: привыкла летать-то целыми днями!

— Прекрати! — не выдержала Лизавета. — Сейчас же! Что ж ты, дед, за наказание такое? Все тебе не милы, все кругом враги. Как же так жить-то с такими мыслями?

— Ничего! Можно! — огрызнулся дед. — Под восемь десятков годков уже отбухал — и скриплю пока: живой, знаю, чего почём! Мне доверчивым быть не с руки — воспитанный не так, чтобы доверяться!

В общем, разругались. Впервые в жизни. Что ж, в этой самой жизни всегда всё когда-нибудь в первый раз бывает. А иногда полаяться, пар выпустить — это только на пользу. Даже очень полезно. И ничего страшного.

Телевизионщики не обманули: приехали через неделю, а ещё через неделю телепередача о Поленьке была показана по одному из главных телеканалов страны (дед демонстративно отказался смотреть «эту показуху, от которой толку ждать нечего»). А вскоре на специальный счёт для лечения Поленьки начали приходить деньги. Дед, узнав о поступлениях, целый день, ошарашенный, просидел в своей комнате, а вечером, набычившийся, но похожий от этого не на быка, а на старого обиженного индюка, появился-таки на кухне, молча попил чаю и вернулся в комнату. Лиза понимала его состояние и ни с какими торжествующими, а тем более язвительными разговорами к нему не лезла. Пусть подуется (прямо ребёнок, честное слово!), и подольше подуется.

Дед не выдержал пытки (как это так — на него не обращают внимания!), заговорил первым.

— Много... прислали-то? — как будто случайно, нехотя, походя, дескать, просто так, из мимолетного любопытства, потому что всё это — чушь собачья, поинтересовался он.

— Почти пятьсот, — ответила Лизавета и уточнила. — Тысяч.

— Хм... — деда по привычке потянуло съехидничать. — Благодетели, значит... Интересно... И кто же это такой богатый?

Но Лизавета, казалось, его ехидства не замечала.

— Действительно, дед, интересно. Присылают-то не такие уж и богатеи. Они, правда, много о себе не рассказывают, только некоторые... Вот, например, из Саратова. Многодетная семья, пять детей, хозяин трактористом работает, жена на ферме, дояркой. Пять тысяч прислали — попозже, написали, ещё переведут... Фермер из Орловской области... Пенсионерка из Тюмени... Из Ленинграда студенты...

— Ну и это... Почему?

— Что «почему»?

— Деньги присылают? Они что, у пенсионерки этой... и у других... лишние, что ли?

— Не знаю. Наверяд ли лишние-то. Пишут, что посмотрели передачу и хотят помочь.

— И всё? — не поверил дед.

— А чего ещё-то?

— Не, ты погодь... Что значит «хотят»? — Деда привычно понесло — истомился бедолага без гневных обличений. — Хотят они, вишь ли... Я, может, на Луну хочу слетать — и что с того? Кто это меня пустит, если материальных возможностей не имеется, я финансовые деньги имею в виду. Что, у тех же, например, которые из Саратова, их девать некуда? Сама же сказала — пять детей! Или та же пенсионерка!

— А вот пенсионерка как раз и объяснила. У неё правнучка была, маленькая, три годика всего, и такая же болезнь, как у нашей Поленьки. И не спасли, денег не хватило на операцию. Вот она и решила — своей не помогла, так чужой помогу. Я как её письмо читала — прямо комок в горле.

Дед нахмурился, ничего не ответил, снова засел в своей комнате. Ночью долго ворочался в кровати, никак не мог уснуть. Какой-то зудящей занозой сидел в его голове один-единственный вопрос — почему? И опять — не может так быть, не положено! Потому что человек человеку не просто волк, а самый настоящий волчара. Он, человек, по самой сути своей завистлив, бездушен и жаден. Одно слово — человек! Исчадие порока!

Войдя в своё привычное ожесточённо-озлобленное состояние, дед начал было успокаиваться, и вроде бы даже на сон потянуло, но тут опять его ужалила эта проклятая заноза — почему? Настоящий дурдом, и тем более непонятно, что и он, дед, и эти... доброты... в одном же обществе-то воспитывались, в одной великой державе под гордым названием Союз нерушимый республик свободных! А оказалось, не то что в одной стране — на разных планетах они произрастали, во дела! И бабка ещё эта тюменская разбередила душу... Нет, есть люди понятные, нормально воспитанные, которые за копейку удавятся, которые неукоснительно придерживаются строгих волчьих правил нашего сегодняшнего общества. С такими всё ясно, от таких лично он, Титок, никаких неприятных неожиданностей уже

давно не ждёт. Но оказывается, как говорил дедушка Ленин, есть и другая партия! Простые-рядовые, которых к богачам никак не отнесёшь, — и на тебе, присылают! А те, понятные, которые пальцы веером, с золотых тарелок жрут, яхты покупают, на «мерседесах» катаются, те — ни копейки! Уж, кажется, от своих миллионов с миллиардами им малую толику отстегнуть — раз плюнуть. Тем более что все мы смертны, а они уже и на детей, и на внуков-правнуков, и ещё на сколько много своих поколений досыта наворовали, так чего жаться-то? Ведь все свои капиталы в гроб-то с собой всё равно не возьмёшь, а и возьмёшь, запихаешь как-нибудь, то опять же — зачем и кому? Если только червякам, так им твои капиталовложения до глубокого фонаря, они и забесплатно тебя переварят. Да и тебе-то уже всё равно будет — есть у тебя деньги, нет их... пенсионерка ещё эта как приклеилась... Да-а, похоже, бессонница ему сегодня обеспечена.

К концу месяца необходимая сумма была собрана. Поленьку ждали в одной из московских клиник. Дед провожал её и Лизавету на вокзал.

— Вы там это...

Он хотел сказать «побыстрее», но вовремя спохватился и испугался. Чего побыстрее-то? Не надо никаких «побыстрее»! Надо, чтобы как надо! Сколько положено, значит, столько и пробудьте. Старый дурак! Ещё не проводил, а уже ныть начал! Вот язык, вот язык!

— Ничего. Лишь бы всё хорошо... — И опять замолчал. (Чего «хорошо»? Накарай ещё!)

— Ладно, дед, пора прощаться. Поезд подходит, — Лизавета чмокнула его в предательски задрожавшую щёку. — Ты уж не скучай здесь.

— Я тебе, деда, чего-нибудь из Москвы привезу. Какой-нибудь подарок. Понял? Ты только жди обязательно! — шепнула Поленька ему на ухо, и у Титка от слов этих защипало в глазах.

Поезд уже давно скрылся из глаз, а Титок всё стоял и стоял на перроне, всё силился вспомнить, чего он хотел сказать Лизавете. А ведь чего-то хотел, точно... Спросить чего-то... Склероз, пора таблетки пить... Да какие, к шутам, таблетки! У меня теперь одно верное лекарство — погост. Хотя рано ещё, надо девок дожидаться. Обязательно, а как же...

По пути домой он зашёл в магазин, купил хлеба, заварку и, поколебавшись, — чекушку. Пришёл домой, разогрел картошку, открыл бутылку — и вспомнил, вспомнил! Хотел у Лизаветы адрес спросить той тюменской пенсионерки!

Письмо написать, покалякать по-стариковски: может, ответит, может, расскажет, как живёт, чем занимается... Нет-нет, он совершенно не будет у неё спрашивать насчёт того, зачем деньги посылала; нет, это было бы совсем уж ни в какие ворота! Просто писали бы друг дружке письма, чего в этом такого... А. ладно, ничего ещё не потеряно: вот его девки вернутся, тогда он и спросит у Лизаветы адрес. И напишет обязательно! Он уже и забыл совсем, когда кому письма писал...

В эту ночь дед впервые за прошедший месяц уснул быстро и спал без снов, словно после тяжелейшей, многодневной и теперь уже окончательно законченной работы.

Владимир МИРОШНИЧЕНКО

ИЗ СОЗВЕЗДИЯ БЕССМЕРТИЯ

Лес осенний полон звуков.
Ветра шум и скрип деревьев.
Сколько с этим тёмным лесом
Связано людских поверий?..



Литературный дебют Владимира Мирошниченко состоялся в стенной газете 3-го «В» класса средней школы № 11 города Коломны. Затем было плодотворное сотрудничество с газетой «Коломенская правда», которое и определило жизненный путь Владимира. Избрав профессию военного журналиста, юноша получил образование во Львовском политехническом институте и Военно-политической академии им. Ленина.

В годы учёбы Владимир пробует силы в военной прозе. Его первые рассказы высоко оценил Иван Стаднюк.

С тех пор Владимир Мирошниченко создал десятки рассказов и повестей, которые увидели свет в различных журналах, сборниках, выходили отдельными книгами.

Живёт в Киеве.

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

Могучий косматый старик тяжёлыми крупными ладонями унял гусли, поднял голову, осмотрелся. Молодые парни и девушки, слушавшие сказителя, заволновались, испуганно озираясь, стали тесниться к костру. Собравшихся на поляне людей со всех сторон окружал дремучий лес. Был он угрюм, мрачен, казался юным душам враждебным, населённым злыми, тёмными силами.

— Дедушка, расскажи о лягушке... — попросил робкий девичий голос.

— О лягушке? — переспросил старик и тяжело задумался. Как рассказать этим мальчикам о том, в чём и ни один седобородый мудрец не разберётся. О том, что случилось давно, но ещё до конца не осмыслено и не понято им, хотя и был тому свидетелем и знает саму суть не понаслышке.

Но рука сказителя привычна к струнам, память призывает на помощь знакомые обороты из сказок и былин, и рождается рассказ — пускай не очень правдивый, но зато красивый и понятный для слушателей.

Трепетно поют гусли, оттеняя ровно гудящий голос; на глазах непосвящённых рождается сказка, которой суждено жить в веках. Красивая, мудрая, сладкозвучная, трагичная и непонятная история.

Прикрыл боян глаза и как наяву увидел дни, когда он был молод и крепок, когда произошло всё это.

* * *

На высоком зелёном холме у слияния двух рек величаво теснились царские хоромы. Окружённые высокой бревенчатой изгородью, они надёжно укрывали царя и бояр от врагов. На сторожевых башнях, что высились по углам городища, днём и ночью стерегли покой царские дружинники. Внизу холм опоясывали низкие невзрачные строения простолюдинов. В них жили ремесленники, торговый люд, охотники да рыболовы. Сразу за крайними избами начинался густой дремучий лес. К нему жители этого небольшого городка-государства относились с большим почтением: в голодные годы он кормил и одевал людей, в лихолетье — прятал от злобных врагов.

Правил этой страной царь. Сказитель, бывший в то время рослым и крепким отроком, хорошо помнил его немолодое, испещрённое суровыми морщинами лицо. Строг и величав был царь, но грозный вид его не мог обмануть подданных, которые искренне молились за него Богу. Добр, очень добр был их повелитель, но дни его подходили к закату. Всё чаще венценосный старец задумывался над тем, кого назначить престолонаследником.

А сделать это нелегко. Трёх сыновей имел царь. Все на возрасте. По стародавнему обычаю надо бы старшему власть передать, да нельзя: уж очень он любит её. Царь понимал, что такой может погубить и род свой, и всё царство.

И среднему нельзя. Хитрый, изворотливый: ещё двадцати не минуло — весь двор перессорил. А что дальше будет?

После таких размышлений он всё больше склонялся к мысли, что лучше младшего на царство не найти. Что ж, человек он достойный: честный, справедливый. И добрый.

«А вот это плохо, — терзался царь. — Нельзя нашему брату быть добрым, ох нельзя...»

Он по себе знал, что нельзя. Может, из-за его доброты и выросли такими разными его сыновья. Он живо представил их: рослые, русоволосые, ясноглазые, но внутри-то, внутри... Как же так вышло, что начинка у братьев, как у пирогов, разная?.. Вспомнился радостный день, когда появился у него первенец. Большой вышел тогда праздник. Царь приказал выкатить из подвала несколько бочек вина и всем пить за здоровье наследника.

Вышибли мужики дно бочки и первую чарку — правителю своему. А рядом — воевода, уже пьяненький:

— Царь-батюшка, отдай царевича в дружину! Мы из него такого воителя воспитаем, что отродясь не бывало...

Народ шумно поддержал воеводу, и царь уступил. Любое государство нуждается в надёжном защитнике. Чуть подрос царский сын — отдали его на воспитание в дружину. А потом царь пожалел о том, да спохватился поздно: вырос старший жестоким, властолюбивым воителем, который не столько о защите собственных границ пёкся, сколько мечтал о захвате новых земель да о громких победах над иноземными королями.

Со средним примерно та же история вышла, лишь с той разницей, что воспитывать его взялись бояре. И когда понял царь, что детей лучше

держат в семье, — уже имел перед собой лживого, хитрого, коварного отрока.

Зарёкся царь не отпускать от себя детей, да судьба распорядилась иначе. В третий раз разрешаясь от бремени, не сдюжила царица-мать: померла. Все перед Богом равны. И у царя не осталось сил бороться за сыновей. Лишь младшенького удалось ему оставить подле себя и растить по своему подобию.

Подросли братья. Старшие начали престол между собой делить, лаяться, а младшенький — чистая душа: в спорах не участвовал, всё больше с книгами уединялся да со старцами мудрыми беседовал. Не принимал его завистливый, каверзный двор, и стал за глаза звать парня «Иванушка-дурачок». Лишь царь, старый, мудрый человек, хорошо понимал, какую опасность несут в себе старшие сыновья и как много пользы мог принести своей стране царевич Иван.

А братья старшие, к власти рвущиеся, чтобы устранить соперника, придумали коварный план...

По старинному обычаю, наследник перед вступлением на престол должен был избрать себе достойную супругу. Делалось это по старому доброму способу, дающему возможность выбора.

В назначенный день выходил жених с луком во двор, пускал стрелу, которая и «находила» ему суженую. Понятно, что «адрес» лучник ей указывал точный, особенно если стрелок отменный. Царевич же Иван никудышным был лучником, но не на это рассчитывали братья. Выследили они, что полюбил он дочку простого человека — горшечника, которая жила в отцовском доме у самого леса. И рассчитали: женят брата на простолюдinke — и отстранят его от престолонаследования.

И настал тот судьбоносный день. Лишь солнце поднялось над лесом, царь со свитой — уже на крыльце. Вышли братья в центр зелёного луга: красивые, нарядные, словом — женихи! Первым поднял свой лук старший. Уверенно натянул тетиву. Зазвенела боевая стрела и вонзилась в голубой налечник светлицы дочки боярина Грубского, дородные телеса которой давно волновали царевича.

Поднял свой лук средний. Гнусная ухмылка скривила его лицо: пушенная им стрела «выбрала» худосочную вертлявую девку, любимое чадо воеводино. Победно сверкнули его глаза: тесть-воевода наверняка подержит его в борьбе за трон.

Пришёл черёд Ивана-царевича. Повернулся он спиной к знатым хоромам, с силой натянул тетиву. Запела стрела о любви, взмыла над городищенской изгородью и полетела к избушке — к той, что влюблённому сердцу всех дороже.

Бросился Иван-царевич за стрелой вслед. За ним тенью — прислужники братовы, чтобы засвидетельствовать выбор младшего.

А тот, словно сокол, летел с холма, горя нетерпением обрадовать возлюбленную. Но что это?.. Нет радости на лице красавицы: от горя онемела. Лишь вездесущая бесштанная ребяшня объяснила царевичу, что стрела перелетела через избушку, скрылась в лесу и упала в таком топком месте, что ни взять, ни достать. А наймитов братовых и то устраивает.

— Бери, — говорят, — царевич, невесту да спешу ко двору.

Но юноше всё по чести хочется сделать. Сопровождаемый друзьями и недругами, спешит он через бор на болото. Вот миновали они опушку; входят в мрачный, пугающий лес. Замшелые пни, стволы огромных елей покрыты лишайником; карликовые берёзки и колючий кустарник встают на его пути, но упрямо идёт он в самую чащу. Следом — кому не боязно. Вдруг страшно закричали впереди птицы, испуганно забились в вершинах деревьев, спасаясь от чего-то жуткого. Но и тут не сробел царевич. Идёт упрямо вперёд.

Вот чащоба распахнулась, и царевич со своей пёстрой свитой очутился на краю топкой поляны. Смотрит: посреди неё, на самой трясине, стоит какое-то чудище непотребное. Фигурой вроде бы человек, а обличьем... Лицо у него безносое, безротое, а вместо глаз — две плоские оранжевые горят. Ну а тело-то и того чудней: с ног до головы зелёной блестящей чешуёй покрыто, на солнце переливается. Словом, диво невиданное. Как зыркнуло оно на людей своими глазищами, так все в ужасе попятнулись и давай бог ноги!

Царевич было — со всеми, да заметил, что держит чудище в лапах своих его стрелу. Поборол он страх и стал просить отдать ему стрелу. И — о чудо! Вняло непотребное его мольбе: идёт навстречу, протягивая пропажу. Увидел царевич, что чудище по самой топи, как посуху, идёт, — чуть чувств не лишился. Всё бы, может, по-доброму закончилось: отдало бы чудище стрелу царевичу да женился бы он на своей зазнобе, но к этому времени опомнились его попутчики. Смотрят — нет среди них царевича. Собрали всё своё мужество, вернулись на болото. Видят: берёт Иван из зелёных лап стрелу. Сам цел и невредим. Не тронуло его чудище. Осмелели. Первыми очухались братовы наушники: быстренько смекнули, какую выгоду они для своих хозяев из этого дива извлечь могут. И бросились к царевичу — не побрезговали взять чудище под зелёные руки, потянули из леса. Понял в то же мгновение Иван-царевич, что его ждёт. Вскрикнул он горестно. Бросился ему на помощь верный могучий отрок Пересвет, взмахнул обоюдоострым мечом, да не достал обидчиков царевичевых. Словно молния поразила Пересвета: упал он впервые в жизни на колени, уронил меч на землю и остался спать в лесу три дня и три ночи.

Обрадованные недруги подхватили жениха и «невесту» и потащили в царские палаты. Ведут они чудище меж избушек, ухмыляются — теперь уж Иванушке-дурачку не бывать царём!

Народ простой смотрит на это, крестится, слезами обливается: любят они младшенького царевича! Сам он разумом чуть не помутился, света белого не взвидел.

Приводят их ко двору. Увидел царь, какую судьбу уготовили его любимому сыночку. Хотел на попятную, да не тут-то было... Зло-то ведь так и прёт! Взъярились братья, а за их спинами бояре бородами трясут, воевода гремит латами. Эх, плохо быть царю добрым да безвольным! А боярам-то сильный правитель нужен был, чтобы новые земли захватывал, чтобы бояре чужие края грабили, могли обогащаться.

Словом, прижали старика, и делать нечего. Обвенчали всех по обряду и в тот же день сыграли тройную свадьбу. Братья шумно и пьяно праздновали победу. Иван же не пьёт, не ест — одну думу думает: «Как же

я с лягушей буду жить?» А та за столом сидит спокойненько, и не поймаешь, грустит она или радуется. Только плешками своими по сторонам зыркает. Гости под её взглядами совсем приуныли, не веселятся. Какое уж тут веселье? Вдруг станет это чудище болотное царицей? Куды тогда христианину податься? Не жить же под царицей-лягушкой!

Наутро старшие братья к меньшому с хиханьками да хаханьками пристают: как, мол, молодая? И к старику-отцу — пора назначить престолонаследника. А тот не торопится: размышляет, как бы ему любимца своего спасти. Целый день думал да ни до чего хорошего не додумался, лишь решил время протянуть. Сказал, что хочет испытать невесток, которая из них лучшая мастерица: велел к утру каждой по рубашке соткать. Ведь утро-то вечера мудреней. Побурчали братья недовольно да пошли выполнять царский наказ, а Иван сам не свой приходит в свою опочивальню. Плохо ему — знает, что не сегодня завтра станет один из братьев царём, и прогонят его с женой со двора родительского дома.

Сел на лавку, буйну голову повесил, кручинится. Вдруг подходит к нему чудище, в глаза своими плешками заглядывает, и будто слышится Ивану её голос:

— Что, царевич, пригорюнился?

И парень, будто кто за язык тянул, всё рассказал чудищу непотребному. Внимательно слушало страшилище зелёное царевича, головой кивало. Обо всех своих горестях поведал он — и о братьях коварных, и о кровожадном воеводе, о хитрых и жестоких вельможах, и о той, что в горе сейчас убивается в низкой избушке у чёрного леса. Рассказал, и как будто легче стало. Стало ему хорошо и спокойно — уснул он, как младенец.

Наутро очнулся ото сна царевич. Встал бодрый и радостный. Первое, что увидел, — прекрасная, горящая белым пламенем материя лежит в ногах. Поднял — а это рубашка, да такая, какой свет не видывал. Неподвижно её держишь — видишь красивейший рисунок: ладьи по синему морю плывут. А чуть тронешь ткань — оживает море, плещется; ветер надувает паруса, птицы встревоженные летят над волнами...

Обрадовался парень, свернул рубашку, понёс батюшке. А у царя уж старшие мастерством своих жён бахвалятся. Посмотрел царь рубашку бóльшего брата, проворчал недовольно:

— Такую рубашку только в чёрной избе носить.

Покрутил, повертел в руках изделие средней снохи, снисходительно сказал:

— А в этой можно в баню ходить.

Увидел царь чудищину работу, чуть речи не лишился, только и смог произнести:

— Вот это рубашка — во Христов день надевать!

До вечера любовался он рубашкой с живыми картинками, а потом дал братьям новое задание: кто из снох лучше угостит его.

Разошлись царёвы дети. Двое-то и судят меж собой:

— Чегой-то тут не так, надо проследить за Иваном да его уродкой...

И решили подослать к ним девку-чернавку, чтобы та всё выведала.

Всё выведала соглядатайка: и как Иван-царевич жалился чудищу на козни братьев, и как уснул он, и как чудище превратилось в прекрасную

девушку, и как выполнила царский заказ — приготовила невиданные яства, которыми наутро были вновь посрамлены жёны больших братьев.

Видеть-то чернавка видела, но ничего толком не смогла рассказать. Бормотала что-то про Божью благодать, удивительные превращения и чудесный чёрный сундучок.

Приказали братья бить девку-чернавку плетьюми и гнать со двора, ещё больше осердились на младшего. А слух о чудесных лягушиных превращениях поплыл по городищу. Достиг он и ушей Ивана-царевича — решил тот проверить людскую молву. Вечером притворился, что спит. Ждать долго не пришлось: лишь только опустилось солнце за окном — спала с чудища шкура, и увидел царевич перед собой прекрасную белокурую девушку. Столь изумительна и совершенна была её лепота, что даже странный голубой цвет кожи не испугал царевича.

Пока он рассматривал красавицу, та достала невесть откуда чёрный маленький сундучок, и тут такие чудеса приключились, что и царевичу, и детям его, и внукам на всю жизнь хватило бы рассказывать.

Перво-наперво положила она белые руки на сундучок сверху, стал он плющиться, пока не превратился в тонкое сияющее блюдо.

Прислонила его девица к стене. Пригляделся царевич — а это вовсе и не блюдо, а круглое оконце в стенке. Чуть не подскочил от удивления, когда увидел за тем окошком какой-то дивный чужеземный, высокий, как сосна, терем, а вокруг него чудища, вроде его жены, зелёные бродят. Вдруг одно подошло к оконцу, передало девице какую-то длинную плоскую вещичку, погладило по плечу и сгнуло. И сундучок куда-то пропал, а за окном уже светает...

Решил Иван посмотреть, что дальше будет, да тут в городище шум неизвестно от чего поднялся. Птицы, растревоженные, загалдели, голоса людские перепуганные, а тут ещё набат ударил! Бросилась девица из дому. Остался царевич один, смотрит — на полу шкурка лягушачья. Эх, была не была! Чем с чудищем век вековать, лучше с заморской красавицей жить. И, недолго думая, схватил он бородавчатую зелёную кожу и бросил в печь, в самое пекло.

А шум снаружи всё сильнее: галки надрываются, люди причитают, набатный колокол будто с цепи сорвался. Не утерпел царевич — и за девицей вслед.

Выбежал во двор, а там народу видимо-невидимо. Гомонят все испуганно, на восток смотрят. Глянул туда и царевич, а там...

Слились две зари: свет наступающего утра и огни бессчётных факелов. С трудом разглядел он в чаду и смрадных испарениях вражью конницу. Всё ближе злая сила, вот уж ясно видны сверкающие в свете огней страшные кривые сабли над лохматыми островерхими шапками.

«Орда!» — пронеслась в голове у царевича жуткая догадка. Столько лет жили спокойно, безбедно, — казалось, помнят кочевники урок на Истре. Ан нет: не даёт им покоя жадное до удовольствий тело, жестокая душа.

В оцепенении смотрит город на приближающуюся грозную, беспощадную силу. Почти рассвело. Вот-вот брызнет из-за окоёма первый луч нового дня, который станет последним в его жизни. От Орды не уйти, не спрятаться. Застигнутым врасплох придётся принять неравный бой.

Всё ближе узкоглазые низкорослые всадники на коренастых лошадаках. Не отрываясь, смотрит град в глаза своей смерти. Уже не слышно в людской толпе стенаний: каждый гражданин готов погибнуть, но не склонить головы перед супостатом. Раздался крик: «К оружию!» И вот уже не толпа, а войско перед крыльцом царским: в руках дружинников сверкают мечи, над головами у мужиков рогатины, с которыми хаживали в окрестные леса на медведя, женщины тоже вооружились...

Орда неумолимо приближалась. Вот она достигла уж заливных лугов. Вспыхнули дымным пламенем первые стога; всё ближе жестокая, ненавистная поганая сила. Вот уж и до реки ей осталось почти сажень двести. Земля уж стонала под топотом несчётных копыт...

Вдруг все увидели, как из ближайшего к реке стожка выскочили двое и что есть духу бросились к воде. Рослый босоногий парень, схватив за руку простоволосую девицу, мчался к спасительной ладье. Но страшный конец ждал влюблённых. Беглецов узрели и кочевники. С дикими, леденящими кровь криками пустились они в погоню. Сжались в бессильной ярости кулаки воинов. Не успеть, не спасти, не отбить. Горестно завывли бабы. Сурово нахмурились мужики. Главная беда впереди. И ничто от неё не спасёт, ничто не оградит, не заслонит от жадной, злой, тёмной силы.

Все замерли в ожидании неотвратимой страшной боли, которая пронзит через мгновение сердца влюблённых. Вдруг всё на крыльце пришло в движение. Толпившиеся там придворные испуганно отпрянули, пропускающая вперёд необыкновенной красоты девицу. Ступив на край крыльца, она взметнула над головой плоскую, отливающую серебром вещицу, и воздух над миром разорвал резкий, как удар бича, звук. Зелёное яркое пламя слетело с конца коробочки и в мгновение ока, достигнув заречья, разлетелось яростными брызгами перед мордами несущихся впереди погони лошадей. Вскрапнули перепуганные скакуны, повернули вспять, понесли своих седоков навстречу тьме. Сшиблись две конницы. Одна многочисленная, но неистовая, перепуганная насмерть, другая — огромная, самодовольная, полная сознания собственной силы. Потеснились передние ряды, а сзади нетерпеливо напирают. Хлещут язычники друг друга нагайками. Понемногу вроде разобрались: вновь попёрли к городищу, но новый удар бича повернул вспять ордынское войско, и в ужасе бежали прочь кочевники.

С изумлением смотрели миряне на свою спасительницу и её удивительную вещицу, обратившую в бегство столь бессчётное войско. Долго не находили слов. Лишь Прощка — Божий человек — нашёлся, сказал к месту:

— Так это ж меч-кладенец!

И молвил, поклонившись в пояс:

— Спасибо тебе, матушка ты наша...

Тут первые лучи с востока проглянули. Вскрикнула девица, бросилась прочь. А Иван-царевич следом в дом кинулся.

Девица по светлице мечется, шкуру свою ищет. Иван к ней сразу без обиняков: зачем, мол, в лягушачьем образе прозябать, среди людей человеком надо жить. Пойдём на свет дня, откроемся граду. От этих слов ещё пуще забегала девица, потом остановилась перед царевичем, смотрит ему в глаза, и вроде слышит Иван её голос:

— Отдай, Иван, кожу, не жить без неё...

Чудно парню: рот-то девица не открывала, а глас звучал. Стал он уговаривать девицу и так и сяк, но слышит в ответ:

— Чужая я, царевич, в твоём мире. Ночью ещё терпимо, а выглянет солнце за окоём — никакой мочи нет: жгут его жестокие лучи, терзают мою плоть. Шкура хоть немного меня спасала...

А светило продолжало тем временем своё восхождение, и чем выше оно поднималось, тем больше сникала девица.

— Царевич! — в который раз молит она юношу. — Отдай кожу, без неё не быть мне с тобой...

Молчит парень, а на душе погано: на глазах угасает супруга его. Вот уже без сил опустилась она на лавку, мертвенной бледностью покрылось её лицо. Не выдержал царевич, признался, что сжёг её кожу. Посмотрела на него девица печально и молвила:

— Тогда прощай, чистая душа. Хотела долго среди вас побыть, да, видно, не судьба...

С такими словами взяла она свой чёрный сундучок. Опять превратила его в оконце, но побольше прежнего. Вновь увидел царевич поляну с чужеземным теремом.

Подошла девица к Ивану, погладила его буйную головушку, посмотрела невесело в ясные очи и шагнула в низкое окошко. Бросился парень следом, да не тут-то было: будто прозрачная стена между ними встала.

— Не уходи! — закричал царевич. — Прости меня, несмышлёного!

— Поздно, поздно! — слышит в ответ.

— Скажи хоть, где искать тебя?

— В Тридцать Девятом Кубе Вселенной, в созвездии Бессмертия... — ответила девица, и горькая усмешка скривила её лицо.

— Где? Где? — не понял царевич.

— По-вашему — в Тридцать Девятом царстве, в городе Бессмертия.

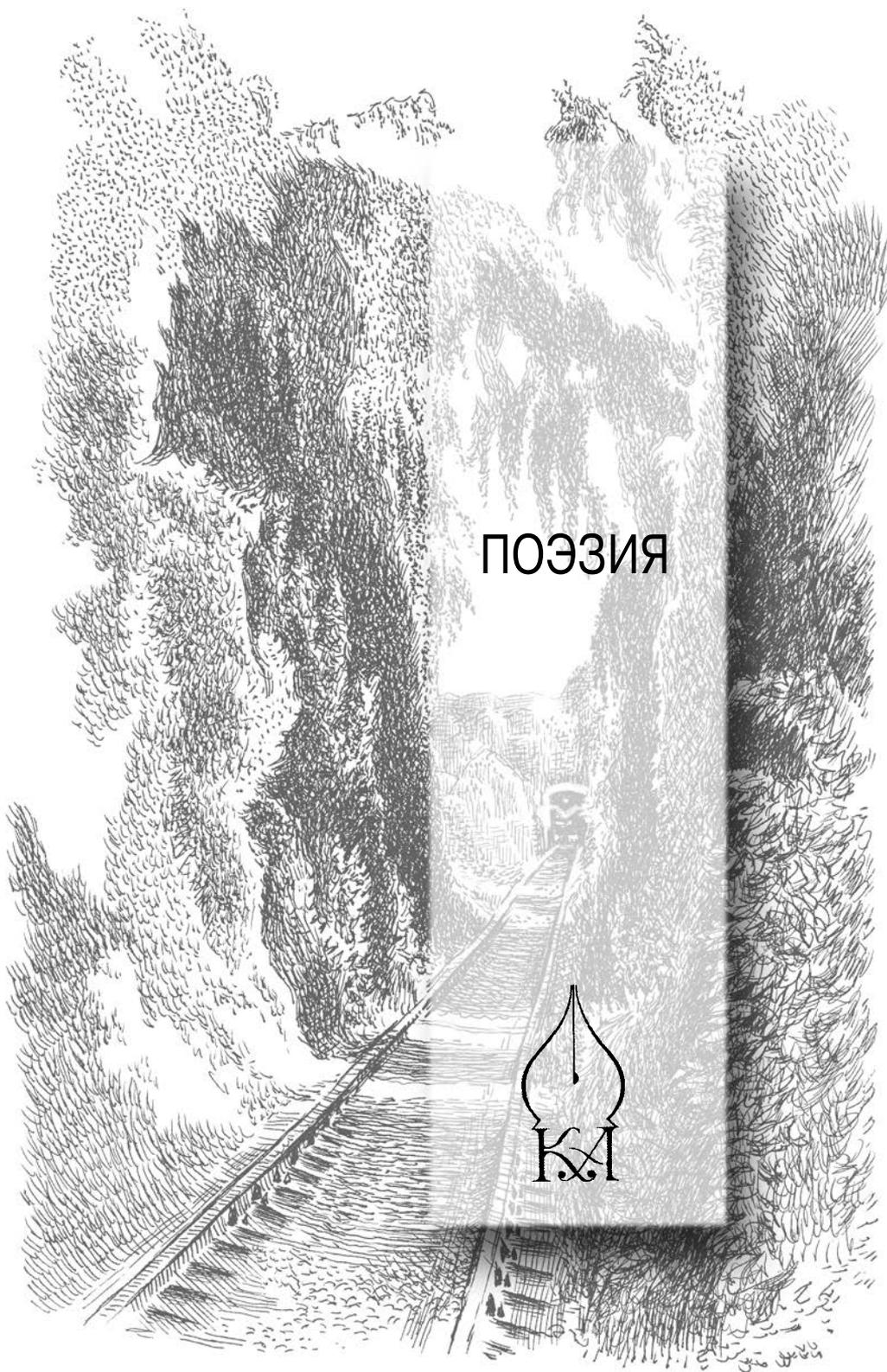
Сказала, повернулась спиной к царевичу, окошко тут же захлопнулось, будто и не было его. Только толстые слепые брёвна да пакля из щелей выбивается.

На следующий день ушёл с царского двора Иван-царевич, и больше его не видели. Знающие люди баяли, будто бы пошёл он Тридевятое царство искать, чтоб жену свою, царевну-лягушку, у Кощея Бессмертного отбить. Недолго братья радовались его уходу: поднялась между ними вражда лютая, и погубили они друг друга. Остался старый царь один в горе и сиротстве проживать последние свои дни.

* * *

Плачут сладкозвучные гусли, звенят яровчатые; поёт сказитель, ведёт удивительный рассказ о любви и ненависти, о были и небыли, глубоко спрятав в себе правду о чужестранке с зелёной лягушачьей кожей.

Затаив дыхание, слушают гусяра крестьянские дети, не зная, не подозревая, что в эти минуты на их глазах рождается сказка, которую будут рассказывать века...



ПОЭЗИЯ





Графика Василины Королёвой



Евгений Юрьевич Юшин родился в 1955 году в городе Озёры. Детские и юношеские годы прошли в Подмосковье, на Рязанищине и в Забайкалье. Окончил историко-филологический факультет Бурятского педагогического института в Улан-Удэ. Служил в армии. Работал на Коломенском домостроительном комбинате.

Член Союза писателей России.

Живёт в Москве. Более десяти лет руководит журналом «Молодая гвардия». Автор семи поэтических книг. Лауреат ряда литературных премий, в том числе премии им. Александра Невского (2002), «Большой литературной премии России» (2008).

ВАСИЛЬКОВЫЙ ДЫМ

* * *

Здесь люди красивы, как вольного неба размах,
Но взоры неспешны: душа не откроется сразу.
И девушки царственно носят озёра в глазах,
А парни задумчивы, как мускулистые вязы.

Здесь дни широки, а полночные звёзды остры.
Леса молчаливы, но всё о себе понимают.
Туманы буксуют на волнах коричневой Пры.
Лещи из густых омутов зеркала поднимают.

Сгущаются красные сумерки возле домов.
И мчит колесо золочёной листвы издалече.
Придут Кочетковы, Степашкины, Коля Нырков,
И старый баян развернёт угловатые плечи.

Не только за чаем мы будем сидеть допоздна.
Пройдут не спеша перед нами дожди молодые,
Раскаты объятий, мурашки рассвета, весна —
Вся жизнь пролетит, и накатятся слёзы седые.

Потом все разъедутся. Встанет луна у ворот.
Притихнут собаки, и в сердце осядут печали.
И спелое яблоко гулко в траву упадёт,
И старый баян замолчит, пожимая плечами.



* * *

Оглянешься — полжизни пройдено,
Но светят детства маяки:
Тысячеглазая смородина
И ежевика у реки.

Я не похож на неудачника,
Хоть не нажил золотых камней.
Мне гладит щёку мать-и-мачеха
Ладонью нежною своей.

И я люблю вас, подорожники,
И вас, холмы, и синий пруд.
Мне только страшно, что безбожники
И вас, как души, продадут.

Ещё мне светит Русь над рощею
И кружат мысли облака,
Ещё я чувю в травах скошенных
Дыханье пчёл и молока.

Я знаю рай. Зарёю утренней,
Зарёй вечерней — в краснотал,
Дорогой, думами окутанной,
И ты, возможно, здесь бывал.

* * *

Зелёная дымка по краю,
И звёздная пыль посреди.
Просёлок спустился к сараю,
Сирень прижимая к груди.

Его облака напоили
Живучей небесной водой.
Его соловьишки любили
За синий туман с лебедой.

За то, что сбежал он от шума
В дыханье ромашковых крыл,
За кротость и дальнюю думу
Я тоже его полюбил.

Колёсами взрытый просёлок...
Наверное, выпадет снег.
Под тёмными стенами ёлок
Унылый идёт человек.



Небритый, волосиков ворох,
Похмельный — дела не табак, —
Но словно вот этот просёлок,
Он тоже кому-нибудь дорог.
О Господи, было бы так!

* * *

Вздвогнет берёзы осенняя люстра,
И полетят медяки на траву.
Белые грузди, чёрные грузди
Неторопливо под елью беру.

Белые грузди. Чёрные грузди.
Что ж это грусти — через края?
Где-то высоко небесною Русью
Мамочка, мама проходит моя.

То пожурит меня дождиком синим,
То приголубит певучей волной,
Выйдет лучами над полем озимым,
Светом незримым взойдёт надо мной.

Плавно река устремляется к устью,
И уплывают дрёмой веков
Белые грузди, чёрные грузди
Грустных, осенних, сырых облаков.

Железный ветер

Родной деревни нет уже на свете.
Заборов перекошенных горбы.
В пустых сенях гуляет сильный ветер
И выметает время из избы.

В морщинах брёвен — пыль иного века.
Какие здесь гремели облака!
С войны вернувшись, гармонист-калека
Одной рукой растягивал меха.

И пел ведь, пел. И радости-печали
Любой избе хватало на судьбу:
И люльки, словно лодочки, качали,
И провожали ближнего в гробу.

И бабушка, и мама — молодые.
И песни — не удержит соловей.
Какие здесь черёмухи льняные!
Какие искры на глазах коней!

Мы жили не богато, не убого.
И та, что улыбнулась мне тогда,
Так пристально смотрела на дорогу,
Которой уходил я навсегда.

И все ушли... Кто в города, кто в землю.
Нашли себе загаданный приют.
Всё понимаю, но не всё приемлю,
И страшно, что меня не узнают

Лужок гусиный около обрыва,
От тишины присевшие сады,
Калина и горячая крапива
У проходящей медленно воды.

Прости-прощай!
Мне страшно в новом мире,
Где по-иному смотрят и поют.
И ветер всё железнее и шире,
И всё прохладней избранный приют.

* * *

Исцели меня, родное поле.
До слезы мне ветер душу жжёт —
Словно я чужою ношей болен,
Словно сердце правдой не живёт.

Оттого и бьётся учащённо
В стылой аритмии площадей,
Что грустит по липовому звону
И ржаному ржанию коней.

Исцели, родимая дорога,
От пустых печалей исцели.
Мимо неба, кладбища и стога
Пусть летят родные журавли.

Плачут пусть, отмаливая души.
Ну а мы, привыкшие к земле,
Будем их и провожать, и слушать,
Божью высь увидев на крыле.

Вот он, рай: равнина да берёза,
В перстнях роз туманная трава.
Щуки плещут у речных откосов,
И скрипит над бором синева.

Исцели меня, моя рябина.
Не навеки сердцу светит май.
Только от печали журавлиной
Исцеленья мне не посылай.

И ещё — в присвистах перепёлок,
В тёплых струях сена на лугах —
Путь земной красив, как летний всполох
На молочных звёздных берегах.

* * *

В закатный час я прихожу к берёзам,
И слушаю молитву сентября.
Последняя листва ложится в озимь,
Последним светом мир благодаря.

И бледный месяц плавает сквозь рошу,
И так печально делается вдруг,
Как будто осень дни мои полощет,
Слепое время разметая в пух.

Как будто всё, что было, — стало ветром:
И гулкий сад, и ровная вода,
И все, кого люблю на этом свете,
И молодости чистые года.

Хотя бы горсть тепла моим берёзам!
Хотя бы луч на золотом стогу!
Мы и живём-то, словно что-то просим,
Подобно зимним птицам на снегу.

* * *

Мутный дождь простор завесил,
Но прошёл — и был таков.
И, покачиваясь, веси
Засияли у холмов.

Мокрый конь дымит боками,
Точит дробные шаги.
Лебедами-облаками
Водит озеро круги.

Мне бы только насмотреться,
Надышаться, налюбить.
Словно родинку на сердце,
Эти чувства сохранить.

Как меды, бушуя в ульях,
Зреют сосны в небесах.
У меня — заря на скулах!
У меня — роса в глазах!



* * *

Красное зарево в жёлтом закате.
Белая пена вечерней волны.
Скрипнут ступеньки у бабушки Кати —
Это крадутся последние сны.

Вот поднимается синий пригорок,
Липа качает медовым крылом.
Рыжею шерстью сосновых иголок
Штопает август дорогу и дом.

Мутная лампочка, бабочка, мошка,
Вязь подорожника и лебеды.
Старая, подслеповатая кошка
И половодие лунной воды.

— Бабушка Катя, легко ли на свете? —
За помидорами, за городьбой,
Как муравьята, бегают дети.
— Бабушка Катя, Боже ты мой!..

* * *

И где ж нам в мире суетливом
Понять под городской луной,
Что можно ссориться с крапивой
И обниматься с бузиной...
Гуляй, покуда ходят плечи,
Покуда ноги землю мнут,
Покуда сумерки овечьи
Лучей выдерживают кнут,
Покуда хмурою волчицей
К дороге подползает лес,
И звонко по зубам водица
Поёт колодезную песнь.

...И синей осенью в окошко
Смотри, покуда не темно,
И солнце спелую морошку
Рассыплет на твоё окно.

* * *

Кашеев час. Осенние невзгоды.
Колючки ветра в проводах дождей.
И уплывают прожитые годы,
Как в сером небе стаи лебедей.



Присвистнет май откуда-то сквозь зиму,
Прошелестит откуда-то ольха...
Но смоят ветры струями косыми
Последнюю пушинку с лопуха.

Ну ничего. Переживём и это.
Перебудем вьюговый репей.
И выйдем к солнцу звать и ждать ответа,
Кормить с ладони новых лебедей.

* * *

Берёзовой рощей бреду.
Немного ещё — и увижу
Родную дощатую крышу
И бабушку в красном саду.

Навстречу рябина бежит
Встречать запоздалого гостя,
И тянет холодные грозди,
И ягодой каждой дрожит.

И вот уже к дому иду.
Собака соседская лает.
А бабушка тает и тает,
И нет её в красном саду.

* * *

Трава моя, зелень дождями зарёванных нив,
Не пой о печали. Стреножены жаркие кони.
И звёзды стекают с тяжёлых, как патока, грив,
И звёзды насквозь прожигают живые ладони.

Я чувствую ветер кремнистый за левым плечом,
С кривой городьбы подбираю зарю золотую.
Сажусь на коня и скачу за истоком-ручьём,
И спелые яблоки в красные губы целую.

И травы по следу бегут — они помнят меня.
И травы вперёд забегают — они не забудут.
Они от звезды разожгут на пути мне огня,
Они ещё долго в дорогу мне кланяться будут.

Песня

Я тебя уведу за сосновые тихие скрипы,
Где ромашковый ветер целует румянец реки,
Где в малиновом звоне медовые плавают липы
И берёзы на взгорке пульсируют, как маяки.

Ох, как хочется плыть в корабле этом не кругосветном
Мимо птичьих восторгов, холмов и понурых овец,
И уткнуться в стожок за деревней, за домом последним,
И услышать, как небо плывёт возле наших сердец!

У обочины белые бабочки вспыхнут — и сядут.
Колесо разомнёт по дороге скрипучий песок.
И от банки дымок посочится, как вечер, по саду,
И на синем окошке вишнёвый затеплится сок.

И осядут за лес облаков истончённые плиты,
И огни над землёй поплывут, покачнувшись едва,
И сады соберутся для тихой вечерней молитвы,
И листва пролепечет свои золотые слова.

124

* * *

Снилась мне дорога — люлькой журавлиной,
В утренних колосьях — с солнцем на краю,
С жеребьячим ветром, кроткою рябиной.
Снилась мне дорога в молодость мою.

Снилась та, чьи губы пахнут пьяной вишней,
Волосы лугами пахнут и рекой.
Мимолётным ливнем выкрашены крыши,
Ласточки-стригуны жгутся под рукой.

Там берёза в ливне бьётся, словно жерех.
И с непроходимой юностью в глазах
Я смотрю, как волны рушатся на берег
Да в восторге небо хрипнет на басах.

Но уже до яблонь дотянулась пальцем
Иневая осень, августом звеня.
В кипячёной дрожи проливных акаций
Вот мне и приснилась молодость моя.

Есенину

Поёт мужик в полуночном трамвае,
Что клён опал, что клён заледенел.
В его глазах дымится, вызревая,
Слеза, с которой сладить не хотел.

Тверским кольцом повенчан с высшей музой,
Стоишь, в свои мечтанья погружён.
Мой нежный хулиган, я тоже русский,
Я тоже русской песней обожжён.

Очнись, Сергей, у нас в России осень.
И хорошо, бродя березняком,
Раскланиваться с каждой берёзой,
С которой хоть немножечко знаком.

Пойдём туда, где около дороги
Заря примерит платье из парчи,
Где на мозолях пашен, слава Богу,
В земных поклонах трудятся грачи.

Искристой далью водку запивая,
С души одёрнем городскую спесь.
И может быть, в полуночном трамвае
Хмельной мужик мою затянет песнь.

* * *

Я встану утром рано-рано,
До голубичного тумана,
Зарёю свежей обольюсь —
Привольна Русь!

И май гремит о красный бубен солнца,
И май грохочет облаком речным,
И никому в любви не признаётся,
И стелет полем васильковый дым.

А сколько жить — на то не наша воля.
А сколько петь — на то не наш загляд.
Черпнёшь воды, а в ней качнётся поле.
Черпнёшь небес, а в них вздыхает сад.

* * *

Обмелело небо понемножку.
Облиняли ситцы васильков.
Сыплет дед скуластую картошку
В мешковину серых облаков.

Всё проходит в мире. Жаль, конечно.
Слишком мы привыкли на земле
К тёплым, отуманенным и нежным
Сумеркам у рощи на крыле.

Слишком мы с тобою прикипели
Ко всему, чего не уберечь.
Вот уже и листья улетели,
Чтоб на землю пламенем прилечь.

И когда просторы заходит,
Прошепчу я в сомкнутую высь:
— Всё проходит в мире, — мир проходит! —
Словно песня, молодость и жизнь.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Добрый свет Поочья

Мы дорожим его дружбой: ведь это наш земляк. Евгений Юшин родился в 1955 году в Озёрах, а этот город был в своё время большим промышленным селом в Коломенском уезде. Да и все детские и юношеские годы писателя связаны с Поречьем: Рязанщина, Коломна, Зарайск... Места, овеянные драгоценным есенинским талантом.

Не удивительно, что тихое сияние этих древних земель чувствуется в стихах и прозе Юшина. С какой бережностью и любовью хранит он поэзию русских домов, глубины снегов и говор летнего леса!

За плечами поэта долгий путь, лауреатство престижных премий, семь поэтических книг. Сегодня Юшин — главный редактор журнала «Молодая гвардия».

Но писатель не загордился, не забыл в хлопотной московской жизни своих родных мест. Он часто публикуется в «Коломенском альманахе».

Дорогой Евгений Юрьевич!

Ты переживаешь время расцвета, когда дерзания молодости дополняются опытом, знанием и мудростью. Дай Бог тебе как можно дольше оставаться таким же, как сейчас! И пусть добрый свет Поочья всегда освещает твой путь!

Коллектив редакции



Вадим КВАШНИН

Вадим Николаевич Квашнин родился и живёт в селе Лукерьино Коломенского района Московской области. Работал трактористом, затем агрономом.

Печатался в альманахе «Истоки» и «Коломенском альманахе», журналах «Сельская молодёжь» и «Юность», коллективном сборнике «Радонеж», в «Литературной газете». Книги стихов: «Русское поле» (1991), «Доставший путь» (2001), «Я — бродяга...» (2006).

Дипломант литературного конкурса, посвящённого памяти поэта Ильи Тюринина (2001), лауреат премии им. Сергея Есенина (2003).

Член Союза писателей России.

СКОЛЬКО ДОРОГ К ТЕБЕ

Длань Господня

Над пашней и полем кострами горя,
Взметнулись тугие огни октября.
Но бешеный ветер не даст им гореть,
Срывает с них листья — кипящую медь,
Он мнёт их и гонит в овражную голь.
Пронзи мою душу, щемящая боль,
Чтоб, облаком бело-багряным клубясь,
Летающей бездны она напилась!
Но радужным бликам недолго летать,
Но плачет по сыну скорбящая мать.
От хмурого поля пройдут всполоха,
Как трещины молний пронзят облака —
Летящую душу настигнет рука.
Раздавит и выжмет на нашу юдоль
Багряные слёзы и белую соль,
Иссушит, как ветер — овражную голь.
Прости мою душу. Возьми мою боль...

* * *

Слушай, пустое сердце,
Жизни опора тленной,
Небо, ночное небо —
Малый виток Вселенной.

В пропасти, в бездне далей,
ГДЕ ПЛАНЕТЫ В БЕДЕ ОДИНОКИ,
Живы твои начала?
Целы твои истоки?

Ночь притворилась глупой,
В прятки свои играет,
Синим сияньем лунным
В белых полях мерцает.

Радость, спеша согреться,
С лютой бедой столкнётся.
Слушай, пустое сердце,
Сердце живое... бьётся...

* * *

Я полон жизни, я полон сил,
Всё мне даётся и получается.
А голос тихий мне говорил:
«С отвесных скал легко срываются».

А мне плевать, а я лечу,
Глаза горят огнём удач,
Когда сорвусь и полечу,
Тогда уж плач, тогда уж плач.

Но я-то полон свирепых сил.
А голос тихий мне говорил:
«Не в этом дело, не в этом суть,
Что рухнет тело в немую жуть.
Твои невзгоды, твоя беда —
Глядишь под ноги и — никуда...»

Я не сорвался, я — не лечу.
Я не рыдаю и не кричу.
А сердце рвётся о цепь удач.
Я слышу тихий, усталый плач.

Когда, казалось, я полон сил,
Всё мне даётся и получается,
Чей голос тихий мне говорил? —
«С отвесных скал легко срываются».

Из поездки в никуда

Колючий ветер дует злей и уже,
Ты в нём, душою-раною горя,
Сгораешь вся дотла, а пепел студишь
Туманами седого октября.

Но боль огня — пронзительней, чем крик:
Раздавит и сожмёт в одно мгновенье.
Терпи её — она жива лишь миг,
Прими её, молясь, как очищенье.

И ты увидишь новыми глазами —
Блестит дорога, как сырой канат,
И стёкла плачут длинными слезами,
Всё размывая — пепел, крыши, сад.

И в первый раз, сойдя в холодный город,
Себя в нём не увидишь, не найдёшь,
Полюбишь эту слякоть, этот холод
И Родиной своею назовёшь.

* * *

I

Скажи мне, что тебя тревожит?
Какая дума ум и сердце гложет?
Быть может, у тебя в душе другой,
Ещё не близкий, но безмерно дорогой...
Ты не решаешься, ну что же, я скажу —
Я не хочу твою любовь делить
И в слякоть марта хмурый ухожу,
Чтобы душой немного поостыть.

II

А хмурый март рассеянные тени
Разметал на хрусткие снега.
Закачались шаткие ступени,
Вывели в широкие луга.

Слушают остывшие дороги
Горизонтом тающий закат.
На реке насмешливы и строги
Голоса играющих ребят.

Кутается зябнувшее тело,
Как в широких трещинах вода.



Твоё время или отлетело,
Или — здесь осталось навсегда?

* * *

Крутой обрыв и вёклы в три обхвата.
И под обрывом мелкая река,
А над обрывом маленькая хата
Стоит, глядит провалом чердака.

По лугу и по вспаханному полю —
Бензиново-железный разворот.
Здесь мысли обостряются до боли
И жизнь сама течёт наоборот.

Но светятся кристаллами мгновений
И верят эти вёклы и река
В иное, невозможное вращенье,
Живому недоступное пока...

* * *

Живём, поколе Господь грехам нашим терпит.
Владимир Даль. Пословицы русского народа

130

ВАДИМ КВАШНИН

Лес пустынен, пройду не спеша,
Тихий шорох и шум листопада.
В этом мире прозрачном душа
Своему одиночеству рада...

Выстрел гулкий, почти что в упор!
Визг и выстрел второй, но поглуше.
Всё понятно, кабанчик «дошёл».
Подфартило кому-то, послушай.

Затрещало вокруг, взорвалось,
Что там шорох и шум листопада?!
Прямо мимо меня пронеслось
Вепрей диких хорошее стадо.

Захотел посмотреть — кто стрелял?
И под елью застыл себе — нате —
Я блаженного Борьку узнал —
Чернотроп, а он в белом халате...

Я под елью застыл не дыша.
Слышу — плач, наподобие стопа,



Вижу — слёзы текут по щекам,
И привиделось — плачет икона...

Только знал я — пахал он, как вол.
К жизни так он — всерьёз-понарошку.
Но представил я скобленный стол —
Лук, укроп да пустую картошку...

Я ушёл, я не слышал себя,
Я ушёл, я не смог бы иначе.
Я не видел — подсвинок, свинья? —
Будет, Борька, твой стол побогаче!

Лес хлестал по лицу и рукам,
Я не чувствовал боли и тела,
Градом слёзы текли по щекам,
И душа — вся от счастья — звенела!

* * *

Сколько людей в толпе?
Часто ли плачут дети?
Сколько дорог к тебе?
Есть ли они на свете?

Сесть ли, смотреть в окно?
Ветер колышет зябь.
Под ледяной луной
Клён до костей озяб.

Броситься ль с головой
В сумятицу тех дорог?
Вон, облетев листвою,
Клён под дождём продрог.

То ж за судьбой-невзгодой,
Что за счастливой судьбой:
Радость на долгие годы,
Невыразимая боль.

* * *

От лугов прохлада и медвяный дух.
Выгоняет стадо молодой пастух.

Рядом с ним девчонка — тоньше василька:
Белая юбчонка, лёгкая рука.
Сочно гнутся травы от высоких рос.
Там, за переправой, где речной покос,

Где ещё синее дымка вдалеке,
Ночь была короткой на его руке.

В утреннем тумане млеет сосновый сруб
Молоком налитых земляничных губ.

Ласковое утро, и со всех сторон —
Голубое небо, златотканый звон!

Слюдяное стадо светит далеко,
Смейся звонче, радость, лейся, молоко!

* * *

Привет, деревенское лето! Пришло! А начавшись едва — От солнца большого и света Блестит и трава, и листва!	Мне десять — она куковала... И сердце стучало в груди, А сердце в груди ликовало: Мне десять, и жизнь — впереди!
В лесу — там кукушка кукует, Трещит на лугу коростель. От радости сердце ликует, От самого неба — досель!	Года прокатились покато, То жёрновом, то колесом. Как жил я? Счастливо, богато? Я жил, и спасибо на том.
Гуляй! Деревенская воля! И в солнечный яркий рассвет Я крикнул в раскрытое поле: «Кукушка, а сколько мне лет?!..»	Эпоха меняла эпоху. И что мне собой дорожить? Спрошу — между выдохом-вдохом: «Кукушка, а сколько мне жить?»

Я думаю, что угадает,
И сердце, как в детстве, замрёт.
Как в детстве я верю, что знает,
А сколько — сейчас пропоёт...

* * *

Небесный кто? — в излучине реки
Творил своё минутное творенье.
Невидимым дыханием руки
Заворожил живое удивленье.
Врисуется во все мои года
И в душу сей пейзаж замороженный:
Знакомая зелёная вода
И этот синий берег, отражённый,
И позже — отражённая звезда.

Настанет день, от суеты и слов
Засобираюсь снова на охоту —
За все её трофеи и улов
Туманность отражённых берегов
Я предпочту Утиному болоту.

Кто?

Буду пить и плакать,
Пропадай ты, доля!
В мерзкий дождь и слякоть
Кто выходит в поле?

Кто придёт на вынос?
Гроб возьмёт на плечи,
Скажет: «Он не вынес
Боли человеческой».

Что ж, отцвёл я в лето,
А сгорю я в осень,
Кто мой по свету
Подберёт колосья?

На поминках скорых
Горькой вдрызг напьётся
И затынет песню —
Пусть она поётся!

Венок

*Господь каждый день ходит по своему саду
и собирает те плоды, что уже созрели...*

Тяжёлым взором скрытого огня
Я вижу — Гоголь смотрит на меня.
Но душно мне и воздух пахнет пряно.
А чуть вдали у белого фонтана
Стоят, блистательны, Ахматова и Блок,
А на ступеньку ниже и присели
Пасхальный Клюев, озорной Есенин
Вовсю смеётся розовостью щёк.
А у колонны с профилем орлиным
И благородно к даме наклонясь,
В её альбом большим пером гусиным
Писал стихов причудливую вязь
Великий Тютчев. Скромно и один
Взирал на всё тщедушный Карамзин.
Среди присутствующих Пушкин ходит смело
Туда, куда душа его велела.
Там Лермонтов с поникшей головой,
Застреленный, застывший, молодой...
В кругу своих глаголов и основ
Беседовали Кожинов, Краснов.
Поодаль с ними — Юрий Кузнецов.
Рубцов сидел на выгнутой скамейке
С потёртым чемоданом, в телогрейке.
А рядом Передреев Анатолий
Распахнутой душою смотрит ввысь...
«По поводу какому собрались
Среди благоуханий и раздолий,
Милейшие?» «Ты видишь этот плод?» —
Мне разъясняет Александр Дорин,

Поэт и молодой экскурсовод. —
И этот плод — душа твоя и тело,
Твой земные мысли и труды.
Ты видишь — это яблоко созрело,
ОН собирает зрелые плоды.
Так ты готов?» В груди похолодело,
И вспыхнула стихов тугая вязь
Всех ненаписанных, но смело
Сказал: «Готов», склоняясь и молясь...
«Да, я готов». Но Дорин улыбнулся
И яблоко запрятал в глубь ветвей...
...Я если спал, то тотчас и проснулся,
И если это сон, его развей
Своей прохладой в душной ночи лета.
Бокал воды, ночная сигарета.
Уже не сплю, но вижу в неге зноя
Тугие и румяные бока
Соседнего, висящего со мною
ЯБЛОКА.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Время жатвы

«Где родился, там и пригодился»... Вадим Квашнин полвека подтверждает эту народную мудрость. Какое богатство окружало его с детских лет! Старинная деревня со сказочным названием Лукерьино, древний овраг, заросший разлапистыми деревьями, сквозь языческие дебри которых струится Коломенка, окрестные леса и поля... Многие поколения видели красоту Коломенского края, но именно ему дано было по-настоящему воспеть её и стать одним из лучших поэтов Подмосковья.

Сколько трудов было вложено им в эту землю! Наливались золотом хлебные поля, возделанные его руками, а в душе собирались таинственные клады, копились, листок к листку, звучные стихи.

Вадиму Квашнину исполнилось пятьдесят лет. Поистине — золотой юбилей! Пришло время жатвы. Пора собирать словесные зёрна, открывать миру песенные клады...

Счастья тебе, Вадим! Пусть Господь пошлёт щедрые урожаи твоим полям и многозвучие твоим книгам — на радость всем нам и во славу родной земли!

Коллектив редакции



Евгений Михайлович Кузнецов — сложный лирический поэт с неординарным, многокрасочным внутренним миром. Его образы глубоко западают в душу. В стихах поэта родная Коломна предстаёт «соцветьем куполов», «сплетеньем узорных оград», «домотканой москворецкой стариной». Евгений Кузнецов — странник, и город «повис котомкой серой», сшитой для него. И восходит светлой радугой дорога поэта, дорога причудливых образов, древних загадок. Она тянется в небо, к Богу. Имя её — Поэзия...

ЗВУЧИТ КОЛОМЕНСКАЯ МГЛА...

* * *

Нам Родины ни изменить,
 Ни заменить другой...
 Ветрами выщерблен гранит,
 Протяжный и тугой.
 Протяжный скрежет шестерён
 Отлаженных часов...
 Не отпереть земле Матрён
 Заржавленный засов.
 С литых страниц не соскрести
 Свинцовую печать —
 Одну беду перенести,
 Чтоб новую начать.

* * *

Опять в окне Коломна. Что ж,
 Люблю её ночной.
 Да, город на себя похож:
 Немного сволочной,
 Немного пьянь, немного вор,
 Немного эгоист.
 Но не об этом разговор.
 Не стоит портить лист.
 Пусть скажут: «Кухонка слепа,

Чуть залита звездой.
 Сам стал похожим на попа,
 Обросши бородой!»
 Но всё священное — в строке,
 И пишет вновь рука:
 Закат на Репинке-реке —
 Свет счастья на века!
 Звучит коломенская мгла:
 Песнь — в шорохе дерев.
 Жизнь многое мне дать смогла,
 Хотя и одурев.
 Сие не ода, лишь листок!
 Никто не скажет: «Лист!»
 Летите, песни, на восток,
 Коль город — эгоист!

* * *

По Рязанскому тракту — застава.
 По Кирбатской — весна дотемна...
 Бродит в сумерках пьяная слава:
 В каждой луже — по капле вина.

И свобода немислима как-то:
 Ни веселий, ни праздников нет,
 Только горечь Рязанского тракта
 Да осиплый кабацкий кларнет.

И под скуку кларнетную эту
 Только пить да бесчувственно спать,
 Всю истёршейся жизни монету
 Папиросной трухой посыпать.

Кто-то скажет: «Браток, огоньку бы!»
 Только за ночь не выжечь вина!
 С дымом жизни свыкаются губы,
 И бессмыслицей стала весна.

Жизнь прошла. И не радости ради
 Предпочла она песне питьё.
 Горькой горстью гнилых виноградин
 Отравил я сознание её.

В горьких сумерках тонет заставка,
И весна мне уже не весна.
Стала спутницей пьяная слава,
Стала кровь моя сгустком вина.

Милицейская элегия

Патрульная машина. Невода
Решётки, сетки позади кабины...
Ты знаешь, Арлекин, что навсегда
Тебя увозят, и от Коломбины
Ни весточки не будет, ни слезы,
Ни присланной пощebetать синицы?
Решётку до подобия лозы
Не хватит сил согнуть, чтоб вереницы
Последних журавлей над городком
С печалью проводить в иные страны,
Где ни на ком из смертных, ни на ком
Нам не увидеть ноши в виде раны.
Тебя увозят, Арлекин. К чему?
Чтоб ты не вспомнил, бит, не узнаваем,
Ни Осипову нежную чуму,
Ни песенку, напетую трамваем,
Ни фонарей распухшие глаза,
Слезам которых улица не рада...
Тебя увозят за... Ты знаешь, за
Незримый сговор с тенью маскарада.

Закатное

Солнце садится на Троицком склоне —
Сердцу соседство такое под стать!
Как вдохновенно свободны ладони
Книгу сказаний закатных листать!

Книгу изученных мной очертаний —
Репню и Троицу — с верой приму:
С необъяснимой свободой в гортани,
С остывающим светом в дому.

Стоит ли спорить, что небо бескровно?
Небо — открытые, костёр, кровотоки!
Вновь своенравно, порывно, неровно
Я остывающий брошу Восток.

Ночь за плечами ещё вне закона.
И только с ветром и волей в ладу
Вырвусь неистовым взором с балкона
К Троице. К Небу. К Закату. К Суду.

* * *

За пристанционные кибитки,
За дымок в садах песковских дач
Вы меня укроете от пытки
Прятать безответных песен свитки,
Как в тюрьме — обёртки передач.

Я — прославивший должником печали,
В песне к Вам ищу другой наряд,
По торгам бродя и на причале,
Чтоб глаза совсем не одичали,
Чтоб лучи участия источали,
Видя, как листки долгов горят.

Первый утренник

Первый утренник. Нового блеска
И величия снова полны
Золочёных аллей арабески —
Побдать осени мукам земным.

Первый праздник морозного света:
Лёгкий плат индевелой травы —
Плащаница умершего лета
Под сквозным ришелье синевы.

Первый утренник! Первое счастье!
Оживленье синиц под окном.
Синевы и листвы двоевластье,
Двоевластье на троне земном!

Крещение

Матери моей Марии

Помнишь, ставенки скрипели,
И пощипывал мороз,
И склонялся у купели
Над младенцем Сам Христос?

Помнишь, клиры славно пели,
Нимб сиял — соцветьем роз,
Чтобы в тихой колыбели
Всем на славу мальчик рос?

И на Всенощную свечи
Озаряли: ночь и речи
Господа и мир, нарекший
Светлым именем тебя.

А наутро — снег и солнце!
В озарённое оконце
Лился свет Завета Божья —
Жить, о страждущих скорбя...

* * *

И ты зажгла свечу...
Как спички пахнут смолкой!
Задев за каланчу,
Повис апрель ярмошкой
Над Божиим кутком,
Предвечною краиной...
Здесь от себя тайком
Веснянкой и Наиной
Ты годы провести
Сумеешь. Будь счастливой!
Стань вербой или ивой,
Меня перекрести!

* * *

Вдоль полотна весна белеет
Черёмуховой чистотой.
Стальной состав расправил шлеи,
Летит без удержу, пустой.

Платформы, стрелки, семафоры,
Шлагбаумы, посты, мосты —
Минует всё гонец Мещёры,
Противник вечной суеты.

Стальной душе, всегда спешащей,
Сродни весенний взлёт ветров
И прелесть рожи говорящей.

И кажется — небесный кров,
Взлетев, стрелой прошьёт мгновенно,
Что мир, и суетный, и тленный,
Расколется на тьму миров.

Ольха

Бродит зажённой спичкой
По околотку ольха...
Искоркой кроткой лисичку
Высветит в сырости мха.

Станет под окна — девицам
Щёки румянить со сна.
С первою бойкой синицей
Станет шептаться она.

Или застенчиво глянет
В лужицу подле плетня...
И не заметит, как ранит,
Как опечалит меня.

Песня

И дом при крыльце староверов,
И сонный сарай дровяной,
И сырость, неискренность скверов, —
Всё сделалось песней одной.

Пришла не соперницей, скромной
Сестрой одичавшего дня,
И долго дивилась Коломной,
Чем только дивила меня.

Мне ею не грезить. Но прятать
Её я не смею, пою...
Не с ней ли по улицам сватать
Безбожную юность мою?

Побег

Месяц нынче — лодочка, в которой
Мы из денной бедности сбежим.
Звёзды-ноты — следом дивной хорой, —
Вёсел-перьев так знаком нажим!

Сядем без раздумий, разгребая
Облака прошедшего, тоску.
Звёздочка безвинно-голубая
Спустится фонариком к виску

Твоему... О, как недосыгаем
И невидим будет твой покой
Улицам! Останутся снега им,
Брошенные вниз твоей рукой...

А вдали — бескрайние просторы
Вольных стран, события, имена!..
Месяц нынче — лодочка, в которой
Мы сбежим, и в том ничья вина.

Странственный манифест

Странствовать!
Звонницам кланяться!
Сосланным сказам внимать!
Душу пора, бесприданницу,
Из сундука вынимать!

Где-то на станции спешиться,
Выменять волю за соль.
Душу, вчерашнюю грешницу,
Вольной увидеть оттоль.

Полям, закатами зоркими —
К дальним заветным верстам,
Где над земными задворками
Жизнь первозданно проста!

Где — ни хмельного мытарства,
Ни площадей, ни дверей...
Странствовать!
В светлое царство!
Стать человеком скорей!

Мой герб

Да! Мне бы — гусли да рожки,
Всегда им подпою!
Походов звёздных вожаки
Не знают жизнь мою.

Не знают жизнь мою и страсть,
Не привечают строк.
Я так спешу, спешу украсть
У новолунья впрок!

Спешу украсть двухречий, чувств
Веселья и сродства,
Бегу по берегу искусств,
По скосу естества.

Бегу — пою, пою о том,
Как имя запалить
Над миром рук и как притом
Развенчанные в мире том
Рожки и гусли слить!

БИБЛИОТЕКА

Добрая книга

Капралов В. Вечные облака: Избр. стихи. М.: Изд-во журнала «Москва», 2009. 296 с.

Коломенский поэт Валерий Капралов выпустил четыре поэтических сборника, печатался в периодике, в том числе в «Коломенском альманахе», теперь настала пора Избранного. Валерию Капралову есть о чем поведать читателям: благодаря первой специальности — изыскателя — он исколесил всю страну, впечатлений и знаний о жизни у него много. Но в новой книге — новая ступень осмысления драматизма бытия: «Но ты, душа, пока ещё жива, хоть время обошлось с тобою круто...»

Вообще поэзия Капралова при её философичности, сосредоточенности на духовном, нравственном начале очень конкретна, богата зримыми, подчас неожиданными деталями. Так, из стихотворения «В сорок шестом» о похоронах матери явствует, что в детской памяти остался жареный сом на поминальном столе: «*И эта жирная рыба, нарезанная кусками, почти до самого кладбища стояла перед глазами*» — впечатляющая подробность голодного времени.

Стихи последних лет (а в «Избранном» есть и впервые публикуемые произведения) насыщены раздумьями о судьбе некогда великой державы. Её будущее поэт связывает с возрождением Веры: «*И чтоб воскресла Русь, не нужно ждать чего-то, а лишь в душе зажечь погасший было свет*».





Михаил Валерьевич Прохоров родился в Коломне 26 декабря 1976 года. Окончил Коломенский государственный педагогический институт по двум специальностям: история и филология. Работает старшим преподавателем кафедры литературы КГПИ. Его искусствоведческие очерки и стихи публиковались в местной прессе.

Прохоров неоднократно печатался в «Коломенском альманахе». Творчеству поэта свойственны особая музыкальность и глубина.

ЭТО ТИХОЕ ТОРЖЕСТВО

Осенняя элегия

Этот летний с деревьев загар
До конца ещё так не сошёл.
Что же, примем как радость, как дар
Эту осень — не как произвол.

День прозрачен и свеж. Солнца нет,
Но светло — так весь день напролёт;
То сквозь тучи просеянный свет
Ощущение солнца даёт.

Белый день в онемень застыл.
Это тихое торжество
Опускается к нам с высоты;
Пахнет дымом, простором, листвой...

И сейчас нам дороже всего
Растворённых в тумане лучей
Это тихое торжество,
Этот день — и не твой, и ничей.

Эта в лёгком тумане лазурь —
Тот, кто был в ней, уже невредим —
Сохраняя для будущих бурь
Эту радость, и солнце, и дым.

* * *

И у заката тайна есть своя,
А что мы знаем — много ль это значит?..
Чуть брезжит свет, ещё светла земля,
Но всё темней, темней... И только ярче

На западе, где тёмная гряда
Деревьев — то белеющее пламя:
Для полночи встающая звезда,
Бессуетно следящая за нами.

Быть может, в нас огонь её горит,
И в каждом — бесконечное мерцанье?
Наш небосвод с огромным миром слит;
Душа моя — не часть ли Мироздания?

Каких-то дальних, неземных аллей?..
И только небо странно голубеет:
Чем ближе к горизонту, тем светлей,
И лишь над головой — оно темнее...

* * *

О, почему нельзя вдруг музыкаю стать,
Уйти от смерти, избежав печали?
О, чем бы мог природе я воздать,
Став тем, чем и она была вначале!..

О музыка, ведь ты не плод, не сад,
Где тишиной разрежены деревья;
Настурций листья чуткие дрожат
После дождя, готовятся к кочевью.

То всё — биенье сердца твоего
И простота твоей девичьей сути.
Дотронься ж — не услышишь ничего,
Лишь листьев ропот, их зелёной мути.

Но думается: если б стать тобой,
Стать тем, чем ты сама была вначале...
Какой могли бы обрести покой
Из жизни новой, жизни беспечальной!

Но не постичь твою святую жизнь:
Не свет мы видим — только отраженье.
Что нам дано? — одни лишь миражи...

Но облака, но эти волны ржи
И синева до головокруженья...

Почти ресниц касаются стрижи.
Приносят в долгих криках утешенье.

Цветы

Подсолнух в рамке дань закату
Отдал, взглядевшись. В этот миг
Лиловой комната чревата
Вечерней тенью. День затих.

И в мире — там погасло что-то,
А здесь — почти из темноты,
Из недр божественной дремоты
Мы слышим — воду пьют цветы.

Уже политым — им не страшно,
Но грусть особенно светла
Тем — в глиняном горшке ромашкам
На фоне тёмного стекла.

За ним темней, но мысль бездонней...
Смотри ж — через окно — проник
Тот — солнцеликий на балконе
К закату, первого двойник.

Кто знает, тайною какою
И в вечер лишь облачены
В тиши настурции, левкой
Какие предвкушают сны.

Вечерней дремою объаты,
Зелёной нянчены страной,
С балкона тянутся к закату
И дышат неба глубиной.

Я это постоянство знаю —
Преодолеть закатом грусть.
Всё время к жизни привыкая,
Я их спокойствию учусь.

Сколько изгибов прихотливых,
Какие солнца в их сердцах!
Как к детям матерей счастливых,
Вовек к ним не подступит страх.

Их жизни неисповедимы
И ввечеру их забытьё,
Но тени, и цветы, и глина —
Всё утешение моё.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дому Озерова — 30 лет

Кто в городе не знает это величавое здание с пышным шестиколонным коринфским портиком! Всё великолепие казаковского классицизма воплотилось в этих парадных фасадах, торжественных арках, узорчатом ви-

тье листьев аканфа... И, наверное, есть какая-то закономерность в том, что это здание, связанное с именем известного коломенского промышленника, мецената и благотворителя, и сейчас остаётся центром культуры.

Выставочный зал открылся в 1980 году, к 600-летию Куликовской битвы. А теперь это — великолепный просторный комплекс, где непрерывным потоком идут художественные выставки, творческие встречи, музыкальные вечера...

«Коломенскому альманаху» Дом Озерова особенно дорог. Здесь мы отмечали наш первый день рождения, когда в далёком 1997-м коломенцы познакомились с новым изданием. Сколько с тех пор прошло литературных гостиных, на которых коломенские прозаики и поэты вели откровенный разговор с земляками! Эти встречи никогда не были формальными «мероприятиями». Сердечное тепло, доброжелательность «хозяев» Дома Озерова создают всегда особую атмосферу, и гости, уходя, уносят в душе благодарную память, яркую и живую, словно трепетный огонёк свечи. И мало кто догадывается, сколько трудов приходится положить, чтобы зажечь этот свет...

Дорогие «озеровцы»! Примите от всего литературного мира Коломны низкий поклон и поздравления с юбилеем! Дай вам Бог радостного и плодоносного творчества во славу родной Коломны!



Коллектив редакции



Детство Ларисы Александровны Морозовой прошло в Коломне. Окончила Первое московское музыкальное училище. В 1978 году окончила Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных по специальности «музыковедение».

Впервые её стихотворение появилось в газете «Коломенская правда», когда автору было 13 лет.

Пишет песни. Печаталась в журнале «Студенческий меридиан». В 2001 году вышел поэтический сборник «Клавиши», в 2008 году — «Ветер времени».

Живёт в Москве.

СВЕЧА ВО ТЬМЕ

Вальс на Арбате

Душа Москвы, Арбат... Ах, сколько ротозеев
Приходит заглянуть под тайный твой покров!
Но из души, поверьте, не делают музеев,
И мест увеселений, и проходных дворов.

Прощай, прощай, Арбат наивных голубятен.
Ты прежде не знавал роскошных фонарей...
В косметике твоей так много ярких пятен,
А в небе над тобою нет белых голубей.

Невесты с тех дворов теперь уже старушки,
А Музу закружил людской водоворот...
Отсюда в Петербург давно уехал Пушкин.
И Окуджава тоже здесь больше не живёт.

Прощай, Арбат, прощай, —
родной, обыкновенный, —
И серого асфальта неспешная река!
Счастливый твой трамвай
вернулся в довоенный,
В тот незабвенный мир, где живы все пока.

* * *

Всё мироздание — метафора,
Мотив, повторенный везде:
Свеча во тьме; кусочек сахара,
Бесследно тающий в воде;

И мы, с земною быстротечностью,
Среди пространства без конца...
И ветер времени над вечностью,
Как над листом — перо творца.

* * *

Здесь хорошо — но мы не дома.
А дома всё немило нам.
Своей бездомностью влекомы
К чужим и дальним сторонам,

Мы слышим колокол. По ком он
Звонит и полночью, и днём?
По нам. По дому, дому, дому
И по Несбывшемуся в нём.

Но дом наш есть — в раю весеннем,
Где бродят кроткие олени
И ветер белые цветы

Шевелит; как в рассказах Грина,
Где нет ни свадьбы, ни перины —
Есть только сбывшееся. Ты.

* * *

Акварель за окном промокла:
Листопад в голубом дыму.
Дождь царапает лапкой стёкла —
Скучно, бедному, одному.

И, не чувствуя совершенства,
С ним мурлыкают в унисон
Позабытый мотив блаженства
То ли осень, а то ли сон.

Клонят головы: «Спите, спите...», —
Волны нежности и тепла,

И легко золотые нити
Обволакивают тела.

Поворот временного круга
Замедляется в небесах,
Безмятежно обняв друг друга,
Стрелки замерли на часах.

Что им солнце, луна и звёзды,
Что века им, года и дни...
Лишь одно — что ещё не поздно —
И показывают они.

Автопортрет

Ты себя не обманывай, полно —
В этом зеркале нет тебя.
Так порою мелькает в волнах
Тень погибшего корабля.

Он, отжившей нагружен тайной,
Бесполезный свершая путь,
Может только встречных случайных
Мнимой живостью обмануть.

Лишь привиделась эта драма,
Миг — и скроется без следа.
Ветер, волны, пустая рама, —
И бродяжья над ней звезда.

* * *

Мы не достроили корабль
И выйти в море не успели.
Никто уж не найдёт Грааль
На этой лёгкой каравелле.

Мы не достроили корабль
И не обставили каюту —
Но если б знал ты, как мне жаль
Её небывшего уюта;

Как жаль, что шальный ветер стих,
И зов надежды глуше, глуше...

Не жалко только тех двоих,
Что кончат дни свои на суше.

* * *

Уходит день. Уносит краски
И маскарадные плащи,
Уводит пляшущие маски,
Дела забытые влачит,
Суетных мыслей вереницу;
Стихают говор, смех и плач...
И запирает ночь темницу.
И совесть входит, как палач.

* * *

Слетает сон, и тает «я»,
Как будто льдинка под руками —
Полёт у грани бытия
Под медленными облаками.

Но в тайный мир, где ты и я —
Без рифмы, белыми стихами,
Ко мне бессонница твоя
Приходит тихими шагами.

И двух бессонниц ворожба
Над тем, что спутала судьба,
До света утреннего длится,

Чтоб нас с тобой зарифмовать
И крепче прежнего связать —
И повториться, повториться...

* * *

Вам это, может быть, знакомо:
Вдруг, без причины, в поздний час
Вы так срываетесь из дома,
Как если бы позвали вас.

И вот бульваром затемнённым
Вас гонит ветер января,
Ныряет месяц в небе тёмном,
И снег летит у фонаря,

Вдогонку вам несутся тени
Скрёщённых веток, и во мгле
Смятенной памяти — виденье
Свечи горящей на столе.

И словно сад теней великих
Бульвар затягивает вглубь,
И вихрь подсказок многоликих
Кружится возле ваших губ;

И всё стремительней в тревоге
Московской ветреной ночи
Несут вас мёрзнущие ноги
На свет невидимой свечи.

Но наконец в краях неблизких
Вас побеждает снегопад —
В смятенье от ворот Никитских
Вы возвращаетесь назад.

Вам не узнать в скитаньях ваших,
Случившихся в который раз,
Что, весь в снегу, на Патриарших
Шагает кто-то в этот час.

Зачем в полуночную смуту
Он вышел в холоде и мгле,
Оставив лампу почему-то
Гореть на письменном столе?

Как вам узнать, что этот вечер —
Ваш неиспользованный шанс,
Что неслучившаяся встреча
Годами будет мучить вас;

Что избежать предназначенья
Ни одному не удалось,
И что судеб пересечение —
Всего лишь времени вопрос.

* * *

Вдруг под ногами поплывёт земля,
И долго-долго будет падать сердце
В колодезь счастья — бездну бытия;
И времени не будет оглядеться,

Раскаяться, ещё не согрешив,
Вернуть покой — бесчувствия ли, сна ли...
Паденье ли — полёт живой души?
Полёт звезды? Когда б мы только знали...



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Просто волшебство

Во всякой книге есть своя душа, частица человеческого тепла. Не оттого ли библиотеки кажутся такими таинственными? Ряды книг, собранные на высоких полках, словно ведут загадочную беседу. Но мы не слышим их разговор! Как заставить зазвучать эту речь, раскрыть заповедные тайны, оживить книжные переплёты? Для этого нужно настоящее волшебство.

Этой чудесной наукой в совершенстве владеет наш юбиляр — Елена Новикова. В библиотеке, что находится в здании коломенской администрации, она устраивает выставки книг и картин, фотографий и старинных вещей. Сюда приглашают авторов и героев произведений. И это означает, что читатель погружается в самую глубину творческого процесса... Тут создаётся неповторимая атмосфера искреннего общения автора с читателями; да и в самом деле — кто лучше, чем прозаик или поэт, расскажет о своих творениях?

Но есть ещё одна тайна, неведомая большинству сограждан. Это помощь Елены Алексеевны «Коломенскому альманаху». Она вытаскивает из небытия краеведческие материалы, подбирает необходимые для работы горы книг и статей. Ею подготовлена подробнейшая библиография альманаха на первые десять выпусков: вещь совершенно необходимая. Ведь книжка Новиковой, словно зоркий лоцман, уверенно направляет нас по страничному морю.

Глядишь на эту очаровательную женщину и думаешь: как успевает она всё это делать? Может быть, время в её волшебном царстве измеряется не нашими обычными мерками?

Дорогая Елена Алексеевна!

Горячо поздравляем Вас с днём рождения! Желаем здоровья и Божьей помощи во всех Ваших делах и личной жизни! Счастья и радости Вам! Пусть Ваша добрая сказка всегда остаётся с нами!

Коллектив редакции



Евгений Владимирович Захарченко родился в городе Курске в 1960 году.

Окончил в 1982 году Ленинградский военный инженерный строительный университет, расположенный в районе Таврического дворца. Прекрасный историко-архитектурный и садово-парковый ландшафт города на Неве, где всё дышало именами великих поэтов, писателей, мыслителей, незаметно привёл Евгения в мир поэзии. Первые поэтические пробы состоялись именно в это время.

Первая публикация автора состоялась в «Коломенском альманахе» в 2006 году.

Я ЗАМЕР У ОКНА

* * *

Осенняя дрёма окутала поле,
И ветер играет опавшей листвою.
Берёзки склонились в глубоком поклоне,
И луч золотится над пашней родной.

Простором играя, стремительно кони
Несутся вперёд по вишнёвой росе.
Вечерние зори купаются в доле,
И благостью веет на здешней земле.

В берёзовом омуте сердцем оттаяв,
Пригёршню воды зачерпнув в ручейке,
Услышу, как русская песня простая
Над полем притихшим звучит вдалеке.

И память живая ведёт меня снова
Звездой путеводной в поля за собой.
К просторам Есенина, к русскому слову,
К хлебам золотым прикоснусь я душой.

* * *

Осень частым дождиком расчесала косы,
Статною красавицей ходит по земле.
Хороводы водит с белыми берёзами
И багрянцем пишет на лесном холсте.

Вся тропа усеяна жёлтыми да красными
Листьями последними — светом октября.
И глаза зелёные, любящие, ясные
Согревают радостью, свет любви даря.

Повинуясь чуду, сердце ввысь стремится,
Трепетно волнуясь, рвётся из груди.
И лучом надежды день мой озарится,
Окунувшись в сказку утренней зари.

Осень златоглавая мир на миг укутала,
Заглянула в душу ярким естеством.
И своим звучанием сердце убаюкала,
Унося мечты мои в мир волшебных снов.

* * *

Что жизнь и смерть? —
Попутчики судьбы!
Друзья, враги, страданья,
Муки, встречи, встречи —
Всех в сердце соберу своём,
Всех их по-доброму отмечу.

Что жизнь и смерть?
Рождение ребёнка,
Младенца плач
И первый его шаг,
Молитва матери о Боге,
Хранящая тебя в пути.

Что жизнь и смерть?
Играем мы с судьбой
На шахматной доске
Мирского поля боя.
Но за порогом жизнь иная:
Душе — дорога неземная.

Что жизнь и смерть?
Вселенной бесконечность
И светлый коридор,
Связующий миры.
И наш прыжок
В былую вечность,
В пространство Млечного Пути.

Что жизнь и смерть?
Сияние светил
И гороскопа предсказанье.
Что ждёт нас там, в конце пути?
Что обретём мы, исчезая?

* * *

Я снова на распутье небывалом,
Так происходит в жизни вновь и вновь.
Ищу в себе ответ я запоздалый,
Пытаясь удержать любовь.

Она увидит небосвод высокий,
Как бабочка, растает на снегу.
А я опять, как прежде, одинокий, —
Её вернуть я не могу.

И снова я стою на бездорожье,
И снова я ищу в себе ответ.
Мне кажется, что я напрасно прожил, —
Мне жаль тех лет.

Какой-то миг живу я будто в коме
И пробуждаюсь только лишь тогда,
Когда встречаюсь вновь с своей любовью
И думаю, что навсегда.

* * *

Я замер у окна... Стремительно движенье
У поезда судьбы из глубины веков.
Под стук колёс нашёл я объясненье,
Прошедшим дням подвёл итог.

Я каждый день по этому маршруту
Кочую в лабиринте суеты.
На полустанках памяти как будто
Все забываются мечты.

Стрекочет аппарат... Проносится движение.
В картинах жизни — лиц калейдоскоп.
И лик любви мелькнёт мне на мгновенье,
Растает в дымке образ тот.

Мой путь любви годами не измерить,
Мой путь надежд и радостных минут...
И ранит ощущение потери —
И грустно, грустно дни бегут.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Автору и другу

Какое счастье — жить в сказочном городе, ежедневно видеть узорчатые вершины старинного кремля и вишнёвые утренние росы на изумрудной траве... Но не меньшая радость — суметь прославить эту красоту в стихах. Евгений Захарченко формально не состоит в Союзе писателей, но разве дело в «корочках»? Главное — песенный дар, который таится в душе. Главное — щедрое сердце, способное делиться с людьми своей добротой и талантом.

Дорогой Евгений Владимирович, наш автор и друг! Поздравляем тебя с полувекowym юбилеем. Да будут благословенны твои труды и песни! Пусть твои деловые и творческие замыслы, даже очень дерзкие, осуществляются и станут необходимыми, востребованными и любимыми.

Желаем тебе здоровья, терпения и удачи на избранном тобою пути.

Коллектив редакции



Екатерина Валерьевна Устинова родилась в Ярославле. Стихи пишет с детства, ещё школьницей печаталась в газете «Коломенская правда». Окончила филологический факультет Коломенского государственного педагогического института, поступила в аспирантуру. Работает журналистом в газете «Коломенская правда».

Екатерина Устинова — поэт пронзительный, искренний. Она не идёт тропой перепевов и повторений, а стремится найти своё, неповторимое, от самого сердца идущее, единственное — Слово.

БЕЛОЕ БЕЗМОЛВИЕ

* * *

Ты, Коломна, Коломна, город печалей моих,
Упокой мою душу, пока моё тело дышит.
Обернись ли дождём полоумным скакать по крышам —
Да услышит меня среди озарений иных.

Я ворвусь в эту ночь — зачем ему эта ночь,
Если есть тишина? Тишиною пьянее браги
Я прольюсь в его жизнь — не желаю иного блага!
«Я сестра твоя, слышишь? Невеста, хранитель, дочь!»

Ты, Коломна, Коломна... Песок, желтизна, кармин.
Обернись ли твоим неприкаянным ветром пыльным —
Я сожгу его крылья. Зачем ему эти крылья,
Если он неприкаянной страстью моей храним?

Ты, Коломна, Коломна... Колонна и две звезды.
Это мы, полуночники, в храме небесном свечи.
Что за радость — разлука, и что за мученье — встреча,
Но когда-нибудь и для нас наведут мосты.

* * *

...А полюбишь луну, не полюбишь солнце.
Уходила гулять, сказала — вернётся.
Унесла твою душу в горячих ладонях,
Положила на землю — никто не тронет.

В поднебесье летала птицею красной,
Из тумана сбивала снежное масло.
Я слыхала стоны в высоких травах,
Как она плясала за мельницей старой.

А в лесу Железном, на медных полянах,
Золотые стрелы горят в колчанах,
Раскалённый ветер флаги полощет...

Не ходи за ней. Не вернёшься больше.

* * *

Закрою день. На восемь оборотов
Замкну его в молчании своём.
Опустится туманная дремота
На память, не поросшую быльём.

Всё это бред, полночный и весенний,
И я закат по кружкам разолью.
Да будет так: страшней и сокровенней,
Чем призрачное «больше не люблю».

* * *

Господь, скажи, зачем ему ладья?
Для Леты, обратившейся в ручей?
Зачем ему чужая, не моя,
Ладонь на окровавленном плече?

Забрали крылья, дали благодать:
Бреди тропею горнею, певец!
А мне до вечных сумерек гадать,
Когда он возвратится наконец.

* * *

Аптека, улица, фонарь.
Безумье спит в моей постели,
Но это всё на самом деле:
Метель, бессонница, январь...

Гори в аду, моя печаль!
Я света лунного невеста.
Мой Рече¹, своё займите место.

Опять открыт Пандорин ларь.
Труби, трубач, звони, звонарь, —
Я не сойду с ума от шума.

Я от рождения безумна.
Аптека, улица, фонарь...

* * *

Вечер — старый греховодник.
Загорелся край небес!
— Для кого, Иосиф-плотник,
Ты сегодня делал крест?

Звёзды светом заливали
Это пламя, как могли.
— Для царевича, сказали,
Из неведомой земли.

Странной мукою объята,
В небо просится душа.
— Я вперёд просил оплату,
Всё истратил до гроша.

По лесам несутся стоны,
Духи выползли из нор.
— Вышел пасынок из дома,
Не вернулся до сих пор.

Громогласная победа!
Пламень умер, пламень стих.
— Я купил вина и хлеба.
Будет ужин на троих.

Небо — чёрная пустыня
Ждёт обещанных гостей.
— Милуй Яхве всех, кто ныне
Вознесётся на кресте!

* * *

Я поднимаю глаза в небеса.
Я опускаю их медленно долу.
Если душа поднебесно чиста,
Значит, рассудок подземно расколот.

О, не считай сих мистических ран!
Тихо — и ладно. Спокойно, дремотно...
Да не узнаю я, кем ты был дан.
Да не узнаю, и кем будешь отнят.

¹ Мой Отец (фр.)

* * *

Что случилось? Кусочек солнца
Остывает в твоём стакане.
Обещание с губ сорвётся,
Но уже никого не ранит.

На старинный манер прощаться
Не люблю. Улыбнись небрежно.
Я не знаю иного счастья,
Чем любить тебя без надежды.

* * *

Снег, лежавший на твоих ресницах,
Разворошен горнею десницей.
Слышишь снежных оленей гон.
Не загадывай, кто влюблён.

Снег нисходит на поля и горы.
В книгу памяти Свет-Авроры
Впишут новые имена.
Не загадывай, кто она.



ХРОНИКА

Праздник книги

В Коломне состоялся первый в Подмосковье молодёжный фестиваль «Моя книга», организованный Московским областным отделением Российского книжного союза и издательством «Эксмо» при поддержке администрации города.

Заинициатором фестиваля стала небольшая выставка книг из фонда редких изданий, подготовленная Центральной городской библиотекой им. В.Королевца. От сочинений Пушкина «съ приложениемъ двухъ снимковъ съ почерка Пушкина» и «Войны и мира» Л.Толстого, 1912 года издания, студенты, собравшиеся на фестиваль, плавно перетекали к книгам современных, «рейтинговых» авторов, представленных издательством «Эксмо».

В официальной части молодёжную читательскую аудиторию приветствовали заместитель губернатора Подмосковья С.Кошман, министр культуры области Г.Ратникова и вице-президент Российского книжного союза О.Бородин. Все они выражали надежду, что фестиваль будет способствовать привлечению внимания нашей молодёжи к чтению и книге.

Представительница издательства «Эксмо» торжественно передала Центральной городской библиотечной системе 120 книг современных авторов. А также представила проект «Открытая полка». В молодёжных центрах «Горизонт», «Русь» и ДК «Коломна» теперь разместятся такие полки, с которых любой желающий сможет взять понравившуюся книгу, поставив взамен свою, уже прочитанную. Основу коллекции составят книги издательства «Эксмо».

В рамках фестиваля прошло награждение победителей конкурсов «Читатель года», фотоконкурса «Мы на классиков похожи» и участников «Поэтического марафона», проходившего в Коломне весной. В числе награждённых и постоянный автор «Коломенского альманаха», поэт Екатерина Устинова.



МИР
ЛАЖЕЧНИКОВА





Графика Василины Королёвой



Роман Владимович Славацкий родился в Коломне в 1957 году. Окончил Коломенский педагогический институт. Поэт, прозаик, литературовед, церковный историк, журналист.

Работает заведующим отделом газеты «Благовестник». Заместитель председателя творческого объединения профессиональных писателей города Коломны.

Автор шести поэтических книг. В первом номере «Коломенского альманаха» опубликована повесть «Пожарник». В 2007 году в издательстве «Лига» вышла в свет поэма в прозе «Мемориал». Издал свыше десятка краеведческих исследований и буклетов, посвящённых родному городу.

Член Союза писателей России.

Роман СЛАВАЦКИЙ

ЛАЖЕЧНИКОВ И ЕГО ГОРОД

У каждого нашего художника — свой образ Коломны. И какое увлекательное занятие — наблюдать волшебный город, созданный фантазией писателя! Ибо твоими глазами Коломна всматривается в своё отражение. Но не в зеркале, нет, а скорее — в речной глади. В живом потоке вод обличье города меняется, крепостные башни, храмы и звонницы кажутся живыми.

А когда спокойное течение нарушается порывом ветра, в волнах кремлёвские вершины зыбятся, образуют прихотливые узоры, становятся похожи на видения из иного мира...

Только добавим: словесное отражение — ещё глубже! Ибо оно сочетает в себе игру и зыбкость волн с незыблемостью и даже... бессмертием. Казалось бы — что может быть эфемернее слова? Но занесённое на бумагу, оно становится «прочнее бронзы и выше пирамид», как сказал однажды старик Гораций.

Коломна XVIII века ушла... Лишь кое-где, в забытых уголках Посада, громоздятся каменные дома-бронтозавры, хранящие воспоминания о временах Анны Иоанновны и Елисаветы Петровны. Но призраки героев Лажечникова до сих пор бродят по вечерним улицам города, и постройки, давно уже стёртые временем, вновь красуются пред очами изумлённого читателя...

Ныне вид со стороны Коломенки безнадежно искажён новостройками. Но стоит открыть страницы Лажечникова, и город снова оживает во всём



*Мельница на Коломенке.
Фото 1918 года*

164

они затканы цветом черёмухи и яблонь. В эту пору года, в вечерний час, когда садится солнце, мещанские девушки водят хороводы. Там и тут оглашается воздух их голосистыми песнями».

Давайте взглянем на таинственные «развалины крепости, будто облитые заревом пожара, на крест Господень, сияющий высоко над домами, окутанными уже вечерней тенью».

Здесь, у Косых ворот, недалеко от Маринкиной башни, Лажечников поселил своего соляного пристава с дочерью.

Старый романтик загипнотизировал этими строками всех своих последователей. После него писателей неведомой силой тянуло сюда. Лажечниковские интонации чувствуются у Пильняка. И не зря здесь, на Косой горе, оказался его диковатый «музеевед Грибоедов». И не случайно в сквер «Блюдечко» заходили то Соколов-Микитов, то Чайнов в сопровождении своего «московского архитектора Владимира М.» — взглянуть на Запруды и сказочную панораму Бобренева монастыря.

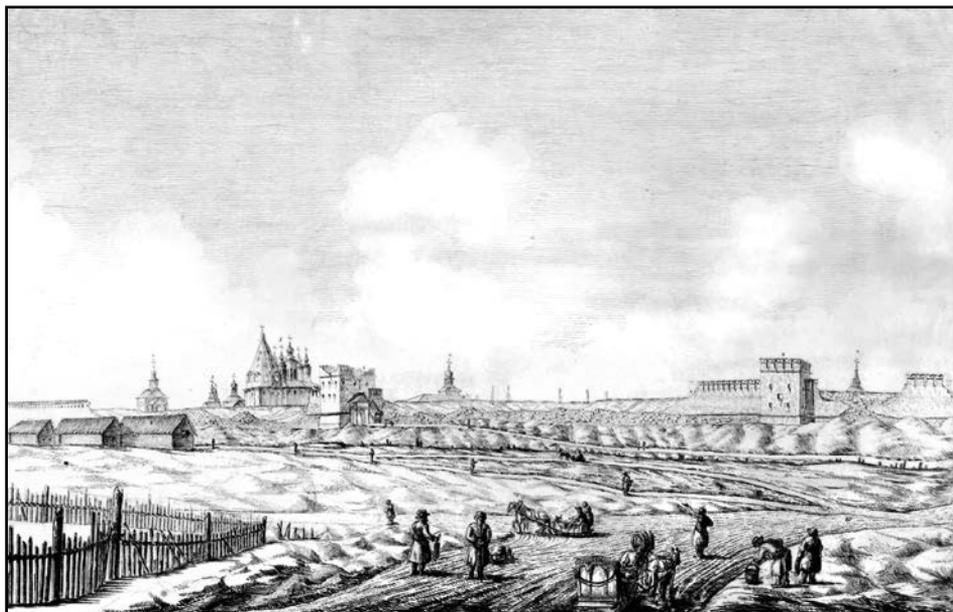
Но Лажечников создал не только свой город. Он ещё населил его сонмищем теней. Хитрый насмешник! Он даже после смерти продолжает с читателем увлекательную игру, заставляет искать прототипы, сравнивать литературные видения с теми реальными людьми, которые когда-то жили на Коломенской земле.

Как можно забыть галерею городничих (не ею ли вдохновился Салтыков-Щедрин в «Истории одного города»?! Чего стоит один Насон Моисеевич Моисеенко, поручик в отставке!

величии своих романтических руин, и опять, словно «сон давних дней», открываются древнее русло Коломенки и «колдунья-мельница» у подножия кремля.

«Вправо, против мельницы, на отвесной вершине, одиноко стоит полуразвалившаяся башня, которая, как старый, изувеченный инвалид, не хочет ещё сойти со своего сторожевого поста. Кругом всё развалины. В нескольких саженьях от неё начинается гряда камней, всё идёт, возвышаясь, сливается потом в сплошную стену и, наконец, замыкается высокой угловой башней. Это отрывок кремля, построенного в давние времена от нашествия татар. Широкая стена, которая поворачивает влево от этого угла, более уцелела...»

Глазами юного Лажечникова мы видим «почти всю панораму города с золотой главой старинного собора и многими церквями. Насупротив стелются по берегу... густые сады. Весной



*Вид с севера крепостной каменной стены с башнями города Коломны.
Рисунок М.Ф. Казакова. 1778 год*

«Ему близ шестидесяти. Маленький, худенький, с лицом наподобие высушенного яблока, с острым носиком, в рыжем паричке, завитом, как руно крымского барашка. Букли и коса, всё это дорисовывает его портрет. Голос тоненький, пискливый. С характером уступчивым, робким, он боялся граждан, а не граждане его боялись. Принесут ему сахару полголовки, чайку четвертку, нанки на исподнее, полотенчико с крестьянскими кружевами, сапожную щётку — ничем не гнушается, всё принимает с благодарностью».

Никчёмный начальник провинциального городишки помер так же бесславно, как жил. Да и погребён безвестно. Автор «Беленьких, чёрненьких и сереньких» лишь философски замечает:

«Бог знает, и могилка-то Насона Моисеевича его ли нынче?.. Может быть, два-три новые вечные жильца пришли занять её и потеснить в ней кости бывшего начальника целого города».

Пóлноте, Иван Иванович! Не то что у данного славного руководителя, но и у его преемников, всех этих нелепых взяточников и самодуров, а даже у жителей всей Старой Коломны не осталось могил. Стёрли их грейдером в начале 70-х годов XX столетия. Ни памяти, ни памятников... И всё, что сохранилось, — это словесный образ города, наколдованный его славным уроженцем. Так что Коломна до сих пор с изумлением вглядывается в это литературное зеркало, и узнавая и не узнавая себя. Ибо отражение в отдельных местах кажется (как бы это сказать поделикатней?) чуть-чуть кривоватым.

«Ничто не изменяло мёртвой тишины города. По-прежнему нарушалась эта тишина мерными ударами валька по мокрому белью и гоготанием гусей на речке, по-прежнему били на бойнях тысячи длиннорогих волов, солили мясо, топили сало, выделывали кожи и отправляли всё это в Англию; по-прежнему

в базарные дни, среди атмосферы, пропитанной сильным запахом дёгтя, скрипели на рынках сотни возов с сельскими продуктами и изделиями, и меж ними сновали, обнимались и дрались пьяные мужики. По воскресным дням толпы отчаливали к городскому кладбищу, чтобы полюбоваться на земле покойников очень живыми кулачными боями».

Опять Петропавловское кладбище! И характерная деталь: кулачные бои. Вообще эта забава, иногда доходившая до смертоубийства, была весьма популярна в городе. Коломенские дрались с запрудскими, с бобреновскими, а у Петра и Павла, на Рязанской заставе, — с бобровскими. Ныне село Боброво вошло в черту города, древний кулачный спор приугас, но сейчас удивительное время: традиции восстанавливаются. Глядишь, народ когда-нибудь и пойдёт ещё «стенка на стенку»...

А вот хрестоматийный отрывок, который потомственным коломенцам мог бы показаться малость обидным.

«Пузатые купцы, как и прежде, после чаепития упражнялись в своих торговых делах, в полдень ели редьку, хлебали деревянными или оловянными ложками щи, на которых плавало по вершку сала, и уписывали гречневую кашу пополам с маслом. После обеда, вместо кейфа, беседовали немного с высшими силами, т.е. пускали к небу из воронки рта струи воздуха, потом погружались в сон праведных. Выбравшись из-под тулупа и с лона трёхэтажных перин, а иногда с войлока на огненной лежанке, будто из банного пара, в несколько приёмов осушали по жбану пива, только что принесённого со льду; опять кейфовали, немного погодя принимались за самовар в бочонок, потом за ужин с редькой, щами и кашей, и опять утопали в лоне трёхэтажных перин. Как видите, жизнь патриархальная!»

Спору нет, картинка яркая; но ведь Иван Иванович сам себе противоречит. Сейчас даже трудно представить гигантский масштаб торговых



Коломна. Житная площадь

оборотов Коломны. Это не только «тысячи длиннорогих волов», идущие сотнями пыльных вёрст из астраханских степей, это ещё и бесконечные караваны с хлебом, солью и рыбой, текущие сухим путём и влачимые по рекам бурлаками и лошадьми, это десятки фабрик и мануфактур, тысячи работников, миллионы рублей, постоянный риск, часто связанный с опасностью для жизни.

Чтобы эта колоссальная машина работала, нужно было постоянно «крутиться»; тут, знаете ли, не до «трёхэтажных перин». Никто к тебе сам не прибежит с кредитами, транспортные артерии и предприятия сами собой не заработают.

Но пресловутый «колёр локаль» (местный колорит) требует жертв. Чтобы образ Максима Ильича Пшеницына (то бишь Ивана Ильича Лбжечникова, отца писателя), заблистал, яко жемчужина, окружение его надо было слегка подчеркнуть.

«Книжки в доме ни одной, разве какой-нибудь отщепенец-сынок, от которого родители не ожидали проку, тайком от них, где-нибудь на сеннике, теребил по складам замасленный песенник или сказки про Илью Муромца и Бову Королевича».

А между тем в городе были десятки частных библиотек, в том числе уникальные собрания Жукова, братьев Хлебниковых, Мещанинова, Суранова, Лбжечникова, который формировал свою библиотеку по советам Новикова. Здешние библиофилы собирали не только книги, но и рукописи, некоторые из коих позднее попали в руки Карамзина.

Я уж не говорю о библиотеках церковных, монастырских и книгохранилище при Архиерейском доме и семинарии. Коломенская семинария, кстати сказать, древнейший вуз Подмосковья; ей 285 лет. И преподавание здесь велось по латыни. Скажу больше: в старших классах применялась «нотата», то есть воспитанники, для лучшей практики, общались между собой на иностранных языках. Сегодня, к примеру, в ходу латынь, завтра — греческий, потом — французский или немецкий. И попробуй сказать слово по-русски! Оштрафуют, засмеют; стыда не оберёшься.

Конечно, у нас уровень был не тот, что в Троицкой академии. Но и коломенских выпускников неучами назвать нельзя. Из наших семинаристов вышел «русский Златоуст», митрополит Московский и Коломенский Платон (Левшин). Отсюда родом величайший церковный деятель XIX столетия, «природный Патриарх», митрополит Московский и Коломенский Филарет (Дроздов). Авторитет святителя был непререкаем, его побаивались даже императоры. Необыкновенными проповедями владыки заслушивались, его книг с нетерпением ожидала вся читающая Россия.

Позднее, в «Новобранце 1812 года» Лажечников напишет: «Мы приехали в Коломну. Это моя родина. Горжусь ею, потому что в ней родился один из знаменитейших духовных сановников и проповедников нашего времени (Филарет, митрополит Московский и Коломенский)». Но ведь не на пустом месте явился этот «духовный сановник». Кто-то же его учил, воспитывал! Откуда этот поэтический дар, эта словесная мощь?

Не идёт ли исток его таланта от той основательной традиции, которая была заложена преподавателем риторики и французского языка, соборным протоиереем Василием Протопоповым?

Что греха таить — мы почти забыли этого одарённого сочинителя. А между тем... Выпускник Славяно-греко-латинской академии, он делал для Новикова переводы с французского, писал отличную прозу, сочинял отменного качества стихи. Порывистый характер причинял ему немало неприятностей, на краткое время его переводили в Каширу, но потом он снова возвращался в Коломну, снова чудил, но ему многое прощалось за талант.

Гиляров приводит семейный анекдот. Владыка присутствует на экзамене по французскому. То ли учитель сделал ошибку, то ли ему так показалось, но епископ Афанасий шутя делает замечание: тут, мол, была у вас неточность. «А как же будет правильно, владыка?» — «Знаю, да не скажу». Ехали в карете архиерейской; слово за слово — учитель так разгневался, что на ходу выскочил из экипажа.

Гиляров не называет имён, но это явно епископ Афанасий и отец Василий, больше некому. Почему преосвященный прощал Протопопову его выходки? Да оттого, наверное, что поэт принадлежал к числу его любимых учеников.

Ведь на Коломенскую кафедру владыка пришёл из ректоров Славяно-греко-латинской академии. Он входил в число образованнейших людей своего времени, сочувствовал просветителям, умел ценить прекрасное.

168



*Вид с востока соборной церкви в крепости города Коломны.
Рисунок М.Ф. Казакова. 1778 год*

Но этот архиерей не только умел учить, он и сам постоянно учился, и если встречал умного человека, внимал ему с искренним интересом.

Андрей Болóтов вспоминает в своих записках, что владыка, приехав в Богородск, «не преминул тотчас вступить со мной в ласковые и приятные разговоры, в которых... и занялись мы с ним во весь остаток того дня и вечера. И как, после обыкновенных и ничего не значущих разговоров, довёл я оные до дел учёных и наук, то в один почти миг и успели мы с ним так спознакомиться и сдружиться, что ему и не хотелось уже и перестать со мною говорить. И причину тому было то, что я во многих отношениях был гораздо его знающее и, пользуясь сей выгодой, блеснул пред ним такими обширными своими знаниями в естественной науке и истории, что он, будучи в сих науках не великим знатоком, но весьма любопытным человеком, слушал меня, так сказать, разиня рот, глаза и уши. Словом, я заговорил его в прах и накидал ему столько в глаза пыли, что он не только возымел ко мне отменное почтение, но даже и полюбил меня искренно и душевно, а я, пользуясь таковою его к себе благосклонностью, и не упустил, отходя от него ввечеру, попросить его, чтоб он наутрие... удостоил нашу церковь своим священнодействием, а потом пожаловал бы ко мне откушать».

Простим Болóтову некоторое самолюбование. Он оставил портрет владыки («человек ещё не старый, собою видный и красивый и служить отменный мастер»). И главное — ярко выписал необыкновенную любознательность архиерея.

Коломенский епископ дружил с Новиковым. Это вообще удивительная была эпоха! Церковные иерархи (не только Афанасий, но и высокопреосвященный митрополит Платон) поддерживали и прикрывали масонов, а императорская власть всячески гнобила Русскую Церковь, хотя формально находилась во главе этой самой Церкви. О времена, о нравы!

Кстати, из-за симпатий к просветителям владыка и пострадал. Он вообще находился в сложном положении. Уездному городу по новому ранжиру павловского времени епархии не полагалось. Кафедру определяли в губернский город. Но митрополит Платон, любитель церковной старины и коломенский патриот, до времени сохранял кафедру.

Но нашёлся один священник, Павел Озерецковский, который накал донос на владыку. Епископа Афанасия отправили в дальнюю епархию, а коломенскую кафедру закрыли. Нового епископа, Мефодия, назначили на специально основанную Тульскую епархию, куда он уехал, увезя коломенские реликвии на восемнадцати возах. А Коломну, в утешение землякам, владыка Платон взял в своё управление и титул; с тех пор столичные иерархи именовались Московскими и Коломенскими. Происходили сии печальные события в 1799 году.

Тогда же и прошла в Коломне первая политическая демонстрация. В мае владыке Афанасию устроили демонстративно-пышные проводы. В усадьбе купца-мецената Суранова, в сердце коломенского Посада, собрался цвет коломенского дворянства, купечества и духовенства. Произносились торжественные речи, отец Василий Протопопов читал трогательную оду, народ проливал слёзы, оплакивая свою уходящую славу...

Был ли на этом сборище отец писателя, Иван Ложечников? Письменных подтверждений этому не имеется. Но во всяком случае равнодушным к столь шокирующим событиям просвещённый купец не остался. Рассказывали, что он, человек бесстрашный и остроумный, отпустил язвительную шутку в адрес нового епископа. Священник, который преподавал юному Лажечникову науки духовные, услышал эту остроту и не преминул донести о ней столичным властям.

Внезапный ночной арест потряс душу ребёнка.

«Я так испугался, что даже не плакал. С ужасом смотрел я на рыдающую мать мою, прощание её с отцом, благословение его дрожащею рукою надо мною и братом моим. На дворе стояли три таинственные тройки, запряжённые в рогожные кибитки. При них были какие-то солдаты. В одну кибитку посадили моего отца, в другую — губернера, месье Болье, в третью — священника, нашего русского учителя; казалось, их увезли в вечность. Вслед за тем слышны были только перешёптывания, рыдание матери и причитание женской прислуги. Дядька мой Ларивон угрюмо молчал, нянька Домна усердно молилась и приказывала мне молиться».

Всё-таки не настолько далёк был купец Ложечников от окружающей Коломны, если из-за неё оказался в темнице, откуда еле выбрался благодаря героическим хлопотам жены.

Кажется, понятно, что реальная Коломна была гораздо сложнее и многогранней, чем иронический образ, нарисованный Лажечниковым. Но в чём основа этой иронии? Может быть — в том насмешливом самоосуждении, которое веками накапливалось в городе?

Думается, что разгадка лажечниковского обаяния в том, что его творчество — это яркое звено в духовной цепи. Она тянется издалека... Я назвал бы это явление «коломенским историзмом».

Сей термин взят у меня в кавычки; и неспроста. В самом сопоставлении торжественного слова «историзм» с провинциальным подмосковным городком уже содержится нечто ироническое.

Взгляд на историю города, и притом взгляд иронический — характерная особенность коломенской литературной традиции. Причём началась эта традиция ещё в лажечниковские времена и не кончилась вместе с Пильняком, а благополучно здравствует и по сей день.

Давайте на минутку глянем в век XVIII. Вот что пишет в своих «Сатирических ведомостях» Новиков аж в 1769 году.

«Из Коломны.

Забылчество, дворянин, находясь в некотором приказе судьёю, трудами своими и любовью к ближним нажил довольное имение... он подчинённым своим ничего не приказывает, не сказав: “*Во святой час*” и не прочитав молитву *Пресвятой Троице*, водки никогда не пьёт, хотя бы то было и в гостях, дела подписывает перекрестясь, говоря: “Честной де Крест на враги победа”, несмотря, что те враги бывают иногда законы, истина, правосудие, честь и добродетель».

А вот уже Карамзин, 1801 год.

«Вообще имя Коломны встречается в истории по двум причинам: или татары жгут её, или в ней собирается русское войско идти против татар». Чеканная формулировка! И далее:

«Что же касается до имени города, то его *для забавы* можно произвести от славной италийанской фамилии Colonna. Известно, что папа Вонифатий VIII гнал всех знаменитых людей сей фамилии и что многие из них искали убежища не только в иных землях, но и в других частях света. Некоторые могли уйти в Россию, выпросить у наших великих князей землю, построить город и назвать его своим именем! Писатели, которые утверждают, что Рюрик происходит от кесаря Августа и что осада Трои принадлежит к славянской истории, без сомнения, не найдут лучших доказательств!».

(Почему-то последняя фраза особенно греет мне сердце.)

А вот и Лажечников.

«Случались однако ж в городе важные происшествия, возмущавшие спокойствие целого населения. То появлялся оборотень, который по ночам бегал в виде огромной свиньи, ранил и обдирал клыками прохожих; то судья в нетрезвом виде въезжал верхом на лошади и без приключений съезжал по лесам строившегося двухэтажного дома; то зарезывался казначей, обворовавший казначейство. Полицейские личности в городе были то смиренные, то сердитые; большею частию их отличали не по уму и честности, а по степени огня в крови...».

Такое ощущение, что новиковский судья *Забылчество* неожиданно запил и поскакал на белом коне штурмовать строительные леса дома Лажечникова. Кстати, писатель мог читать (и наверняка читал) Новикова. Великий просветитель не раз бывал в Коломне, они были знакомы с Лажечниковым-старшим, у Новикова были свои книжные агенты в городе. Снова скажу: Коломна славилась не только «пузатыми купцами», но и кругом свободно мыслящих людей и литераторов. Впрочем, всё это не помешало Лажечникову, ради иронического самоуничтожения, нарисовать свою родину в виде «тёмного царства».

Не будем останавливаться на гротескных коломенских образах в комедиях Островского. Перейдём сразу к Н.П. Гилярову-Платонову, который достойно принял эстафету от Лажечникова.

Лёгкая ирония чувствуется уже с первых строк его мемуаров.

«Уездный город, бывший епархиальный, следовательно старинный, а потому, согласно этим двум качествам, со множеством церквей (до двух десятков счётом); река средняя, впадающая за три версты в большую. Но, впрочем, зачем же говорить обиняками? Это — Коломна. Крепость полуразвалившаяся, но с уцелевшей частью стен; уцелело также несколько башен и одни ворота с иконописью на них и с вечной лампадой. Как подобает старине, город потонул в легендах. В одной из башен содержалась Мария Мнишек — это исторический факт. В той же башне кроются несметные богатства — это легенда. В одной из церквей венчался Димитрий Донской и осталось его кресло. Это тоже история (сохранилось ли кресло донныне, не имею сведений)».

А дальше идёт несусветная история о Мотасовой башне и коломенском чёрте Мотасе, который философски говорит сатане из соседнего Бобренева: «Э, голубчик, я тут уже четыреста лет от нечего делать мотаю ногами; здесь нас с тобой поучат грешить...»

Чуть ниже Гиляров замечает: «Самоосуждение свойственно не одной Коломне, а вообще русским городам, особенно древним... Замечательна

эта черта... Передавали мне, что преподобный Сергей проходил некогда через город и его прогнали “колом”, он тогда перешёл в Голутвин... Несомненно, что Сергей преподобный проходил через Коломну, и там, где теперь Голутвин, благословил Димитрия Донского; посох Сергея остался в Голутвине. Но Коломна по меньшей мере двумя, а то и всеми тремястами лет старше Донского; тем не менее коломенцы воспользовались историческим событием, чтобы сочинить самоуничижительную легенду».

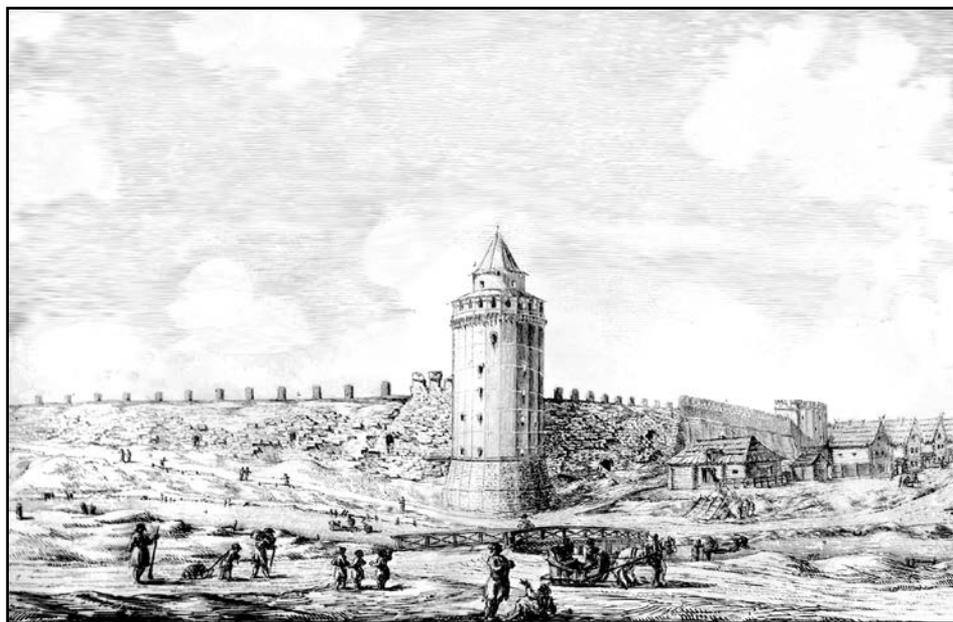
Как тут не вспомнить пильняковские «Машины и волки»!

«Коломна лежит на трёх реках... Город доминами белыми подпёр к Москве-реке, жил крупичато в Запрудах, в Кремле, в Гончарах, щеголял перед Рязанью. Очень все интересовались узнать — откуда пошло слово *Коломна*? — объясняли, что от прилагательного колымный — обильный, широкий, сытный; от римских патрициев Колоннов, ушедших в Скифию и поселившихся здесь (это толкование отразилось и в гербе коломенском, где на синем поле три звезды и колонна); от существительного каменоломня (недаром сами коломенцы рязанским наречием называют Коломну — Коломня); но толковали и так, будто Сергей Радонежский, проходя по Коломне строить Голутвин монастырь, попросил попить, а ему ответили колом по шее, и он объяснял потом:

— Я водицы попросил, а они колом мя — —

Голутвин монастырь, на стрелке, где сливаются Ока и Москва, был заложен, правда, Сергием Радонежским, и там хранится его посошок, — и Коломна жила за пятью монастырями, в двадцати семи церквях, колымная, как коломенская пастила — сладкая».

172



*Вид с северо-запада крепостной каменной стены с башнями города Коломны.
Рисунок М.Ф. Казакова. 1778 год*

Сразу видно, что человек читал Лажечникова, краеведа Линдемана и, естественно, Гилярова. К слову сказать, традиция списывать целыми абзацами, не указывая источников, жива в Коломне и до сих пор.

Заметим, что новиковско-лажечниковская интонация не чужда Пильняку.

«События в городе бывали редки, и если случались *комеражи* вроде следующего:

Мишка Цвелёв — слесарев — с акцизниковым сыном Ипполиткой привязали мышь за хвост и играли с нею возле дома, а по улице проходил зарецкий сумасшедший Ермил-кривой и — давай в окна камнями садить. Цвелёв — слесарь — на него с топором. Он топор отнял. Прибежали пожарные, — он на пожарных с топором; пожарные — тёку. Один околоточный Бабочкин справился: Мишку потом три дня драли, —

— если случались такие комеражи, то весь город полгода об этом говорил. Раз в два года убегали из тюрьмы арестанты, тогда ловили их всем городом».

Если не знать, откуда взяты отрывки, то временами может возникнуть ощущение, что их писал один человек. А между тем это очень разные люди по происхождению. Лажечников — дворянин из купцов, Гиляров — попович, Пильняк — разночинец. Различны эпохи, в которые они жили, а взгляд на город — сходен. Любопытно, что эта традиция прослеживается и позднее. Достаточно прочитать первые главы «Истории парикмахерской куклы» А.Чаянова, начало «Авы» И.Соколова-Микитова. Эти же мотивы встречаются и у наших современников: В.Королёва, С.Малицкого; грешен в этом, признаться, и автор данных строк...

Откуда это странное сходство? От знакомства с трудами предшественников? От иронически-пренебрежительного отношения к «провинции»? Думается, что причина лежит глубже. Кстати говоря, нелишне заметить, что и Лажечников, и Гиляров, и Пильняк отлично понимали величие коломенской древности. У каждого из них найдутся строки, в которых Коломна предстаёт эпически-прекрасной, величавой, таинственной крепостью.

Особенно показателен в этом отношении Пильняк. Зловещий образ «мёртвого города» в «Голом годе», устрашающая поэзия «Волги...», где Коломна предстаёт в предсмертном, почти библейском величии, говорят об очень серьёзном отношении к предмету повествования.

Тогда откуда же эта ирония? Мне кажется, что внешний облик города вызывает улыбку сам по себе. Коломна, да будет позволено сказать, это не просто типичный, а, пожалуй, типичнейший подмосковный город. При первом же взгляде на него возникает эффект «узнавания», как будто ты уже встречал что-то подобное: то ли по телевизору видел, то ли в книге вычитал. Поглядел в одну сторону: ба! Да это же Московский Кремль. Глянул в другую — да это же Замоскворечье Островского; никакой декорации строить не надо! Всё — древнее, историзм так и прёт, но какой-то забавный, провинциальный, «коломенский историзм». Невольно чувствуешь себя «столичной штучкой», которая улыбается наивности «аборигенов».

А на самом деле...

На самом деле жуткое чувство охватывает при мысли о бездне протекших лет, о потоках крови, пролитой на этих полях, об этой земле, пронизанной следами пожарищ и человеческими останками. И кажется подчас, что ты видишь не город, а древнего дремлющего дракона, который вот-вот приоткроет глаза...

И от этого становится как-то не по себе. Давайте не будем тревожить Прошлое. Давайте прикроем его забавной личиной. В самом деле — невозможно жить без ощущения родства и уюта. Покров лажечниковской иронии дарит весёлое спокойствие и человеческое тепло. А то, что скрывается за покровом «коломенского историзма», — так ли уж важно?



ХРОНИКА

День памяти Лажечникову

У русского народа есть обычай называть покойных (своих и чужих, старых и малых) родителями. Представление покойных «родителями», то есть принадлежащими уже к роду

отцов, к которым они отошли, возбуждает в нас святое благоговение к их памяти. Выражение «идти на родителей» означает посещение могил умерших.

8 июля 2009 года исполнилось 140 лет со дня смерти первого русского романиста И.И. Лажечникова. В этот день коломенская районная библиотека, которая носит его имя, организовала поездку в Новодевичий монастырь на могилу писателя.

В Епархиальном управлении Московской епархии было получено благословение провести богослужение на могиле писателя. Отслужил молебен протоиерей Владимир (Петровский), настоятель церкви села Черкизова Коломенского района. Со словами памяти выступили начальник отдела культуры администрации района И.В. Рвачева, директор библиотеки им. И.И. Лажечникова В.Л. Аникеева, главный редактор «Коломенского альманаха» В.С. Мельников, начальник отдела реставрации и памятников культуры администрации города Н.И. Шепелев...

Коломенцы не только навестили могилу писателя, но и прибрали её, возложили цветы.

Затем посетили места упокоения других своих земляков: публициста Н.П. Гилярова-Платонова на территории монастыря, народного артиста СССР, хорового дирижёра А.В. Свешникова на Новодевичьем кладбище. В церкви Успения Божией Матери с благоговением к памяти великих коломенцев поставили свечи.

Михаил СТРОГАНОВ



Михаил Викторович Строганов родился в городе Калинин в 1952 году. Доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой истории русской литературы Тверского государственного университета. Директор Центра тверского краеведения и этнографии.

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. Почётный работник науки и образования Тверской области.

Автор более семисот научных публикаций.

ТВЕРСКИЕ ДВОРЯНЕ ЛАЖЕЧНИКОВЫ

Как известно, жизнь Ивана Ивановича Лажечникова была очень тесно и очень долгое время связана с Тверской губернией. Сам факт службы, жизни и творчества Лажечникова в Твери и губернии хорошо известен и вошёл во все биографии и справочные издания, однако многие подробности, которые могли бы пролить свет на обстоятельства этой жизни, до сих пор не выявлены. Краеведы, как, впрочем, и все другие исследователи, повторяют друг за другом одни и те же факты и данные, почти не перепроверя друг друга. Новые ошибки громоздятся на старые, и число невыясненных обстоятельств растёт и множится. Мне придётся сейчас, может быть, несколько занудно распутывать клубок дел, связанных с включением братьев Лажечниковых с их семьями в родословную книгу Тверской губернии. Кто распутывал клубок ниток, хорошо знает, как медленно и кропотливо тянется это дело. Распутывать же человеческие отношения всегда гораздо сложнее, чем клубки ниток. Нарочито интриговать читателя выдуманными «тайнами» мне не хотелось бы: в жизни и так не всё легко и просто. Я вовсе не любитель смотреть, а тем более придумывать «истории в деталях», «русские сенсации», «слухи, сенсации, скандалы, расследования». Я вовсе не любитель восклицать: «Ты не поверишь!» Но мне не хотелось бы и лакировать прошлую

жизнь. Люди всегда люди, и всё хорошее, и всё плохое перемешано в них. Это и есть самое интересное.

В «Генеалогии господ дворян, внесённых в родословную книгу Тверской губернии с 1787 по 1869 год», роды братьев Лажечниковых числятся по отдельности: № 632 — род И.И. Лажечникова, а № 633 — род его брата Н.И. Лажечникова¹. В приложении к «Генеалогии...» составитель её М.Чернявский писал, что роды Ивана Ивановича и Николая Ивановича «внесены в родословную книгу по отдельности, каждый по собственным своим заслугам»². Как мы вскоре увидим, внесение в родословную книгу на самом деле произошло «по отдельности»: род Ивана Ивановича внесён в родословную книгу в 1844 году, а род Николая Ивановича — в 1849 году. Но необходимо определить, каковы же были эти «заслуги».

Иван Иванович и Николай Иванович Лажечниковы не были, как известно, потомственными дворянами. Поэтому право на получение потомственного дворянства они должны были приобрести своей собственной службой. Следует учесть, что дворяне, которые «получили дворянство по чину или ордену, могли вноситься в книгу той губернии, где они пожелают, независимо от наличия у них там недвижимости»³. При этом дворяне, получившие потомственное дворянство во время военной службы, вносились во вторую часть дворянской родословной книги, а дворяне, получившие потомственное дворянство во время гражданской службы, вносились в третью часть дворянской родословной книги (сюда же могли быть занесены также дворяне, получившие потомственное дворянство по ордену). Иван Иванович Лажечников был занесён во вторую часть родословной книги 31 июля 1844 года вместе со своей первой женой Авдотьей Алексеевной, урождённой Шуруповой. М.Чернявский включает все эти данные задним числом, при составлении книги. Поэтому он указывает, что Лажечников является статским советником, однако следует помнить, что чин этот Лажечников получил только 8 апреля 1851 года, причём на гражданской службе тверским вице-губернатором. Напомню, что, вступив в должность в Твери коллежским ассессором, Лажечников 7 марта 1833 года произведён в надворные советники, 4 ноября 1844 года — в коллежские советники, а 8 апреля 1851 года — в статские советники. Кроме того, следует отметить, что 31 октября 1846 года Лажечников получил орден св. Анны второй степени⁴, а в 1851 году — знак отличия беспорочной службы⁵.



Дом И.И. Лажечникова в Коноплине



Здание Тверского благородного собрания

11 марта 1844 года было начато «Дело по доказательству о дворянстве надворного советника Ивана Иванова сына Лажечникова»⁶. В 1844 году для получения потомственного дворянства было достаточно чина коллежского асессора, а Лажечников имел его уже до приезда в Тверь. Но главное обоснование состояло в том, как пишет М.Чернявский, что

И.И. Лажечников получил, «находясь в воен<ной> службе, орд<ен> св. Анны 4 ст<епени> в 1814 г.»⁷. В своём прошении Лажечников называет себя «старицким помещиком», имея в виду, что в Старицком уезде Тверской губернии находилось его имение Конопдино. Правда, нигде в документах: ни в прошении, ни в копии формулярного списка — название имения не указано, отмечено только, что оно находится в Старицком уезде и содержит 63 души (очевидно, мужского пола; л. 2 об.). Однако, как известно, Лажечников продал своё имение Конопдино уже в 1843 году, когда заступил на пост тверского вице-губернатора и был вынужден безотлучно находиться в Твери⁸. Как видим, был совершён небольшой подлог. С какой целью?

Для причисления к тверскому дворянству у Лажечникова имелось достаточное основание: соответствующий чин и орден св. Анны. Но для того чтобы иметь право участвовать в дворянских собраниях с правом голоса, то есть участвовать в выборах дворян на те или иные должности, Лажечникову и потребовалось указание на наличие у него недвижимости. Как можно полагать, в этом расширении прав вице-губернатора был заинтересован и губернатор А.П. Бакунин, по инициативе которого, как легко догадаться, Лажечников и был определён к исполнению этой должности. Напомним, что сам А.П. Бакунин был назначен тверским губернатором 16 декабря 1842 года, но только 14 января 1843 года прибыл в Тверь. Лажечников же уже 19 апреля 1843 года⁹ был назначен на должность вице-губернатора. В связи с этим становится понятной его срочная отставка 29 декабря 1842 года от должности почётного попечителя Тверской гимназии¹⁰, которую он исполнял меньше года — с 24 февраля 1842 года. А.П. Бакунин вообще очень благожелательно относился к Лажечникову и, видимо, весьма ценил его деловые качества. Об этом свидетельствует и то, что он неоднократно продвигал Лажечникова по службе¹¹.

Итак, в ряде случаев Лажечников дал (мягко скажем) неточные сведения, очевидные современникам. Однако, невзирая на это, 31 июля 1844 года дело было закончено, и Лажечников был причислен к твер-

скому дворянству. Никаких других доказательств, кроме формулярного списка, для этого причисления не потребовалось.

По обычаю того времени, дворяне начинали ходатайство о причислении себя и своего рода к дворянству той или иной губернии, когда у них появлялись дети. У Лажечникова же в первом браке детей не было, поэтому стремление причислить себя с женой к тверскому дворянству выглядело достаточно необычно. Как можно понять, это было сделано затем, чтобы войти в круг дворянства той губернии, где Лажечникову пришлось служить в должности вице-губернатора. Пока он не имел этой должности, ему, видимо, был совершенно безразличен этот статус. Но исполнение должности вице-губернатора потребовало новых решений.

В 1853 году Лажечников вступает во второй брак — с Марией Ивановной, урождённой Озеровой, и в этом браке у него рождается трое детей, которых он хотел обеспечить дворянскими привилегиями после своей смерти. Это побудило престарелого писателя вновь заняться дворянскими хлопотами. Так 12 июля 1863 года началось «Дело по прошению статского советника и кавалера Ивана Ивановича Лажечникова о причислении к роду его жены его Марии Ивановны с детьми Иваном, Зинаидою и Евдокиєю и о выдаче детям документов о дворянстве»¹². Какие новые данные мы узнаём из этого дела?

Во-первых, здесь указан адрес Лажечникова: «Жительство имею в Москве, в Пресненской части, в 4-м квартале, у Горбатого моста, в доме Павлова» (л. 1 об.).

Во-вторых, мы узнаём некоторые данные о детях и родственных отношениях писателя. Дочь Зинаида родилась 28 июля 1859 года, а крещена была в московской Георгиевской церкви (бывшем Георгиевском монастыре) 9 августа; приемниками её были тайный советник Михаил Иоакимович Попов и подполковница Елизавета Александровна Лажечникова, жена брата Николая (л. 8–9). Сын Иван родился 30 декабря 1860 года, а крещён был 15 января 1861 года в той же церкви; приемниками были генерал-адъютант, генерал от кавалерии граф Сергей Григорьевич Строганов и Софья Николаевна Лажечникова, дочь брата Николая



*Семья Лажечниковых — сын Иван, дочь Зинаида, жена Мария Ивановна с дочкой Дуней на руках.
Фото 1864 года*

(л. 8 об.). Дочь Евдокия родилась 8 марта 1862 года, а крещена была в московской Ермолаевской церкви на Козьем болоте 11 марта, восприемниками были надворный советник Александр Никифорович Иванов и Елизавета Александровна Лажечникова (л. 9–9 об.). Как показывают эти материалы, Лажечников старательно выбирал крестных родителей для своих детей. Крестной матерью обеих дочерей стала их родная тётка (жена родного брата Ивана Ивановича). Писатель хорошо понимал, что его возраст не позволит увидеть своих дочерей замужем, а жена его ещё очень молода и неопытна. Поэтому он и выбирает дочерям в крестные матери тётку в надежде, что та позаботится о них. Для единственного же сына он просит быть крестным отцом графа С.Г. Строганова, который как попечитель Московского университета был начальником Лажечникова по службе в качестве цензора, а при случае мог оказать содействие своему крестнику на самом высоком уровне. В принципе, такие расчёты вполне естественны и свойственны многим (если не всем) людям. И если мы упоминаем о них специально, то только для того, чтобы развеять миф о непрактичности Лажечникова, который был пущен в обиход А.К. Жизневским¹³. Когда А.К. Жизневский, бывший сослуживец и защитник чести Лажечникова, утверждал это, его можно было понять. Но в настоящее время историку важнее всего правда.

После этих копий с метрических свидетельств в деле находится протокол заседания с изложением всех документов, где, в частности, сказано о Лажечникове: «В штрафах и под судом не был» (л. 22). Запомним эту фразу: она нам ещё пригодится. А делопроизводство близилось к концу, и 8 августа 1863 года трое детей Лажечникова с их матерью были внесены в родословную книгу тверского дворянства. Однако земель в это время у Лажечниковых в Тверской губернии не было.

Не менее интересна и история причисления к потомственному дворянству Тверской губернии рода брата Ивана Ивановича, подполковника Николая Ивановича Лажечникова. 28 ноября 1849 года было начато «Дело по прошению отставного подполковника Николая Иванова сына Лажечникова о внесении его с детьми: сыном Николаем и дочерьми Софьей и Марией в дворянскую родословную книгу Тверской губернии»¹⁴. Право же Н.И. Лажечникова на внесение его в дворянскую родословную книгу основывалось на том, что он, как пишет М.Чернявский, получил «военн<ый> ч<ин> в 1813 году»¹⁵. Как мы уже говорили, дворяне, получившие право потомственного дворянства по военной или гражданской службе, могли приписываться к любой губернии, даже если они там не жили и не имели там собственности. Николай Иванович указывает в своём прошении, что местожительство имеет в сельце Голодеевка Чембарского уезда Пензенской губернии (л. 1 об.). Как можно догадаться по данным других документов (мы их приведём ниже), поселение Н.И. Лажечникова в Пензенской губернии было вызвано тем, что именно здесь он нашёл удовлетворяющую его службу управляющим. Однако следует думать, что эту службу подыскал ему старший брат, который с 20 ноября 1820 года по 5 декабря 1823 года служил директором училищ Пензенской губернии¹⁶, а в конце 20-х годов и сам был управляющим в поместьях графа А.И. Остермана-Толстого¹⁷.



*Зинаида Ивановна Лажечникова, дочь.
Фото 1874 года*

Иван Иванович старался помогать своему брату, в чём мы ещё не раз убедимся.

Итак, 28 ноября 1849 года было начато дело о внесении Н.И. Лажечникова с детьми в дворянскую родословную книгу Тверской губернии. Автографической подписи под его прошением нет, а расписку о получении документов по окончании дела сделал Иван Иванович. Поэтому мы можем предположить, что и подавал прошение также Иван Иванович, а не Николай Иванович, сам проситель.

Далее в деле содержится недатированная копия послужного списка Н.И. Лажечникова, из которой следует, что в 1828 году он имел 33 года от роду; за его отцом, коллежским ассессором Иваном Ильичём Лажечниковым, в Коломенском уезде Московской губернии числилось 100 душ крепостных крестьян. 2 июня 1813 года Н.И. Лажечников вступил в Московское ополчение прапорщиком, в гренадерский принца Павла Мекленбургского полк, получил чин подпоручика 4 октября 1813 года. Напомню, что И.И. Лажечников служил в этом полку с 12 сентября 1812 года, а со 2 марта 1813 года состоял адъютантом при шефе этого полка¹⁸. 22 ноября 1814 года Н.И. Лажечников был переведён в гренадерский же его королевского высочества принца Евгения Виртембергского

полк. Дальнейшее его продвижение по службе таково: 6 октября 1816 года — поручик, 19 сентября 1818 года — штабс-капитан, 9 декабря 1820 года — капитан, 31 марта 1824 года — майор с переводом в 3-й карабинерский полк, 13 января 1828 года, состоя в отдельном корпусе Военных поселений, уволен по домашним обстоятельствам с чином подполковника и с мундиром (л. 3–4).

Для внесения детей в родословную книгу Н.И. Лажечников представил документы об их рождении. Из этих документов мы узнаём, что дочь Софья родилась 25 мая 1841 года в селе Ключи Чембарского уезда и что её отец был в это время управляющим владельца села Ключи г-на Киреевского (л. 5). Сын Николай родился 26 февраля 1843 года и крещён в г. Моршанске, в Вознесенской церкви (л. 7). Дочь Мария родилась 2 июня 1844 года в селе Вражское и там же крещена,

также не могло бы возникнуть: все документы его были вполне исправны, а согласно положению он мог быть приписан к любой губернии. Более того, странно, что он отказался от приписания к московскому дворянству, невзирая на то, что в Московской губернии у его отца была недвижимость.

Думается, что Н.И. Лажечников даже никогда не приезжал в Тверскую губернию. Во всяком случае, мы ничего не знаем о том, навещал ли он своего брата, хотя о поездках И.И. Лажечникова к брату в Коломну и окрестности хорошо известно.

Но связи с Тверским краем у потомков Н.И. Лажечникова не прекращались. Об этом свидетельствует «Дело по прошению сына отставного подпоручика Ивана Николаевича Лажечникова Александра Ивановича Лажечникова о причислении его к роду означенного отца его и выдаче ему свидетельства о дворянстве вместе с метрикою о его рождении»²¹. Дело это было начато 13 мая 1892 года и закончено буквально на следующий день, 14 мая. Дело это было возбуждено внуком Н.И. Лажечникова, сыном почему-то пропущенного в документах дела 1849 года Ивана, который, впрочем, по книге М.Чернявского, составленной в 1869 году, числился в составе рода. Из этого дела мы узнаём, что А.И. Лажечников живёт в Москве, во 2-м участке Тверской части, в Чернышевском переулке, в доме Василенко, № 3. Далее А.И. Лажечников предоставляет копию формулярного списка своего отца: Иван Николаевич Лажечников родился 18 октября 1846 года (что соответствует известным нам данным), правда, почему-то — из дворян Пензенской губернии. Учился И.Н. Лажечников в Николаевском инженерном училище, с 3 сентября 1863 года вступил в службу кондуктором в роте Николаевского инженерного училища. Дальнейшее продвижение его по службе было достаточно успешным: 8 августа 1866 года — прапорщик 2-го Кавказского Северного батальона; с 13 декабря 1866 года по 13 января 1868 года — батальонный адъютант; 8 июля 1869 года — поручик; с 30 января 1871 года в отставке. Отставка, как мы вскоре поймём, произошла вследствие женитьбы, по семейным обстоятельствам. И.Н. Лажечников был женат на дочери коллежского советника Екатерине Павловне Сервиановой, имения родового или благоприобретённого у него и его жены не было. В 1879 году он проживал в Москве, в 4-м квартале Пречистенской части, в доме Подладчиковой (л. 2–3). Далее в деле мы находим копию свидетельства, выданную Московской духовной консисторией. Согласно этому документу, 20 апреля родился, а 23 апреля 1870 года был крещён в московской Христорожественской церкви в Кудрине сын И.Н. Лажечникова Александр. Восприемниками его были коллежский советник Павел Захарьевич Сервианов и вдова Елизавета Александровна Лажечникова (л. 5), дед со стороны матери и бабушка со стороны отца.

Возвращаясь к братьям Ивану Ивановичу и Николаю Ивановичу Лажечниковым, которые и являются главными нашими героями, мы должны поставить ещё один, последний «загадочный» вопрос. Обычно для внесения в родословную книгу дворянам необходимо было предоставить целый ряд документов, который удостоверял бы, в первую очередь, их принадлежность к потомственному дворянству. Как мы поняли, бра-

тя Лажечниковы выслужили себе потомственное дворянство, так как отец их был богатым, просвещённым человеком, но — купцом²². Между тем у М.Чернявского об Иване и Николае Ивановичах сказано: «дети коммерции советника, дворянина»²³. Что это значит?

Коммерции советник — это почётный титул, который был установлен в 1800 году для купечества; он соответствовал VIII классу статской службы, то есть чину коллежского асессора. С 1824 года было определено, что звания коммерции советника могут быть удостоены купцы, пробывшие в I гильдии двенадцать лет сряду. В 1836 году коммерции советникам, а также их вдовам и детям было предоставлено ходатайствовать о причислении их к потомственному почётному гражданству. В 1854 году сыновья коммерции советников получили право поступать на государственную службу (канцелярскими служащими второго разряда). Итак, мы видим, что всё время права и прерогативы коммерции советников расширялись, но они никогда не уравнивались с правами и прерогативами дворянского сословия. На этом фоне формулировка М.Чернявского выглядит крайне странной, а для члена правления губернского дворянского собрания она граничит с нарушением дворянских прав и вольностей, которые как раз и должны были соблюдать такие структуры, как дворянские собрания.

Тверских «тайн» у Лажечникова осталось ещё немало. Мы пока не выяснили, когда и у кого он приобрёл и когда и кому продал своё первое тверское имение Коноплино (а прежнего Коноплина даже в развалившемся состоянии уже никто не увидит: там теперь новый хозяин и новая жизнь). Мы пока не знаем, где находилось его второе тверское имение Никольское (и уж тем более не знаем, когда и у кого он его приобрёл и когда и кому продал). Признаемся честно: мы никогда не узнаем чужую жизнь во всех подробностях. Чужая жизнь в принципе стремится закрыться от наших любопытных глаз, и правильно делает. То, что мы не смогли раскрыть и понять, может раскрыться перед нашими потомками, но, может, вообще никогда никому не раскроется. Важно, чтобы мы не считали себя или наших предков лучше, не приукрашивали и не ухудшали, а видели бы людей — людьми.

Примечания

¹ Генеалогия господ дворян, внесённых в родословную книгу Тверской губернии с 1787 по 1869 год, с алфавитным указателем и приложением / Сост. М.Чернявский. Тверь, [Б. г.]. С. 111.

² Приложения к генеалогии господ дворян Тверской губернии с 1787 по 1869 год / Сост. М.Чернявский. Тверь, [Б. г.]. С. 114.

³ *Раскин Д.И.* Исторические реалии российской государственности и русского гражданского общества в XIX веке // Из истории русской культуры. М.: Языки русской культуры, 2000. Т. V: XIX век. С. 679.

⁴ Дело «По отношению канцелярии гражданского губернатора о пожаловании ордена Лажечникову»: Государственный архив Тверской области (далее: ГАТО). Ф. 466. Оп. 1. Т. 26. Ед. хр. 11914. Хотя дело было начато 15 ноября, а кончено 29 ноября 1846 года, но на самом деле ходатайство губернатора было отправлено 24 января 1846 года, а указ о награждении был подписан императором 31 октяб-

ря 1846 года. См. также: ГАТО. Ф. 103. Оп. 1. Ед. хр. 586. Этому предшествовало неудавшееся намерение выхлопотать чин статского советника через два года после получения чина коллежского советника; см.: ГАТО. Ф. 466. Оп. 1. Т. 26. Ед. хр. 11721 (11.02.1846).

⁵ Дело по докладу 1-го отделения о собрании некоторых сведений, необходимых при исходатайствовании вице-губернатору Лажечникову знака отличия беспорочной службы. Начато 24 апреля, кончено 31 мая 1851 года.

⁶ ГАТО. Ф. 645 (Дворянское собрание). Оп. 1. Ед. хр. 4887. Л. 1.

⁷ Приложения к генеалогии господ дворян Тверской губернии с 1787 по 1869 год. С. 114. Этим орденом Лажечников был награждён 14 марта 1814 года за храбрость, оказанную в сражении под Парижем (ГАТО. Ф. 103. Оп. 1. Ед. хр. 586).

⁸ См.: Письмо С.М. Великопольской о покупке И.И. Лажечниковым Коноплина // Журнал ТУАК. 1901. 6 ноября. № 84. С. 22. Впоследствии усадьба была продана Лажечниковым М.Н. Шишмарёвой.

⁹ *Сысоев Владимир*. Тверской губернатор Александр Павлович Бакунин. Тверь: ЗАО СДЦ «ПРЕСТО», 2004. С. 84, 86.

¹⁰ ГАТО. Ф. 103. Оп. 1. Ед. хр. 586.

¹¹ В этой связи требует внимательного пересмотра конфликт Бакунина и Лажечникова, связанный с делом о хищении денег. См. краткую сводку их: Сысоев Владимир. Тверской губернатор Александр Павлович Бакунин. С. 239–241.

¹² ГАТО. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 2214.

¹³ *Жизневский А.К.* Памяти И.И. Лажечникова. Тверь, 1895.

¹⁴ ГАТО. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 2215.

¹⁵ Приложения к генеалогии господ дворян Тверской губернии с 1787 по 1869 год. С. 114.

¹⁶ ГАТО. Ф. 103. Оп. 1. Ед. хр. 586.

¹⁷ *Викторович В.А.* Лажечников И.И. // Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. М.: Большая российская энциклопедия, 1994. Т. 3. С. 273.

¹⁸ ГАТО. Ф. 103. Оп. 1. Ед. хр. 586.

¹⁹ Генеалогия господ дворян, внесённых в родословную книгу Тверской губернии с 1787 по 1869 год. С. 111.

²⁰ Приложения к генеалогии господ дворян Тверской губернии. С. 114.

²¹ ГАТО. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 2216.

²² *Викторович В.А.* Указ. соч. С. 273

²³ Приложения к генеалогии господ дворян Тверской губернии. С. 114.



Александр Юрьевич Сорочан родился в 1976 году. Писатель, переводчик, историк литературы. Кандидат филологических наук.

Лауреат Всероссийского фестиваля искусств «Артиада», лауреат премии «Золотая тыква», обладатель Государственной стипендии по литературе в номинации «Молодые авторы», член Тверского союза литераторов.

Автор более двухсот научных работ, пяти книг художественной прозы. Редактор серии «Лажечников и Тверской край» (2005–2009).

Живёт в Твери.

Александр СОРОЧАН

«РОДНЫЕ МНЕ ПО СЕРДЦУ...»

ТВЕРСКИЕ ЗНАКОМЦЫ
ЛАЖЕЧНИКОВА

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты...» Это изречение особенно подходит к людям открытым, общительным, заметным, чем-либо привлекательным для окружающих. Именно таким был тверской помещик, директор гимназии, вице-губернатор и — главное — выдающийся писатель И.И. Лажечников. За двадцать лет пребывания в Тверской губернии у него образовалось великое множество знакомств. Цель настоящей статьи — не перечисление всех лиц из окружения Лажечникова, а характеристика некоторых наиболее значительных дружеских связей — чем-либо подтверждаемых или реконструируемых. Следует подробнее остановиться на заметных лицах тверского общества 30–50-х годов XIX века, чтобы понять, каков был круг общения писателей, откуда мог он черпать свои сюжеты, о чём рассуждал, о чём мечтал...

Тверское общество следует именовать провинциальным, однако уникальное по существу местоположение города играло значительную роль в формировании интеллектуального климата Твери. Напомним, что до появления железной дороги путь от Москвы к Петербургу вёл через два губернских города — Новгород и Тверь. С появлением нового вида транспортных сообщений Тверь стала единственным связующим звеном между двумя столицами, и представители «мо-



Дом в усадьбе Коноплино. Построен в 1812–1814 годах, позднее перестраивался. Лажечников жил здесь в 1835–1842 годах. (до начала последней реставрации). 2006 год. Фото А.Ажмуханова

Особый интерес, понятное дело, представляют писатели. Литературой активно занимались многие тверские чиновники. Среди тех, кто принадлежал к поколению Лажечникова, следует отметить **Коншина** (1793–1859) — поэта, переводчика, прозаика, мемуариста. В историю литературы Коншин вошёл благодаря близкому знакомству с Баратынским (служившим под его началом в 1819–1824 годах) и с Пушкиным. Значительная часть жизни Коншина прошла в Тверской губернии. В 1825–1827 годах он служил в Тверской казенной палате, а в 1837–1850 годах был директором народных училищ Тверской губернии и Тверской мужской гимназии. Это последнее назначение он получил не без помощи Пушкина. При устройстве Коншина на место, которое ранее занимал Лажечников, возникли неясные пока осложнения; именно этими трудностями принято объяснять визит Коншина к Пуш-



Иван Иванович Лажечников. 1851 год

сковской» и «петербургской» культур не только проезжали через губернский город, но и поселялись в нём на более или менее долгие сроки. Среди тверских помещиков и чиновников немало лиц, прибывших из Москвы и Петербурга, немало среди них и заметных деятелей культуры. Среди сослуживцев, соседей Лажечникова по имению¹, просто тверских знакомых в 30–50-е годы — множество интересных людей.

Николая Михайловича



Николай Михайлович Коншин

кину 27 января 1837 года — перед дуэлью. Хотя Пушкин и рекомендовал Коншину последовать примеру Лажечникова и обратиться к истории, совет его не был исполнен в точности. В Твери Коншин активно занимался историческими изысканиями. Плодом их стала работа об этимологии названия города, а также ряд стихотворений. Коншин — автор статьи «Оршин монастырь Тверской епархии» (1847), стихотворения «Первая поездка к вам» (с описанием дороги из Твери в Берново) и др.

Помимо очерков, повестей и романа Коншин писал и статьи, некоторые из них появлялись на страницах «Тверских губернских ведомостей». Они отражают круг интересов писателя-чиновника; отметим, что литературный талант Коншина был признан в губернии. Недаром его статья «Достопамятные минуты» была напечатана особым прибавлением к «Ведомостям»; этот номер был подписан в печать Лажечниковым. Материал был посвящён отъезду из Твери архиепископа Тверского и Кашинского Григория, переведённого в Казань. В проводах владыки принимал участие и вице-губернатор Лажечников, хотя конкретные имена и лица в статьях Коншина, как правило, не играют существенной роли:

«Никогда такое множество людей со столь единодушным умилением не плакало, как при этой поучительной беседе удаляющегося пастыря. Повторяем: один только он, поглощённый в великость минуты, вещал, как бы в небе живущий; но когда, заключая беседу, стал благодарить за многолетнюю любовь к себе, дух его смутился; пастырь исчез; явился человек с прекраснейшими из немощей его природы: скорбью, любовью и слезами. Слово осталось недосказанным...

Из собора, благословив с благосклонностью каждого из бесчисленной толпы, его окружающей, Преосвященнейший посетил начальника губернии, куда уже собрались приглашённые на прощальный обед. Усталый и озабоченный ещё предстоящим переездом через Лазурь, он с кротостью и лаской остался здесь часов до 4 по полудни, и тотчас после стола отправился в Тресвятское, с тем, чтобы помолиться ещё однажды в своей монашеской келье, приюте 17-летнего просвещённого труда, и уже совсем, в дорожной карете, приехал в собор к молебну и оттуда отправился в путь»².

Следует отметить, что религиозная риторика «Достопамятных минут» напоминает о романе Коншина «Граф Обоянский, или Смоленск в 1812 году» (1834). Сходные мотивы прославления христианской любви с лёгкостью обнаруживаются и в «Записках о 1812 годе», которые были опубликованы только в 1884 году. Такого рода религиозный взгляд на события новейшей истории свойственен и поздним сочинениям Лажечникова; то, что размышления двух писателей и тверских чиновников весьма сходны, думается, выходит за рамки случайного совпадения.

Статья Коншина «Тверская летопись» погружает читателей в бедную событиями культурную жизнь губернского города. Отметим, что среди публикаций на театральные темы в «Тверских губернских ведомостях» эта — самая объёмная. Подробно описывая благотворительный спектакль с участием Н.В. Самойловой, знаменитой актрисы Александринского театра, Коншин особое внимание уделяет благородной цели представления: «Приехав в Тверь за несколько часов до концерта и узнав о прекрасной цели, с которой концерт даётся, она — непременно хотела в нём участвовать. Неожиданное появление её перед публикою привело в восторг всё

общество; громкие, продолжительные рукоплескания встретили артистку и смолкли только тогда, когда своим прекрасным, очаровательным голосом она запела известную цыганскую песню «Люди добрые...». Чудная мелодия этой песни, то спокойная и нежная, то страстная и бурная, передана была артисткою с невыразимую прелестью; восхищённые слушатели громкими, единодушными рукоплесканиями благодарили госпожу Самойлову за доставленное ею наслаждение»³. Но немало места уделяется и реакции тверской публики, много говорится о мастерстве местных актёров. В тексте приводится и посвящённое Самойловой стихотворение — написанное, судя по всему, также Коншиным.

В истории литературы и проза, и стихи Коншина по заслугам занимают скромное место. Однако в Тверской губернии в 40-х годах чиновник Коншин — один из крупнейших писателей; для понимания провинциальной культурной ситуации его тексты дают очень много материала.

К театральному материалу обращался и другой, совсем ещё молодой чиновник губернского правления. Это был **Сергей Андреевич Юрьев** (1821–1888), служивший в 1846–1852 годах чиновником особых поручений при губернаторе и принимавший участие в редактировании «Тверских губернских ведомостей» во второй половине 40-х годов. Вряд ли знакомство Юрьева с Лажечниковым было особенно близким, учитывая разницу в возрасте. Однако дороги вице-губернатора и чиновника особых поручений пересекались — один раз Лажечников и Юрьев вместе выезжали из Твери в инспекционную поездку. Возможно, тогда они могли обмениваться суждениями о театре. Лажечников был ещё полон сценическими замыслами, а Юрьев уже обдумывал те революционные театральные принципы, которые позднее будут развиты в статьях, опубликованных в «Русской мысли» в 80-х годах. Работа Юрьева в обществе русских драматических писателей тесно связана с его суждениями об отношениях истории и драматургии; возможно, исторические произведения Лажечникова, наряду с репертуарными пьесами 40-х годов, имели некоторое влияние на формирование уникальной «системы» Юрьева, который был убеждён, что только постепенное, «эволюционное» формирование актёрской школы может помочь раскрытию потенциала национального театра. В рецензии на постановку в Твери драматической хроники С.Геденова «Смерть Ляпунова» Юрьев пишет в первую очередь об актёрах, способных донести до зрителя сколь угодно удалённый во времени сюжет: «Без госпожи Смирновой не видать бы нам в настоящее время этой пьесы на сцене Тверского театра; не развернулся бы талант г-на Степанова в новом, до сих пор не подозреваемом нами виде. Мы не полагали, чтобы г. Степанов мог представить героя, в роли же Ляпунова он блистательно опроверг наше мнение. Сколько было у него мужества и огня во взорах, сколько решительности и духовной силы в движениях, сколько твёрдости в голосе и дикции! Не забудем никогда первого



*Сергей Андреевич
Юрьев*

выхода нашего трагика во 2-м акте. Когда своевольные казаки и легкомысленные воины Ляпунова, привыкшие к буйству среди общих смут и нестроения государственного и подстрекаемые хитрым Заруцким, восстают против Ляпунова и, собравшись перед домом русского вождя, громко требуют его к ответу — Ляпунов является к ним. Но лишь только показался он на крыльце, лишь только раздалось его сильное слово: я здесь, — как стихла и присмирела вся эта дотоле шумная толпа, и боязливо отшатнулась назад перед разгневанным воеводой. Блистательно вышел г-н Степанов. Гордо и мощно глянул на разъярённую толпу. Чудно сказал: я здесь... Медленно и спокойно сошёл он с крыльца и вступил в середину бунтующих. В поступи, во всём положении его было столько благородного достоинства, столько непобедимого могущества во взоре, столько гордого, уничтожающего величия, что становится понятным — отчего присмирел и рушился бунт»⁴. Славянофильская ориентация Юрьева была очевидна уже в молодости; к «патриотическому» направлению принадлежали многие тверские знаковые Лажечникова. Однако Юрьев чуждался крайностей, интересовался европейским искусством, много переводил и занимался популяризаторской деятельностью. В какой степени эта деятельность была известна вице-губернатору, нам, увы, неизвестно. Позднее Юрьев вернулся в Тверь; в своём имении он создал народный театр, пытаясь воплотить в жизнь намеченные принципы. Но это случилось гораздо позже, когда Лажечникова в Твери уже не было.

Очень мало известно об отношениях тверского вице-губернатора с другим писателем-чиновником — **Петром Фёдоровичем Вистенгофом** (1811–1855). Впрочем, немногим больше мы знаем и о самом Вистенгофе⁵. Этот человек входил в непосредственное служебное окружение И.И. Лажечникова и, кроме того, в Твери вёл активную литературную жизнь — он печатался не только в тверской, но и в столичной прессе, а книги Вистенгофа (особенно очерки) имели некоторый резонанс в русском обществе.

Пётр Вистенгоф (младший брат его Павел Вистенгоф — автор воспоминаний о Лермонтове) начал службу по окончании Московского благородного пансиона в мае 1828 года в 1-м департаменте Московской палаты гражданского суда с чином губернского секретаря. В 1831–1837 годах Вистенгоф служил в Московском губернском правлении, в 1839–1842 годах — в канцелярии московского гражданского губернатора. В Твери он служил с апреля 1842 года советником в Тверском губернском правлении, находясь в непосредственном подчинении у Лажечникова как вице-губернатора и управляя III отделением губернского правления. В марте 1844 года Вистенгоф получил чин коллежского асессора (8-й класс), в соответствии с которым был произведён в дворянство. В апреле 1855 года Вистенгоф был переведён на службу в Калужское губернское правление, но незадолго до отъезда, «находясь не в здравом состоянии рассудка», покончил с собой 10(22) мая 1855 года. Вот все факты, которые были известны биографам Вистенгофа.

Скорее всего, Вистенгоф перевёлся на службу в Тверь, надеясь получить следующий чин. Надежды на дальнейшее производство в Москве, видимо, не было, а с получением чина коллежского асессора Вистенгоф

мог рассчитывать и на возведение в дворянское достоинство. В провинции он и впрямь через два года стал коллежским ассессором. Менее вероятно, что он рассчитывал на помощь Лажечникова, который 24 февраля 1842 года был избран почётным попечителем Тверской гимназии, а ушёл в отставку в связи с возвращением на государственную службу в качестве вице-губернатора в Твери только 29 декабря 1842 года⁶. Но Вистенгоф начал службу в Тверском губернском правлении в апреле 1842 года, до вице-губернаторства Лажечникова. Не исключено, что ему пришлось прибегнуть к авторитету собрата по перу, но прямо утверждать, что один писатель обещал помочь другому, у нас нет оснований.

Вистенгоф был, как можно судить по документам, добросовестным чиновником, и начальство отмечало его усердие представлением его к очередным наградам: так, по истечении десяти лет службы в Твери ему был исходатайствован знак отличия беспорочной службы. Но несмотря на это, на

пути Вистенгофа всё время возникали различные бюрократические препятствия (о них подробно рассказывает в упомянутой статье М.В. Строганова); именно трудности, связанные с получением различных справок и документов, и привели, судя по всему, к трагическому финалу...

Вистенгоф в тверской период жизни издал ряд произведений, в том числе и роман «Урод» (1849), исполненный ультраромантических приёмов. Но наиболее важная сторона творчества Вистен-



Губернское правление на пл. Ленина. Здание последней четверти XVIII века по проекту П.П. Никитина. Здесь Лажечников служил в 1842–1852 годах. Фото А. Сорочана



Гимназия на Полуциркульной (Почтовой, ныне Советской) площади в Твери. В конце XVIII века в этом здании размещался питейный дом, в середине XIX века здание сильно перестроено. По некоторым данным, первые годы после приезда в Тверь Лажечников жил во флигеле гимназии. Лажечников был попечителем гимназии в 1842 году, вручал отличившимся выпускникам подарки, выступал на ежегодных торжествах.

Фото Н. Зиминой

гофа — это нравоописательные очерки, которые отличались редкой точностью и детализацией. Он и начал литературную карьеру с «Очерков московской жизни» (1842), которые были с интересом встречены современниками. Естественным продолжением этого жанра в творчестве Вистенгофа стала книга очерков «Заметки тверского наблюдателя» (1849); здесь немало сказано, в частности, о русской театральной сцене и о значении для неё творчества Н.В. Гоголя⁷. Очерки под этим общим названием Вистенгоф продолжал публиковать в тверской печати и позднее, хотя и не ограничивался только проблемами театра. Такова, в частности, заметка о проходах из Твери квартировавших в ней войск на Крымскую войну, которые состоялись 14–21 марта 1854 года.

Косвенным свидетельством интереса, связывавшего двух литераторов-чиновников, может служить то, что Лажечников вспоминал о Вистенгофе и после отъезда из Твери — например, в письме А.К. Жизневскому от 31 марта 1855 году: «Что Вистенгоф? Остался ли в Губернском правлении или, получив всё, что желал от Бакунина, раскланялся с ним?»⁸. Но «раскланяться», как нам известно, Вистенгофу не удалось...

Гораздо больше известно об отношениях Лажечникова с другим писателем, тесно связанным с Тверью, — с **Фёдором Николаевичем Глинкой** (1786–1880). Действительный статский советник, поэт, прозаик, декабрист, Глинка немало лет прожил в нашем городе. К этому времени относится и общение его с Лажечниковым; отдельные эпизоды взаимоотношений двух писателей уже привлекали внимание исследователей⁹. В фондах Государственного архива Тверской области сохранился огромный архив Глинки. Многие материалы из этого архива так или иначе связаны с именем Лажечникова. Например, стихотворение «И.А. Хилкову (на известный случай)» посвящено человеку, который стал преемником Лажечникова на посту почётного попечителя Тверской гимназии — в должности, которая предполагала в исполняющем её человеке наличие вы-



*Фёдор Николаевич
Глинка*

соких гуманистических качеств и свойств, так как он должен был надзирать за воспитанием молодого дворянства¹⁰. Выборы состоялись в январе 1848 года, а в декабре 1847 года Иван Андреевич Хилков дал согласие в очередной раз баллотироваться на эту должность. О дворянских выборах и о «должности дворянской» Глинка восторженно пишет в своих стихах.

Конечно, отношения Лажечникова и Глинки не могут быть подробно документированы — они не носили служебного характера, личная переписка двух писателей практически не сохранилась¹¹. Зато известны отзывы Глинки о Лажечникове, не оставляющие никаких сомнений в личных симпатиях. Как пишет А.К. Жизневский в своих мемуарах: «Недаром на прощальном обеде в Твери, данном отъезжавшему Ивану Ивановичу, наш известный поэт Фёдор Николаевич Глинка начал свою речь словами: “Мне наскучило сладкое фалернское вино, — сказал Гораций, — малый, подай мне горького”»¹². Именно «горькими» считают все биографы витебские впе-

чатления Лажечникова — на новой службе он уже не сумел найти такого близкого круга преданных друзей, как в Твери.

Последнее обращение Глинки к Лажечникову — это приветственный адрес, присланный в Москву в дни празднования 50-летнего юбилея литературной деятельности: «Иван Иванович! И так, вот уж промелькнуло полу столетие, а все встречи и свидания наши с Вами кажутся событиями вчерашнего дня! Скоро сматывается лента жизни со всеми её радужными отливами! Но дружба частная и внимание соотечественников общее (а Вы им всегда пользовались) придумали наложить печать на эпоху Вашего полу столетия, озаменованного ореолом Вашей литературной известности. Я помню, как возникла, росла, крепла и мужала эта заслуженная известность. Ваш **Новик** был действительно явлением новым и скоро стал другом стариков и юношей, и в **Ледяном доме** как-то тепло было Вашим многочисленным читателям. А что меня более всего порадовало, — это самые последние произведения Ваши, из которых я увидел, что (несмотря на поношенный, может быть, телесный кафтан) душа и талант Ваши свежи, здоровы и цветут как в оные лета. Я, по обстоятельствам, не могу поклониться Вам лично на Вашем юбилее, но примите эти наскоро брошенные (по краткости времени) строки как дань глубокого уважения. **Ф.Глинка**»¹³. Как можно заметить, тверские знакомые не забыли Лажечникова — как призывал не забывать добро и сам писатель.

В тверском окружении Лажечникова были, разумеется, не одни только литераторы. Многие лица, не привлекающие внимания исследователей по своей кажущейся незначительности, оказывались в высшей степени интересны писателю. Обязанности вице-губернатора позволили ему узнать многих людей, знакомство с которыми так или иначе отразилось в литературных произведениях. И всё возрастающий интерес к «обычным», не великим людям ярко проявился в тверской период деятельности Лажечникова.

Например, Тверская губернская больница, основанная в 1777 году, до 1867 года находилась в ведении приказа общественного призрения, в котором распоряжался, как видно из мемуаров А.К. Жизневского, именно Лажечников. Некролог врача Тверской городской больницы Эдуарда Карловича Берга появился в «Тверских губернских ведомостях» в № 8 за 1852 год в самом начале неофициальной части (с. 32). Это вообще едва ли не единственный некролог в «Ведомостях», тем более столь внушительно представленный. Мы не знаем, насколько близки были Берг и Лажечников в частной жизни, но служебное их общение было неизбежно тесным. Более чем вероятно, что Лажечников сам участвовал в написании некролога об одном из подвижников тверской медицины. Приведём этот весьма характерный текст:

«14 февраля 1852 года скончался в Твери оператор и врач тверской городской больницы Эдуард Карлович Берг. Память о людях, действовавших во благо человечества, приятно сохранять: к числу таких людей принадлежал Э.К. Берг. Он соединял в себе высокие качества врача и христианина; окончив курс наук в Дерптском университете, для приобретения опытности и дальнейшего изучения медицины, он путешествовал по Германии, Италии и Франции. Последняя служба его была в Твери, при городской больнице; с разносторонним образованием он соединял

знание своего дела и без всякого расчёта готов был всегда подать помощь ближнему. Скромность постоянная отличала его всегда и везде, свободное время он посвящал науке, уделяя часть досугов и литературе. Он умер в цветущих годах жизни; но и в немногочетную жизнь истинно добрый человек оставляет по себе память между своими собратьями».

Именно о таких «добрых людях» мы знаем ещё очень мало, хотя встречи с ними оказали особое влияние на Лажечникова.

В числе ближайших тверских знакомых писателя следует особо упомянуть единственного тверитянина, оставившего мемуары о Лажечникове. **Август Казимирович Жизневский** (1819–1896) был археологом, основателем музейного и архивного дела в Тверской губернии, почётным членом Археологического института, почётным гражданином Твери (1888). В 1841 году он окончил философский факультет Московского университета. С 1851 по 1856 год был товарищем председателя Тверской уголовной палаты, в 1863–1896 — председателем Тверской казённой палаты. Жизневский в 1866 году основал Тверской музей, а с 1872 стал его бессменным заведующим. В 1884–1896 годах председательствовал в Тверской учёной архивной комиссии. Под руководством Жизневского собрано свыше семи тысяч рукописей, около девяти тысяч предметов,



*Август Казимирович
Жизневский*

в том числе коллекция тверских монет, произведены археологические раскопки курганов в губернии. Впервые проведены работы по реставрации памятников архитектуры XIV–XVII веков в губернии. Жизневский — автор ряда работ по истории Тверского края¹⁴.

В воспоминаниях Жизневского превосходно переданы основные черты Лажечникова-человека: «...крайне впечатлительный его характер и постоянное поэтическое настроение, при отсутствии практичности в жизни и при необычайной его доброте. Благодаря такому настроению Ивана Ивановича, мне посчастливилось приобрести его дружеское расположение, которым он удостаивал меня во время служения своего в Твери... Почти каждый вечер во время своих прогулок и посещения близких домов мне приходилось побывать и у Ивана Ивановича, обменяться с ним несколькими словами и рассказать ему о подмеченных мною в течение дня сценах, преимущественно народных, которые, при моей тогдашней впечатлительности, я легко воспроизводил. При поэтической же восприимчивости Ивана Ивановича, мне было особенно легко передавать ему эти сцены. О таких посещениях Иван Иванович вспоминает в своих письмах, называя их: обходом моим по друзьям»¹⁵.

Жизневский опубликовал сохранившиеся у него письма¹⁶ Лажечникова, дающие представления и о губернской жизни, и о служебных интересах, и о частных делах выдающегося современника. В этих письмах мало говорится о литературе — и всегда сохраняется и возрастная, и служебная дистанция. Тем не менее очевидно, что Жизневский был по-человечески симпатичен Лажечникову — даже неудовольствия по службе не повлияли на оценку личности тверского знакомого. Лажечников подарил Жиз-



Церковь Ильи Пророка в Никольском погосте, что под Желтиковым монастырем. Построена на средства прихожан в 1791–1803 годах. От Никольского прямая дорога вела к Желтикову монастырю, на кладбище которого была похоронена первая жена И.И. Лажечникова. Ни монастырь, ни кладбище, ни усадьба, которой владел Лажечников, не сохранились. Единственное сохранившееся на территории Никольского здание XIX века — данная церковь.

Фото А. Сорочана

енном здоровье тяжело распутывать узлы, которые клевета, глупость и сплетничество завязали. И потому прошу вас, если вы дорожите несколько моим знакомством, прекратить дальнейшее исследование клеветы, которую имел я неосторожность передать вам в дружеской беседе. Если же товарищество возьмёт верх над этим знакомством, то это было бы знаком к прекращению всяких сношений со мной, которые доселе поддерживались меною искренних и благородных чувствований и которыми много дорожу. Уважающий вас **И. Лажечников**».

Лажечников привык верить людям — и большинство тверских знакомых писателя сумели не обмануть этого доверия. Многие из них прислали поздравления к юбилею писателя. Вот ещё некоторые из них: «Жители г. Твери, живо сочувствуя празднованию юбилея пятидесятилетней ли-

невскому свой портрет, делился с ним сокровенными мыслями. Один случай особенно характерен: «Однажды вечером, во время нашей беседы Иван Иванович отозвался невыгодно о близком мне человеке, товарище по службе, сославшись на то, что он слышал от одного человека о данной будто бы тому лицу взятке. Тут же я старался убедить Ивана Ивановича, что это клевета, с чем он согласился, и при этом я попросил у него позволение, оставив его имя в стороне, принять меры к прекращению этой клеветы. На другой день я получил от Ивана Ивановича тревожное письмо, в котором он просил меня, если дорожу знакомством с ним, прекратить розыски о клевете, возведённой на моего товарища. Мне не трудно было успокоить Ивана Ивановича, так как он сам убедился в этой клевете, которая никак не могла коснуться безукоризненной репутации моего товарища по службе».

Вот упомянутое «тревожное» письмо:

«В мои лета, при моих грустных обстоятельствах и расстро-

тературной деятельности знаменитого нашего романиста, приносят ему свой привет, поздравления и глубокое чувство признательности за славную для нашего отечества литературную и честную его служебную деятельность. *Князь Борис Мещерский*»; «Иван Иванович! Тверитяне, полные воспоминаний о литературной, общественной и административной Вашей деятельности, шлют свой сердечный привет и поздравление. *Ф.Глинка, Жизневский и Сысоев*»; «Иван Иванович! В день Вашего пятидесятилетнего литературного юбилея Тверская гимназия, в которой живо сохранилась память о Вас как о бывшем её начальнике, с глубоким уважением и любовью в полном её составе шлёт Вам привет и поздравление с пожеланием благоденствия на пользу и славу России. *Директор Роберт. Инспектор Никулин*»; «Члены Тверского благородного собрания, памятуя о пребывании Ивана Ивановича в г. Твери, где были написаны лучшие его произведения, высоко ценимые от лица всего тверского общества, поздравляют юбиляра с настоящим торжеством. *Князь Мещерский*».

И Лажечников откликнулся на эти телеграммы 5 мая 1869 года: «*Прижимаю вас крепко к сердцу и целую братским целованием за всё, что вы для меня сделали*». Думаю, эти слова — лучшее свидетельство, что тверские годы и тверские дружеские связи не забылись, что время вице-губернаторства не прошло для писателя бесследно и что людей, с которыми он сблизился в этом городе, он действительно считал «родными по сердцу».

Примечания

¹ Об этих связях немало написано А.В. Шитковым. См. подготовленную им энциклопедию: Тверская деревня. Старицкий район. Тверь, 2007. Т. 1–2.

² Тверские губернские ведомости. 1848. Прибавление от 27 марта. С. 1.

³ Тверские губернские ведомости. 1850. № 42. Часть неофициальная.

⁴ Тверские губернские ведомости. 1850. № 6. Часть неофициальная. С. 6.

⁵ См.: *Великанова Е.М.* Вистенгоф Пётр Фёдорович // Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989. Т. 1. С. 447; *Строганов М.В.* П.Ф. Вистенгоф: Забытые и неучтённые материалы // Лажечников и Тверской край. Вып. 2. Тверь: Марина, 2006. С. 110–121. Далее мы используем данные из двух названных статей.

⁶ См. также: Тверские губернские ведомости (ТГВ). 1843. № 20. 15 мая.

⁷ Одна из этих заметок — «Тверской театр» — впервые опубликована: Тверские губернские ведомости. 1848. № 33. Часть неофициальная; Перепечатана с некоторыми комментариями: *Сысоев Владимир.* Тверской губернатор Александр Павлович Бакунин. Тверь: ЗАО СДЦ «ПРЕСТО», 2004. С. 176–178.

⁸ Лажечников и Тверской край. Тверь: Марина, 2005. С. 223.

⁹ См. об этом: *Строганов М.В.* Биографические и творческие документы И.И. Лажечникова в Тверском архиве // Дом Лажечникова: Историко-литературный сборник / Ред. В.А. Викторovich. Вып. 1. Коломна: Коломенский гос. пед. ин-т, 2004. С. 143–154; *Он же.* Лажечников и Тверь (по материалам Тверского архива) // Лажечников и Тверской край. С. 9–34.

¹⁰ Князьям Хилковым принадлежала усадьба Дубровка (Синёво-Дуброво) Бокарёвской волости Бежецкого уезда. В состав имения входили деревни Палкино, Рылово (усадьбы нет), Бежецкий у. Безумово, Бокарёво, Поросятники и с-цо Мышлино. Дом сгорел в 1919 году.

¹¹ Сохранившееся письмо от Лажечникова Глинке опубликовано М.В. Стrogановым. См.: Лажечников и Тверской край. С. 14–18.

¹² Тверские губернские ведомости. 1895. № 17. Часть неофициальная. С. 3.

¹³ Впервые опубликовано: Московский вестник. 1869. № 94.

¹⁴ Подробнее о нём см. некролог В.И. Колосова: Тверские губернские ведомости. 1896. № 24. Часть неофициальная. С. 1–6.

¹⁵ Здесь и далее воспоминания Жизневского цитируются по: Лажечников и Тверской край. С. 196–233.

¹⁶ Переписка дважды прерывалась: в 1856 году Жизневский был командирован в учреждённую по Высочайшему повелению следственную Комиссию о действиях Интендантства во время войны 1853–1856 годов, а по окончании этой Комиссии был назначен губернским прокурором — сперва в Самару, а потом в Казань; в 1866 году он производил следствия по делу о растрате сумм Тверского приказа общественного призрения. Частично растрату должен был покрыть бывший вице-губернатор. Это вызвало неудовольствие Лажечникова, примирившись с Жизневским лишь в последний год своей жизни.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сквозь время и ветер

Дорога... Что значит она в нашей жизни? Об этом лучше всего расскажут на одном из старейших предприятий города, которому нынче исполнилось 85 лет. Автобусы МАП № 2 Автоколонны 1417 летят сквозь время и ветер по дорогам Подмосквья. Линии шоссе — словно артерии, в которых непрерывно течёт жизнь страны. И каждый водитель, каждый диспетчер ощущает их пульс. Тут нельзя расслабиться ни на минуту, нельзя допустить, чтобы кровеносная система нарушила свой ритм.

Мы не можем представить мир без автобусов. Исчезни они, Московия погрузится в сонную жизнь позапрошлого века. На перекладных путешествиях из Коломны в Москву растягивалось на несколько дней. А сегодня и не заметишь, как промелькнули сто вёрст. В надёжных руках водителей современные машины становятся повелителями времени.

Да и культурной тоже! Нам ли, коломенским писателям, забывать о тех, кто с первых лет поддерживает наш литературно-художественный ежегодник? Но дело не только в «формальной» финансовой поддержке. Администрация автоколонны всегда открыта к творческим инициативам и совместным проектам.

Мы от всего сердца поздравляем директора Межрайонного автотранспортного предприятия Автоколонна 1417 — филиал «Мострансавто» Николая Николаевича Сиделёва и всех его сотрудников с прекрасным юбилеем. Мы знаем: несмотря на испытания и кризисы, наши друзья продолжают своё дело служения людям и приложат максимум усилий на благо отечественной культуры. Впереди много славных юбилеев! Так пусть будет счастливым этот путь!

Коллектив редакции

Николай ИНЮШКИН

ДИРЕКТОР УЧИЛИЩ

И.И. ЛАЖЕЧНИКОВ В ПЕНЗЕ



Николай Михайлович Инюшкин родился в Пензе в 1936 году. Окончил Пензенский государственный педагогический институт, аспирантуру Государственного института театрального искусства (ГИТИС) в Москве. Доктор философских наук, профессор. Действительный член Международной академии информатизации.

Автор книг по эстетике, культурологии, а также истории и культуре Пензенского края. Заведующий кафедрой мировой и отечественной культуры Пензенского государственного педагогического университета. Председатель правления Пензенского отделения Российского фонда культуры. Автор комплексной программы «От культуры края — к культуре мира», осуществляемой в Пензенской области.

Научный руководитель федеральной экспериментальной площадки в Воскресеновской средней школе им. В.О. Ключевского. Заместитель главного редактора «Пензенской энциклопедии», инициатор создания и автор «Пензенской видеоэнциклопедии».

До январской Пензы 1821 года герой нашего рассказа добрался уже затемно. Занесённые снегами улочки не баловали фонарями, и пришлось полутать, пока отворились двери постоянного двора.

Когда путник скинул шубу и шапку, заспанный хозяин увидел молодого ещё человека в штатском. Черты лица правильные и живые, острые голубые глаза и ещё пышный кок волос. Пока гостя провожали в комнату, в книге постояльцев появилась запись о нём: «Лажечников Иван Иванович, директор училищ». Отмечая эту должность, хозяин постоянного двора нисколько не взволновался: «Эка птица — учитель!»

Сам постоялец был этим обстоятельством даже доволен. Только что определённый Министерством духовных дел и народного просвещения директором Пензенской гимназии и училищ, он ещё в пути решил никому не сообщать о своём приезде, желая заставить новое поприще без приготовления. Иллюзий особых не строил, был даже предупредомен попечителем казанского учебного округа о жалком и запущенном состоянии гимназии.

Однако то, что Иван Иванович увидел на следующее утро, с некоторым волнением войдя в здание, не могло не поразить. Навстречу новоначенному директору с дикими криками вырвалась из класса ватага гимназистов, едва не сбив с ног пришедшего. Подростки



Здание Пензенской гимназии, директором которой был И.И. Лажечников

несли на руках совершенно пьяного учителя словесности.

— Что это вы делаете? — воскликнул изумлённый Лажечников.

— Мыши кота погребают, — был ответ гимназистов, продолжавших шумное шествие.

В других классах директор не увидел ни одного ученика, ни одного учителя.

Отправился в уездное училище, но и там картина не была отраднее. Лишь в классе русской истории стояла пыль столбом от гимнастических упражнений. Так воспитанники выполняли задание учителя, который, велел им вызубрить одну главу в книге, удалился по своим делам. Иван Иванович отправился с визитом к губернатору. Ф.П. Лубяновский принял своего нового подчинённого с обычной любезностью, обещал быть полезным, но почему-то главным считал скорейшее участие Лажечникова в губернском Библейском обществе.

Не то чтобы директор гимназии и училищ был против распространения Библии, но всё же посчитал наиглавнейшим и наискорейшим делом наведение в учебных заведениях хотя бы самого простого порядка.

Мягкость и незлобивость И.И. Лажечникова впоследствии войдут в неперемный перечень его качеств. Тем не менее здесь он взялся за задуманное решительно. Разыскивать пришлось не только учителей, но и многих учащихся, которые, хотя и значились в списках, да в классы не ходили. Он публично выступил и против лукавого обычая тех лет определять на гражданскую службу детей, числящихся в учебном заведении. Недоросли и недоучки чинов иметь не должны. Такое было вполне в духе недавнего пензенского губернатора М.М. Сперанского, который в пору своего возвышения при дворе разработал подобный указ. С опальным реформатором Лажечникову ещё предстояло встретиться, а пока что другую задачу нужно было решать — обновлять состав учителей.

Иван Иванович понимал, что многие беды здесь рождены бедностью учительской. Оттого и отчуждение их «общества», дикость и странность характеров. О том, кого «мыши погребли», добрейший Лажечников с горечью писал: «Какие меры не употреблял я, чтобы привести этого господина на правый путь, а по своим способностям он этого заслуживал — поселил его подле себя, пригласил разделять со мною хлеб-соль, стремился ввести в свой кружок — ничего не помогало. Бывало, чуть свет, накинёт на себя свой дырявый ситцевый халат и в туфлях на босу ногу бежит к струям российской одурманивающей ипокрены и потом заедает их солёным огурцом».



Дом, в котором жил Лажечников во время своей службы в Пензе

Да, тут уж не говорить, а делать нужно было. И Лажечников пригласил трёх новых молодых учителей, недавно закончивших университеты. Он озабочился тем, чтобы гимназия была чистой и нарядной, устроил большой актовый зал, открыл физический и естественно-исторический кабинеты, удобную библиотеку. По прошествии

времени историки самой старой и знаменитой Пензенской гимназии отметят, что именно Лажечникову обязана она как внутренним устройством её, так и отчётливым преподаванием предметов.

Особенно оживлённым казалось его участие в предметах, касавшихся русской литературы. И проза, и поэзия одинаково были доступны его профессии. Дар слова его был необыкновенный, увлекательный. Иногда он говорил, что для всестороннего образования молодого человека нужно, чтобы ему, кроме классического воспитания, были известны законы изящества, как то: музыки, рисования, танцев, пения и гимнастики.

Не всё, конечно, удавалось, как хотелось, — вечное для российского общества безденежье мешало! Но сдвиги к лучшему были налицо, и уже на летних экзаменах 1821 года гимназический хор, организованный директором, довольно стройно исполнял кант, сочинённый всё тем же Иваном Ивановичем.

Среди тех, кого принял на преподавательскую должность Лажечников, был и выпускник университета М.М. Попов. Настоящий клад для гимназии!

«С любовью к науке, особенно литературе, с светлым умом и основательным образованием, он соединял тёплое сердце и душу поэтическую». Так напишет Иван Иванович через много лет дружбы, их связавшей. Делясь своими планами на будущее, Лажечников рассказывал своему молодому товарищу и о своей жизни до приезда в Пензу. Началась она 14 сентября 1792 года в семье богатого коломенского купца. Отец был купцом особенным, выделялся своей образованностью, любовью к книгам и смелыми суждениями о разных важных предметах и лицах. Сыну нашел француза-гувернёра с университетским образованием. Уроки пошли впрок, и уже в 1807 году разборчивый «Вестник Европы» публикует философские «Мои мысли», не подозревая, что автору их всего пятнадцать лет.

Когда же грянул «громовой 1812 год», Иван вопреки воле родителей бежал из дома в армию. И, хотя была возможность безопасной адъютантской должности, упрямился в полк. Малоярославец, Красное, Борисов,



Здание Чембарского уездного училища, открытого благодаря И.И. Лажечникову

переправа через Рейн, взятие Парижа — всё это Лажечников, получивший орден за храбрость, видел своими глазами на переднем крае.

— Читал ли Михаил Матвеевич «Походные записки русского офицера», опубликованные в 1817 году? — спросил Лажечников.

— Конечно, читал, и с увлечением! Но одно дело читать, а другое — от самого очевидца слышать, — восторженно отвечал М.М. Попов.

— Тогда ещё историю слушайте...

И Лажечников поведал, как в пору своей военной службы в 1819 году пришлось ему отвести от дуэли Александра Пушкина. Одному чванливому майору вздумалось учить молодого поэта, как должно вести себя в театре. Тот, понятно, не потерпел такого, и вот-вот загремели бы дуэльные пистолеты. Слава богу, нашёл Иван такие слова, что отвёл беду от российской словесности. Дорогого стоит и вовремя оказаться где надо, и сказать, что требуется!

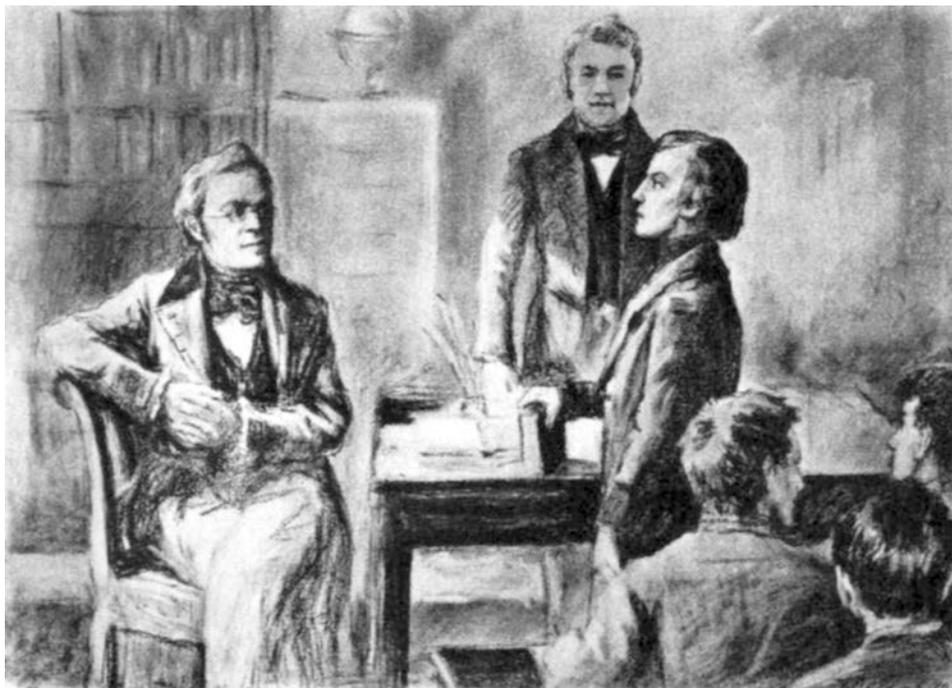
И действительно. В 1823 году отправился Иван Иванович ревизовать Чембарское уездное училище. Открыто оно было незадолго до того немалыми стараниями Лажечникова. И будто специально для того, чтобы в первый год в его классы пришёл сын тамошнего лекаря Белинского Виссарион.

Они встретились на экзамене. Инспектора сначала привлекла наружность 12-летнего мальчика. Прекрасно развитый лоб, в глазах светился разум не по летам. А как отвечал на вопросы! Легко, уверенно, скоро. «Ястребок» — ласково назвал Лажечников ученика. Подаренную восхищённым гостем из губернии книгу принял с достоинством, «как должную себе дань».

О доброжелательности И.И. Лажечникова уже шла речь, но она становилась особенно энергичной, когда нужно было поддержать талант. Молодой Виссарион Белинский будет ощущать её и в Пензе, а затем и в Москве.

Но прежде чем на жизненном пути Ивана Ивановича снова засияла златоглавая, ему пришлось ещё не раз объехать училища Пензенской губернии, добиться открытия ещё одного в Нижнем Ломове, ревизовать саратовские учебные заведения, служить директором училищ в Казани. И хотя педагогическая деятельность привлекала героя нашего рассказа, «казанское пленение» под началом реакционера Магницкого оказалось ему не по сердцу.

В 1831 году он поселяется в Москве и полностью отдаётся делу, которое вскоре принесёт ему всероссийскую славу, — литературе. Именно на этом поприще писатель снова встречается с пензенскими



И.И. Лажечников экзаменует В.Г. Белинского. Рисунок Б.И. Лебедева

знакомцами. Он считал своим долгом помогать молодёжи, по его выражению, «исчерпавшей премудрости пензенской гимназии и переходившей в Московский университет». В числе этих молодых людей был и В.Г. Белинский. Рекомендации М.М. Попова и тёплые воспоминания самого Лажечникова сделали свое дело, и хлопоты последнего не раз помогали юноше из провинции в трудные годы университетской учёбы.

Лажечников был старше своего молодого друга, но случилось так, что выход его первого знаменитого исторического романа «Последний Новик» совпал с публикацией первой знаменитой статьи В.Г. Белинского «Литературные мечтанья».

Именно в ней подчёркивалось, что «Новик» есть «произведение, отмеченное печатью высокого таланта... Какое смелое и обильное воображение, какая верная живопись лиц и характеров, какое разнообразие картин, какая жизнь и движение в рассказе».

Это произведение оказалось связующим звеном и между творчеством И.И. Лажечникова и М.Ю. Лермонтова. Встретиться и познакомиться лично им не довелось, но вот встреча с историческим романом из петровских времён запомнилась в ту пору студенту Московского университета надолго. Скорее всего, впервые «Последний Новик» оказался в руках Лермонтова в университетской книжной лавке. «Московские ведомости» в августе 1831 года сообщали, что там можно получить первую и вторую части стремительно набиравшего популярность сочинения Лажечникова и подписной билет на третью часть.



Пензенская гимназия. Рисунок Б.И. Лебедева

202

НИКОЛАЙ ИНЮШКИН

Завлекательность напряжённого сюжета сочеталась с теми настроениями, которые в сознании образованных европейцев и россиян 20–30-х годов XIX века вышли, пожалуй, на первое место. Это был интерес к истории, к осмыслению в ней роли личности человека, осознающего свою ответственность за происходящее. По словам писателя-декабриста А.А. Бестужева-Марлинского, «история — половина наша, во всей тяжести этого слова». Добавим, что такое видение личного деяния как исторического обретало тогда в художественных произведениях различных жанров преимущественно романтическую окраску.

Юный Лермонтов не стоял в стороне от всего этого, и роман бывшего директора пензенской гимназии явился ещё одним толчком для творческого переосмысления в нём прочитанного и взволновавшего. А взволновала Мишеля личность и судьба Иоганна Паткуля, ревностного патриота своей страдающей отчизны. Лифлядский дворянин, понимающий своим государственным умом, что его истерзанная родина обретёт мир и покой, лишь соединившись с новой петровской Россией, не жалеет жизни во имя такого убеждения.

В конце августа 1831 года Лермонтов создает восьмистишие «Из Паткуля». В нём звучат и перекичка с идеями бесстрашного патриоталифляндца, и мотив гибели не понятого современниками романтического героя, характерный для ряда юношеских произведений поэта. Стихотворение являет собой отрывок из монолога героя, который утверждает свою правоту и готовность погибнуть «за счастье и славу отчизны своей».

Этот поэтический отзвук впечатлений от произведений Лажечникова не был единственным. Через пять лет в незавершённом романе «Княгиня Лиговская» появился мотив «Последнего Новика», на этот раз связанный с его вторым романтическим героем, давшим название историческому повествованию.

Владимир, незаконный сын царевны Софьи и князя Василия Голицына, — лицо вымышленное, наделённое романистом исключительной, трагической судьбой. После неудачного покушения на Петра I он бежит на чужбину, где со временем осознаёт благое значение творимых царём реформ и полагает целью своей искупить вину перед Отчизной. Последние годы Новик, прощённый российским императором, проводит как схимник в Симоновом монастыре под Москвой. Место это — историческое по роли своей и местоположению — к моменту написания «Княгини Лиговской» обрело ещё и связи с популярными произведениями русской литературы. Сначала сюда совершали паломничество поклонники «Бедной Лизы» Карамзина, а в 30-е годы — восторженные читатели «Последнего Новика».

Лермонтов тоже приводит на это знаковое место своих героев. Печорин оказывается в составе большой компании, которая «собралась ехать в Симонов монастырь ко всеобщей молитве, слушать певчих и гулять. Это было весною: уселись в длинные линии, запряжённые каждая в 6 лошадей; и тронулись с Арбата весёлым караваном. Солнце склонилось к Воробьёвым горам, и вечер был в самом деле прекрасен... Наконец приехали в монастырь. До всеобщей ходили осматривать стены, кладбище; лазили на площадку западной башни, ту самую, откуда в древние времена наши предки следили движения, и последний Новик открыл так поздно имя свое, и судьбу свою, и своё изгнанническое имя».

Самое популярное до наших дней произведение романиста «Ледяной дом» было создано в Твери, куда гонимый материальными трудностями Лажечников переехал на знакомую ему должность директора училищ.

Книга, увлекательно повествовавшая о нравах времён Анны Иоанновны и Бирона и вышедшая в 1835 году, была названа всё тем же Белинским «истинным подарком русской публике», романом европейского достоинства.

Служение литературе, создание художественной панорамы отечественной истории было главным для И.И. Лажечникова и когда он, подав в отставку, жил в деревне, и когда снова вернулся к службе. В 1842–1854 годах он — вице-губернатор в Твери, потом в Витебске. В 1856–1858 годах — цензор в Петербургском цензурном комитете.

Можно представить, как тяготила последняя должность этого добрейшего человека, который к тому же сам немало претерпел от сего учреждения. Двадцать один год не допускалась к публике его драма «Опричник», только в 60-е годы украсившая сцены Александринского и Малого театров.

Постановке этой Иван Иванович был особенно рад. Ведь посвящена пьеса была человеку, любовь и уважение к которому зародились в милом его сердцу Пензенском крае, — Виссариону Белинскому.



Вид города Пензы. Рисунок Б.И. Лебедева

Лажечникова не стало 26 июня 1869 года. А за несколько месяцев до прощанья с патриархом исторического романа в Москве отмечалось пятидесятилетие его литературной деятельности. И, пожалуй, не было человека, который не отметил бы помимо заслуг писательских очень дорогую черту юбиляра — благожелательность к молодому поколению, сочувствие всему талантливому. «Для него не было мальчишек в искусстве». Это слова А.Н. Островского.

*Иллюстрации предоставлены фондом
Коломенской городской библиотеки им. В.В.Королёва.*



Нина Михайловна Молева — доктор исторических наук, кандидат искусствоведения, профессор. Член комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме.

Преподавала в МГУ и в Литературном институте им. А.М. Горького. Один из организаторов и теоретик противостоявшего догматам соцреализма в СССР массового художественного направления «Новая реальность».

Создатель нового театрального жанра «сценических рассказов об искусствоведческих исследованиях» при участии актеров Малого и Большого театров (Е.Н. Гоголева, М.И. Царев, Б.В. Телегин, Эдуард Марцевич, Георгий Куликов и др.).

Автор книг о Э.М. Белютине, Д.Г. Левицком, К.А. Коровине, П.П. Чистякове, по зарубежному искусству. Имеет свыше 400 публикаций в периодической печати («Вопросы истории», «Военно-исторический журнал», «Искусство», «Новый мир», «Москва», «Мир музея», «Наше наследие», «Восточный горизонт»).

Автор книги «Московские тайны: дворцы, усадьбы, судьбы».

«ПОТАЁННЫЙ МОСКВИЧ»

Это имя Иван Иванович получил в самом необыкновенном московском доме, настоящей энциклопедии, где поколение за поколением хранили живые воспоминания о самых знаменитых, а то и просто обыкновенных писателях, учёных, издателях, артистах со всей России, постоянных и любимых гостей Михайлы Семёновича Щепкина. Главное, говаривал хозяин, чтобы сердце и двери стояли для каждого отвором, беседа была дружеской, а со стола не сходил кипящий самовар. К самовару могли прибавиться наваристые щи и кусок говядины с чёрной кашей — гречей. На другие разносолы у Михайлы Семёновича, скорее всего, не хватило бы средств, а у хлебосольной хозяйки рук — одних детей в семье было семеро, да ещё скольких старых актёров пригревал и содержал хозяин. Суждения отца, его рассказы знали наизусть и следующие поколения. Один из внуков стал первым хранителем Государственного Исторического музея на Красной площади Москвы; в свою очередь его дочь, Марфа Вячеславовна, всю жизнь отдавшая тому же музею, — его крупнейшим специалистом по древним книгам. И это от Марфы Вячеславовны довелось услышать:

— Иван Иванович Лажечников? Это наш потаённый москвич-то? Как же его прадед любил! Если когда-нибудь будете писать о нём, непременно упомяните, что мечтал о таком доме, что был у Щепкиных в Большом Каретном. Даже говорил, что непременно сирень у себя

такую же посадит, знаете, тёмно-лиловую, до черноты. Щепкинский дом ею славился. Пушкин любовался, а Гоголь, когда первый раз к нам пришёл, в непогоду, так и сказал, что через сиреневый дождь прошёл. Сырости не любил, а тут радовался.

Мы стоим с Марфой Вячеславовной на галерее центрального зала Исторического музея, в нише башенки, выходящей на Кремлёвскую стену, дальнюю перспективу Спасских ворот.

— А знаете, что прадед, да и, пожалуй, всё его окружение, особенно ценили в романах Ивана Ивановича? Что он не просто описывал виды, вещи, одежды — он их словно через себя пропускал, каждую мелочь на себя примерял, переживал. Не от героя — от себя, от автора. Современники за это так к нему и тянулись. Пушкин прав: в каких-то подробностях «Ледяного дома» он, может, точностью и не отличался, а вот камзол застёгивал так, что прямо пальцами чувствуешь и петлю, и пуговку.

Давно не стало Марфы Вячеславовны. Ушла из жизни и последняя в щепкинском роду актриса Малого театра — Александра Александровна Щепкина, как две капли воды похожая на далёкого прадеда: невысокая, плотно сбитая, улыбчивая, с круглым румяным лицом, с которого не сходила приветливая улыбка (и как же тактично умела она дополнять память старшей родственницы!). Но как простить «властям предержажим», что в середине 80-х годов XX столетия, в порядке подготовки района к майским праздникам, был в одночасье снесён щепкинский дом? Никому не мешавший. Прятавшийся в глубине тихого переулка. Стоявший на государственной охране. Впрочем, немногим раньше в том же переулке были снесены усадьба, где прошло детство и университетские годы Ивана Сергеевича Тургенева, и скромнейший домик детства великой актрисы Марии Николаевны Ермоловой. Одно оправдание — их не торопились ставить на охрану. А народная память — сегодня СМИ с такой неграмотной щедростью раздают определения «высокой талантливости» и «гениальности», что о подлинных ценностях культуры не остаётся времени и возможности думать.

«Потаённый москвич»... Ведь и на самом деле — даже для XIX века — что за расстояние каких-то восемьдесят вёрст, отделявших родное лажечниковское Кривякино от Москвы!

Легко же дошли до Тайного приказа сведения о вольнолюбивых разговорах отца писателя. Павловские годы сменялись не менее суровыми александровскими. Жене увезённого солдатами супруга оставалось мчаться вслед, со всеми наличными деньгами и двумя сыновьями, в надежде кого-то задобрить, кого-то умиловить. Для восьмилетнего Вани Москва впервые открылась от Таганской рогатки к Мясницкой. С незапамятных времён «пытошное ведомство» размещалось у Лубянки. И — Москва показала самым сказочным, самым удивительным городом. В памяти Щепкина осталось: «Понять маменькино горе мне ещё было трудно, и город с этим горем никак во мне не слился. Напротив. Мне кажется, вот тогда-то я и решил, что мы непременно будем жить в Москве».



*Михаил Семёнович
Щепкин*

Спасла Лажечникова-старшего, конечно, не жена, но перемена политических обстоятельств. Тем не менее вернуться к прежней жизни уже не представлялось возможным. Состояние было разрушено. Лажечников-младший поступает на службу в Московский архив иностранной коллегии, располагавшийся вблизи Чистых прудов, откуда переходит в канцелярию московского генерал-губернатора. Материальные условия позволяют ему посещать лекции в Московском университете. Он слушает Мерзлякова и берёт уроки риторики у самого профессора Победоносцева, а в пятнадцать лет печатается в «Вестнике Европы», «Русском вестнике», «Аглае».

Начало французской кампании приводит его к решению вступить в армию, даже вопреки воле родителей. Со временем он признается у Щепкиных, что его Москва — это Москва от Тверской до Маросейки, ухоженная, нарядная, тонущая в садах. Чего стоила его квартирка на Сретенском бульваре, бок о бок с Чистыми прудами и так любимой им Меншиковой башней! В рядах ополчения он сражается под Бриенном, участвует во взятии Парижа, становится адъютантом начальника гренадерского корпуса графа А.И. Остермана-Толстого.

Впрочем, увлечение литературой его не оставляет. В 1817 году он издаёт «Первые опыты в прозе и стихах», но срочно скупает весь тираж и уничтожает его. Право на существование он оставляет только за вышедшими в 1820 году в Петербурге «Походными записками русского офицера». К этому времени Лажечников уже оставляет военную службу и становится инспектором училищ.

За несколько лет он сменяет несколько мест работы — инспектор саратовских училищ, директор Казанской гимназии, пока в 1826 году не выходит в отставку и наконец-то осуществляет стародавнюю мечту — поселиться в Москве. Мало того. Начать собирать материалы для романа «Последний Новик».

В этом решительном повороте судьбы писателя исследователи как-то обходят его главную причину: именно в 1826 году был вынесен приговор декабристам, казнены или отправлены в Сибирь не только участники событий на Сенатской площади, но даже лишь косвенно причастные к ним лица. Пушкина с лейб-егерем доставляют из ссылки прямо к Николаю I, который заявляет, что отныне будет единственным (и неоспоримым) цензором всех произведений поэта. Между тем герой романа Лажечникова покушается на царя — самого Петра I — и при этом выступает как «благодетель России», и главная идея «Последнего Новика»: жизнь правителя ничто перед лицом блага народа, родины.

Роман приобретает совершенно исключительную популярность, а в библиотеке Пушкина он появляется с дарственной надписью: «Первому Поэту Русскому Александру Сергеевичу Пушкину с истинным уважением и совершенною преданностью подносит Сочинитель. 18 декабря 1831. Тверь». Именно в Твери Лажечников узнаёт о пришедшей к нему славе. После окончания холерной эпидемии, в марте того же 1831 года, писатель возвращается на службу и уезжает в Тверь директором училищ местной губернии. Какое-то количество времени он проводит в Витебске. Так или иначе, Москва на много лет уходит из его жизни.

«Судьба не дала ему по-настоящему насладиться заслуженной славой, — вспоминал Щепкин. — Она отшумела вместе с “Последним Новиком”, тогда как появившийся “Ледяной дом” незаслуженно, по моему мнению, разочаровал публику. Пушкину не понравились какие-то исторические погрешности. Я в них не силен и никогда бы не отважился высказывать своё мнение. Просто в “Последнем Новике” был более высокий полёт мыслей и чувств. Его-то публика и ждала от писателя. Вот Иван Иванович и не искал случая вернуться в белокаменную. Сам не искал».

Лажечников словно мечется между службой и литературной работой. В 1837 году выходит в отставку и поселяется в деревне под Старицей. Это уединение нужно ему, чтобы написать «Басурмана». Но есть и другое обстоятельство, глубоко Ивана Ивановича поразившее. Он впервые познакомился с Пушкиным в 1819 году, ещё будучи на адъютантской службе у графа Остермана-Толстого. Пушкин сумел повздорить с товарищем Лажечникова по службе Денисевичем и вызвать последнего на дуэль. Ссора по пустяковому поводу произошла в театре, поэтому получила широкую огласку, и только дипломатические способности, а главным образом природное добродушие Лажечникова позволили предотвратить дуэль. Гибель Пушкина на дуэли с Дантесом произведёт на Лажечникова страшное впечатление. Он напишет 19 февраля А.А. Краевскому: «Не стало Пушкина... Не будет убице места на русской земле». И так ли случайно рисует писатель в «Басурмане» образ Ивана III с его эгоизмом, жестокостью и мстительностью. Такой портрет монарха говорил о редкой смелости художника.

Возвращается Лажечников на службу в провинцию. В 1842–1854 годах писатель состоит вице-губернатором в Твери и Витебске, в 1856–1858 годах служит в Петербургском цензурном комитете. Но официальное положение несколько не смягчало запретов, которые накладываются один за другим на его новые произведения. Достаточно назвать драму «Опричник», запрещённую за самую попытку вывести на сцену Ивана Грозного.

Собственно в Москву вырывается в 1854 году. Ему предстоят два года «полного наслаждения Москвой», но и творческой неудовлетворённости. На столе лежат только пьесы, и то ограничиваемые



Вид Новодевичьего монастыря. Литография. Ж.К. Башелье с оригинала Орлова

цензурой. А в остальном квартира на углу Плющихи и Девичьего поля (в то время не застроенного) повергает в полный восторг: «Я живу совершенно как на даче. Передо мною Девичье поле, окаймлённое хорошенькими домами, а за ними всё Замоскворечье с Донским монастырём, Александровским дворцом, Нескучным, дачей Мамонтова и Воробьёвыми горами; кое-где выглядывают золотые главы Ивана Великого, Спасского монастыря, Симонова... С балкона моего не могу налюбоваться досыта этими видами. Сейчас по случаю праздника Смоленской Божией Матери идёт процессия в Девичий монастырь, народ усыпал поле, духовенство всей Москвы с хоругвями тянется золотой нитью до монастыря, путь усыпают цветами. Картина прекрасная! В красные дни рои детей, как букеты цветов, разбросаны по зелени луга, кавалькады прекрасных амазонок скачут мимо моих окон...»



*Анатолий Фёдорович
Кони*

Последней квартирой Лажечникова оказался дом на Поварской. И неожиданная встреча с маститым литератором известного юриста и литератора А.Ф. Кони: «В Москве мне предстояло остаться с утра до вечера, и я отправился в адресный стол, чтобы узнать, где живёт Лажечников, но узнать ничего не пришлось, так как было воскресенье, и я пошёл бродить по улицам. Я шёл, задумавшись и опустив голову, но в одном месте на Поварской, где подъезд старинного дома пересекал тротуар и заставлял делать обход, я невольно должен был поднять голову... и что же я увидел?! На дверях была медная доска с надписью: “Иван Иванович Лажечников”. С радостным чувством позвонил я. Мне отворила старая няня и на вопрос мой, можно ли видеть Ивана Ивановича, сказала: “Пожалуйте, они в зале”. Весело и быстро прошёл я сени и маленькую переднюю и вступил в залу... В правом углу на столе лежало тело Лажечникова. Когда я несколько оправился от горестной неожиданности, старуха няня, вошедшая вслед за мною, объяснила мне, что Иван Иванович скончался три часа назад тихо и почти безболезненно».

Так случилось, что прожил писатель всего несколько дней после своего торжественного чествования в Городской думе, где уже по состоянию здоровья сам быть не смог. Его речь зачитал А.Н. Островский, а А.Ф. Писемский в своём слове о юбиляре с редкой точностью и уважительностью определил место писателя в истории нашей литературы:

«Вы принадлежите к писателям ещё “пушкинско-го времени”, и посреди их вы являетесь лучшим русским историческим романистом. Успех ваших романов был всеобщий. Такую общую симпатию они возбудили не столько новостью этого рода произведений и не тем, что в них описывались исторические происшествия и исторические лица, сколько



*Алексей
Феофилактович
Писемский*



*Александр
Николаевич
Островский*

другим, более прочным качеством — всюду проникающим в них вашим поэтическим мировоззрением и тем добрым и мягким колоритом, который разлит во всех изображаемых вами картинах и присущ даже всем выводимым вами лицам. Но при всей вашей склонности изображать добрую и хорошую сторону души человеческой вы в лучших ваших произведениях совершенно избавились от несвойственной русскому человеку мечтательности Жуковского. Перед вашими товарищами романистами вы имели огромное преимущество: добродушного Загоскина вы превосходили своим образованием и уж, разумеется, как светоч ничем не запятнанной честности, горели над тёмною деятельностью газетчика Булгарина; в ваших произведениях никогда не было бес-

страстных страстей Марлинского и его фосфорического блеска, который только светил, но не грел; ваша теплота была сообщающая и согревающая. Вы ни разу не прозвучали тем притворным и фабрикованным патриотизмом, которым запятнал своё имя Полевой, и никогда не рисовали, подобно Кукольнику, риторических ходульно-величавых фигур. Всех их вы брали истиннее, искреннее и ближе стояли к вашему великому современнику Пушкину, будя вместе с ним в душах русских читателей настоящую и неподдельную поэзию».

Остается добавить, что к великолепному и очень торжественному празднованию 50-летия литературной деятельности Ивана Ивановича Лажечникова никакие государственные организации, в том числе московские, отношения не имели. Инициатива принадлежала Александру Николаевичу Островскому, и осуществил её Артистический кружок, снявший для этой цели зал Московской городской думы, занимавшей дом во дворе нынешнего домовладения № 6 по улице Воздвиженке. Здание сохранилось до наших дней, но никакой памятной доски не несёт. Просто Лажечникова надо искать в библиотеке (для Интернета его проза безусловно не подходит), вспоминая пушкинские слова: «...Многие страницы Вашего романа будут жить, доколе не забудется русский язык». И это отзыв о «Ледяном доме».



*Могила И.И. Лажечникова в
Новодевичьем монастыре*



Рубен Гамлетович Назарьян — кандидат филологических наук, доцент Самаркандского государственного университета, председатель правления Самаркандского общества преподавателей русского языка и литературы.

Автор более трёхсот научных трудов, опубликованных в двенадцати странах. Имеет труды по литературоведению, истории культуры, этнографии, истории и краеведению. Автор сценариев и режиссёр одиннадцати документальных телефильмов.

Лауреат российской медали в честь 200-летия со дня рождения А.С. Пушкина, отличник народного образования Республики Узбекистан, зарубежный член-корреспондент Казахской академии труда и социальных отношений и Крымского центра гуманитарных исследований.

Рубен НАЗАРЬЯН

«ОБИТЕЛЬ НАДЗВЁЗДНАЯ, СЖАЛЯСЬ, РАСКРЫЛА ПРИЮТ...»

ИВАН ЛАЖЕЧНИКОВ-МЛАДШИЙ
В САМАРКАНДЕ

В этом году литературная общественность России отмечает 220-летие со дня рождения известного исторического романиста И.И. Лажечникова. Жизнь этого даровитого писателя, внешне вполне благополучная, отнюдь не была гладкой. Семейные проблемы вносили в жизнь Лажечникова диссонанс. Первая жена его, Авдотья Алексеевна Шурупова, оказалась бесплодной. Но в 1853 году, отметив незадолго до этого своё 60-летие, Лажечников вступает во второй брак с Марией Ивановной Озеровой. Престарелый писатель продолжает мечтать о детях, но... увы. И лишь через шесть долгих лет этот брачный союз ознаменовался рождением ребёнка. А затем ещё двух. Вполне естественно, что, подводя итоги прожитой жизни, Иван Иванович хотел обеспечить своих потомков дворянскими привилегиями после собственной смерти.

Не будучи дворянином по происхождению, Лажечников, заботясь о своём позднем потомстве, пожелал облегчить ему будущее. Это и побудило его заняться дворянскими хлопотами.



Сын И.И. Лажечникова Иван.
Девять лет от роду. Фото 1869 года

Лажечникова по службе в качестве цензора, а при случае мог оказать содействие своему крестнику на самом высоком уровне»¹.

Единственный сын знаменитого исторического романиста — Иван — родился в Москве и был крещён 15 января 1861 года в московской Георгиевской церкви (бывшем Георгиевском монастыре); воспитателями его были генерал-адъютант, генерал от кавалерии граф Сергей Григорьевич Строганов и Софья Николаевна Лажечникова, дочь брата Ивана Ивановича — Николая².

О последних годах жизни писателя, продолжавшего тревожиться за будущее своих малолетних детей, дают некоторое представление его письма. Так, в одном из них, обращённом к влиятельному вельможе, будущему обер-прокурору Синода К.П. Победоносцеву (30 апреля 1869 года), написанном менее чем за два месяца до смерти, И.И. Лажечников вспоминает: «...Первые шесть лет у нас (со второй женой. — Р.Н.) не было детей, а теперь их трое: дочь Зенаида, которой скоро 10 лет, сын Иван по 9-му году и меньшая дочь Авдотья семи лет. Пока они доставляют мне отраду в моих невзгодах и при моих недостаточных средствах. Даю им воспитание, какое могу, и не могу пожаловаться на умственные неспособности. Умру, и Бог не оставит их. Хорошо бы, если бы сын в своё время мог попасть в Лицей Цесаревича, учреждённый Катковым»³.

Незадолго до своего семидесятилетия писатель, проживавший в означенный период уже в Москве, подаёт властям соответствующее прошение, на основании которого 12 июля 1863 года началось «Дело по прошению статского советника и кавалера Ивана Ивановича Лажечникова о причислении к роду его жены его Марии Ивановны с детьми Иваном, Зинаидою и Евдокиєю и о выдаче детям документов о дворянстве».

Старшая дочь романиста — Зинаида — родилась в 1859 году, сын Иван появился на свет 30 декабря 1860 года, а ещё через два года супруга осчастливила дряхлеющего родителя дочерью Евдокией. «Лажечников старательно выбирал крёстных родителей для своих детей. Для единственного сына он просит быть крёстным отцом графа С.Г. Строганова, который как попечитель Московского университета был начальником

Тогда бы он был ближе к надзору матери, а вам известно, как этот надзор нужен в наше время. Но как это сделать? Средств для помещения его в Лицей я не имею (в петербургские высшие заведения ни я, ни жена не желаем отдавать), а они требуются немалые. Опять скажу, уповаю на милость Божию»⁴.

Мы не располагаем достоверными сведениями о дальнейшей судьбе детей писателя и потому остановимся лишь на последних годах жизни его сына Ивана. Неизвестно, попал ли он в желанный Лицей или сделал иную карьеру, но имеющиеся факты свидетельствуют о том, что Иван Иванович младший в последнее десятилетие XIX столетия оказался в Туркестане. Обладая, видимо, наследственным литературным даром, он стал публиковать свои небольшие сочинения в местной прессе. В самом начале 90-х годов он вошёл в штат самаркандской городской газеты «Окраина», которую редактировал Н.В. Полторанов. История этого издания довольно любопытна, и потому позволю себе рассказать о нём более подробно, ибо судьба Лажечникова-младшего тесно переплелась с этой газетой. Вышеупомянутый Николай Полторанов в 80-х годах занимал довольно высокую должность «начальника службы пути и зданий» на строительстве Закаспийской военной железной дороги. Имея техническое образование, Николай Владимирович к тому же неплохо владел пером, публикуя свои очерки в различных периодических изданиях. Так, например, в нескольких номерах журнала «Железнодорожное дело» (1885, № 8–11) были напечатаны его «Заметки о Закаспийской железной дороге до Кизил-Арвата». В дальнейшем, в связи с завершением строительства участка дороги и ликвидацией упомянутой должности, Полторанов уволился со службы и перебрался в Самарканд, ставший через несколько лет конечным пунктом этой важной стальной магистрали.

Изучив местный промышленный рынок, он решил обзавестись собственной типографией. Что и было вскоре осуществлено. А затем, вознамерившись уже профессионально заняться журналистикой, Полторанов адресовал властям соответствующее прошение. В ташкентском архиве сохранилось свидетельство канцелярии Туркестанского генерал-губернатора, гласящее, что «10 августа 1889 года содержатель типографии в г. Самарканде, отставной надворный советник Николай Полторанов обратился в главное управление по делам печати с ходатайством о разрешении ему издавать в этом городе, с дозволения предварительной цензуры, под его редакторством по предлагаемой при сем копии программы, ежедневную, кроме послепраздничных дней, газету под названием “Окраина”»⁵. В ноябре разрешение было получено, и в январе 1890 года вышел в свет первый номер этой газеты.

Типография и редакция газеты «Окраина» разместились в арендованном помещении на улице Пенджикентской в одном из домов крупнейшего среднеазиатского винодела Д.Л. Филатова. Это была первая частная типография в городе, а газета стала вообще первым частным изданием в Туркестанском крае. Первоначально она выходила ежедневно, а затем лишь два-три раза в неделю. «Окраина» публиковала местные известия и корреспонденции из соседних регионов, театральные рецензии, фельето-



Самарканд. Абрамовский бульвар



Самарканд. Кауфманский проспект



Самарканд. Ката-Курганская улица

ны, стихи и очерки, материалы культурно-исторического, экономического и географического характера, официальные сообщения.

За четыре года её существования в Самарканде в качестве приложения к газете были выпущены 25 оригинальных брошюр. Уже в первый год своего издания детище Н.В. Полторанова удостоилось высокой награды — малой серебряной медали «за типографские и полиграфические работы» — на Туркестанской выставке. В том же 1890 году редактор

издал в собственной типографии книгу своих очерков о строительстве стальной магистрали под названием «Заметки о Закаспийской железной дороге с 1880 по 1889».

Николай Владимирович стал известной и влиятельной личностью в Самарканде. Ни одно важное мероприятие в городе не обходилось без его участия. Полторанов был не только издателем и редактором, но и активным членом нескольких общественных организаций, и бессменным председателем местного общества покровительства животным. Однако, несмотря на это, газета не приносила ожидаемого дохода, и её издание в условиях провинциального Самарканда оказалось делом непростым и весьма хлопотным.

Не ощущая поддержки местных властей и не имея достаточных материальных средств, редактору и владельцу газеты постепенно пришлось сокращать тираж «Окраины» и периодичность её выпуска. А в конце четвёртого года издания газеты Полторанов, исчерпав, видимо, свои материальные и моральные возможности, обратился к читателям с сообщением о её ликвидации и о том, что с 1894 года «Окраина» будет издаваться в Ташкенте «при совершенно новом составе редакции». Взамен её в Самарканде, извещал он, будет выходить лишь «Листок телеграмм Северного Агентства и объявлений» под редакцией его супруги Антонины Николаевны Полторановой.

В небольшом провинциальном Самарканде в то время остро ощущалось отсутствие подлинной русской интеллигенции, и потому знакомство редактора с талантливым литератором — Иваном Лажечниковым-младшим — вскоре переросло в дружбу. Так Иван Иванович стал штатным сотрудником этой газеты, а затем и её секретарём. Помимо своих служебных занятий, он успевал сочинять стихи и прозаические произведения, помещая их на страницах издания. Иван Лажечников вёл довольно скромный образ жизни: он был одинок, не имел ни побочных доходов, ни собственного жилья, и потому его благополучие было целиком зависимо от газеты и расположения её издателя. Начинаящий писатель и талантливый журналист не был обласкан особым вниманием властей и читающей публики, однако имя его нередко мелькало в газетной периодике.

Вот лишь некоторые характерные сведения о нём, извлечённые из «Окраины». В начале 90-х годов в азиатском Самарканде появилась модная европейская новинка: чтение с туманными картинками. Действо это еженедельно проводилось по воскресеньям в помещении городского театра, расположенном в парке. Иван Лажечников был постоянным декламатором при демонстрации этих туманных картин и, по отзыву газеты, декламатором «весьма умелым» («Окраина», 11 июня 1893 года). И потому уже 6 ноября того же года он был избран действительным членом комиссии для устройства этих чтений с туманными картинками («Окраина», № 126). В нескольких номерах газеты была упомянута его фамилия в числе лиц, пожертвовавших деньги на различные благотворительные нужды.

А в одном из номеров издания появилась небольшая заметка об отце и сыне Лажечниковых, которая гласила: «В наступающем году

исполняется 100 лет со дня рождения и 25 лет со дня смерти писателя 40-х и 50-х годов Ивана Ивановича Лажечникова, автора известных всей читающей России исторических романов “Последний Новик”, “Ледяной дом” и “Басурман”. И.И. Лажечников родился 14 сентября 1794 года, а скончался 26 июня 1869 года. Сын его, Иван Иванович тоже, проживает в городе Самарканде и состоит в числе сотрудников “Окраины”»⁶.

В нескольких номерах газеты Иван Лажечников-младший публиковал свои прозаические и поэтические произведения. Его последняя публикация в самаркандском издании была посвящена единомышленнику, старшему другу и кормильцу. Как бы подводя итоги многотрудной деятельности Н.В. Полторанова на посту издателя и редактора газеты, её секретарь и активный сотрудник опубликовал на страницах «Окраины» (№ 195, 24 декабря 1893 года) это пространное сочинение, многое говорящее и о самом авторе.

Н.В. Полторанову

Ведомый опытной рукою,
Налёты рассекая волн,
Борясь с подводною скалою,
Но вдохновенной цели полн,
Идёт корабль и груз богатый
Зерна везёт на дальний брег,
Где, голодая, брат на брата
Свершает дерзостный набег.
Придёт зерно... На нивах новых
Взойдёт обильною жатвой,
И сытый брат, любить готовый,
Вздохнёт свободною душой...

Не так ли Вы, борясь в пучине,
Вокруг лишь видя зло одно,
На почву умственной пустыни
Добра Вы кинули зерно...
Пока колосья Вашей нивы
Идеей пользы расцвели,
Созрели, манят горделиво,
Вы мытарств множество прошли...
В ответ правдивому укору,
В ответ пророческим словам
Неслись насмешки и простора
Не обещали люди Вам...

Но знамя истины святое
Самоотверженно неся,
Всех пересмешников главою
Вы были выше... Не прося
Подобострастной лестию пощады...
Вы бою правды были рады...
И в глубину отчизны милой,
До берега царственной Невы
Проникла мысль с окраин и силой
Смирила дерзкие умы.

И не кидали уж камня
В ответ на истины призыв,
Но трудный путь любви служенья
Измучил, силы подкосив.
Зато фундамент крепок зданья,
Зерно запало глубоко,
Расчищен путь для пользы, знания,
Вослед борцу идти легко...

Зато теперь, борец достойный,
Куда бы ни привёл Вас рок,
Сказать Вы можете спокойно:
«Я сделал всё, что только мог!»...

А когда с 1894 года издание газеты в Самарканде прекратилось и по ряду возникших обстоятельств «Окраина» перебралась в Ташкент, молодой литератор остался без всяких средств существования. Несколько позднее, после отъезда своего покровителя — Н.В. Полторанова — из города, Лажечников испытал подлинный стресс. Не находя себе места в чужом и бездушном обществе, он запил горькую. Болезни, безденежье и полное одиночество подкосили его. И уже вскоре в одном из российских литературных изданий появился некролог.

Лажечников Иван Иванович
(1861—1895)

27 мая в самаркандском военном госпитале, вдали от родных, скончался от крупозного воспаления лёгких и белой горячки, 34 лет от роду, Иван Иванович Лажечников, сын знаменитого историка-романиста. Покойный сотрудничал в самаркандской «Окраине», где помещал свои стихи и сочинения некоторое время был секретарём редакции. Иван Лажечников умер в крайней нужде и нищете, всеми покинутый, часто голодавший, проведший не одну ночь под кустами городского парка. А наше апатичное общество равнодушно смотрело, как сгорает этот молодой талант, и не стыдилось тёплой участливости к погибающему человеку отделяться пятаками, на которые покойный заливал своё горе⁷.

Естественно, что бездомного нищего, запойного пьяницу, не имевшего ни друзей, ни родственников в Самарканде, скромно похоронили за казённый счёт на окраине городского кладбища. Памятных надписей и надгробий на его могиле никто не сооружал, и потому единственной памятью об этом незаурядном человеке остались его грустные, шемящие душу сочинения, опубликованные на страницах всё той же газеты, которые и предлагаются вниманию читателей.

Примечания

¹ См. об этом подробнее в статье М.В. Строганова «Лажечниковы в Тверской губернии».

² Государственный архив Тверской области. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 2214. Сведения любезно предоставлены автору статьи М.В. Строгановым.

³ Основанный М.Н. Катковым (1818–1887) Императорский в память цесаревича Николая лицей в Москве — закрытое высшее учебное заведение для детей дворян и крупной буржуазии в 1868–1917 годах.

⁴ Русское обозрение. 1895. Кн. 4. С. 887.

⁵ ЦГА Уз. Ф. И-1. Оп. 28. Ед. хр. 101. Л. 1.

⁶ Окраина. 1893. № 138. 8/20 декабря.

⁷ Новое время. 1895. № 6926.



Иван ЛАЖЕЧНИКОВ-мл.

СТРАНИЦЫ ТВОРЧЕСТВА

218

ИВАН ЛАЖЕЧНИКОВ-МЛ.

Христос Воскресе!

«Христос Воскресе!» Помни это слово
И не целуй, насмешливый, уста,
Когда готов ты заключить в оковы,
Коль для тебя любовь одна мечта!

Нет, не мечта любовь, как не мечтанье
Пустое, праздное, весь этот свет...
Он, сам Господь, вложил в мирозданье
Свою любовь, без коей света нет...

Сын Господа нам подтвердил скрижали:
«Чужого не бери и не обидь!»
Страдал, любил, чтоб мы узнали,
Зачем нам жить и для чего любить.

Любите же, друзья, живите для других,
Несите света луч в дремучий лес.
Где было зло, любовь смягчит всех злых.
Пусть будут не слова: «Христос Воскрес!»

Аня-ханша

Из туркестанской жизни

Это было давно, но время летит так быстро, что его не замечаешь... Аня была маленькой, золотисто-белокудрой девочкой, с умными серо-голубыми глазами, с прозрачно-белым цветом лица, — стройненькая, шаловливая. Никто бы не подумал, что она дочь обыкновенного мастера, благодаря счастливым случайностям и переезду из захолустных мест России на окраину разбогатевшего сравнительно с прежним. Взглянув на её мать и на запивавшего по временам отца, нельзя было понять, каким образом у них могло быть такое стройное, гибкое, породистое во всех отношениях дитя. Игра природы, не больше, но как красиво иногда играет эта природа!

Несмотря на общественное положение её родителей, Аня была любимицей всего города, а когда в четырнадцать лет её черты и будущее сложение обрисовались ещё более, на неё обратил внимание и хозяин губернии... Хорошенькая Аня стала и его любимицей. Стареющим приятно заботиться о подрастающих.

В это время в городе гостил принятый русскими, видевшими в нём будущего дружественного властелина соседнего пограничного ханства, один довольно красивый, сравнительно освоившийся с европейской цивилизацией хан. Вежливый, полный восточного достоинства, с гордым взглядом, хан этот, окружённый своей свитой, во всеоружии, на прекрасном коне часто запросто заезжал в мастерские делать необходимые для него заказы.

Однажды заехал он в мастерскую отца Ани. Сделал заказ, пошутил с детьми, таращившими на него свои глазёнки, и остановил свой любопытный взор на раскрасневшейся златокудрой красавице Ане. Понравилась она хану. Заметили это и подчинённые его и также засмотрелись на неё. Но Аня, окинув их насмешливым взором, улыбнулась и убежала. Вдохнул хан, улыбнулся также и уехал.

Но зато после, даже за малейшей безделицей, всегда лично являлся в мастерскую и ласково и грустно смотрел на Аню.

Раз как-то приехал хан в то время, когда отец Ани сильно подкутил. Старик, под влиянием вина, бывал, против обыкновенного, болтлив и весел. Он шутил со своим заказчиком, смешил хана и свиту, ласкал свою Аню при них, и серьёзный будущий властелин полшутя-полустрасно приблизился к Ане и спросил:

— Хочешь быть моей женой?

— Ишь чего захотел, чтоб я Аньку отдал, мою красавицу! Закон такой урус йок.

— А если я крещусь? — спросил страстный хан решительно и серьёзно.

— Да она и по-вашему-то говорить не умеет...

— Когда любишь, всё выучишь, — сказал хан мечтательно. — Любовь говорит и без языка.

И прозвали с тех пор хорошенькую Аню — ханшей.

Прошло несколько лет. Гостивший в России хан действительно сделался законным властителем и, несомненно, в своих гаремах забыл златокудрую Аню. А гибкая, стройная Аня, где она?

Недавно, гуляя в одном из парков, я любовался закатом солнца. Оставшиеся на деревьях осенние листья, освещённые пурпуром заходящего светила, трепетали от лёгкого ветерка, переливаясь причудливыми красками. В воздухе так славно пахло тёплой осенью... Давно уже замечено, что всем нервным и слабогрудым дышится как-то легче, как-то приятнее в тёплый осени день.

И тут-то вдруг, наслаждаясь воздухом, я увидел стройную, с величавой походкой блондинку и узнал в ней игривую Аню-ханшу. Мы разговорились. Сколько пережито было обоими с того полудетского славного времени. На шаловливую ханшу жизнь тоже наложила свой неумолимый отпечаток. Только губы, особенно верхняя губка, ещё, казалось, так и застыла в последней счастливой, детской улыбке, чтобы сохранить воспоминания о бывших радостях навеки.

— Ну-сь, дорогая ханша, позвольте вас так называть, у ваших ли ножек настоящий ваш властелин — муж? Несомненно, что да!..

Ханша немножко помолчала, взглянув на меня своими добрыми, умными глазами, и вздохнула. Я поймал этот вздох.

— Значит, нет! Не покорила его под ножи! Что-то не верится! Говорят, вы счастливы...

— Кто же вам сказал такую милую истину? — спросила она саркастически, причем её серо-голубые глаза приняли стальной цвет (признак твёрдости характера и страстности), а белые зубки сжались, характерно приподняв верхнюю, вечно улыбающуюся губку.

«Occhi notte, capo biondo, più vaga del tutto mondo», — припоминалась слышанная в Италии поговорка.

— Слухами земля полна, — ответил я. — Нелепыми слухами в большинстве случаев.

— Вы хотите сказать, что я более поглупела с тех пор, как узнала жизнь, встретилась с действительностью! Если я поглупела и озлобилась, то этим обязана я безвыходности положения замужней женщины — поло-



Офицеры Самаркандского гарнизона у входа в мечеть

жим, не всякой, но такой, как я. Вспомните, чему нас учили... Читать, писать. Вспомните, в каком возрасте выдавали нас замуж. Мне еле минуло шестнадцать... Узнайте, в каком возрасте были наши мужья... Моему мужу тогда было за сорок.

Если вы к этому прибавите десять лет замужества, четверо детей на собственном попечении при ревнивом, болезненном муже, заставляющем, из ревности, шпионить за мною детей, отрывающем у них уважение ко мне как к матери, на каждом шагу чернящем меня, чтобы отбить у меня возможность лично зарабатывать деньги, а в то же время с вечным ропотом его на безденежье, на маленькую офицерскую пенсию, то вы вообразите себе легко картину счастливой семейной жизни.

Он временно уезжал, мне дали место, благодаря хорошему почерку: я могла жить и содержать детей, но он возвратился ещё более болезненным и более ревнивым и заставил меня отказаться от работы. Он довёл меня до того, что я принуждена была требовать, чтобы разъехаться, взяла ребёнка, и вот теперь я, слава Богу, свободна и надеюсь работать... Не правда ли, насколько счастливо разнoletнее супружество!..

Она остановилась, переводя дыхание... Солнце почти уже зашло... Вечерело и становилось холодно.

— Пойдёмте пить чай ко мне и поболтаем поболее, — предложила она.

Мы отправились.

— Я занимаю только две комнатки, — говорила, отпирая дверь, ханша. — Но сухо, тепло, а это главное... Не так для меня, как для Володи... Вы его увидите сейчас...

Действительно, навстречу нам выбежал белокурый мальчуган, не богато, но прилично одетый, и, не замечая меня, бросился радостно к матери. Она подняла на руки своего пятилетка, и тотчас было заметно, насколько они любят друг друга. С сияющим лицом и целуя, она показала его мне. Ребёнок немножко сконфузился, но затем оправился... Уменьские глазки матери достались ему в наследство.

Ханша, попросив меня сесть, отправилась снять свою шляпу, а я между тем осматривал небогатую, но чистенькую обстановку комнаты. Можно было сейчас же угадать, что в ней не жил мужчина. Всякая вещь напоминала женщину. Ото всего веяло той уютностью, тем вкусом, которыми обладают лишь женщины. Дайте эту же обстановку мужчине — и через день вы не узнаете комнаты. Во всём будет сумбур, бесконечно злящий, но с которым



Штаб войск Самаркандского гарнизона

справиться мужчина не сумеет, пока женская рука не приведёт всего в порядок.

Я видел аккуратных мужчин, но их шаблонная, строгая, чисто немецкая аккуратность не давала уютности, а, напротив, отталкивала своей прилизанной холодностью.

Ханша вошла... Под пальто, в парке, я видел только край её серосиреневого платья. Сделанное из дешёвой фланели, напоминающее скорее капот, перетянутый в талии, без всяких отделок, лишь с слегка приподнятыми плечиками, оно было и просто и эффектно на стройной, в меру полной, высокой фигуре ханши, и цвет его чрезвычайно шёл к распущенным златокудрым волосам, связанным лентою, к белой коже лица с розовыми от прогулки щеками. Я невольно залюбовался и подумал: чего хотел брюзгливый старик-муж от этого мило-аккуратного, изящного существа? Возвращения своих прежних, молодых сил или, может быть, что жена быстрыми шагами догонит его старость и сделается одинаковой с ним брюзгою...

— Ну вот я и в своей маленькой клетке... Вот вам карты, раскладывайте пасьянс, если умеете, или помечтайте о превратностях жизни, а я вас ненадолго оставлю и распорядюсь самоварчиком.

Мне неловко было отказаться от чаю, так как я знал, что и она желает его, неловко было предложить и свои услуги, ибо тотчас же догадался, что хозяйничает она без прислуги. Ханша как будто прочла мои мысли...

— Или вот что, намечтаться вы всегда сумеете, а, как старый знакомый, лучше помогите мне с самоваром, — сказала она так мило и просто, что я тотчас же с радостью согласился и, признаюсь, никогда не пивал такого вкусного чаю и так уютно.

Она рассказала мне не всё из своей жизни, но часто по недомолвкам легко узнаётся нежеланное и полная картина этой семейной жизни, — тишина которой ежеминутно нарушалась грубостью и истязаниями мужа, завистливо глядящего на её молодость и красоту при своей хилости, на оказываемое ей, а не ему, благодаря неуживчивому характеру его, даже по службе, обществом уважение, — представилось мне.

Наконец, когда этот муж чувствовал, что средства его недостаточны, он не требовал от жены честной работы, он мешал всячески найти её, а всё-таки не переставал жаловаться на безденежье, как бы намекая на другие, более лёгкие заработки с её красотой, более прибыльные, нежели переписка или конторская служба...

— Раз после сильного оскорбления, нанесённого мне, — говорила ханша, — я в истерзанном виде, забывая срам, бежала ночью к своей подруге. И что же, на другой день он явился с полицией, называя меня развратницей и требуя возвращения в дом. На моей стороне было право доказывать его виновность и я... я наглядно могла доказать о нанесённом мне оскорблении, но, вы поймёте, стыд общественно доказывать поругание надо мною остановил меня...

Я несколько месяцев взаперти работала как вол, ничего не видя, кроме нашего садика. Я работала и раньше целыми днями, слава Богу, у меня здоровье, но каково работать в присутствии подшучивающего мужа, говорящего: «Вот так, хорошо, госпожа капитанша, так, так... Лучше

будете спать и забудете холить свои ручки, моя почаще бельё, узнаете, что не даром хлеб кушают». О, это была каторга! Нет, хуже во сто крат! Там люди терпят за преступление, а не за то, что они молоды, а другие стары!..

Я ушёл от ханши и долго ещё бродил по пустынным улицам города. Под влиянием рассказа мне не хотелось спать. Мне всё время вспоминалось детство, игривая беззаботная Аня и страстное нешуточное предложение хана...

Вернувшись домой, я машинально развернул газету и напал на корреспонденцию из того места, где властвовал Анин хан. Его зверства смущали меня... И подумалось мне: что, если бы в самом деле Аня была ханшей. Сколько добрых советов дала бы она этому хану, и под влиянием умной красавицы Ани, её просьбами, её слезами умалялись бы зверства. Я убеждён, что любовь, закравшись даже в сердце злодея, под обаянием любимого предмета, может заставить и закоснелого и веровать в добро, и следовать ему...

В среде мусульманской, несмотря на затворническую жизнь женщины, напрасно думают, что она не оказывает громадного влияния на мужа и не играет важнейшей роли в семье. Недаром мусульмане так любят детей!..

Что-то будет с Аней-ханшей? Выберется ли она на самостоятельную трудовую дорогу и окрепнет в ней?..

Да, горькая вещь разнолетнее супружество!..

4 января 1893 года

223

Последнее «Христос Воскресе!»

Пасхальный рассказ

В одном из небольших, захолустных городков, в приезде цирке шли спешные приготовления к пасхальному «грандиозному, небывалому экстра-представлению». Выбившийся из сил директор оканчивал дрессировку новых «чистокровных» жеребцов, а по вечерам репетировал всей труппой, при участии нанятых статистов, нелепую пантомиму, которой хотел поразить публику. Толстый, с комичным лицом, клоун, флегматичный в жизни, но бесконечно весёлый на арене, мистер Бим-Бом, по просту Прокофьев, репетировал один из труднейших своих номеров: *saltemortale* через двенадцать стульев. Маленький сынишка его, толстенький карапуз, любимец всей труппы, Афоня, важно заложив назад ручки, шагал по арене и, после каждого прыжка своего отца, подставлял ему новый стул.

Мистер Бим-Бом на целом свете имел только одну привязанность — своего сынишку. Ради него он сносил все интриги, все недоразумения, которых так много среди завистливых... ко всем удачам товарища артистов. После смерти матери Афони, «Женщины-Змеи», как она именована



Самарканд. Покровская церковь

лась на афишах, расшибшейся при падении с трапеции, мистер Бим-Бом перестал пить, что он делал раньше нередко, и всей душой пристрастился к сыну.

Умей он делать что-нибудь другое, кроме своих saltemortale да комических выходов, он бы с удовольствием променял своё ремесло, где каждую секунду рисковал сломать

себе шею. Но что делать! Сын клоуна, он ни к чему другому не был приготовлен отцом, находившим это традиционное ремесло самым достойным и умершим от белой горячки, успев насладиться первыми дебютами сына, горячо уверенный, что дал сыну, мистеру Бим-Бому, вечный, верный и лучший кусок хлеба...

Афоня только что успел поставить восьмой стул, и мистер Бим-Бом, желая скорей покончить с репетицией, разбежался, прыгнул, перевернулся в воздухе, но от поспешности, не рассчитав пространство, всей своей тяжестью рухнул спиной о высокую спинку стула. Раздался страшный звук, как будто что-то хрустнуло, и мистер Бим-Бом упал на арену без чувств.

С плачем кинулся Афоня к отцу, кинулись другие, но Бим-Бом лежал без сознания, с искажённым от боли лицом... Бросились за доктором, раненого бережно перенесли в уборную. Приехавший доктор констатировал перелом рёбер и спинного хребта...

В уборной, освещённой стеклянным фонарём с сальной свечою, метался на тюфяке в бреду безнадежно раненный. В его ногах сидели плачущий сын и сострадательный конюх. С улицы доносился весёлый звон колоколов отошедшей пасхальной заутрени. Рассветало. Сквозь ворота конюшни проникал в цирк свет наступающего утра. Колокола звучали всё громче, всё радостнее. Под эти звуки умирал мистер Бим-Бом...

Вот сознание немножко возвратилось к нему, он раскрыл глаза, хотел приподняться, но невыносимая боль заставила его застонать. Ребёнок кинулся к нему, рыдая. Бим-Бом ласково взглянул на своего Афоню, и слёзы покатались по его щекам. А колокола всё звенели и звенели...

— Христос Воскресе, Афоня! Там, в сундучке, в углу, тебе на яичко. Живи, не будь отцом...

К утру Бим-Бома не стало.

А день был радостный, птички пели весело. Улицы кишели народом. Перед трупом отца сидел сирота Афоня и горько-горько плакал. Подгулявшая труппа утешала его...

Голгофа

Посвящается Н.Ф. Врублевскому

«Варавву! Не его... Его распни!» — Пилат,
Душой скорбя, боясь всеобщего восстанья,
При кликах радости, при громе ликованья,
Народу дал Его... «Да будет он распят!»

Путь пылен, каменист. Над жаркою землёй
Распластан неба свод безоблачно-свинцовый.
Толпой зевак, рабов и книжников толпой
Преследуем Он шёл, за истину готовый
Терзаться на кресте, и крест тяжёлый нёс...

Казался путь далёк под ношею суровой,
Но с каждым шагом, с каждой бранью дух в нём рос!
Он шёл на казнь, и грань тяжёлого креста
Впивалась, жала плечи, но Его уста
Укора не несли. Святое состраданье
Светилося в очах; не личное страданье,
Скорбь за людей покрыла дивный лик.
Он тяжело дышал под ношей, но велик
Казался и врагам, и, завистью горя,
Они ругались, притворно насмехаясь
Над участью Его, над прозвищем Царя,
И бодрили рабов, к Голгофе приближаясь.

Ещё один подъём, но Богочеловек,
Едва дыша, споткнулся. Дерзкими пинками
Был поднят вновь, но вопля не изрек,
На казнь Он шёл с любви словами.
Вот, наконец, Голгофа — место дикой казни!
Крест Божий снят с Него. Любовными обвёл
Очами Он народ, наполненный боязни,
И в руки палачей безропотно пошёл...

Свершилось искупленье! Добрые друзья!
О люди, все, кто правдою живёт и дышит:
Враги ничтожество! Ничтожна злоба вся,
Когда душой мы с Ним и Он нас, дивный, слышит!
О, верьте, милые, придёт, идёт пора,
В лучах сияющих несёт нам воскресенье;
Идея правды, света и добра
Над миром шатр раскинет для спасенья!

Март 1893 г.

Из песен детства

* * *

Где года моих утех,
Где ты, где ты, детство,
Где весёлый детский смех —
Чистоты наследство?

И теперь смеюсь нередко,
Но смеюсь подчас
Над собой, над жизнью едко,
Со слезой у глаз.

Где дракон мой пятиглавый,
Где ты, где ты, бука?
Сказки с виду для забавы,
Жизни в вас наука.

И теперь я слышу сказки,
Мало ль говорят!
Но в них нет ни прежней ласки,
Ни любви, а яд.

* * *

Ты хочешь знать кой-что о бое,
Шалун, курчавый мальчуган.
Ну хорошо! Представь: нас двое,
Вот это твой, а то мой стан.

Засели мы, редут построя,
Осады измышляя план.
Мы два врага. Хотим друг другу
Как можно больше досадить,
Таковую выкинуть услугу,
Чтоб иль разбить, иль полонить!

И только солнце под горою
Румяной зорькой занялось,
Ударил барабан наш к бою,
Все всполошилось, понеслось!

Ура! Ура. В одно мгновенье
Врагами ты уж окружён.
Глядишь назад, но нет спасенья!
Что ж скажешь ты, Наполеон?!

«Скажу я, дедушка, в ответ:
Грешно вредить исподтишка.
К чему нам драться? Вот рука!»
Ну, брат, победа из побед,
Ты победил ведь старика.

9 сентября 1893 г. Самарканд

Борис ПИЛЬНЯК

НА РОДИНЕ ЛАЖЕЧНИКОВА

I

Я в Коломне, на родине Ивана Ивановича Лажечникова.

Здесь прошли его милые детство и отрочество, о которых с такою любовью и нежностью он говорит в своих воспоминаниях «Беленькие, чёрненькие и серенькие» и в романе «Немного лет назад», здесь впервые увидел он старинные башни, говорившие об ушедших веках, отсюда послал печатать первую вещь, — здесь, под сенью исторических башен, складывался характер писателя, автора исторических романов.

Я иду по улочкам городка. В небе точно расколосось солнце и брызжет раскалёнными лучами. Заполдни — тот час, когда бывают миражи, когда видишь сны наяву.

И не мираж ли передо мною?! «Сон давних дней»...

Я в восемнадцатом веке, — так должно было быть тогда! Улицы мощёны огромными булыжинами, стоят дома архитектурных стилей позапрошлого века, — барокко и классицизм. Вот тянется каменный забор с урнами на пилястрах и стоит навеселе «Эрмитаж»... А вот и дом. Я стою очарованный. На стенах лепка, виньетки, завитушки, крыльцо в парк, пилястры — барокко!.. Иду дальше. Ещё дом, ещё красивее, ещё интимнее. На нём вывеска — Коломенская женская «Пушкинская» гимназия, на подъезде барельефы — головы Диониса, и маленькие колон-



Борис Пильняк (Борис Андреевич Вогау) родился 12 октября 1894 года. У Пильняка была бурная, богатая впечатлениями и недолгая жизнь. Столь же бурным, богатым успехами и поражениями, читательским ажиотажем и критическими разносами и тоже недолгим было его литературное творчество.

28 октября 1937 года, в день рождения младшего сына, Борис Пильняк был арестован. 21 апреля 1938 года осуждён по ложному обвинению и приговорён к расстрелу. По уточнённым данным, приговор приведён в исполнение 21 апреля 1938 года.

Но обречён на заклятие он был куда раньше — ещё с 1926 года, когда опубликовал «Повесть непогашенной луны», где недвусмысленно обвинил Сталина в ликвидации командарма Фрунзе.

6 декабря 1956 года Борис Пильняк был реабилитирован, однако его имя и наследие ещё долгие годы оставались под запретом.

ки — это уже примешался к барокко классицизм... На окраине города стоят заставы — по два маленьких белых домика с колоннами, полосатая будка иobelisks с гербами города на своих шпицах...

Но вот — я уже не в восемнадцатом, — я в шестнадцатом веке. Я в кремле. Стоят башни, высятся стены, поднимается собор, оставшийся от четырнадцатого века, вот церковь, где по преданию венчался с женою своею Дмитрий Донской, вот ворота, через которые он уходил воевать с Мамаем, — Пятницкие ворота, на них написано, когда и как это было, и стенопись воспроизводит прежнее — Дмитрия с воинством на конях, воеводу и горожан с хлебом-солью, духовенство, народ...

«Мир городу сему и всем, кто пройдёт ворота сия» — написано на них. Я прохожу их. Направо под холмом Москва-река, в которую впадает Коломенка. На Коломенке шумит мельница (в «Беленьких, чёрненьких и сереньких» она описана). За Москвою-рекою луга и среди них — Бобринев монастырь (предание говорит, разбойник Бобренья его основал). За Коломенкою — *Запрудье*. В Запрудье родился Ив. Ив. Лажечников... Слева за кремлём — базар, полукругом идут каменные ряды. Впереди — Брусенский женский монастырь, а за ним видна Маринкина башня, — по преданию в ней схоронена Марина Мнишек...

Тихо, безлюдно, палит раскалённое солнце. Не мираж ли это?

Нет, не мираж. Так же описывал Коломну и Ив. Ив. Лажечников. Только с тех пор она не изменилась ничуть.

Есть на Руси города, которым давала история многое, но потом отнимала всё. Так было с Коломною. Коломна в древних летописях упоминается почти на сто лет раньше Москвы, и долго эти два города конкурировали между собою. Тогда история первый раз отняла у Коломны всё, сделав её форпостом Москвы против рязанского княжества. Потом она опять получила многое.

Коломна лежит на слиянии Москвы-реки с Окою, на Великом водном пути, и она стала торговым посредником между Поволжьем, Каспием, Персией и Москвою, — недаром в Коломне все купцы (Ив. Ив. Лажечников тоже происходил из купеческого рода). Коломна процветала, богатела, про неё говорили: «Коломна-городок — Москвы уголок». Но тут, на рубеже позапрошлого и прошлого веков, в дни детства Лажечникова, история ещё раз обделила Коломну — отняла у неё Москву-реку и Оку: реки обмелели (от этого разорился, между прочим, отец Лажечникова, взявший постав соли для всей Московской губернии и не выполнивший его благодаря невозможности доставить его водным путём). И от дней детства Ив. Ив. Лажечникова до теперешних дней — Коломна осталась такою же, замерла, разве чуть подрыхлела...

Такою, как сейчас она, видел её и Ив. Ив. Лажечников.

II

Но где он родился, где тот дом, в котором он играл и по-детски озорничал? Я знал из автобиографии, что родился он в Запрудье и что вскорости после рождения переехал в новый дом в центре, на Астраханскую улицу.

Старая история! Я ходил, спрашивал — сначала у общественных деятелей, потом у старожилов, — никто не знает. Лишь случайно, у старичка на улице, я узнал о «новом доме». Старичок, согбенный и белый, сидел у калитки, греясь на солнце.

— Не знаете ли, дедушка, где тут дом, в котором раньше жили купцы Лажечниковы? — спросил я.

— Что, батюшка? Слышу плохо, — ответил он тихо, по-старчески бессильно.

Я повторил вопрос.

— Про сочинителя Ивана Ивановича хочешь знать? — ответил он. — Как же, знаю, знаю... Самого видали, самого его, батюшку Ивана Ивановича...

«Сон давних дней!..»

— Самого? Когда? Где?!

— Спервоначалу жили они на Запрудье. Это, конечно, не при мне было, я ещё не родился, и про то, где старый дом, я спросал, никто не знает: не то цел он, не то разобрали его, не знаю, думаю только, что его и нет больше совсем. А новый дом — вон он, против Иоанна Богослова, теперь в нём купец Нестеров живёт... Конечно, когда здесь Иван Иванович мальчиком жил, я тоже не помню, потому ещё не родился. А я из крепостных господина Сазонова, в оркестре у него на пиколе играл. Иван Иванович тогда приезжали сюда уже офицером, а потом чиновником, приходили к нашему барину в гости уж в зрелом возрасте. Обходительный барин были, дали раз мне на чай рубль ассигнациями. Я на пиколе играл...

Больше он ничего не рассказал, забыл всё уже... «Сон давних дней»!

229

Ш

Я иду к купцу Нестерову.

Дом стоит на главной улице, против него Иоанн Богослов, левее Брусенский монастырь, совсем налево — видна Маринкина башня, справа базар, торговые ряды, вдалеке видна Спаская церковь, сохранившаяся от тринадцатого века.

Дом отодвинулся от уличного ряда в глубь двора. Ворота на улице — две колонны — уже развалились. Нале-



Дом Лажечниковых в Коломне

во во дворе белые каменные службы, направо белый флигель. Дом большой, белый, двухэтажный, каменный, без всяких украшений снаружи, с широкой лестницей парадного, с двустворчатым парадным входом. За домом парк, от прежнего осталось несколько лип. Над парком висит терраса.

Я звоню, говорю, зачем пришёл. Меня любезно выпускают.

И опять — «сон давних дней»!

Дом, как все старинные дома, имеет внизу кладовые за решётчатыми окнами и людские комнаты — кухня, лакейская, девичья. Наверх ведёт широкая, темноватая лестница, но наверху широкая передняя, с двумя большими окнами. Из передней направо и налево амфилада комнат, паркетные полы, лепные потолки, камины. Здесь жил Лажечников... Комнаты, — как во всех старых домах, — проходные. Вот, верно, была гостиная, вот кабинет, вот зал, откуда дверь на террасу, вот, верно, была столовая — сюда ведёт узкая лесенка снизу, а вот, верно, детская... Большая комната с большими окнами, здесь уже простые потолки и крашенный пол... Здесь слушал Ив. Ив. нянины сказки, отсюда любовался на кремль...

Неудобно долго быть в чужом доме, особенно когда около стоит ждущий человек. Я быстро прохожу по комнатам и спускаюсь вниз... Здесь ходил, здесь был грустен и радостен Ив. Ив., здесь он написал первую свою вещь... здесь он любил первый раз... здесь первый раз омрачились его глаза грустью об уходящем, — когда он смотрит на кремль. Сейчас здесь живёт купец Нестеров, — но он ничем не виноват.

«Сон давних дней»...

Я иду в кремль. Солнце ушло к западу. В церквах звонят к вечерне. Древний старик всё ещё сидит у калитки.

— Ну что, видал? — спрашивает он и улыбается.

— Видал.

— Вот здесь и жили. Богато жили. Потом, конечно, обеднели и продали всё. Теперь купцы там живут... Я на пиколе играл у господина Сазонова...

— Давно это было?..

— Да вот, посчитай... Мне теперь сто три года...

Сон давний!.. В Брусенском монастыре, рядом над нами, ударил колокол. Старик перекрестился, посмотрел в небо и заснул на солнце — прикрыл глаза.

Я тихо побрёл по улочкам.

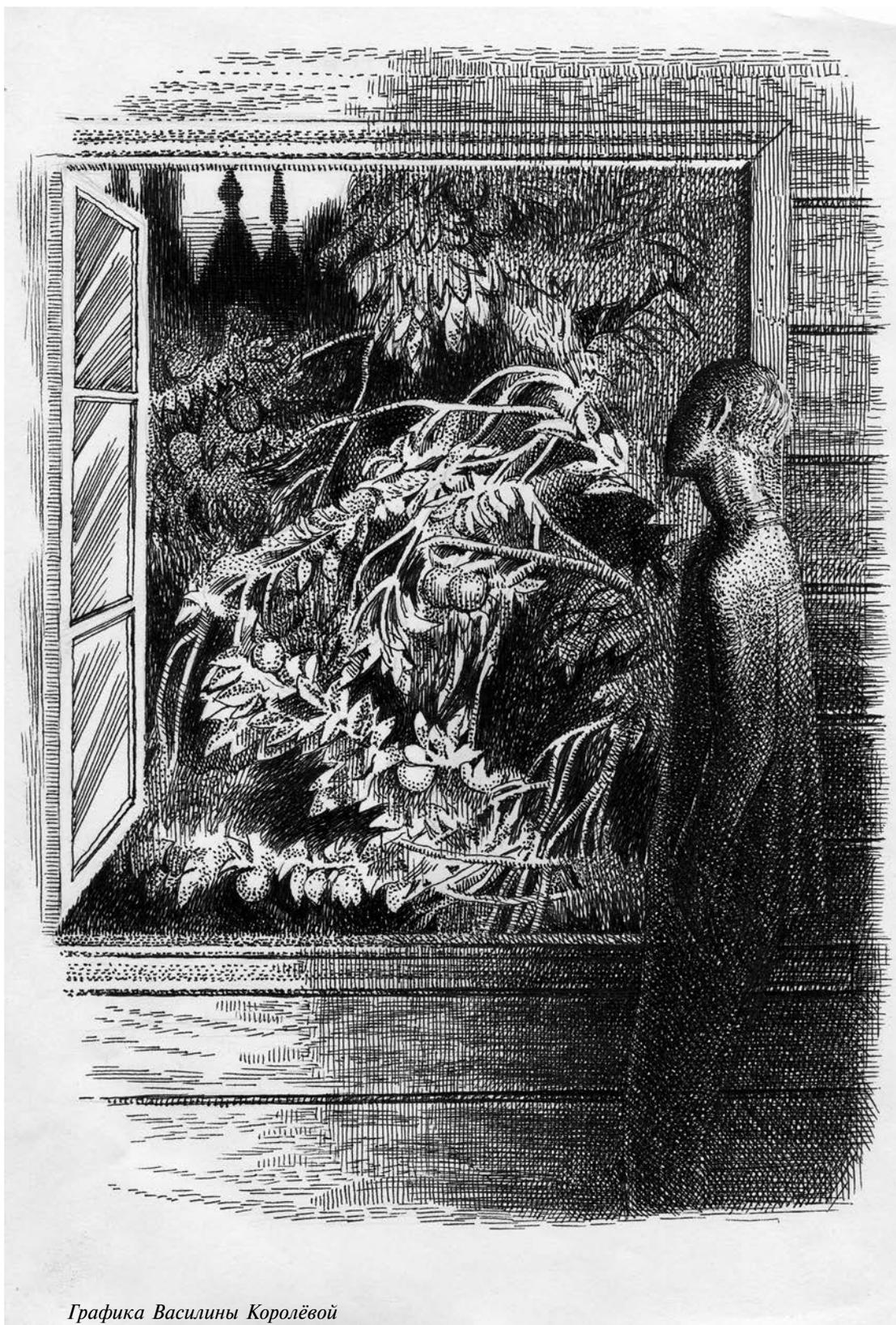


Церковь Бориса и Глеба. Фото 1920 года



НАШЕ
НАСЛЕДИЕ





Графика Василины Королёвой

Иван ЛАЖЕЧНИКОВ

НОВОБРАНЕЦ 1812 ГОДА

ИЗ МОИХ ПАМЯТНЫХ ЗАПИСОК



Иван Иванович Лажечников родился в Коломне в 1790 году.

Во многих произведениях он обращается к Коломне. Здесь воспитывался главный герой «Последнего Новика». Упоминается Коломна и в «Ледяном доме», и в «Басурманах». Живой образ города возникает и в других его (особенно автобиографических) произведениях.

Скончался И.И. Лажечников в 1869 году, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Коломенцы хранят память о земляке: его именем названа первая общественная библиотека, основанная в 1899 году, и одна из улиц Коломенского кремля; реставрируется дом, где жил писатель.

В роковые двадцатые числа рокового 12-го года находился я в Москве. Выйдя только что из-под опеки гувернёров, messieurs Beaulieu и маркизов Жюльекуров, ещё недавно архивный юноша, проглотивший с двенадцатилетнего возраста немало пыли при разборе полусгнивших столбцов, перешедши потом в канцелярию московского гражданского губернатора Обр., по приглашению его для узнания службы, я, однако ж, оставался в Москве не по служебным обязанностям. В то время дана была каждому воля идти на все четыре стороны. Паспортов не выдавалось, потому что все дела канцелярии были выпровожены на Владимирскую дорогу. В Москве же задерживало меня ожидание письма от моего отца, который жил в деревне, за восемьдесят вёрст от Москвы, в стороне Коломны. Я рвался в ряды военные и ждал на это разрешения. Сердце моё радостно билось при одной мысли, что я скоро опояшусь мечом и крупно поговорю с неприятелем за обиды моему отечеству. В войну 12-го года, истинно народную, патриотизм воспламенял и старцев, и юношей. Порой рисовалось моему юношескому воображению зарево биваков, опасное участие в ночном пикете, к которому ветерок доносит жуткий говор неприятеля, жаркая схватка, отважная выручка. Не скрою, что порой прельщали меня и красный мен-

тик с золотым украшением, и лихой конь, на котором буду гарцевать перед окнами девушки, любимой мною страстно... до первой новой любви. Но увы! Мои надежды недолго тешили меня. Вместо ожидаемого разрешения получаю от отца приказ немедленно к нему явиться. Я плакал как ребёнок, но скоро одумался. «Чего б ни стоило, — сказал я сам себе, — я буду военным, хоть бы солдатом». Мыслью уже ослушник родительской воли, я тотчас сделался ослушником и на деле и не очень спешил выехать из Москвы.

Уже дошла до нас весть о бородинской битве: всё, что делалось в армии, было через несколько часов известно в Москве; каждое биение пульса в русском войске отзывалось в сердце её. Многие купцы содержали по пути к месту военных действий конных гонцов, которые беспрестанно сновали взад и вперёд. Два исполина дрались с ожесточением: француз шёл, очертя голову, в Белокаменную и хвалился перед миром победой; русский, истекая кровью, но готовый лучше умереть, чем покориться, сильный ещё силой крестного знамения, любви и преданности к государю и отечеству, шёл отстаивать святые сорок сороков матушки Белокаменной, пока не положил ввиду её костей своих: *мёртвые бо срама не имут*.

Но — в военном совете Кутузова решено было сдать Москву без боя. Настали дни скорбные и вместе с тем великие. Москвичи, не помышляя более о спасении своих домов, думали только честно покинуть их. Кажется, в одно время в сердце народа и в голову великого полководца пала мысль, для блага России, принести на алтарь её в жертву первопрестольный город. Один, для исполнения своих высших планов, замышлял отдать Москву; другой замышлял сжечь её, в случае сдачи неприятелю и тем очистить её от поругания нашествия. Так в дни Божии избранники Его и народ понимают друг друга и действуют согласно, не поверяя друг другу своих намерений. В эти дни я слышал нередко от купцов, извозчиков и моего дядьки, что, в случае сдачи Москвы, наши готовятся спалить её дотла. «Не доставайся ж, матушка, неприятелям». И потому, если моё свидетельство может что-нибудь прибавить к показаниям историков 12-го года, считаю долгом засвидетельствовать, что пожар московский был просто следствием народного побуждения. Тогдашний градоначальник Растопчин, отгадав это побуждение, не только не мешал, но даже

содействовал ему, — вот что надо ещё прибавить. Кому принадлежит честь этого подвига — судите сами.

Высокое и трудное бремя нёс тогда Растопчин. Надо было в одно время поддерживать пламенное усердие к делу общему, ослаблять уныние, возбуждаемое вестями о скором нашествии не-



Перед уходом

приятеля, и умирять народные порывы. Редки, однако ж, были случаи вмешательства черни. Видны были кое-где грязные лица, которые заглядывали в повозки, отъезжавшие из Москвы, и провожали удалявшихся именем *изменников*... В то же время остававшиеся в столице, большей частью отцы семейств, старики, женщины и дети и торгующий класс, покидали стены её, хотя не без тревоги, однако ж безопасно.

Для исполнения своих благоразумных видов градоначальник бросал каждый день в пищу народу свои животрепещущие послания, и народ, с жадностью хватая их, не только успокаивался, но и обращал свои помыслы к благому — защите города. Вскоре, однако ж, представилась жертва сама собой. Безрассудный В*, сын купца, отмеченный молвой как изменник, был обхвачен буйством толпы и заплатил жизнью за свой поступок. Накануне видел я В* в кофейной на Никольской, тогдашнем фойе всех политических и не политических новостей. Можно вообразить, что я чувствовал, узнав на другой день об его участи.

Между тем как дядька мой устраивал дорожные сборы, поехал я за город, к Филям и на Поклонную гору, куда народ стекался смотреть на пленных французов, взятых в деле бородинском. Солнце уж западало, но, далеко не доходя до земной черты, скрывалось в туманном горизонте, который образовали жар и пыль, поднятые тревожной жизнью города и ещё более тревожной жизнью между городом и отступающим войском. В Филях нашёл я действительно много пленных разнородных наций. В речах и поступках своих французы казались в это время не пленниками нашими, а передовыми *великой армии*, посланными занять для неё кварталы в Москве. На Поклонной горе особенное моё внимание привлёк к себе многочисленный кружок, составленный большей частью из купцов, мещан и крестьян. В середине толпы стоял мужчина, довольно высокий, плечистый; лицо его казалось вдохновенным, голос звучал звонко, энергично. За толпой, тесно окружившей его, я не мог слышать его речи, обращённой к народу, но до меня по временам долетали слова его, глубоко западавшие в грудь. Толпа, творя крестное знамение, повторяла с жаром его последние слова: «За батюшку царя и Русь православную, под покровом Царицы Небесной!» Я узнал, что это был Сергей Николаевич Глинка, ревностный сподружник московского градоначальника в тогдашних его подвигах на служении отечеству. С каким благоговением смотрел я на него! Он известен мне был заочно как издатель «Русского вестника», поощривший мой первый литературный лепет, поместив в своём журнале мою *военную песнь* и напечатав под ней моё имя, он сделал меня на несколько дней счастливым. Моё восторженное сердце поклонялось тогда всем современным знаменитостям. Увидеть Карамзина было одним из самых пламенных желаний: сколько раз собирался я идти к нему, чтобы положить перед ним мой сердечный поклон! Раз в театре мне указали его; он был с женой в креслах. Во всё представление я не видал ничего, кроме Карамзина; когда, во время антракта, он вставал, я устремлял на него так пристально глаза, что он раз улыбнулся и, перешёптываясь с женой, указал ей осторожно на меня. В последовавшую затем ночь я не спал от блаженства, что видел великого человека и был им замечен. С Сергеем Николаевичем Глинкой знаком я был впоследствии. Дивная

была эта личность! Он содержал пансион, в котором воспитывались дети богатых донцов, в том числе и сын Платона. Золото обильно лилось в его карманы, между тем не было у него часто копейки за душой. Выходя из дому с деньгами или из книжной лавки, куда являлся для получения денег на крайние домашние нужды, он возвращался бедный, как Ир, и всегда довольный. Часто, когда нечего ему было дать просящему у него бедняку, он отдавал ему что попадалось под руки — носовой платок, шейный, жилет, пустой кошелёк, книжку... Он почти всегда ходил пешком, если же брал извозчика, то самого худого, которого, вероятно, нанимал для того, чтобы ему помочь. Заметен он очень был тем, что ходил в самые жестокие морозы в сюртуке на вате. Весь московский люд знал его; я часто видел, как извозчики на биржах кланялись ему в пояс, а многие проезжавшие мимо снимали перед ним шапки.

Когда я выехал из Филей, по смоленской дороге показался в клубах пыли обоз, которому не видно было конца. Везли раненых. Поезд тянулся в несколько рядов и затруднился у Драгомиловского моста. Сделалась остановка. Надо было видеть в это время усердие москвичей к воинам, пролившим кровь свою за отечество. Калачи летели в повозки, сыпались деньги пригоршнями, то и дело опорожнялись стаканы и кувшины с квасом и медами; продавцы распоряжались добром своих хозяев, как своей собственностью, не только не боясь взыскания, но ещё уверенные в крепком спасибо; восклицаниям сердечного участия, благословениям, предложениям услуг не было конца. Облако пыли большей частью заслоняло это зрелище, и только изредка, когда ветерок спаживал её или густой луч прорезывал, видно было то добродушное лицо бородача, который подавал свою лепту, то лицо воина, истомлённое, загорелое, покрытое пылью, то печальные черты старушки, которая, облокотясь на телегу, расспрашивала о своём сыне-служивом. В один из этих просветов пал на меня болезненно-унылый взор раненого офицера. Ему могло быть лет двадцать пять с небольшим; смертная бледность покрывала прекрасное и благородное лицо его; одна рука была у него на перевязи, другой он оперался на задок телеги, где лежало несколько солдат. Невольное чувство увлекло меня к нему. «Неужели не сыскалось для вас повозки?» — спросил я его. «Была, — отвечал он, — но случились раненые тяжелее меня... Слава богу, я могу ещё дойти». При этих словах с трудом приподнялся из

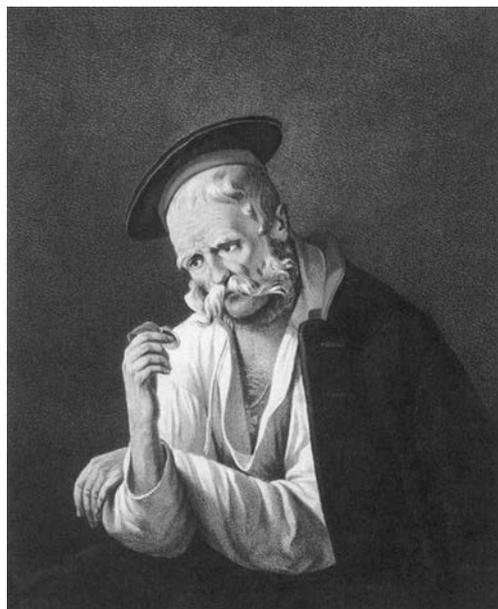
телеги один из солдат, лежавший в ней, и сказал со слезами на глазах: «Его благородие — наш ротный командир; нам четверым раненым было тесно в одной телеге... он уступил нам свою». Тут он не мог продолжать и опустился в повозку.

Возвратившись домой, я стал собираться



Вид на Кремль со стороны Москворецкого моста

в путь, к отцу в деревню. Квартира моя была на Сретенском бульваре (помнится, в доме профессора Горюшкина), подле узорочного дома с садом, где хозяин, старый инвалид, причудливо устроил гауптвахту, поставил деревянную батарею и солдат, не сменявшихся со стражи. Он и на покое, в городе, не хотел расставаться с военной жизнью. Старожилы, конечно, запомнят этот дом, которого ни один проезжий не миновал, не полюбовавшись на игрушечный лагерь. После моего отъезда из квартиры, где я жил, занял её раненый офицер Франк с рядовым Иштутиным. Выписываю страничку об этих лицах из моих походных записок: «По окончании бородинской битвы, когда смерть утомилась над бесчисленными жертвами своими, раненый рядовой 2-й роты сводного гренадерско-



Солдат-ветеран 1812 года

го батальона Никифор Иштутин, присоединяясь к роте своей, шёл отдалённо за ней с поля сражения. Вдруг слышит он за собой слабые стоны, которые, казалось ему, звали его на помощь. Пренебрегая страхом попасться в плен неприятелю, расставлявшему свои пикеты, он возвратился на то место, откуда доносились звуки замирающего голоса. Там нашёл он роты своей прапорщика Франка, плавающего в крови от полученной им тяжёлой раны пулей в ногу. «Бог принёс меня к вашему благородию, — сказал он, — дам ли я неприятелю ругаться над вами?» Несмотря на собственную боль, он стащил офицера на плечи свои и готовился один нести его из опасного места, как другой солдат той же роты, видевший издали его усилия, присоединился к нему и помог ему донести драгоценную ношу в цепь, где перевязывали раненых. С этого времени Иштутин не отходил от больного Франка; в продолжение отступления достал ему повозку с лошадью, перевязал раны и смотрел за ним, как нежный отец. При выходе русских войск из Москвы он не расстался с умирающим офицером. Всё, что они претерпели в пребывание неприятелей в древней столице нашей, не может быть описано. Довольно сказать, что дом, в котором нашли они себе спокойный уголок, предан был пламени. Верный Иштутин вынес Франка из огня на плечах своих, как новый Эней отца своего Анхиза».

Я простился с Москвой, как прощаемся с родною, которую опускаем в землю. При выезде из заставы я приобрёл себе дорожных товарищей, шесть или семь дюжих мужичков. Они не преминули упрекнуть меня за оставление первопрестольной столицы, и если б не быстрота лошадей в моей повозке, мне пришлось бы плохо. Мой геройский дух снова был

озадачен в Волчьих воротах жалобными криками умирающего... На заре, под Островцами, я сошёл с повозки и мимоходом взглянул в часовню, которая стояла у большой дороги. Вообразите мой ужас: я увидел в часовне обнажённый труп убитого человека... Ещё теперь, через сорок лет, мерещится мне белый труп, бледное молодое лицо, кровавые, широкие полосы на шее, и над трупом Распятие...

На берегу Москвы-реки, на виду сельского крова, под которым я провёл лучшие лета моего детства, встретили меня родные со слезами радости. В ожидании меня сколько страху испытали они: не попался ли я в плен французам, не убили ли меня недобрые люди!

Через несколько дней узнали мы, что Москва занята неприятелем. Ожидали этого известия, а между тем оно судорожно пронеслось по всем классам народа. Таков уж русский народ: он так уверен в своей силе и всякий неуспех приписывает или фатализму, или измене. Много нелепых слухов распускали по святой Руси несведущие люди! А говорили это именно тогда, когда знали, что к концу бородинской битвы капитаны командовали полками, когда каждый из наших генералов творил в ней чудеса храбрости и кровью платил за любовь свою к отечеству. Недаром бородинская битва названа битвой генералов.

В первый вечер, следовавший за печальной вестью, в северной стороне от нашей деревни разостлалось по небу багровое зарево: то горел, за восемьдесят вёрст от нас, первопрестольный город, и всем нам казалось, что горит наше родное пепелище. Несколько дней сряду каждый вечер Москва развёртывала для нас эту огненную хоругвь. При свете её сельские жители собирались толпой перед господским домом или перед церковью, молились и вздыхали о потерянном Сионе. Тяжким свинцом пало уныние на душу нашу; казалось, все ждали последнего часа. Поплакав несколько дней над пеплом Москвы, стали, однако ж, думать о спасении своём. Никто не помышлял о покорности неприятелю, о том, чтобы оставаться в своих домах, бить ему челом. Ожидали его только с тем, чтобы у него на виду спалить свои жилища. Имущество поценнее хоронили в по-



Пожар Москвы

гребах, под овинами и подклетьями, в лесах, но топоры и косы прибежали на случай под рукой. Стали к нам приближаться переселенцы с тех мест, которые занял уже неприятель. Толпы, большей частью дети, женщины, старики, переходили с места на место, нередко по ночам освещаемое кострами, воздвигаемыми из собственных домов. Где могло остановиться это переселение? Никто

не ведал; знали только, что к солнечному восходу, к Сибири, шёл народ. В эту тяжкую годину все делились между собой, как братья; каждый, кто бы он ни был, садился за чужой стол, как семьянин; многие богачи сравнивались с бедняками, и часто бедняк из сумы своей одолжал вчерашнего богача. Всё это казалось, в годину общего бедствия, делом очень обыкновенным.



В горящей Москве

В это время стал я проситься вновь у родителей своих вступить в ряды военные, и опять напрасно.

Казаки прискакали с вестью, что французы скоро появятся. В казённом селении Новлянском, на противоположном от нас берегу Москвы-реки, ударил роковой набат: это был народный сигнал зажигать свои дома. К счастью, тревога оказалась ложной, и селение уцелело. Но как неприятель действительно перешёл уже Бронницы (в 27-ми верстах от нас), то мы и решили подобру-поздорову выбраться из своего гнезда. Меня повезли, как пленника; по крайней мере, я считал себя таким. Я помышлял уже освободиться из этого плена, но куда не видел к тому возможности. Перед Коломной присоединился к нам огромный караван помещиков с их домочадцами. В числе последних была стая собак, с которыми владелец их, чудака и страстный охотник, не хотел расстаться.

Мы приехали в Коломну. Это моя родина. Горжусь ею, потому что в ней родился один из знаменитейших духовных сановников и проповедников нашего времени (Филарет, митрополит Московский и Коломенский). Сколько воспоминаний о моём детстве толпилось в моей голове, когда мы въехали в Запрудье! Предстали передо мной, как на чудной фантазмагорической сцене, и вечерние росистые зори, когда я загонял влюблённого перепела на обманчивый зов подруги, и лунные ночи на обломке башенного зубца, при шуме вод смиренной Коломенки, лениво движущих мельничные колёса; ночи, когда я воображал себя на месте грустного изгнанника, переселённого Грозным из Великого Новгорода в Коломну. Вспомнил я прогулку на козле и доброго француза-гувернёра с длинной косой за плечами, которую вместе с головой своей вынес он изпод гильотины. Явилась передо мной и ты, *maître corbeau*¹, и вы, пламенные страницы Руссо, — которыми душа моя жадно упивалась, как дикий конь, выпущенный из загона на широкую степь, — и вы, великие мужи Плутарха!.. Всё это, и многое, многое другое, что глубоко бросило семена в сердце моём, прошло теперь мимо меня во всех радужных цветах

¹ Господин Ворон (франц.).

очарования. «Кто идёт?» — закричал караульный громовым голосом у ворот нашего дома, и очарование, спугнутое голосом часового, исчезло. Дом этот славился некогда роскошью своего убранства: везде паркеты из красного, чёрного и пальмового дерева, мрамор, штоф... В нём отец мой угощал великолепных сынов кончавшегося XVIII века

из стаи славной
Екатериныных орлов.

Теперь в нём помещалась артиллерийская рота (впоследствии он был продан под трактир), и мы с трудом в собственном нашем доме могли найти уголок, где бы преклонить на ночь нашу голову.

С рассветом были мы уж на дороге к Рязани. Близ первой почтовой станции (не помню названия деревни) расположили мы свой табор для полдневания. Раскинутые по лугу бесчисленные палатки, табун коней, оглашающих воздух своим ржанием, зажжённые костры, многолюдство, пестрота возрастов и одежд, немолчное движение, — всё это представляло зрелище прекрасное, но могло ли это зрелище восхищать нас? Я пошёл с несколькими помещиками и купцами прогуляться по деревне. Когда мы подходили к станционному дому, возле него остановилась колясочка; она была откинута. В ней сидел Барклай де Толли. Его сопровождал только один адъютант. При этом имени почти все, кто были в деревне, составили тесный и многочисленный круг и обступили экипаж. Смутный ропот пробежал по толпе... Немудрено... Отступление к Москве расположило ещё более умы против него; кроме государя и некоторых избранных, никто не понимал тогда великого полководца, который с начала войны — до бородинской отчаянной схватки сберёг на своих плечах судьбу России, охваченную со всех сторон ещё неслыханной от века силой военного гения и столь же громадной вещественной силой. Но ропот тотчас замолк: его мигмом сдержал величавый, спокойный, холодный взор полководца. Ни малейшая тень смущения или опасения не пробежала по его лицу. В этом взоре не было ни угрозы, ни гнева, ни укоризны, но в нём было то волшебное, не разгадываемое простыми смертными могущество, которым наделяет Провидение своего избранника и которому невольно покоряются толпы, будучи сами не в состоянии дать отчёта, чему они покоряются. Мне случалось после видеть, как этот холодный, спокойный, самоуверенный взгляд водил войска к победе, как он одушевлял их при отступлении (из-под Бауцена и окрестностей Парижа, когда мы в первый раз подходили к нему). Русский солдат, всегда недовольный ретирадами, не роптал тогда, потому что, смотря на своего предводителя, уверен был, что он не побеждён, а отступает ради будущей победы.

День был ясный, коляска стояла под тенью липы, урвавшей на улице несколько густых сучьев из-за плетня деревенского сада. Барклай де Толли скинул фуражку, и засиял голый, как ладонь, череп, обессмертенный кистью Дова и пером Пушкина. При этом движении разнородная толпа обнажила свои головы. Вскоре лошади были готовы, и экипаж исчез в клубах пыли. Но долго ещё стояла толпа на прежнем месте, смущённая и огроmlённая видением великого человека.

Не знаю, куда ехал тогда Барклай де Толли, но знаю, что 25 сентября был он в Калуге. Оттуда писал он, именно этого числа, к графу Остерману-Толстому (у которого впоследствии был я адъютантом) письмо, чрезвычайно замечательное по тогдашнему положению будущего начальника армии. В нём он изъяснял свою грусть, что расстанется с русским войском, и приятную уверенность, что в нём остаются полководцы, которые поддержат честь русского имени.

Богатое село Дедново, в котором мы остановились на два дня, расположено на берегу Оки. Оно известно сколько промышленностью крестьян, столько и оригинальностью своего помещика Л.Д. Измайлова, осуществившего в себе тип феодального владельца средних веков. Такого рода дворяне ныне уже в России и не существуют. Особенно было оживлено Дедново в наш приезд, потому что в нём собиралось рязанское ополчение, начальником которого был владелец этого имения Лев Дмитриевич; угостил нас по-боярски.

В Рязани пробыли мы недолго. Здесь вскоре узнали, что французам не поздоровилось в Москве и что они, как журавли к осени, начали потягивать на тёплые места, и потому мы возвратились в Коломну.

Здесь я стал вновь проситься у родителей моих позволить мне идти на военную службу и получил опять тот же отказ. Тогда я дал себе клятву исполнить моё намерение, во что бы то ни стало бежать из дома родительского, и как я не имел служебного свидетельства, идти хоть в солдаты. Намерению моему нашёл я скоро живое поощрение. В городе оставился отставной (помнится, штабс-офицер) кавалерист Беклемишев, посевший в боях, который, записав сына в гусары, собирался отправить его в армию. С этим молодым человеком ехал туда же гусарский юнкер Ардал., сын богатого армянина. Я открыл им своё намерение; старик благословил меня на святое дело, как он говорил, и обещался доставить в главную квартиру рекомендательное письмо, а молодые люди дали мне слово взять меня с собой. За душой не было у меня ни копейки: коломенский торговец-аферист купил у меня шубу, стоящую рублей 300, за 50 рублей, подозревая, что я продаю её тайно... С этим богатством и дедовской меховой курткой, покрытой зелёным рытым бархатом, шёл я на службу боевую. Назначен был день отъезда. Все приготовления хранились в глубочайшей тайне. Роковой день наступал — сердце было у меня не на месте. В одиннадцатом часу вечера простился я с матерью, расточая ей самые нежные ласки; с трудом удерживал я слёзы, готовые упасть на её руку; я сказал ей, что хочу ранее лечь спать, потому что у меня очень разболелась голова. И она, будто по предчувствию, необыкновенно ласкала меня и раза два принималась меня благословлять. В своей спальне я усердно молился, прося Господа простить мне мой самовольный поступок и облегчить горечь и страх моих родных, когда они узнают, что я их ослушался и бежал от них. Меньшему брату, который спал со мной в одной комнате, сказал я, что пойду прогуляться по саду и чтобы он не беспокоился, если я долго не приду. Помолившись ещё раз, я вышел в сени. Условный колокольчик зазвенел за воротами; я видел, как ямщик на лихой тройке промчался мимо них, давая мне знать, что всё готово к отъезду. Ещё несколько шагов в кремль, где жил Беклемишев, — и я на

свободе. Но в сенях встретил меня дядька мой Ларивон. «Худое, барин, затеяли вы, — сказал он мне с неудовольствием, — я знаю все ваши проделки. Оставайтесь-ка дома да ложитесь спать, не то я сейчас доложу папеньке, и вам будет нехорошо». Точно громовым ударом ошибли меня эти слова. Я обидно стал упрекать дядьку, что он выдумывает на меня небылицу, заверяя его, что я только хочу пройтись по городу. Но Ларивон был неумолим. «Воля ваша, — продолжал он, — задние сени в сад у меня заперты на замок; я стану на карауле в нижних сенях, что на двор, и не пропущу вас, а если вздумаете бежать силой, так я тотчас подниму тревогу по всему дому. У ворот поставил я караульного, и он то же сделает, в случае удачи вашей вырваться от меня». Тут я переменял упрёк на моления; я слёзно просил его выпустить меня и нежно целовал. Но дядька был неумолим. Делать было нечего; надо было оставаться в заключении. Отчаяние моё было ужасно; можно сравнить это положение только с состоянием узника, который подпилит свои цепи и решётку у тюрьмы, готов был бежать, и вдруг пойман... Дядька мой преспокойно сошёл вниз. Проклинаю его и судьбу свою, я зарыдал, как ребёнок. Вся эта сцена происходила на верхнем этаже очень высокого дома. Из дверей сеней виден был, сквозь пролом древнего кремля, огонь в квартире старого гусара, который собирался посвятить меня в рыцари. Я вышел на балкон, чтобы взглянуть последний раз на этот заветный огонёк и проститься навсегда с прекрасными мечтами, которые так долго тешили меня. Вдруг, с правой стороны балкона, на столетней ели, растущей подле него, зашевелилась птица. Какая-то неведомая сила толкнула меня в эту сторону. Вижу, довольно крепкий сук от ели будто предлагает мне руку спасения. Не рассуждая об опасности, перелезаю через перила балкона, бросаюсь вниз, цепляюсь проворно за сучок, висну на нём и упираюсь ногами на другой, более твёрдый сучок. Тут, как векша, сползаю проворно с дерева, обдираю себе до крови руки и колена, становлюсь на землю и пробегаю минуты в три довольно обширный сад, бывший за домом, на углу двух переулков. От переулка, ближайшего моей цели, был забор сажени в полторы вышины: никакая преграда меня не останавливает. Перелезаю через него, как искусный волтижёр. Если бы заставили меня это сделать в другое время, у меня не достало бы на это ни довольно искусства, ни довольно силы. Но таково могущество воли, что оно удесятеряет все способности душевные и телесные. Перебежать переулок и площадь, разделявшую дом наш от кремля, и влететь в дом, где ожидали меня, было тоже делом нескольких минут. Я прибежал, задыхаясь, готовый упасть на пол; на голове у меня ничего не было, волосы от поту липли к разгоревшимся щекам. Мои друзья уже давно ждали меня, сильно опасаясь, не случилось ли со мной какой невзгоды. Старый гусар благословил меня образом, перед которым только что отслужили напутственный молебен; на меня нахлобучили первый попавшийся на глаза картуз, мы сели в повозку и промчались, как вихрь, через город, берегом Коломенки и через Запрудье. Кормили лошадей за 40 вёрст, потом в Островцах. Несколько раз дорогой, казалось мне, нас догоняют; в ушах отзывался топот лошадиный, нас преследующий; в темноте за мной гнались какие-то видения. Сердце трепетало в груди, как голубь.



Никольская башня, взорванная французами

В Москву въехали мы поздно вечером. Неприятель уже оставил город: у заставаы в карауле были изюмские гусары; они грелись около зажжённых костров. Русские солдаты, русский стан были для нас отрадными явлениями. Мы благоговейно перекрестились, въезжая в заставу, и готовы были броситься целовать караульных, точно в заутреню Светлого Христова Воскресения. И было чему радоваться, было с чем братьям поздравиться друг друга: Россия была спасена!

Москва представляла совершенное разрушение; почти все дома были обгорелые, без крыш; некоторые ещё дымились; одни трубы безобразно высились над ними; оторванные железные листы жалобно стонали; кое-где в подвалах мелькали огоньки. Мы проехали весь город до Калужской заставы, не встретив ни одного живого существа. Только видели два-три трупа французских солдат,

валявшихся на берегу Яузы. «Великолепная гробница! — сказал я, обратившись к московским развалинам. — В тебе похоронены величие и сила небывалого от века военного гения! Но из тебя восстанет новая могущественная жизнь, тебя оградит новая нравственная твердыня, через которую ни один враг не посмеет отныне перейти; да уверится он, что для русского нет невозможной жертвы, когда ему нужно спасти честь и независимость родины».

Мы остановились в селении Троицком (имении моего товарища Ардал.), помнится, верстах в трёх от Москвы. В доме нашли мы величайший беспорядок; казалось, неприятель только что его оставил. Зеркала были разбиты, фортепиано разломано, уцелевшее платье, в том числе и мальтийский мундир покойного помещика, которое не годилось в дело, валялось на полу. В Троицком прожили несколько дней; здесь, казалось, укрывался я в совершенной безопасности от поисков. Мы ездили раз в Москву, посмотреть, что там делается. Народ с каждым днём прибывал в неё; строились против гостиного двора и на разных рынках балаганы и дощатые лавочки; торговля зашевелилась.



Вид разрушенной улицы Москвы в районе Воспитательного дома

Дымились на улицах кучи навоза, зажжённые для ограждения от заразы мёртвых тел.

Нам с товарищами надо было ещё объехать деревни Ардал., которые находились в Московской губернии, в ближайших уездах, помнится, Звенигородском и Дмитровском, и собрать оброки, потому что молодой помещик, отправлявшийся в армию, был совершенно без денег. Казалось, время для такого сбора, по случаю военной невзгоды, тяжело налегшей на эти края, было самое неблагоприятное. Напротив того, крестьяне этих уездов собрали богатую дань с неприятелей, взявших её с Москвы: почти у каждого мужичка были деньги, серебряные или золотые часы, богатые материи, сукна, головы сахара и пр. Крестьяне везде встречали своего молодого господина с хлебом и солью и немедленно вносили ему оброк, даже часть вперёд. Только в одной деревне они немного заупрямились, но мы, трое юношей (и на меня надели гусарский ментик, и меня опоясали саблей), на сходке загревели саблями, и буйные головы немедленно с повинной преклонились перед грозными воинами, у которых ещё ус не пробивался. Морозы уже наступали; раз, в дороге, желая согреться, я пошёл пешком и, отставши от товарищей, едва не замёрз ввиду какой-то господской великолепной дачи, совершенно опустелой. Только что возвратились мы в Троицкое и собрались уже на другой день отправиться в главную квартиру армии (это было поздно вечером), как вбежал ко мне в комнату хозяин и объявил, что приехал мой отец. Не зная, что делать, я спрятался в *людскую*. Тут, подле меня, лежала на смертном одре какая-то старушка: я слышал предсмертный колоколец; первый раз в жизни видел я, как человек умирает. Лихорадка трясла меня, но не от этого зрелища, а от страха, что отец узнает моё убежище и приедет исторгнуть меня из него, чтобы вновь теснее связать мою волю. Но вскоре я услышал его голос, нежный, выходящий из любящей души: «Пускай покажется Ваня, — говорил он, — пускай придёт; я его прощаю, я сам благословлю его на службу». Тут, не колеблясь ни минуты, бросился я в его объятия, целовал его руки, обливал их слезами. С груди моей свалился камень. Это была одна из счастливейших минут моей жизни.

На другой день отец повёз меня в Москву и представил беглеца московскому гражданскому губернатору Обрез., который возвратился в столицу с должностными чинами. (Он стоял тогда в Леонтьевском переулке.) Губернатор, в присутствии многих лиц, сделал мне строгий выговор, что я огорчил родителей своим побегом, но приказал, однако ж, тотчас выдать мне служебное свидетельство и вручил мне рекомендательное письмо к главному начальнику московского ополчения. Вскоре приехал я в московское ополчение офицером и через несколько дней был переведён в московский гренадерский полк. Счастье мне улыбнулось: начальник 2-й гренадерской дивизии, принц макленбургский Карл, взял меня к себе в адъютанты.

Вот как 12-й великий год завербовал меня в свои новобранцы.

Текст печатается по изданию: Лажечников И.И. Полное собрание сочинений. СПб.; М.: Товарищество М.О. Вольф, 1913.



ИСТОРИЧЕСКИЕ
ЧТЕНИЯ





Графика Василины Королёвой

Валерий ЯРХО



Валерий Альбертович Ярхо родился в Коломне в 1964 году. Окончил среднюю школу № 4. Его юмористические и детективные рассказы печатались в газетах «Российские вести», «Московский комсомолец», «Коломенская правда». В творчестве Ярхо удачно сочетаются художественная проза, научный поиск, «архивный детектив». Широко известен блестящими историко-краеведческими очерками.

В 2008 году опубликована его монография «Три времени Щурова».

Постоянный автор «Коломенского альманаха».

НЕВЫДУМАННАЯ ТРАГЕДИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ТЕАТРА

Помните фильм «Гусарская баллада»? Храбрые русские воины галантно приветствуют отставшую от обоза французскую актрису: «Ура, Жермон!» Хочется верить этому красивому эпизоду. Но в то же время закрадывается мысль: а так ли было на самом деле? Чтобы ответить на этот вопрос, надо обратиться к давней истории.

В Европе на рубеже XVIII–XIX столетий французский стал языком культуры, дипломатии и образованного общества. Россия не была исключением. Традиция западничества у нас идёт со времён Ивана Великого: один Московский Кремль чего стоит! Внука Ивана Третьего — Ивана Грозного — за глаза называли «английским царём». Что уж говорить об Алексее Михайловиче с его Немецкой слободой или Петре Первом!

К середине осмнадцатого века голландцев и немцев отодвинули на второй план французы. При Елисавете Петровне в столице действовал профессиональный французский театр. Дети русских бар с младенческих лет болтали по-французски и лишь потом кое-как овладевали родной речью.

Высший свет охватила настоящая галломания. Особенно это чувствовалось в делах театральных. В Россию приглашались знаменитые сценические мэтры, большие труппы актёров;

заезжали гастролирующие знаменитости. В Европе работала целая сеть агентов дирекции императорских театров! Они вербовали иноземных артистов, певцов и музыкантов.

К исходу XVIII века французские актёры уже довольно охотно отправлялись в Россию. У себя на родине они не всегда могли найти творческий простор. С приходом к власти Наполеона трудности только усилились. Была введена цензура, многие театры закрылись. Немало актёров оказалось вовсе без работы. Истинным спасением для них стало желание русского императора Александра иметь у себя французскую оперную труппу. Исполнением монаршей воли занялся шеф дирекции императорских театров Нарышкин.

Сначала подобная труппа возникла в Петербурге. После того как на неё обрушился оглушительный успех, появилась задумка создать аналогичный театр в Москве. Для выполнения сей задачи пригласили знаменитого режиссёра и актёра Луи Антуана Домерга, в театральных кругах известного как «мсье Арманд».

Домерг со всем своим семейством в 1805 году приехал в Россию и поселился в Москве. Вместе с ним кроме домочадцев, также в разной степени причастных к театральному миру, прибыла настоящая звезда парижской сцены мадам Аврора Бюрге, приходившаяся Домергу родной сестрой.

С детских лет Аврора проявляла завидные способности, музицируя на нескольких инструментах, сочиняя стихи и обнаруживая задатки незаурядной актрисы. На двенадцатом году жизни чудо-девочка отправила свои стихи Вольтеру. А тот ответил ей галантным стишком!

С этой переписки началась литературная известность Авроры, которую она укрепила, переведя драму Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние». Столь богато одарённая талантами девица в довершение ко всему была ещё и редкой красавицей. И чем старше становилась она, тем краше расцветала, совершенно сводя с ума поклонников.

Сама она полюбила парижского актёра Бюрге и в шестнадцать лет стала его женой. Но едва ей минуло двадцать два, как Аврора овдовела. После смерти супруга мадам Бюрге поселилась в доме брата. И когда ему предложили ехать в Россию, она отправилась вместе с ним. Но Аврора вовсе не была нахлебницей. Напротив, она оказалась одной из самых деятельных помощниц Луи Домерга. Вопреки распространённому мнению о людях искусства, мадам Бюрге была дамой весьма практичной, деятельной и оборотистой. Некоторые даже отзывались о ней как о «редкой проныре».

* * *

Сегодня это может показаться странным, но французских актёров совершенно не беспокоила европейская политическая ситуация. Они поехали создавать театр в страну, которую сейчас бы назвали «потенциальным противником» их отечества. Тогда мир не был ещё поделён идеологически и соперничество разных стран не было роковым. Для частных лиц не считалось преступным проживание и любая деятельность во

«враждебной» стране. Политика, война, финансы — это всё были какие-то «заоблачные сферы».

Штатские в боевых действиях участия не принимали. Отношение соперничающих армий к невоенным было нейтральным. Последних, бывало, грабили, у них со двора уводили лошадей, очищали амбары, обывателей и крестьян облагали дополнительными повинностями, но никому в голову не приходило рассматривать их как врагов. Просто шла война между государствами, а те, кто оказался в той местности, где разворачивались военные действия, просто «переносили тяготы» так же, как если бы это было стихийное бедствие.

Если же кто-то из частных лиц пытался вмешаться в ситуацию, скажем, брался за оружие как партизан или как-то иначе помогал «своим», то в случае поимки его ждала петля — как бандита или шпиона.

Домерг ни в коем случае вмешиваться в политику не собирался, а потому был неприятно удивлён, когда она сама вошла в его жизнь. Через некоторое время после приезда актёра в Москву в Европе началась-таки война между странами коалиции, в которую входила Россия, с наполеоновской Францией. И вот Домерга и всё его семейство вызвали, вместе с другими иностранцами, большей частью французами, в казённое учреждение. Там от них потребовали дать присягу в том, что они обязуются не иметь никаких сношений с Францией — ни прямых, ни косвенных. В случае нежелания соблюдать эти правила предлагали немедленно покинуть страну. Эта строгая мера была предпринята не только в Москве, но и по всей России.

Так здешние иностранцы перестали получать письма с родины и европейские издания, а из русских газет понять что-либо они были не в состоянии. Жёсткая цензура изымала всю мало-мальски стоящую информацию. Приходилось лишь догадываться о том, что дела коалиционных сил идут не очень гладко. На вопросы о ходе войны русские либо вовсе не отвечали, либо отговаривались раздражённо, всем видом показывая, что эти вопросы им неприятны.

На многое открывали глаза рекрутские наборы, следующие один за другим с 1805 года по 1807-й. Сначала брали по четыре человека с сотни крепостных, годных к службе в армии, потом шестерых, наконец, по десятку. Это давало представление о потерях, которые несла русская армия... Новобранцев без усталости муштровали на московских площадях, а потом французы стали свидетелями зрелища и вовсе экзотического: через город пошли огромные отряды азиатских кочевников. Они были вооружены копьями, саблями, луками и колчанами стрел, и, по слухам, эти грозные воины ловко обращались со своими древними орудиями войны.

Несмотря на явные признаки неудач сил коалиции, русские высказывали уверенность в победе и в разговорах о войне быстро съезжали на тему легкомысленности и самоуверенности французов, которая-де, конечно же, в конечном итоге их погубит.

Однако вскоре последовал страшный разгром под Аустерлицем, после которого был подписан Прессбургский мирный договор. Его, впрочем, отказалась признать Пруссия, и снова началась война. Об этой кампании иностранцам, жившим в Москве, было известно несколько больше,



В.В. Мазуровский. Атака лейб-гвардии Конного полка на французских кирасир

но всё же вести приходили со значительным опозданием, часто нагоняя друг друга.

Едва Домергу стало известно о походе Наполеона на Берлин, как тут же пришло известие о победе французского оружия в октябре 1806 года под Йеной, полном разгроме прусской армии, бегстве королевы в Кенигсберг, а оттуда в Мемель. Это были приятные слуху француза новости, которые в то же время оглушительно подействовали на всех московских немцев. Теперь уже и в среде иностранцев, прежде державшихся вместе, стали возникать трения.



Сражение под Фридландом 2 июня 1807 года. 1912. Холст, масло

В феврале 1807 года русские торжествовали победу в битве при Прейсиш-Эйлау. С французской точки зрения баталия не принесла явного преимущества ни одной из сторон. Но русские верили в свою победу однозначно. В храмах служились благодарственные молебны, хоры пели: «Тебе Бога хвалим», и над Москвой плыл праздничный колокольный звон.

Но прошло совсем немного времени, и в начале лета того же года пришла печальная весть: у Фридланда армия Бенигсена была сокрушена Наполеоном! Вскоре после этого, в июле 1807 года, был подписан Тильзитский мир. Россия вышла из войны.

* * *

С окончанием военных действий Луи Домерг выехал в Санкт-Петербург, где встретился с начальником дирекции Александром Львовичем Нарышкиным. Обсуждали перспективы создания французского театра в Москве. Сын Александра Львовича, поручик Лев Нарышкин, был ранен в сражении под Фридландом. Разговаривая с Домергом, он высоко отозвался о действиях французских гусар и стрелков, которые точным огнём выбивали русских офицеров. И потому, заслышав во французских рядах команду «целься в султаны», то есть в тех, у кого на киверах и фуражках были знаки офицерского достоинства, русские командиры спешно меняли офицерские треуголки с плюмажами на солдатские кивера.

Вообще же, по свидетельству Домерга, весть о заключении Тильзитского мира и сближении двух государей произвела на многих русских дворян гнетущее впечатление. На Наполеона тогда было принято смотреть как на предводителя мятежников, которого следует «обуздать». После подписания мира владельцы огромных земельных угодий и большого числа крепостных душ всерьёз опасались, как бы под давлением Наполеона император Александр не затеял реформы «в якобинском духе».

Политическая ситуация никак не добавляла популярности иностранцам. Врагов русские определяли просто, «на глазок»: по крою штанов и причёске. Явившийся при дворе с ненапудренными волосами, причёсанный «а la Titus» рисковал попасть в немилость. На улицах вслед иноземцам «с неподобающей доброму человеку причёской» кричали: «Ревитёли!» (революционеры) — и поясняли окружающим:

— Вон ещё один черноволосый, видать, из этих самых якобинцев!

Всё это было в России не новость. Ещё при императоре Павле Петровиче особыми указами запрещено было носить фраки, жилеты, штаны-пantalоны, цилиндрического фасона шляпы, которые были признаны «революционными». Полиции было приказано срывать «цилиндры» с голов ослушников и рубить эти шляпы саблями и тесаками. Один англичанин, живший в это время в Петербурге, посчитав, что на него как на иностранца эти распоряжения не распространяются, выехал на верховую прогулку в цилиндре. Себе на беду он повстречал императора Павла также верхом. Сообразительный англичанин успел развернуться и пустился вскачь. Император скомандовал: «Взять наглеца!» В погоню бросились несколько верховых казаков из императорского конвоя, но дерзкого «цилиндроносца» спасла чистокровная лошадь — он оторвался от преследования и спрятался.

Павел запретил всяческие уличные сборища, и даже, чтобы устроить вечеринку, требовалось получить разрешение в полиции. Сильно освещённые ночами окна вызывали подозрение: для чего там собрались люди? Нет ли у них преступных замыслов?

В особенно трудное положение попали астрономы. Специальным распоряжением по Академии наук строжайше было запрещено употреблять при описаниях движений небесных светил слово «возмущение». Многие труды писались по-французски, где сей термин был одним из

значений слова «revolution». Актёрам всех без исключения театров, ежели во французской пьесе встречалось словечко «liberte» (свобода), велено было произносить «permission» (отпуск, увольнение). Фабрикантам под угрозой жестокого наказания запрещалась выработка трёхцветных лент и материй.

Но главной опасностью были признаны всё же не модные фасоны и цветные ленты, а идеи. Павел издал указ о создании цензурных таможен; с 1797 по 1799 год эти органы конфисковали тиражи 639 книг, которые предполагалось ввезти в Россию из Европы.

Большинство книгопродавцев были удручены препонами на таможенных. Но они огорчились не очень, ибо возник дикий ажиотажный спрос на все книги, ещё имевшиеся в лавках. В те дни скупалось всё подряд, даже то, что годами валялось в дальних чуланах. Распродав всё, что только у них было, книгопродавцы подумывали о закрытии своих лавочек. Но тут император Павел неожиданно-негаданно помер, как тогда поговаривали, «от апоплексического удара... табакеркой в висок».

После смерти Павла Петровича модники извлекли из шкафов припрятанные панталоны и цилиндры, облачились во фраки и жилеты; астрономы опять стали употреблять «revolution» в своих трудах; книжная торговля на радость продавцам воспряла с подвозом свежего товара, а благословенные деньки, когда публика хватала всё подряд за двойную цену, вспоминались как занятное приключение былых времён.

Но не прошло десятка лет, как эти самые «былые времена» начали возвращаться.

Тем не менее, невзирая на неприязнь ко всему «революционному» в русском высшем обществе, это как-то не касалось театра и искусства вообще. И Домерг отправился в Европу для набора актёров и вербовки театральных рабочих на службу при московской французской труппе.

Однако политика в очередной раз подложила свинью «мсье Арманду» и Александру Львовичу Нарышкину. Стоило французскому режиссёру выехать в свой деловой вояж, как в Европе началась новая военная кампания. Домерг, находясь в немецких землях, оказался отрезан от России. Все связи оборвались, ни известий, ни денег оттуда не приходило. Домерг распустил набранных им людей, а сам отправился в Кассель — столицу нового королевства Вестфалии, где царствовал брат французского императора Иероним Бонапарт. Вот к придворной труппе этого весёлого короля и пристроился мсье Домерг, отыграв на сцене придворного театра целый сезон.

В 1808 году связи с Россией восстановились и Домерг, вернувшись в Москву, снова занял пост режиссёра и директора театральной труппы. При всеобщем хулении и поношении Наполеона и всего заграничного их игра охотно принималась, их искусство высоко ценилось, с ними водили знакомства и приглашали в свои дома.

Ничуть не стесняясь присутствия французов, их русские знакомые, переговариваясь привычно по-французски, уничижительно отзывались о Франции и её жителях, не скрывая, что жаждут военного реванша и желают поквитаться за старые обиды. Никого совершенно не пугало могущество Франции, все её прежние победы над противниками.

* * *

По мере того как Великая Армия продвигалась к Москве, недовольство и подозрительность в отношении французов всё увеличивались. Отразилось это и на зрительских симпатиях. В Петербурге в Малом театре (потом ставшим Александринским) русская и французская труппы давали представления попеременно. У русских актёров был грандиозный успех: давались в основном патриотические пьесы на исторические темы («Пожарский», «Илья-богатырь», «Дмитрий Донской», «Всеобщее ополчение») и балет «Любовь к отечеству». Влияние этих постановок на умы было столь велико, что зал то и дело разражался овациями и криками, а во время спектакля «Всеобщее ополчение», в тот момент, когда по призыву патриотов русские люди отдавали на благо отечества своё имущество, один из зрителей, захваченный этим действием, вскочил с места и, метнув на сцену свой бумажник, прокричал:

— Вот, возьмите и мои последние 75 рублей!

Таким же большим успехом пользовались комедии «Модная лавка» и «Уроки дочкам», главным смыслом которых были насмешки над французами и их нравами. Выходя на сцену после своих русских коллег, французские лицедеи оказывались в проигрыше, хотя тоже пытались потрафить публике. Но даже постановка режиссёром Домасом пьесы Озеровского «Дмитрий Донской» с мадам Жорж в роли княжны Ксении «не нашла в публике сочувствия». Высшая аристократия демонстративно бойкотировала спектакли французской труппы, а вслед за нею и остальная петербургская публика перестала посещать спектакли французов. После того как на очередной спектакль явился лишь один зритель (да и тот был цензором), труппа объявила о роспуске.

Неприязнь к французам уже перестали даже маскировать. Многие природные русские поплатились за привычку изъясняться по-французски в обществе. Услыхав французский говор на улицах, простолюдины хватали «франкофилов», били их, тащили «шпионов» в полицию.

Такой участи едва избежал директор петербургских императорских театров князь Тюфякин, имевший неосторожность на обедне в Казанском соборе что-то спросить у своего знакомого по-французски. В один миг князя окружили обыватели, дабы «учинить над ним насилие». Выручил господина директора ловкий полицейский офицер, который ужом ввинтился в толпу, пробрался к князю и, официально представившись, строго потребовал следовать за ним к петербургскому главнокомандующему графу Вязьмитинову. Перепуганный Тюфякин подчинился безропотно, и полицейский вывел его из толпы. Но она не отстала от них. Вслед за «подозрительной персоной» и его конвоиром люди вышли из собора и



Популярность мадам Жорж не знала границ. В том числе и государственных

отправились по улице, где к ним прибавились зеваки и прохожие. «Старожилы» толпы объясняли новичкам, что в Казанском соборе поймали важного шпиона, которого теперь ведут к главнокомандующему на расправу. Толпа шла за князем и офицером до Большой Морской улицы, где располагалась резиденция Вязьмитинова, и осталась ждать у ворот, за которые её не пустили часовые.

Главнокомандующий, узнав о беде, приключившейся с князем Тюфякиным в соборе, приказал вывезти его в закрытом экипаже через ворота, выходящие на другую улицу, а к народу, толпившемуся у парадного входа, отправил полицмейстера Чихачёва, который объявил, что личность подозрительного человека вполне установлена — никакой он не французский шпион, а русский князь.

В Москве французским актёрам также приходилось несладко. Бывали случаи, когда публика устраивала им настоящие обструкции. Жертвой такого своеобразного патриотизма стала знаменитая певица Филлис Андре. Эта актриса и редкой красоты женщина стяжала себе заслуженную славу на оперной сцене, служа во французской труппе Петербурга.

Мадам Филлис обожали при дворе, и ей удавалось патронировать своих коллег-соотечественников. В частности, когда в 1807 году встал вопрос об иностранцах, которым предлагалось либо выехать из страны, либо принять русское подданство, любимица императора сумела отстоять для актёров льготу не делать ни того, ни другого, а ограничиться лишь подпиской не иметь сношений с Францией.

Но летом 1812 года и высокие связи не смогли уберечь её от проявлений неприязни. Выехав с концертами в Москву, милейшая Андре и не подозревала, что ей готовят настоящую ловушку, чтобы провалить выступления.

Предводительствовал группой зрителей, решивших «дать бой французам», богатый москвич Пётр Гусятников. Он был ярым «англоманом», в то время как в Москве преобладали «франкофилы», и оставался верен себе даже под страхом «неудовольствия» императора Павла. Именно в те поры его племянник экс-гусар Николай Гусятников ввёл в Москве моду на знаменитую английскую забаву — парфорсную охоту и долго не ликвидировал её, даже когда по распоряжению императора Павла начались гонения на «английские затеи».

Былые забавы были оставлены с началом войны в 1812 году. Николай Михайлович вновь поступил в военную службу, а его дядюшка, не имея возможности вступить в армию, решил «вымести французский дух с русской сцены». Дело в том, что Пётр Михайлович Гусятников был отчаянным поклонником певицы Сандуновой. Узрев в мадам Андре конкурентку своему кумиру, он создал целую зрительскую партию для срыва гастрولي.

В день премьеры они все пришли на представление, а Гусятников купил кресло в первом ряду. Как только Филлис Андре запела, Пётр Михайлович демонстративно заткнул себе уши, встал и пошёл вдоль первого ряда кресел к выходу. Этот его манёвр повторили и остальные участники заговора, превратившие концерт в антифранцузское выступление.

Но всё это показалось сущими пустяками вскоре после того, как пришла весть о падении Витебска. Через Москву потянулись обозы францу-

зов, высланных из Петербурга в Сибирь. На глазах Домерга арестовали мсье Этьена, служившего учителем в богатом московском доме, потом взяли молодого поэта Торо — ему не помогло даже то, что он выпустил сборник довольно популярных анекдотов (коротких историй) и сочинил поэму в честь императора Александра. Вскоре пришёл черёд и Домерга...

* * *

Новый московский главнокомандующий, назначенный перед самой войной, граф Ростопчин, сформировал команду из чиновников, которые были готовы выполнить любое его распоряжение. Свою деятельность на посту главнокомандующего граф Фёдор Иванович начал с решительной реорганизации московской полиции.

«Я преобразовал, — писал он в своих воспоминаниях, — полицейских шпионов, которые стоили дорого и были бесполезны в такое время, когда все мы испытывали страх, а общество томилось неизвестностью. Мне необходимо было знать, какое впечатление на умы производят военные происшествия. С той целью я воспользовался усилиями трёх агентов. Они, переодетые, постоянно проводили время, бродя по улицам, вмешивались в толпы, которые собирались в трактирах и кофейнях. Являясь ко мне, они отдавали отчёт о слышанном и получали от меня наставления».

С началом войны граф обратился к аббатам двух католических приходов города с призывом разъяснить прихожанам, чтобы они были «в поступках своих благоразумнее и в разговорах ограничивали себя скромностью», напомнить им, что Россия многим из них оказала гостеприимство, обогатила, предоставила кров беглецам, став иным новой родиной.

Одновременно по приказу Ростопчина было усилено наблюдение за иностранцами, в особенности за французами. Для слежки за ними была приставлена специальная команда во главе с полицейским агентом Тигри, итальянцем по крови, говорившим на многих языках. Для московских иностранцев этот Тигри стал сущим кошмаром. Казалось, он был всюду: всё видящий, слышащий, понимающий любую речь! По его донесениям несколько десятков иностранцев Ростопчин распорядился выслать вон из Москвы, многие подверглись арестам и даже телесным наказаниям.

Под эти репрессии вместе с десятками других иноземцев попал и Луи Домерг. В ночь с 19 на 20 августа 1812 года в первопрестольной были произведены многочисленные аресты французов. В доме Домерга об этом узнали, когда утром прибежал сын одного купца-француза. Он рассказал, что людей брали организованно, по неким спискам. Родственники «мсье Арманда», услышав об этом, стали убеждать друг друга, что им-то бояться нечего: во-первых, они приехали по приглашению самих русских властей, во-вторых, жили в доме шведского консула, на который распространялись права дипломатической экстерриториальности, в-третьих....

Но, как оказалось, все их рассуждения были вздором. Война научила русских «закрывать глаза на условности», вроде неприкосновенности жилища шведского консула и прочие. Едва только в полдень Домерг с семейством сел за обеденный стол, как по его душу явились двое

полицейских-будочников с алебардами, которые велели Луи-Антуану Домергу идти с ними, не оказывая сопротивления. У ворот их ждал экипаж; арестованного отвезли в один из полицейских домов. В большой зале, куда его ввели, Домерг обратил внимание на листы бумаги, вывешенные в углу, — это были те самые «проскрипционные списки», о которых он утром слышал от купеческого сына Робёра. Люди, занесённые в эти списки, были разделены по категориям и по алфавиту. Так что фамилия Домерг оказалась первой в первой категории подозреваемых. Это означало, что режиссёра считают опаснейшим типом. Неприятно поражённый этим открытием, Домерг попросил разрешения отправить домой записку, но этого ему не разрешили.

Потом ничего не происходило целых десять часов, и лишь вечером Домерга отвели в дом Лазарева, где содержали всех арестованных иностранцев.

Обращённый в тюрьму частный дом был совершенно не приспособлен для содержания в нём большого количества людей, но даже более, чем неудобство их положения, арестованных пугало происходящее снаружи... Из разных мест к месту их заключения стала собираться московская чернь. Был слух о том, что в доме Лазарева держат арестованных французских шпионов. Слыша крики, французы не на шутку опасались, что их попытаются убить: охрана состояла лишь из одного полицейского офицера и солдата, снабжённых только холодным оружием. Впрочем, аресты продолжались, и уже через несколько часов иностранцев собралось свыше четырёх десятков человек, а потому охрану усилили командой из шести инвалидов (пожилых солдат).

Арестам подверглись не только французы, но и швейцарцы, австрийцы и немцы: гамбургцы и пруссаки. Всё необходимое арестантам доставили родственники, передавшие им матрацы и еду. К счастью, томиться неведением о своей дальнейшей судьбе им пришлось недолго. Утром следующего дня им объявили о том, что решено всех подозрительных иностранцев выслать из Москвы в отдалённые губернии, но куда именно, не сказали.

Переговорив между собой, товарищи по несчастью устроили складчину по десять рублей, и на эти деньги было закуплено самое необходимое для дороги, о протяжённости и трудности которой оставалось только догадываться. Известно было лишь то, что для арестантов приготовлена речная барка, на которой их всех повезут.

Поздним вечером, когда уже стемнело, в дом Лазарева прибыл полицмейстер Волков. Вот его речь.

«Господа! Мой долг возлагает на меня в отношении вас неприятное поручение, но я его исполню со всем вниманием, которое требует ваше положение. Я в ваших же интересах должен предупредить, что офицер, которому поручено вас сопровождать, получил самые строгие распоряжения на ваш счёт. Не ухудшайте своей участи, ставя себя в положение, в котором с вами будет поступлено весьма строго».

Когда толпе, собравшейся под окнами дома Лазарева, стало известно, что «шпионов» высылают, в ней начались волнения. Тогда Волков пошёл за благо вывести арестованных через чёрный ход, но и там их поджидала толпа. На крик этих людей, извещавших о том, что «шпионов» поти-

хоньку уводят, от парадных дверей набежало множество народу. Волков со своими инвалидами едва сумел проложить путь для арестантской команды. Толпа пошла за ними следом на берег Москвы-реки, где для иностранцев была устроена перекличка.

При свете фонаря Волков зачитывал фамилию из списка, и названный им человек рысцой перебежал по доскам на борт барки. Когда там оказались все внесённые в список, полицмейстер прочитал специальную прокламацию Ростопчина: «Французы! Россия дала вам убежище, а вы не перестаёте выражать против нас свою враждебность. Дабы избежать кровопролития и не запятнать своей истории подражанием вашей адской революционной ярости, правительство увидело себя в необходимости удалить вас. Вы оставите Европу и отправитесь в Азию. Вы будете жить среди народа гостеприимного, верного своим клятвам и слишком вас презиращего, чтобы делать вам зло. Постарайтесь сделаться там добрыми подданными, потому что никогда вам не удастся заразить народ вашими вредными принципами. Взойдите на эту барку и постарайтесь не сделать её ладьёй Харона».

После этого обращения барка отчалила и пошла вниз по течению Москвы-реки.

Домерг полагал, что на него подозрение пало из-за резкости его характера, вспыльчивости и склонности высказываться прямо, невзирая на лица. Как и многие режиссёры, Домерг был человеком несдержанным на язык, требовательным и недипломатичным. Среди московского начальства, привыкшего к чиновничеству, раболепию или, по крайней мере, к светскому этикету, «французский комедиант» прослыл едва ли не якобинцем. Подозрение в шпионаже на него пало ещё до войны, когда кто-то из усердных наблюдателей подсмотрел, как ловко он гонял по сцене театра огромную массовку человек в пятьдесят, добиваясь синхронности движений, и заподозрил в нём «переодетого офицера», который раньше-де учился управлять маршировкой и строевыми упражнениями солдат.

Впрочем, почему именно его выслали, было не так уж и важно (что произошло, того уже не вернёшь); гораздо более «мсье Арманда» и его товарищей по несчастью занимала мысль о будущем, которое пока рисовалось им весьма туманно...

Кое-как обустроив свой плавучий дом или тюрьму, изгнанники распределили обязанности. Так как река сильно петляла, их родственники, ехавшие прямой дорогой на извозчиках, ещё несколько дней кряду сопровождали высланных, передавая им разные припасы, ободряя чем можно.

Постепенно страхи их отошли, путешествие развеяло хмурое настроение, и все иноземцы несколько повеселели. Из-за сильной жары тем летом вода в реке сильно обмелела, и до Коломны, отстоявшей от Москвы в ста верстах, барка тащилась целых восемь дней, прибыв туда 1 сентября, впрочем, намного обогнав основной поток беженцев из Москвы.

Недалеко от города барка встала на якорь, и капитан отправился в Коломну, чтобы узнать у местных властей, куда им предписывается двигаться далее и не присылал ли граф Ростопчин каких-либо особенных распоряжений относительно ссыльных. Оказалось, что никто ничего не присылал, местные городничий и воинский начальник никаких распоряжений о ссыльных не получали — они вообще о них впервые услышали.

Возиться с какими-то иноземцами из Москвы ни у кого не было желания, а главное, времени. Город превратился в перевалочный пункт огромного количества раненых. Единственное, что могли порекомендовать капитану, так это двигаться далее, к Рязани, и там у губернского начальства спрашивать дальнейших распоряжений.

Получив известия о том, что им предстоит продолжить свой маршрут до Рязани, ссыльные попросили у капитана разрешения пополнить запас продуктов, и выбранная меж ними депутация, в состав которой вошёл и Домерг, под конвоем двух инвалидов отправилась в Коломну. Проходя улицами города, они видели множество санитарных повозок, повсюду можно было заметить раненых, которые занимали все удобные частные дома и общественные места. Ничего не знаящие иноземцы предположили, что где-то произошло кровопролитное генеральное сражение. Через инвалидов они стали расспрашивать: откуда поступают раненые? Оказалось, что все они привезены из-под села Бородина, где произошла огромная битва; большинство раненых были ветеранами корпуса князя Багратиона.

Некоторое время на иноземцев в Коломне совершенно не обращали внимания. Но после полудня кто-то отметил странность покроя костюмов, а потом несколько москвичей из числа тех, кто выехали загодя, узнали в незнакомцах высланных Ростопчиным «французских шпионов». Они живо растолковали коломенцам, кто такие эти люди, закупающие провизию и расспрашивающие всех о сражении при Бородине.

Сбежалась огромная толпа народу, сыпавшая ругательствами; в иностранцев полетели камни. Пришлось спешно ретироваться к своей плавучей тюрьме, предусмотрительно оставленной в полуверсте от города. Когда они прибежали с известием о грозящей опасности, капитан отдал команду спешно поднимать якорь, и они вышли на середину реки, прежде чем до места стоянки добрался авангард ужасной толпы.

Упускать добычу разъярённые обыватели не желали. Пользуясь тем, что река делает перед городом большой изгиб, более известный под названием Пьяная лука, они «напрямки» бросились к разводному плашкоутному мосту, переброшенному через реку возле города, рассчитывая там перехватить беглецов. Началась настоящая гонка между барочниками и их преследователями. К счастью для ссыльных, барка успела проскочить мост, прежде чем его успели свести.

Но и эта неудача не остудила пыла толпы. Коломенцы преследовали барку по берегу, очевидно, рассчитывая, что капитан по незнанию фарватера может угодить на одну из мелей коварной реки. Эта погоня прекратилась лишь после того, как недалеко за городом барке ссыльных повстречался поднимающийся вверх караван барж, груженных боеприпасами. Им командовал генерал Измайлов, имевший под своим началом большую караульную команду. Генерал взял путников под свою охрану и проводил до места впадения Москвы-реки в Оку, где на огромном водном пространстве барка была уже совершенно недоступна сухопутным преследователям.

Плавание до Рязани заняло ещё двадцать дней, прежде чем высланные из Москвы иностранцы увидели этот город на берегу Оки. Дорогой они несколько ночей кряду видели огромное зарево на горизонте и ни-

как не могли понять — что это такое? Удовлетворить их любопытство было некому, и потому они предполагали самое разное.

По прибытии в Рязань начальник караула снова отправился узнавать о том, каковы были на их счёт распоряжения, но оказалось, что и там никто ничего о них не слышал. Город был забит ранеными и беженцами, всюду царила суматоха огромного табора людей, едущих неведомо куда. Рязанский губернатор, услышав, что перед городом на якоре стоит барка со ссыльными французами, дал им распоряжение немедленно уходить дальше по Оке, на Нижний Новгород, так как был уверен, что вскоре в Рязань пожалуют французы.

Так на барке узнали, что Москва оставлена русскими, а то зарево, которое они видели дорогой, оказалось атмосферным отражением колоссального пожара, вспыхнувшего в городе после отступления из него русских войск...

* * *

В Москве театры функционировали почти до самого вступления в город наполеоновской Великой Армии — последнее представление было дано 30 августа 1812 года в новом театре, построенном вблизи Арбатских ворот. Русская труппа давала патриотическую драму Сергея Николаевича Глинки «Наталья, боярская дочь», кульминацией которой был пожар. Это последнее представление послужило пророчеством — через четыре дня Москва запылала по-настоящему.

Члены семьи Домерга и несколько актёров из его труппы, после ареста своего патрона нашедшие приют в доме князя Гагарина в Басманной части города, сначала были ограблены русскими мародёрами, а потом едва успели выскочить на улицу, когда дом загорелся.

Потеряв всё самое необходимое и саму крышу над головой, французские актёры несколько дней мыкали горе, голодные, грязные, почти голые, бродя среди развалин и пожарищ, в которые обратились целые улицы Москвы. Выручила их мадам Аврора Бюрсе, после высылки брата взвалившая на себя обязанности директрисы труппы. Она сумела добиться толку от французских офицеров, узнав, что лучше всего обратиться за помощью к префекту императорского двора генералу Боссе. В московском хаосе мадам Аврора смогла разыскать генерала и пробилась к нему на приём. Добиваться столь поразительных успехов ей помогала былая парижская известность: многие офицеры её узнавали или припоминали имя звезды парижской сцены.

Генерал Боссе, внимания и участия которого столь страстно добивалась мадам Бюрсе, оказался в кутерьме московской неразберихи довольно случайно. Незадолго до Бородинского сражения он из Парижа привёз императору портрет его сына и получил приказ остаться при Главном штабе, исполняя обязанности префекта двора в походе. Переговорив с мадам Бюрсе, мсье префект ей вполне посочувствовал, обещал помочь — и не обманул. Действительно, уже на следующий день, завтракая с императором, он рассказал ему, в каком затруднительном положе-

нии оказались французские актёры. Этот рассказ очень заинтересовал Наполеона — Боссе подал ему хорошую идею.

Приказав своим войскам войти в Москву, император Наполеон совершенно искренне полагал, что этим, собственно, война в России и закончится. Уже развивались планы обустройства древнего города для долгого постоя, превращения Москвы в главную базу Великой Армии. Предполагалось заведение торговли с местным населением, создание органов самоуправления и прочего, необходимого для жизни в оккупированной стране.

Первый неожиданный удар по планам Бонапарта нанёс страшный пожар Москвы, который начат был оставленными в городе диверсантами-поджигателями, а потом уже разросся сам собой до катастрофических масштабов. С торговлей тоже не больно ладилось. Окрестное население было напугано военными событиями, боялось иностранцев, норовивших не столько купить, сколько отнять силой. Перспективы дальнейших событий были не ясны — русские не атаквали, но и на мирные предложения не отвечали. Странная пауза, наступившая в боевых

действиях, скверно действовала на бездельничающую армию. Реквизиции, затеянные Наполеоном в сентябре, обернулись массовыми, никем и ничем не контролируемые грабежами, а подвоза продуктов не было. У рядовых солдат в карманах звенело золотишко, а на руках сияли перстни с драгоценными камнями, но при этом во всей Москве не было никакой возможности купить свежую булку.

В довершение всех бед с отрядами французских мародёров вполне успешно конкурировали шайки русских грабителей, которые выбирались из своих укрытий ночью. Всё вместе это разлагающе действовало на дух и дисциплину армии. Наполеон как опытный полководец попытался найти способ хоть как-то поднять настроение своих людей, спасти их от одиночества, которое неожиданно быстро проявилось в разорённом городе.

Ведая, как сильно на людей действуют театральные представления, Бонапарт приказал генералу Боссе принять на себя обязанность «директора императорского театра» и немедленно приступить к организации представлений в Москве.

Префект двора в тот же день отправил офицера отыскать мадам Бюссе и пригласить актёров к нему для знакомства. Аврора Бюссе представила генералу своих коллег: мсье и мадам Адне, Перроне, Госсе, Санве, Лефевра, Ламирель, мсье и мадам Андре, Перегюн, Лекен, сестёр Ламирель. Вид



*Пожар Москвы 1812 года. Раскр. грав.
1-я четв. XIX века*

служителей Мельпомены был на редкость жалок... Актёр парижского театра «Сен-Мартен» трагик Адне был облачён во фризтовую шинель, а в руках мят шапку русского ополченца; исполнитель ролей «первых любовников» Пероне украсился семинарским сюртуком и старинной треуголкой; «благородный отец» переминал босыми ногами и старался не показывать драных локтей кафтана, накинутого на голое тело, а сценический злодей и вовсе не имел важнейшей части мужского туалета — пред ясны очи префекта двора он явился без штанов, кутаясь в короткий испанский плащ. Костюмы дам были столь же скудны и едва прикрывали наготу. Лишь сама Аврора Бюрсе выглядела более или менее прилично, сохранив кое-какие наряды из числа сценического реквизита. На ней была-таки самая настоящая юбка, в которой она играла роль королевы Марии Стюарт, и красная душегрейка на заячьем меху. Голову директрисы венчал тюрбан со страусовым пером, сохранившийся от костюма спектакля «Три султана».

По приказу генерала Боссе труппе предоставили возможность привести себя в порядок. Комендант Кремля граф Дюма открыл для них все кладовые дворцов. Похожие на бродяг-оборванцев актёры рылись в старинных сундуках, разбирая наряды былых времён, поражавшие не только покроем, но и роскошью отделки. Мужчины облачились в старинные русские кафтаны, а женщины в атласные роброны, модные во времена их бабушек. Но надевать всю эту роскошь пришлось на голое тело — никакого белья отыскать так и не удалось.

262

* * *

ВАЛЕРИЙ ЯРХО

Пока актёры мылись, одевались, ели и пили, неутомимая мадам Бюрсе отправилась с порученцами Боссе искать помещение под театр. Собственно, выбирать особенно было не из чего: все московские театры сгорели. Уцелел только зал с театральной сценой в доме генерала Позднякова на Никитской улице. В былые времена в этом частном театре екатерининского вельможи играла замечательная труппа, составленная из крепостных актёров, обученных у лучших мастеров. Вся Москва стремилась попасть к Позднякову на представления. При театре содержался большой зимний сад, в котором Поздняков устраивал свои знаменитые карнавалы, являясь на них ряженным то китайцем, то турком. Один из его кучеров, здоровенный бородач, был наделён даром имитатора: укрывшись среди померанцевых кустов и деревьев сада, он услаждал слух чудесными соловьиными трелями в разгар зимы.

Былое великолепие здания пострадало, когда в начале сентября 1812 года в доме Позднякова побывали мародёры. Но главное — сцена, зал, крыша и стены уцелели. По приказу префекта и директора театра Боссе дом привели в порядок: где требовалось, подчистили, подкрасили, побелили; что нужно было, починили и отремонтировали.

Потом за дело взялась мадам Бюрсе. Занавес сшили из цельных кусков парчи, реквизированных в золотокружевных рядах, уцелевших от грабежей. Вместо люстры приспособили церковное паникадило на 170 свечей, которое перенесли в театр, сняв с потолка в какой-то церкви. Ложи задрапировали роскошными материями. Сценический реквизит был невероятно богат: до-

рогая мебель, бронзы, скульптура, украшения — всё было настоящим. Их взяли из обстановки кремлёвских дворцов и галерей Чудова монастыря, где любезный мсье Дюма предоставил свободу распоряжений мадам Бюрсе и подвизавшемуся в качестве режиссёра балетмейстеру Ламирелю.

Кроме актёров труппы Бюрсе в театр пришла водевильная актриса Луиза Фюзи и несколько любителей из числа парикмахеров, аптекарей и приказчиков модных магазинов с Кузнецкого моста. Среди солдат Великой Армии отыскивались люди, прежде служившие в театрах, умевшие обращаться с театральными машинами: оркестр был составлен из лучших музыкантов французской гвардии. Таким образом, театр был укомплектован полностью и вполне солидно. В три дня (!) подготовка была закончена, о чём Боссе и доложил Наполеону, приятно удивив императора.

Репертуар театра, возникшего среди развалин, подбирали Боссе и мадам Бюрсе. Они решили использовать пьески забористые, весёлые, поднимающие боевой дух военных людей. Для дебюта выбрали оперетку «Игра любви и случая» и водевиль «Любовник — автор и слуга».

При распределении ролей и амплуа прежде гордые и своенравные корифеи сцены были смиренны и покладисты, безропотно принимая назначения и тексты. От былых интриг, без которых не обходится ни одна труппа при раздаче ролей, не осталось и следа. Все понимали: этот театр, явленный из ниоткуда, — их единственный шанс на спасение.

Первое представление новый московский театр дал 7 октября 1812 года. Вокруг дома Позднякова «на всякий случай» были выставлены усиленные караулы, а по всей Никитской ходили усиленные патрули. Также приготовили бочки с водой, лестницы и багры: напуганным сентябрьским пожаром, устроители праздника не желали рисковать. Афиши были рукописные, и кассы не успели завести. Мадам Домерг или Аврора Бюрсе продавали билеты прямо на галерее, перед входом в зал.

В партере первые ряды были заняты солдатами Старой гвардии, у большинства из которых на мундирах красовались ордена Почётного легиона. Оба ряда лож были забиты битком офицерами всех родов войск и наций. Женщин в театр пришло немного — главным образом это были жительницы Кузнецкого моста: модистки, служащие модных магазинов, застигнутые войной в Москве, и гувернантки, оставшиеся в городе без определённых занятий. При всякой оказии публика восклицала: «Vive L'Empereur!», «Vive Napoleon!»

Дебют принёс успех — зрители долго аплодировали, кричали «Браво!». Цветы и ленты сыпались на актёров градом. Можно сказать, что затея с театром в Москве оказалась самой удачной из всего, что пытались предпринять французы и те немногие москвичи, которые согласились войти в созданный завоевателями муниципалитет. Публика валом валила в открывшийся театр! Все желающие побывать на спектаклях не помещались в здании, и потому приходилось давать несколько представлений в день.

По вечерам в театре на Никитской собирался весь армейский бомонд: являлись маршалы, окружённые адъютантами, старшие офицеры штабов и другие высокие чины. Тон задавал назначенный губернатором Москвы герцог Тавризский. Билеты стоили от рубля до пяти, платить можно было и франками; но герцог, подойдя к столику мадам Бюрсе, торговавшей

билетами, вынимал из кармана целую горсть пятифранковых монет вперемешку с русскими рублями и без счёта высыпал их на столик перед мадам директрисой. Остальные офицеры, не желая от него отстать, поступали так же; дамы едва успевали собирать и считать деньги.

Столь удачно начав, Бюссе и генерал Боссе продолжили давать весёлые пьесы с переодеваниями, пением и танцами, относящиеся к жанру «пастушеской оперетки», большим поклонником которых был сам император Наполеон.

«Мартен и Фронтен», «Шалости любви», «Открытая война», «Плохо защищаемая крепость», «Стряпчий посредник», «Проказы в тюрьме», «Притворная неверность», «Разъярённый», «Фигаро», «Три султана», «Сид и Заира»... В этих пьесах блистала звезда труппы, исполнительница ролей в амплуа «гранд кокет» мадмуазель Андре, которую осыпали овациями при каждом её выходе на сцену. Также с восторгом принимали Луизу Фюзи и комика Санве. А ещё зрителям нравился род балета «разнохарактерного дивертисмента», который ставил на сцене театра на Никитской балетмейстер Ламирель. Это были разные танцы, но наибольшей популярностью пользовались русские пляски. Их с блеском исполняли сёстры Ламирель, обе воспитанные и выросшие в России. Как писал в своих воспоминаниях Боссе, «это были настоящие русские танцы — не те, что нам показывают в парижской “Гранд-Опера”, а так, как пляшут в России».

Император Бонапарт в театр зашёл лишь однажды, когда давали «Открытую войну». Но пробыл недолго и, не досмотрев спектакль до конца, убыл вершить дела. Для его развлечения префект Боссе в палатах Кремлёвского дворца устраивал представления-дивертисменты, составленные из номеров разного жанра. Среди иностранцев, остававшихся в Москве, отыскали знаменитого певца-сопрано, итальянца Тарквиньо. Он приехал сюда из Милана и блистал на русской сцене, а кроме того, был известен в Москве как лучший преподаватель вокала певцам-дилетантам и дилетанткам.

Для сопровождения Тарквиньо отыскали талантливого пианиста Мартини, сына композитора, сочинившего оперы «Редкая вещь» и «Данино». В эту же группу артистов включили Луизу Фюзи, исполнявшую романсы. По её воспоминаниям, в присутствии Наполеона никто не осмеливался аплодировать, но Фюзи покорила слушателей, исполнив романс «в рыцарском духе», с которым прежде имела большой успех на музыкальных суаре в московских гостиных. Прежде никто из гостей Наполеона этого романса не слышал, они были поражены исполнением, что и выразили восторженными восклицаниями.

Наполеон, слушавший пение Фюзи вполуха, о чём-то переговариваясь с соседом, услышав восхищённый шумок вокруг, спросил у Боссе, чем он вызван, и, выслушав его объяснение, попросил певицу исполнить романс снова. Потом этот романс она пела каждый вечер, пока Наполеон был в Москве.

* * *

Театр, открытый в Москве по приказанию Наполеона, просуществовал только одиннадцать дней...

В середине октября командование Великой Армии приняло решение оставить город. Префект Боссе своевременно предупредил актёров и всех причастных к заведению на Никитской о том, что армии отдан приказ выходить строиться за Калужской заставой, и предложил выбор: остаться в городе или идти с армией до Польши, а там уж поступать как кому вздумается.

Все участники труппы поспешили присоединиться к обозным колоннам, не решаясь остаться из опасения мести со стороны русских. Основательнее всех в дороге собралась Луиза Фюзи. Во-первых, она, прожив несколько лет в России и помня о близкой русской зиме, запаслась тёплой одеждой: её в своё время богато одаривал меховыми шубами родной брат всесильного директора русских императорских театров Дмитрий Львович Нарышкин, обер-егермейстер русского двора (распорядитель императорской охоты). Часть своего имущества практичная мадам Луиза отправила загодя и сама выехала следом, не дожидаясь, пока дороги окажутся запружены воинскими колоннами.



*На большой дороге.
Отступление, бегство... Худ. В.Верещагин.
1887–1895 годы. Фрагмент*

Так же совсем не худо устроились мадам Филлис Андре и Аврора Бюссе, которым благоволил генерал Боссе. Вернее сказать, благоволил то префект двора к мадам Андре — несмотря на то, что был мсье Боссе уже немолод летами и имел порядочную подагру, он столь пленился глазками, маленькими ножками и пухленькими плечиками оперной примы, что совершенно недвусмысленно ухаживал за ней. Его домогательства остановил только приказ Наполеона, велевшего пожилому селадону прекратить преследование мадам Андре. Вынужденный «придержаться коней» генерал тем не менее повёл себя вполне благородно, когда речь зашла об отступлении. Он уступил своё ландо и тройку прекрасных коней в распоряжение мадам Филлис Андре, а та пригласила с собой за компанию директрису Аврору Бюссе.

Сам же генерал отправился в дальний путь в казённой карете, а для остальных членов труппы сумел добиться лишь госпитальных фур, в которые погрузились комики, трагики, простаки, «характерные», «благородные отцы» и «злодеи». Только «первый любовник» Перроне не пожелал ехать вместе с остальными и отправился в путь верхом.

Дорога хоть и оказалась очень тяжела, всё же до Смоленска худо-бедно они добрались. Но там разразилась настоящая катастрофа... Хорошенькая мадам Вертель уехала из Москвы с двумя сыновьями, будучи беременной третьим ребёнком. В страшной неразберихе под Вязьмой пропал один её сын, второй от голода, холода и усталости умер по дороге, а сама Вертель добралась до Смоленска только потому, что виконт де-Тюрен принял её под своё покровительство. Но вход в Смоленск был закрыт всем, кроме

военных, а когда обезумевшая от перенесённых страданий Вертель попыталась оттолкнуть не пускавшего её часового, тот, такой же мученик голодного отступления, в припадке ярости саданул её штыком. Раненая Вертель, сделав несколько шагов, повалилась в сани, скинула мёртвого ребёнка и умерла, изойдя кровью...

Застигшие в дороге морозы губили людей толпами. Актёрам досталось не меньше остальных — тёплых вещей большинство из них не имели. У Перроне в Смоленске увели коня, да к тому же он, обморозив ноги, не смог идти пешком. Его принесли к Боссе; генерал предложил ему денег, но в ответ Перроне закричал в приступе бессильной ярости:

— Кой чёрт мне ваши деньги! Дайте мне ноги, верните силы к жизни!

— Увы, мсье Перроне, но этого я сделать не в силах! Такое надо испрашивать у сил Высших, а я всего лишь генерал Боссе, обыкновенный смертный человек...

Всё же старик не бросил своего подопечного и исполнил директорскую обязанность, устроив обезножившего Перроне в лазаретную фуру. Но при выходе колонны из Смоленска оставшегося без присмотра «первого любовника» какие-то солдаты выбросили из переполненной повозки, впихнув на его место своего раненого товарища. Брошенный в придорожной канаве Перроне так и замёрз насмерть...

Не один только Перроне пострадал в Смоленске. Фуры, в которых ехали актёры, были реквизированы, и к Боссе пришёл мсье Адне, предъявивший претензию — как ему и его жене ехать дальше? Адне был большим докой по части ролей добрых, рассеянных простаков, но в критической ситуации он оказался сдержан, деловит и очень сосредоточен. Когда Боссе предложил актёру деньги, Адне отнекиваться не стал. Получив помощь золотыми монетками, вскоре купил повозку с конями

и поехал с женой дальше, не взяв с собой никого из товарищей.

Сам Боссе также оказался в весьма непростой ситуации: карета, в которой он путешествовал, срочно потребовалась императорскому адъютанту — этого счастливого отправляли с какими-то важными бумагами в Париж. Генералу пришлось уступить ему казённых лошадей и экипаж. С огромным трудом префект императорского двора смог купить повозку и двух кляч, которые кое-как тащились по ровной дороге. Из Смоленска генерал выехал мучимый тяжёлым приступом подагры — он лежал



После победы над Наполеоном в домах русской знати была популярна гравюра Венецианова «Изгнание французских актрис». На телеге во главе с мадам Жорж из Москвы уезжала расхристанная французская труппа.

А.Г. Венецианов. Изгнание из Москвы французских актрис. Иллюстрация из издания «Отечественная война в русском обществе 1812–1912». М., 1911–1912. Т. V.

в повозке с ногами, замотанными тряпками, сунув руки в тёплые сапоги, которые на распухшие ноги не налезали, но грели лучше рукавиц. Проехав в войсковой колонне вёрст тридцать, убогая повозка дотащилась до довольно высокой и крутой горки, которую запряжённые в неё одры одолеть не сумели. Измождённые лошадки встали, и как их ни понукал возница, с места они не тронулись. Кучер объявил, что идёт искать новых лошадей, и затем исчез, бросив беспомощного старика.

Застрявшая на дороге повозка мешала прохождению армейских фур, и обозлённые солдаты просто опрокинули её на обочину. Вывалившийся в сугроб генерал Боссе едва не свернул себе шею, с трудом сумел сесть и, растирая себе щёки едва ли не локтями, принялся взывать о помощи. Но мимо шли усталые, озлобленные люди, которым не было дела до какого-то старика с сапогами, надетыми на руки.

Из глаз префекта двора катились слёзы, которые тут же замерзали, образуя ледяную корку на щеках. Вдруг что-то знакомое привлекло внимание генерала: по дороге в повозке, купленной на деньги Боссе, ехал мсье Адне с супругой. Увидав «директора императорского театра», рыдающего на обочине, мсье Адне на ходу крикнул, что сейчас же за ним вернётся — вот только подвезёт жену до вершины.

Генерал Боссе прождал «рассеянного» несколько часов, но не дождался. Высказать всё, что он думает об этом подлеце, Боссе так и не довелось — судьба наказала Адне сама. Тот сильно обморозился в дороге, и коляска, на которой он укатил из Смоленска, ему не очень помогла — при переправе через Березину она сорвалась в реку, утащив за собой мадам Адне. Самого Адне за Березиной никто не видел: он просто куда-то пропал, исчез, растворился в русских просторах, как тысячи других иностранцев, которых занесло в Россию в недобрые времена...

Генерала Боссе спас какой-то артиллерийский канонир, который сжался над стариком и усадил его на пушку. Так, сидя на «бронзовом коне», которого всё время «пришпоривал» больными ногами, он, колотя ими по пушке и лафету, боялся, что вскоре уже не почувствует ног. Так и ехал... Впрочем, русские морозы произвели некоторым образом медицинское чудо: от обморожения ног подагра, так прежде терзавшая Боссе, совершенно прошла. Он вполне освоился среди артиллеристов и переносил тяготы похода достаточно мужественно, не подозревая, что судьба готовит ему страшную встречу с предметом его обожания.

Где-то между сёлами Красным и Лядами на колонну, с которой отступал Боссе, напал большой отряд русских партизан, располагавший собственной артиллерией. После нескольких залпов по колонне последовала атака, которую французы едва смогли отразить. Вечером, расположившись на биваке возле жаркого костра, генерал вдруг услышал, как его окликнул женский голос. Обернувшись, он увидел, как меж повозок и лагерных костров к нему идёт Аврора Бюссе, которая поддерживала другую женщину, с трудом передвигавшую ноги. Когда они подошли ближе, Боссе с изумлением увидел, что директриса московской труппы буквально тащит на себе былую любимицу петербургской публики мадам Филлис Андре!

— Во время сегодняшней атаки ядро из русской пушки подбило наше ландо, которое вы нам подарили в Москве, — торопливо рассказывала

Бюрсе. — Взрыв убил последнюю лошадь из тех троих, что были в начале пути. Починить ландо невозможно. Но это ещё полбеды! После того взрыва мы попытались выбраться из той неразберихи, которая началась после обстрела, но в самый разгар русской атаки попали под ружейный огонь, и мадам Филлис получила две раны. Сначала пуля слегка задела её плечо, но вторая пуля раздробила ногу. Ей требуется срочная помощь... Услыхав, что вы в лагере, мы стали вас разыскивать.

Выслушав этот горестный рассказ, Боссе горестно ответил, что ничем помочь не может — он сам едет с батареей по милости сердобольного канонира.

Не получив поддержки от старика Боссе, мадам Бюрсе проявила чудеса сноровки и пронырливости, добившись приёма у самого генерала Коленкура, дивизионного генерала, бывшего несколько лет перед войной посланником при русском дворе. В своём донесении императору Коленкур упоминал, что по его приказу для мадам Бюрсе и раненой Филлис Андре подобрали порожний артиллерийский ящик, в который впрягли хромую лошадь, уже не годившуюся для того, чтобы тянуть пушки. Солдаты собирались зарезать хромоножку и съесть, так что посланцам Коленкура стоило немалых трудов отнять животину, на которой Бюрсе и Андре кое-как добрались до Вильны. Оттуда они уже ехали с большим комфортом. Бюрсе отправилась в Париж, а Филлис Андре — в Страсбург для лечения. Казалось бы, самое страшное позади. Но несмотря на все усилия медиков спасти мадам Андре не удалось — она умерла от измождения и ран...

Мадам Фюзи вполне благополучно добралась до Вильны, где стала свидетельницей потрясающего зрелища: изголодавшиеся солдаты, как саранча, бросились искать съестные припасы, на улицах города царил хаос, похожий на тот, что был в Москве в те первые часы, когда в неё вошли солдаты Великой Армии!

На виленской улице Луиза Фюзи встретила девочку, потерявшую своих родителей. Мадам Фюзи забрала сиротку с собой. Она вырастила её и воспитала, хотя во Франции очень нуждалась в деньгах. Всем актёрам московского театра, сумевшим разными путями вернуться во Францию, по указу Наполеона были даны пенсии. Но после того как спустя всего два года сам император был низвергнут, выплаты прекратились, а успех водевильной актрисы всегда недолог.

История воспитанницы мадам Фюзи послужила основой драмы «Ольга, русская сирота», принадлежащей перу мсье Скриба, а приданое подросшей Ольге дали два литературных труда — гонорар за «Записки о России Луизы Фюзи» и поэма Авроры Бюрсе, изданная «в пользу пострадавших во время ретирады из России». Сама мадам Бюрсе считала, что ей сказочно повезло в том, что она сумела выбраться из России. Офицеры русской армии, вступившей в 1814 году в Париж, узнав бывшую любимицу московской публики, рассказали Авроре, что в 1812 году её долго искали простолюдины-москвичи, чтобы повесить «Бюрсиху» за святотатство. В вину ей вменяли использование «для шутовства» паникадила, парчи, предназначенной для священнических риз, и предметов монастырского обихода для сценического реквизита.

Удивительно сложилась судьба Тарквиньо, услаждавшего в Кремле слух императора. Под Вильной его захватили в плен донские казаки Платова, но певцу, можно сказать, повезло. Синьор был весьма женоподобен, и станичники решили, что он... переодетая мужчиной дама! Гладкость щёк без признаков бороды и усов, округлость форм и высокий мелодичный голос настолько ввели в заблуждение донцов, что они перердрили между собой за право обладания этой «красавицей». Победил сильнейший, который со всяческой деликатностью усадил «мадам» на свободную лошадь и увёз с собой. Как у них там дальше развивались отношения, история умалчивает, но несколько человек, после войны вернувшихся во Францию из русского плена, божились, что видели Тарквиньо на казачьих биваках, где он был окружён вниманием и самой предупредительной заботой. Вечерами Тарквиньо пел для собиравшихся вокруг него казаков, а они пытались вторить, подпевая его великолепному сопрано!

* * *

Домерг, которого судьба занесла в самую глубинку России, сумел выбраться в Европу лишь через несколько лет, и там, собрав рассказы выживших актёров, написал воспоминания о событиях 1812 года. По вполне понятным причинам мемуары «мсье Арманда» совсем не дышат любовью к России и россиянам. В особенности же много яду содержится в строках, посвящённых деятельности графа Ростопчина, которого после войны многие величали и варваром, и душегубцем, и разорителем. Но история лета 1812 года оборачивается и совсем уж неожиданной стороной — супруга графа Ростопчина, графиня Екатерина Петровна, была одной из тех, с кем так яростно боролся её муж.

Урождённая Протасова, Екатерина Петровна вместе с четырьмя своими сёстрами воспитывалась у родной тётки, сестры отца, графини А.С. Протасовой, фактически — при императорском дворе.

В 1791 году императрица сделала её фрейлиной, а ещё три года спустя, уже после смерти Екатерины Великой, Катеньку Протасову выдали замуж за любимца императора Павла графа Фёдора Петровича Ростопчина.

Первые годы семейной жизни протекли вполне счастливо, но всё это время в душе графини шла серьёзная борьба, которую она тщательно скрывала от окружающих. Екатерину Петровну возмущала покорность Православной Церкви, полностью подчинённой императорской власти, поведение самого монарха, принявшего царский венец из рук убийц отца, его покровительство разного рода сектам.

Она тайно приняла католичество.

В 1812 году, когда графиня стала «хозяйкой Москвы», а её муж, московский главнокомандующий, калёным железом выжигал «франкофильство», Екатерина Петровна втайне отдавала предпочтение французам перед русскими. Это не мешало им делить супружеское ложе, и конспирация графини дошла до того, что в 1813 году она родила Фёдору Ивановичу ещё одного сына.

Лишь после отставки мужа скрывать свою веру и убеждения Екатерина Петровна уже не посчитала нужным. Патриотизм Фёдора Петровича и большинства их общих знакомых она считала только «величайшей глупостью, плодом тщеславия и гордыни». Именно графиня Ростопчина всегда утверждала, что Москву сожгли по приказу её мужа, и объясняла этот поступок своего супруга дикостью природы графа, его самодурством варвара.

После войны многие поступки Ростопчина в 1812 году стали рассматривать совсем по-иному, нежели в то время, когда враг стоял у ворот. Ему припомнили аресты, высылки, наказания. И когда император, отставив его от должности, сделал Фёдора Ивановича членом Государственного совета, граф посчитал себя оскорблённым, подал в отставку и выехал с семьёй за границу.

Ростопчины поселились в Париже, где граф занялся литературными трудами, причём писал исключительно по-французски и книги издавал только во Франции. Столь часто ругаемые им французы приняли его вполне дружелюбно, а сам он легко «вписался» в парижские пейзажи и жизнь французской столицы. Внешне семейная жизнь Ростопчиных продолжилась, но это была лишь видимость, поддерживаемая исключительно «для соблюдения приличий».

На самом же деле после признания графини между ними разверзлась пропасть и началась настоящая борьба за детей. Мать сумела обратить в католичество и дочь, а граф, опасаясь её влияния на младшего сына Андрея, отстранил её от воспитания ребёнка.

Также Фёдор Иванович предпринял меры, чтобы не допустить Екатерину Петровну к управлению огромным состоянием семьи, которое завещал малолетнему сыну, назначив ему крепких опекунов из своих бывших соратников.

В Россию Ростопчины вернулись незадолго до смерти графа, последовавшей в январе 1826 года. Графиня, «верная фанатическим принципам католичества», даже не пришла на его похороны, свершавшиеся по православному обряду!

Сама она надолго пережила мужа. Её старый, запущенный дом на Басманной был полон приживалками, воспитанницами и католическими священниками, которым она всегда щедро жертвовала деньги на дело католической пропаганды. Скончалась графиня Екатерина Петровна восьмидесяти трёх лет от роду в сентябре 1859 года и была погребена на Введенском кладбище, на котором в Москве хоронили иноверцев.

Очаровательные актёры и прелестные актрисы... Они погибли, словно диковинные экзотические цветы, выброшенные из уютной оранжереи на обжигающий холодом снег.



ПОЛЕ КУЛИКОВО

ОСЕНЬЮ 2010 ГОДА
ИСПОЛНЯЕТСЯ
630 ЛЕТ ОДНОЙ
ИЗ ВЕЛИЧАЙШИХ
БИТВ В ИСТОРИИ
РОДИНЫ





Графика Василины Королёвой



Владимир Николаевич Крупин — известный прозаик и публицист. Родился в 1941 году в селе Кильмезь Кировской области. Блестящее художественное мастерство, виртуозное владение стилем, социально-философская острота его произведений позволяют назвать его одним из лучших современных писателей. Миссию русского художника видит в том, чтобы бороться «за воскрешение России... за чистоту и святость Православия».

Будучи главным редактором журнала «Москва», создал раздел «Домашняя церковь» — единственный до сих пор в «толстых» литературно-художественных журналах. Активно участвует в православных изданиях. Много делает для воспитания в детях любви к христианской вере — составил «Православную азбуку», «Детский православный календарь», сборник «Русские святые».

Жил в Коломне в 1978, 1980 и 1984 годах.

СВЯТОЕ ПОЛЕ

Состояние, которое испытываешь на этом поле, когда остаёшься с ним наедине, — светлая печаль. Здесь столько оборвалось русских жизней... Нет, не случайно, что битва произошла тогда, когда день равен ночи. Именно в этот день решалось, быть ли Отчизне, будет ли спасён мир. Давным-давно заметили старики, что в этот день природа повторяет то, что было в том роковом дне.

Тёплая туманная ночь переправы через Дон медленно переходит в туманное утро. Уже по эту сторону Дона князь Дмитрий и Владимир сходят с коней и слушают голос земли. «Брат, — говорит Владимир, — слышу, в татарской стороне воют волки и лисицы твякают, а в русской плачут вдовы и матери...»

Туман долго стоит над полем, скрывая подход русских войск от Дона и Непрядвы к речкам Смолке и Дубляку. Хоронится в дубовом лесу Засадный полк. Дмитрий надевает доспехи простого воина и становится в пеший строй Передового полка. На прощание, на последнее прощание, обнимаются воины, меняются нательными крестами, становятся названными братьями. «Умрем аки братья умре», — говорят воины.

По древнерусскому счёту время считалось от рассвета. В пятом, то есть потеперешнему примерно в десятом, часу передовые полки сошлись. Дмитрий знал тактику Орды — ударять в лоб и обходить на флангах, а также занимать высокое место. Главная высота Куликова поля — Красный холм занят ставкой Мамай, но сама природа закры-

ла наши фланги речками Дубяком и Смолкой. Мамай решает проломить сопротивление русских в центре, посылает сюда свою гвардию генуэзцев.

Поднимается юго-восточный ветер, осеннее неяркое солнце слепит глаза. Громадный воин, любимец Мамаю Челубей вызывает на поединок соперника.

Из наших рядов выехал монах Пересвет. В прекрасной и всем нам с детства известной картине М.Авилова «Поединок Пересвета с Челубеем» всё верно, кроме одного — Пересвет не был в доспехах, на нём была только монашеская грубоотканая рубаха. Ещё недавно Пересвет был в числе знатных брянских людей, был знаменитым воином. Легенда говорит, что он полюбил княжну и получил отказ. Дав зарок остаться одиноким, он пришёл в Троице-Сергиев посад к игумену Сергию Радонежскому и принял постриг. Перед походом Сергей благословил его и предсказал победу.

И вот — пришла минута. Они поскакали навстречу, Пересвет и Челубей...

Идёшь по полю, по тропинке среди пшеницы и ячменя, видишь, как пылит быстрый колёсный трактор, думаешь, почему не оставлено поле в том виде, когда на нём росла горькая серебристая полынь и блестящий ковыль? Уж не пообедем мы, если десять гектаров хотя бы того места, где был поединок, где погиб Пересвет, убивший Челубея, где началась битва, останется незасеянным.

...Смят Передовой полк, ранен Дмитрий. Вошёл в битву Большой полк. Подрублен княжеский стяг, Мамай вводит всё новые тысячи в бой. С дикими, звериными криками, разжигая себя, несутся татарские конники.

274

«Час настал. Дерзайте!» — скомандовал князь Боброк. И застоявшиеся, дрожащие от ожидания кони вынесли ратников. Ударили, отеснили от Дона ордынцев и, заворотив туда, откуда они пришли, погнались. Увидел это



Сергей Харламов. Поединок Пересвета с Челубеем



*Сергей Харламов. Князь Дмитрий
Донской*

Солнце стоит, как и стояло тогда, над огромным полем, освещает его бескрайность. Ускакал в погоню Засадный полк, а оставшиеся впервые увидели весь ужас и кровь — цену победы. Павшие тела грудились, «как сенные стога», говорит летопись. Кровь, сливаясь в ручьи, густая, стекала в низину Непрядвы и Дона.

Дмитрия нашли под деревом. Думали, мёртвый, и, кинувшись на колени, слушали сердце. Не услышали. Тогда, торопясь, разрезали ремни, сняли доспехи и увидели — вздохнула грудь под белой нательной рубахой.

К вечеру вернулась погоня. Владимир Серпуховской и Дмитрий объехали поле. «Непрестанно плача», то и дело сходили они с коней, прощаясь с братьями. Тело Пересвета укрыли знаменем. Первые горестные распоряжения отдавал Дмитрий: собрать и лечить раненых, считать погибших, утром хоронить их, делать часовню на месте захоронения. Не дожидаясь утра, поскакали в Москву гонцы. Победа!..

Приходит ночь на поле, приходит луна на смену солнцу, и снова светло, будто природа силится помочь представить, как было в ту первую ночь, как разжигали костры, как стонали раненые.

Печально и одиноко в лунную ночь на поле. Холодно. Костерок прозрачен при луне, скоро прогорает. Ищешь сухие ветки, шарить руками в мокрой траве, отходишь всё дальше от тепла, от света. Пламя всё меньше, кажется, чьи-то тени подходят к огню...

Наутро иней. Воины уже не делятся на дружины по княжествам, а превращаются в мужиков, землекопов и плотников. Зелёная дубрава, укрывавшая Засадный полк, теперь служит горестную службу — отдаёт деревья на часовню, кресты на надгробия. Походные повозки превращаются в погребальные дроги. Из потревоженных тел снова струится кровь.

Мамай. Вскочил на арабского скакуна, кликнул охрану и поскакал. Мог бы Мамай, как Дмитрий, встать простым воином в свои передовые полки? Кто знает? Не встал. Могли бы русские князя бросить поле битвы и бежать, как убежал Мамай? Не побежали!

В маленьком музее в левом притворе храма-памятника экскурсовод К.М. Алексеева говорит: «После удара Засадного полка произошёл перелом в битве, появление свежих русских сил поразило врагов. И они, как говорит летопись, “розно бегоша неготовыми дорогами”».

Два солдата, два молодых парня, рассматривают доспехи, тихонько толкают друг друга — хочется примерить. Откуда эти парни? Вот и в них от этого часа будет отзвук Куликовской битвы. Он, слабее или сильнее, в каждом из нас...

Все летописи повторяют страшную фразу: «Дон-река три дня кровью текла». Уходила кровь к Чёрному морю, шла как грозное напоминание хищным кочевым племенам о том, чтоб заклились нападать на Русь.

...Восемь дней хоронили братьев, «восемь дней стояли на костях». Так же начинались холодные дожди, так же мочили они часовню, которая, простояв несколько веков, разрушилась. Потом был поставлен вот этот храм, каменный, и он успел состариться, и дождь беспрепятственно летит сквозь его ржавый купол. Бездомное семечко берёзы приютилось и проросло, но не место здесь деревьям — зачахнет. А сколько надписей, сколько царепин на кирпичках — «Ижевск», «Липецк», «Елец», «Магнитогорск», «Новосибирск»... К 600-летней годовщине битвы этот храм отреставрирован.

...Вслед за машиной перешёл маленький Дон по мосту. Отошёл в сторонку и сел. И то ли задумался, не заметил, то ли он так тихо подошёл — оказался вдруг рядом старик. Я спросил его:

— Здесь была переправа?

— В какую войну? В эту? А-а, когда татары? Не совсем здесь, но доска была здесь, я устанавливал. А теперь нету — пропала куда-то. А вы по какому делу сюда?

— Пройду через бывшую переправу, потом в гору, в Монастырщину, туда, где убитых похоронили...

— Ты знаешь чего, парень, — серьёзно сказал старик, — чего-то я не помню, чтоб в Монастырщине могила была.

— Она там. В книгах записано, что хоронили у устья Непрядвы, там стояла часовня, потом эта церковь (нам виден был купол храма в Монастырщине), но где именно — мы не знаем. Триста тысяч похоронено.

Рассказал старику, что тело Пересвета было привезено в Москву и отдано земле в ограде Старо-Симонова монастыря. И была памятная доска. Но получилось, что забыли место захоронения, застроили доску и только при Екатерине, через четыре века, ремонтировали церковь и обнаружили надпись. Сказал и о том, что к 600-летию был открыт доступ к могиле Пересвета...

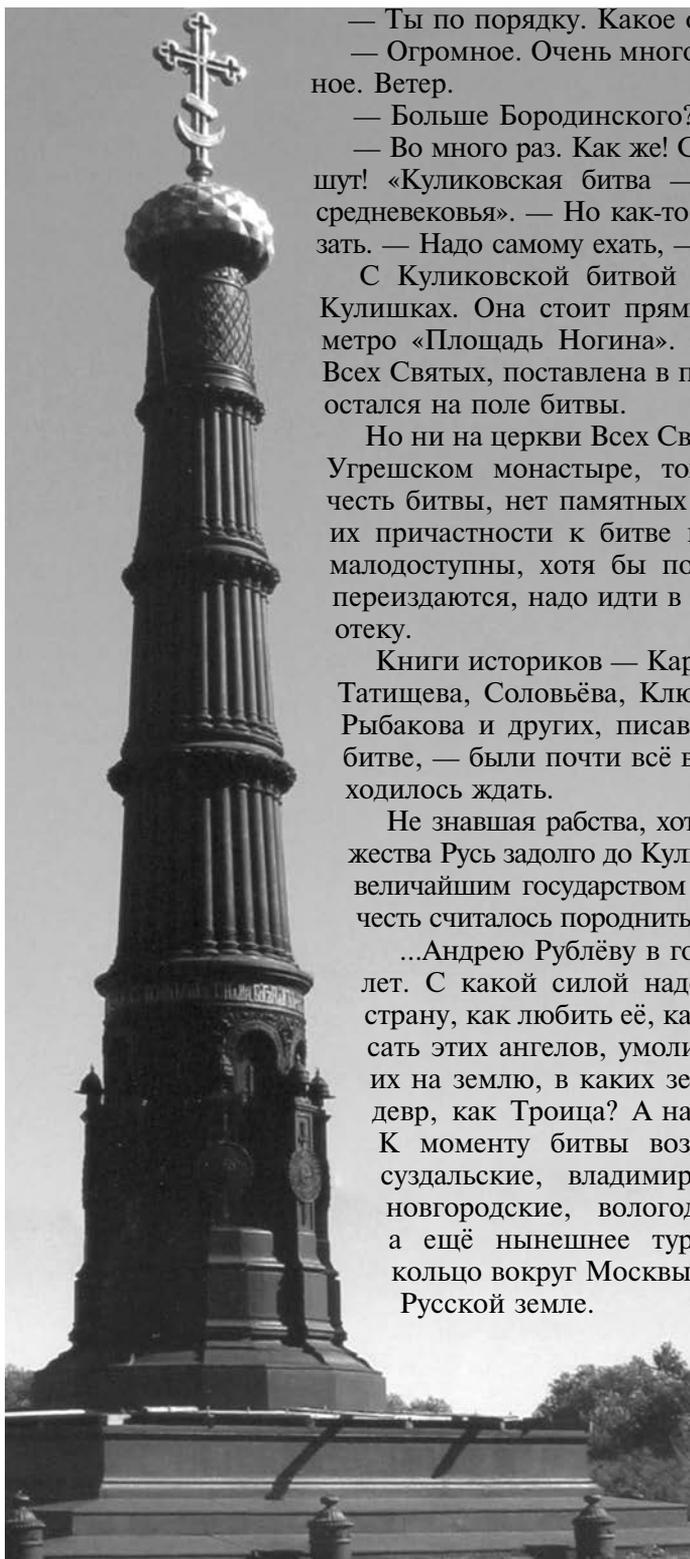
Пешеходный мостик напротив Монастырщины снесло, и я разулся и ступил в быстрое течение. Вода была холодной, чистой, только сверху много несло утиных перьев. Конечно, тогда Дон был поглубже, по грудь, по горло, не меньше. А обсушиться было негде, нельзя было разводить костры.

После ледяной воды горели ноги. Я побежал, но увидел ромашки и стал собирать. Когда пришёл наверх, к храму, то куда их было положить? Где я стоял? Может, на могиле и стоял? Положил ромашки на упавшую чёрную берёзу...

Но когда вернулся на Красный холм, к памятнику Дмитрию, пожалел, что оставил букет, надо было принести сюда. Низкое солнце золотило надпись: «Князю Дмитрию Иоанновичу Донскому признательное потомство. Лета 1848-го...»

Сквозь заднее запylённое стекло местного автобуса ещё долго виднелись памятник и голубые главки храма Сергия Радонежского.

Когда вернулся домой, хотелось рассказать о поле, но как-то не получалось. Хотелось сказать главное, важное, но главным было всё.



— Ты по порядку. Какое оно?
— Огромное. Очень много земли. Небо огромное. Ветер.
— Больше Бородинского?
— Во много раз. Как же! Смотри, историки пишут! «Куликовская битва — крупнейшая битва средневековья». — Но как-то не выходило рассказать. — Надо самому ехать, — виновато сказал я...

С Куликовской битвой связана церковь на Кулишках. Она стоит прямо у выхода станции метро «Площадь Ногина». Церковь называется Всех Святых, поставлена в память тех, кто навек остался на поле битвы.

Но ни на церкви Всех Святых, ни на Николо-Угрешском монастыре, тоже поставленном в честь битвы, нет памятных досок, и узнал я об их причастности к битве из книг. Книги эти малодоступны, хотя бы потому, что почти не переиздаются, надо идти в специальную библиотеку.

Книги историков — Карамзина, Щербатова, Татищева, Соловьёва, Ключевского, Лихачёва, Рыбакова и других, писавших о Куликовской битве, — были почти всё время заняты, и приходилось ждать.

Не зная рабства, хотя и разбитая на княжества Русь задолго до Куликовской битвы была величайшим государством Европы. За великую честь считалось породниться с ней.

...Андрею Рублёву в год битвы — двадцать лет. С какой силой надо было мучиться за страну, как любить её, как знать, чтобы написать этих ангелов, умолить небеса отпустить их на землю, в каких землях есть такой шедевр, как Троица? А наши великие храмы? К моменту битвы воздвигнуты киевские, суздальские, владимирские, костромские, новгородские, вологодские, белозёрские, а ещё нынешнее туристическое золотое кольцо вокруг Москвы... Всё уже стояло на Русской земле.

Мемориальная колонна в честь Дмитрия Донского на Красном холме Куликова поля. Архитектор А. Брюллов. 1850 год

«О светло светлая и красно украшенная земля Русская! И многими красотами дивишь ты: озёрами многими, дивишь ты реками и источниками местнотчимыми, горами крутыми, холмами высокими, дубравами частыми, полями дивными, зверьми различными, птицами бесчисленными, горами великими, сёлами дивными, садами монастырскими, домами церковными и князьями грозными, боярами честными... — всего ты исполнена, Русская земля...»

...Князь Дмитрий Иванович Донской был первым из русских князей, отказавшимся перед смертью принять схиму, то есть постричься в монахи. Почувствовал приближение смерти, призвал к себе бояр и священников и велел писать духовное завещание. Призвав к себе детей и жену, Дмитрий наказал им быть дружными, слушаться матери, заботиться о счастье России.

А один из лучших наших историков — Николай Карамзин так завершает свой рассказ о времени Куликовской битвы:

«Человек, преодолев жестокую болезнь, уверяется в деятельности своих жизненных сил и тем более надеется на долголетие: Россия, угнетённая, подавленная всякими бедствиями, уцелела и восстала в новом величии».



ХРОНИКА

Символ веры — символ памяти

В день памяти святого благоверного князя Дмитрия Донского над Девичьим полем, где летом 1380 года состоялся смотр русского воинства, вознёсся поклонный крест. Такими знаками на Руси издревле отмечали значимые для нашей истории места.

Из тех незапамятных времён почерпнули и символу подъятия креста. Основная сила во главе с блистающим на солнце духовенством — Коломна, с двух сторон, ошуюю и одесную (по левую и по правую руку), придерживали верёвками крест Рязань и Кашира, сзади страховал Зарайск. С первого раза не пошло дело, только на второй раз поклонный крест поднялся над полем во все свои семь метров.

— Слава Богу! — выдохнула рядом матушка и улыбнулась малышам, ухватившимся за верёвку со стороны Каширы. — Молодцы, хорошо тянули!

— Меньше месяца прошло с того дня, как я пришёл к отцу Владимиру Пахачёву с предложением освятить это историческое место, — рассказывает Александр Борисов, местный житель. — Я думал сначала о часовне, но благочинный напомнил о традиции поклонных крестов на Руси. На том и порешили.

— Заботы эти благодатные, — поддерживает Александра и отец Игорь Тарасов, под чьим руководством изготавливали и поднимали крест, — и все деньги (а собирали на крест всем миром) вернутся жертвователям сторицей.

Издалека виден теперь возвышающийся на крутом берегу Оки простой деревянный крест, без изысков и украшений, не произведение искусства и фантазии скульптора, а символ веры и былых ратных подвигов.



Владимир Геннадьевич Дагуров родился в 1940 году в городе Нальчике. В 1963 году окончил Свердловский мединститут. Кандидат медицинских наук. Переехав в Москву, тринадцать лет преподавал в мединституте им. Сеченова. Потом поступил на Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А.М. Горького, которые окончил в 1985 году и сделал выбор в пользу литературного творчества.

Его поэзия динамична, предельно обнажена, привлекает свежестью, искренностью чувств. Более двадцати книг стихов и прозы вышло у В.Дагурова в разных городах России.

Постоянный автор «Коломенского альманаха».

Владимир ДАГУРОВ

«БУДЕМ, БРАТИЕ, БОРОТЬСЯ!»

I

В чистом поле гром гремит —
в Радонеже молятся.
В чистом поле гром копыт —
скачут добры молодцы.

Поклонились до земли
перед белой церковью:
— Мы Димитрия послы,
есть письмо до Сергия.

Сергий бел, как колокольня.
Взял берёсту — сердцу больно.

II

В узкой келье мерцает лампада.
Борода на груди, как лопата.
На груди две руки в перекрёсте.
Черны вести на белой берёсте.
Точно дятел долдонит в мозгу:
Мамай — на Москву...

Стал угрюмым
гуманный игумен:
жил в молитвах да мире, —
просит вражеской крови Димитрий,
просит Божьего благословенья.
Сергий знает — такое уж время!

А по стенам табунится
рать нечистых агарян.
Точно солнце сквозь бойницы,
очи Сергия горят.
Седовласый и поджарый,
он страшон.



*Сергей Харламов.
За землю Русскую*

IV

А Ослябя, брат меньшей,
силою не вышел,
но с весёлою душой —
оттого и выжил.
Балалайка — трень да брень!
Песня льётся звонко.
На него через плетень
зарится девчонка.

Но мирская суета —
вроде подаянья.
И Ослябя у Христа
снова в покаянье.

Вот ведь русская душа:
в зубы как ни били,
сплюнет кровь и — ни шиша! —
будто вновь родили.

Улыбается опять,
говорит: «Не выйдет!»
Это татю не понять.
Это надо видеть.

А увидит — обомрёт:
«Чудеса, и только!»
Воевать такой народ —
никакого толка.

V

Пересвет и Ослябя пред Сергием
объявились вдруг оба-два,
и старшой с превеликим усердием
произнёс таковые слова:
«Внемли, Сергей, отец преподобный,
быть тобою я понятым тщусь:
я и брат мой единоутробный
порешили сражаться за Русь.
К князю нас отпусти из обители
и на подвиги благослови:
слишком родину крепко обидели,
слишком пролито много крови.
— “Не убий!” — благочинствует разум,
но завету я не изменю,

коль монашью пречистую рясу
на шелом и кольчугу сменю».
Сергий молвил неспешно и грустно:
«Как сынов вас обоих люблю,
только Русь не останется Русью,
если вас я не благословлю».

VI

Князь великий Димитрий
был умён и удал:
не секирой да митрой
Русь держалась — он знал!

Держат Русь её смерды —
кто им там ни грози —
всею жизнью и смертью,
всей любовью к Руси.

Князь в злачёной кольчуге
пал под иконостас.
Молит Бога о чуде —
чтоб от врага спас.

Свет стрельчатый, оконный.
На колени склонясь,
смотрит князь на иконы —
тихо ахает князь.

Там,
в парении музыки
смотрят с царских ворот
не апостолы-мученики,
а кожевники,
мучники,
оружейники,
лучники,
землепашцы да крючники,
водовозы да ключники —
смотрит русский народ!



Сергей Харламов. Молитва перед боем

VII

А в Москве на площади
взмыленные лошади
из мешка овёс не жрут —
машут гривами да ржут.

Парень точит лясы, точит
топоры для татарвы,
и стреляют его очи,
точно стрелы с тетивы.

Эй, народ, объединяйся!
Принимай давай, Москва,
герб владимирского князя —
геральдического льва.

Рать. Хоругви. Трубы. Бубны.
Отворяй врата для нас!
Князь у нас, как буйвол, буйный,
а дружина — точно князь.

Конно... пеше... — землепашцы.
Вся Москва в колоколах!
Все дружины, точно пальцы,
собираются в кулак.

Гомонят у бочки ратники
и в похмелье круговом
мёд ядрёный пьют из братины,
заедают рукавом.

Густобровый и красивый,
Кто-то оземь шапку, пьян:
«Как колосья мы косили,
так покосим агарян!»

А гусяр блестит белками,
шепчут струны-ковыли,
как победы за Балканы
Святослава увели.

Х

Татарская конница — слава Мамаю! —
не зря ты копытной грозой гремишь!
И русские ратники,
копья ломая,
под конницей
клонятся,
словно камыш.
Рогатиной,
сулицей¹,
пикой
дерутся,
чем меньше числом,
тем лютей и лютей
дружины московских,
владимирских,
друцких,
псковских,
белозёрских
и тульских людей!
В пролом устремились три новых тумана²,
три свежих тумана несутся в объезд.
От конского ржання,
от воплей гортанных
деревья и травы поникли окрест.
Уже агаряне вкушают победу,
и, выпустив княжьего стяга древок,
в доспехи Дмитрия переодетый,
с гнедого упал воевода Бренок.
И над воеводой,
над знаменем княжьим
тугарин хохочет и пляшет, страшон.
А князь невредим.
Князь Дмитрий — он в каждом,
и, видно, бессмертен поэтому он.
О русичи,
там, за плечами, Непрядва.
Вся Русь за плечами —
печали и боль.
Неужто проиграна битва?
Неправда! —
Засада врывается из лесу в бой!
Мамай на коня, утрашённый, уселся.
Мамай восклицает:
«Велик же их Бог!»

¹ Род копья.

² 10 000 воинов (*там.*).

А Бог-то — любовь, затаённая в сердце,
как этот в бору затаившийся полк!
Бежали ордынцы —

проиграна сеча!

Летела погоня, как буря, грозна!
И речка с названьем Красивая Меча
была от пролившейся крови красна.

XI

Кровавым паром от земли
восходит марево зари.
Лежат вповалку воины,
над воинами — вороны.
Ослябя, бледен,
непокрыт,
с недвижимым братом говорит:
«Прости, что ты убитый.
Прости, что я живой.
Мне жизнь как панихида
али собачий вой...
Сокрылся белый свет.
Спи, братец Пересвет».
Он вдруг замолк.

Ему почудилось —
внимает Пересвет, прищурившись,
и не убитый, а усталый
в ответ чуть шевелит устами:

«Живи,
живи, Ослябя,
но за двоих живи,
Москва чтоб не ослабла
от пролитой крови».
Его целует в лоб Ослябя.
В душе бесстрашие и грусть.
Встаёт,

облокотясь о саблю,
на Куликовом поле
Русь...



Сергей Харламов. Смерть пахаря

Эпилог

Две крови во мне бурлят —
витязи и батыри.
По отцовой я — бурят,
русский я — по матери.

Мои пращуры, вы там,
где вражда-недоля
развела вас по краям
Куликова поля.

Узкоглаз и желтокож,
был свиреп мой предок.
В зубы вкладывая нож,
был он хану предан.

Над пожарами в ночи
в воздухе плясали
и свистящие камчи
и кривые сабли.

Пересвет и Челубей —
мои предки оба.
Двух сторон богатырей
губят гнев и злоба!

И за все недоли мстя,
дани и неправды,
наполнялись кровью Мста,
Калка и Непрядва!

Шесть столетий кости сея,
кровью поливая,
возникла ты, Расея —
страна полевая.

Знала русская душа,
расправляя плечи:
жить, свободою дыша —
жить по-человечьи.

Тем, Расея, велика,
что, голубоглазая,
ты не смотришь свысока
на любую нацию.



Сергей Харламов. Летописец

Кровь и боль в сырой земле,
нет, не похоронены —
просыпаются во мне
ощущением родины.

Моя родина — Байкал,
и речушка тульская,
и бурятская тайга,
и берёза русская.

Я живу — и весь тут сказ —
и мой мир не тесен.
По-бурятски я скуласт
И по-русски весел.

Два народа — брату брат,
оттого-то именно
по фамилии — бурят,
русский я — по имени.

Две крови во мне бурлят —
витязи и батыри.
По отцовой я — бурят,
русский я — по матери.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Семьдесят смешинок Дагурова

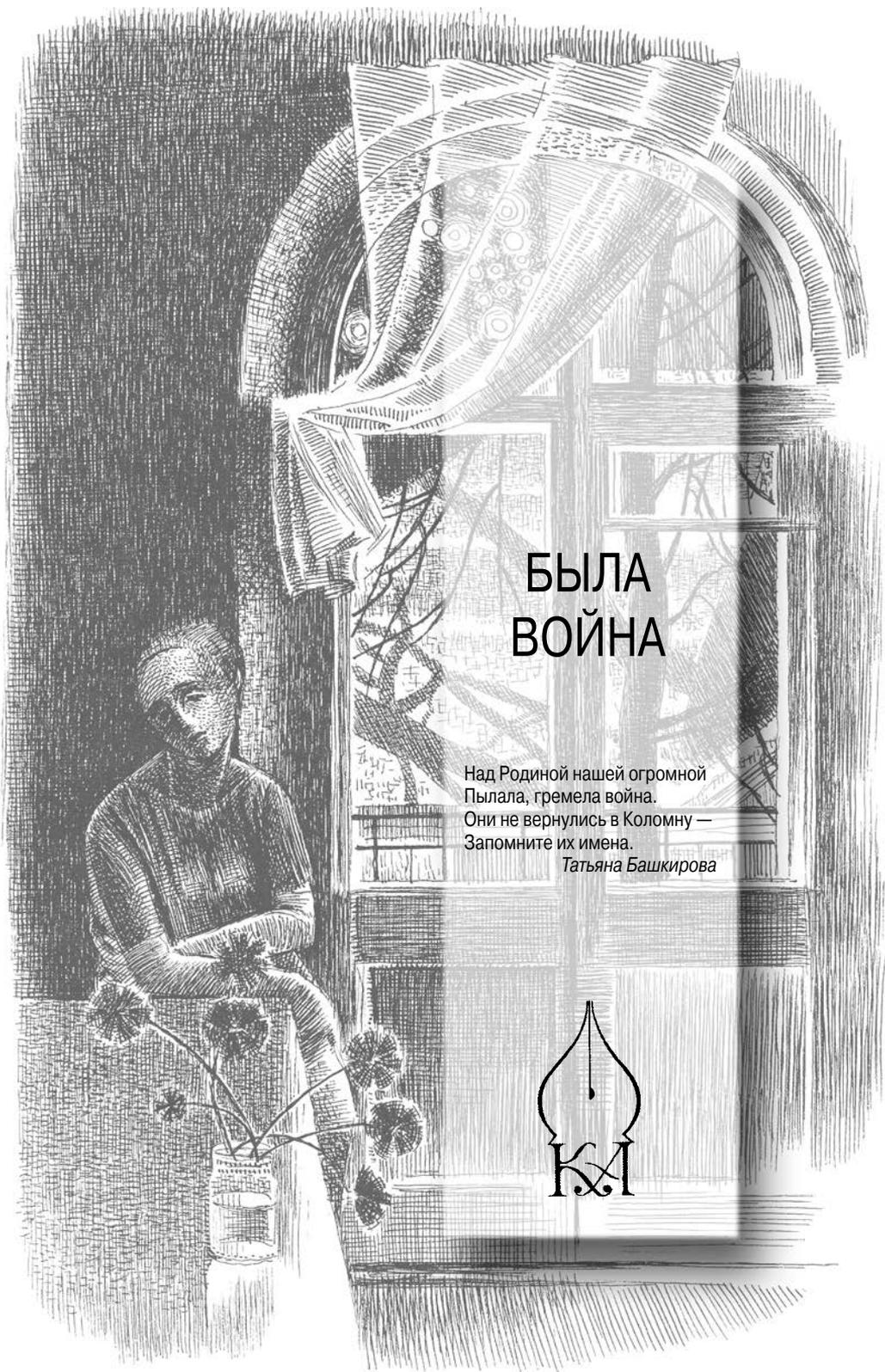
Владимир Дагуров обладает чрезвычайно редким и весьма ценным даром — отменным чувством юмора. Для коломенской литературной традиции это не новшество — вспомним мягкую насмешку Лажечникова, желчную иронию Пильняка и Гилярова-Платонова. Юмор Владимира Дагурова иного характера — взрывной, искрящийся, он алмазными россыпями украшает страницы его стихов и прозы.

Это не значит, что он не владеет «серьёзными» жанрами. Но главное сокровище Владимира — его улыбка. От её света молодеет и обновляется Коломна. Семьдесят лет нисколько не сказались на облике поэта. Дагуров врывается в город, словно фейерверк, — и вокруг него сразу становится светлее и радостнее.

Медик по профессии, он открыл новое направление в науке врачевания — фармакологию смеха. А коломенской литературе, да и всем коломенцам, — без неё не обойтись!

Владимир Геннадьевич! Оставайтесь всегда таким, как сейчас!

Коллектив редакции



БЫЛА ВОЙНА

Над Родиной нашей огромной
Пылала, гремела война.
Они не вернулись в Коломну —
Запомните их имена.

Татьяна Башкирова





Графика Василины Королёвой

Виктор КАМАЕВ



Виктор Васильевич Камаев родился в 1954 году в г. Богородицке Тульской области. Окончил Московский авиационный институт, Высшее художественное училище (Строгановское), Академию МВД СССР.

С 1973 года занимается поисковыми работами на местах боёв Великой Отечественной войны. Командир поискового отряда «Взвод».

Виктор Камаев — мастер художественнойковки. Его работами украшены мемориальные доски Коломенского Посада.

Киноповесть «Кому нести печаль свою?» — первая публикация автора.

КИНОПОВЕСТЬ

КОМУ НЕСТИ ПЕЧАЛЬ СВОЮ?

Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества.

Ф.М. Достоевский

Начало сентября 1947 года. На небольшой неасфальтированной площади районного центра стоят по трём сторонам торговли — женщины в платках, цвета в основном чёрные. Прямо на земле расстелены обрывки газет, у кого какие-то тряпицы, у кого дощечки. Торговали всем, что только можно было достать в те времена, когда промышленность ещё только вставала из военных руин. А в этом городке и до войны-то промышленности не было. Свой хлебозаводик, обеспечивающий хлебом райцентр, деревни и сёла вокруг. Работал ли он теперь... Да ещё кое-какие конторы, по заготовкам то ли дров, то ли сена. На площади были сделаны дощатые прилавки с дощатыми же навесами. Но их на всех не хватало. Вот и ютились торговки по периметру.

Егорыч не стал ходить по площади, притулился к одному прилавку. Достал из своей котомки ломоть хлеба и луковицу. Луковицу, не очищая, разрезал пополам, одну половину убрал в котомку, а вторую мелко порезал и стал есть, заедая хлебом, отламывая от ломтя небольшие кусочки. Одет он был опрятно, хотя по запялённым брезентовым сапогам было видно, что протопал много. Ватник, простые брюки, рубашка сатиновая, кепка. По внешне-

му виду было трудно определить, кто, что и откуда прибыл в этот городок — так одевалась вся страна.

Вдруг к нему подошла женщина в годах. В чёрном платке, в чёрном же жакете, чёрной юбке, таких же чулках и кожаных чёрных ботинках. Лицо кроткое, чистое. Взяла Егорыча за руку.

— Не встречал ли моего Ваню Белова на войне? Всё никак не вернётся.

Егорыч оторопело посмотрел на женщину, но руку не выдернул.

— Нет, не довелось.

— А после войны не встречал?

— И после не довелось.

Женщина отпустила руку и пошла вдоль рядов. Торговка из-за прилавка, где стоял Егорыч, объяснила:

— Как нового увидит кого, так про Ваньку своего спрашивает. Каждый день приходит. Чем только живёт?.. Ты сам-то откуда здесь? Что-то раньше не видели тебя.

— А ты что, всех тут знаешь?

— А что же, мужиков мало, все наперечёт, все на виду.

— Да вот домой иду. С сорок первого.

— С войны, что ли?

— И с войны тоже.

Завязав котомку, Егорыч пошёл с площади. До его деревни, до роднины было ещё километров сорок. Хотелось добраться засветло. Эх, достать бы табаку на дорогу. Остановился у женщины, торговавшей табаком. Денег с собой не особо. Поменять тоже нечего. Постоял, посмотрел. За посмотри денег не берут.

— Ну что всё смотришь? Насыпать тебе?

— Да что ж. Было бы за что, сам бы спросил.

— Да давай уж насыплю. Хоть и не покупной ты, а всё же мужичок. Оговаривать нельзя. Бери уж так. Может, торговля пойдёт.

Насыпала Егорычу стакан табаку. Завернула в газетный кулёк. Егорыч неуютно сжался, причмокнул губами, не зная, как её благодарить. Кивнул и пошёл быстрым шагом. За дорогу до дому табачок-то выручил его многократно.

Дорога в основном была лесная, редко выходила на открытое место. Да и видать было, что в последнее время ею редко пользовались. В основном пешие да на телегах редко. А с полдороги и совсем нехоженная. Обратив на это внимание, особо не удивился. Проходя через две деревеньки, увидел, что домов-то раз-два и обчёлся. Кому ходить? Пovýбивало, видать, здесь народу.

Уже к полудню спустился в низину. Заволновался. Осталось на взгорок подняться, и вот она, деревня, дом родной. Последние годы всё это ему не раз виделось то в бреду, то во сне. А поднялся — не узнал. Домов и не было. Стояли кое-где остовы изб, где сруб бани, где сарай уцелели, а изб-то раз-два и обчёлся. Во как. Как рот шербатый, где густо, где пусто. Но свою избу узнал. Хоть и не совсем похожа на жильё, но в основном цела. Окна выбиты, дверь на одном навесе, крыша провалена, дранка послетала, изгороди нет, на месте двора — угли. Запустение. Людей нет, и давно.

Это обеспокоило больше всего. Зашёл в избу. Пусто. Даже осматриваться не надо, и так всё видно. Не жильё. Несколько лет уже здесь никого не бывало, раз печь развалилась, пол прогнил. На полу обрывки заплесневелого тряпья, стола, лавок нет. Припомнил, что где стояло до войны. Кровать их с Ольгой за занавеской, стол в углу справа от двери, печь побелённая, всегда ухоженная, чугуны в загнетке, ухваты и всякая кухонная утварь, полка с посудой.

Закатное солнышко заискрилось в паутинках осени в проёмах пустых окон. Даже и птиц чего-то не слышно. Вроде ещё не улетали. В проёме окна увидел избу с дымком над трубой. Заегозился, скинул котомку, гвоздя на стенке не нашёл, бросил на подоконник, на пол побрезговал, и заспешил к избе с дымком. По пути остановился у колодца. Колодца как такового нет. Сруб повален. Но вода есть. Набрать нечем, ворота нет, запах из колодца затхлый. Подошёл к избе с дымком из трубы. Раньше тут жил Семашин Василий, крепкий мужичок.

Из избы, как ждала, вышла бабка. Незнакомая как бы. Спросил напиться. Получилось — как путник, напьётся и уйдёт. Бабка вынесла воды в солдатском котелке. Попил. Вода всё ж вкусная, свойская, хоть и не холодная, как он любил. Бабка всё это время его разглядывала да чего-то ждала. Заговорила первая:

— Егорыч, ты, что ли?

— Я, — немного суетливо-смущённо ответил Егорыч. — А тебя-то не признаю.

— Дуняха я, Донька Семашина, неужтоль совсем плохая? Аль не признал?

— Дак не видались сколь.

— Так ты ж откель? Уж и похоронили тебя давно, и Ольга твоя померла.

Уж чего он не хотел услышать, так именно это. Осмотрел изгородь. Столбы аккуратно накрыты нашими солдатскими касками ещё в краске, на некоторых есть ремешки. У крыльца тоже каска, стоит как миска с водой.

— Дак вот выжил. Долго шёл. С сорок первого.

— И где ж ты?..

— Да везде успел. Места вот только не нашёл.

Если Ольга померла, как сказала Дуняха, так где ж Кольша, сын? Чего ж не скажет?

— А что, в деревне-то много народу?

— Да где ж много. Вдвух мы тут. Я да Анисья Старыгина. А боле и нетути. Никто не объявляется. А где кто, кто знает. Вот ковыряемся как можем.

В сердце защемило. Значит, и Кольша сгинул, раз Дуняха не говорит ничего.

— Да что ж стоим-то. Иди в избу.

Сама ступила на крыльцо первая. Дверь в дом была растворена.

— Заходи в дом-то. Можа, с тобой теперь и вертаться к нам начнут.

Егорыч ступил на крыльцо. Доски скрипнули радостно, как показалось и Доньке и Егорычу. И Донька сморгнула как-то смущённо и обрадованно, даже появилось подобие заискивающей улыбки в уголках губ.

Зашли в избу. Хоть и разорение, но чистенько, всё необходимое есть. Стол, лавки, печь тёплая. На печи один чугунок и два котелка. В чугунке картошка, в котелках не видно чего, но запах в избе вкусный.

Дуняха стала ставить на стол. Егорыч рассматривал её, присев у стола на лавку. Стоптаные солдатские ботинки, кожух, который она ещё так и не сняла, шит в закраинку из шинельного сукна, под кожухом солдатская нательная рубаша, юбка не поймёшь из чего.

— А что, хозяйство-то не работает, колхоз-то?

— Дак кому ж? Да и в наши даля теперь ни пройти, ни проехать.

Дуняха подала Егорычу котелок, как оказалось, с пшённным концентратом. Есть хотелось сильно. Последние годы всегда хотелось есть. Дала ложку-вилку. Немецкая, складная. Поставила картошку в чугунке, откуда-то грибы, яблоки. Хлеба не было на столе. Егорыч поел спокойно, медленно, не жадно, хотя последний раз ел в районе хлеб да лук и протопал сорок вёрст.

— Закуска-то, вишь, есть, а запить нечем. Вдвоём мы с Анисьей, вроде нам и ни к чему. Хлеба вот, вишь, тоже нет.

Егорыч разламывал картофелины и поедал их «с мундиром», заедая ими концентрат, как хлебом. Подала в кружке завар с запахом зверобоя и чабера. Завар на цвет аж медный, крутой. К кружке положила хороший кусок сахара. «Во как. Хлеба нет, а сахар есть», — про себя недоумевал Егорыч.

— Дак вот Анисья-то в лесу. Уж должна приттить. А нету. Можя, чего поись поберёт.

— За грибами, чё ли?

— Дак может и грибов будет.

Егорычу всё не терпелось узнать про сына, да сам боялся спросить. Уж пусть Дуняха начнёт. Чему быть, тому быть. Дуняха заметила его беспокойство, да не поняла, с чего. Сама заговорила. И новостей хотелось узнать, и про судьбу Егорыча, а то ведь уж толком-то и поговорить было не с кем, она да Анисья.

— А вот и Анисья!

В избу вошла крепкая, не в пример Дуняхе, женщина с корзиной и дерматиновой сумкой, шитой крупным стежком в закраину.

— Охы, кто ж ты? Откель гости-то?

— Дак Егорыч вот объявился. Я-то сразу его признала. Ольги Кучматовой.

— Дак, сказывали, помер он на войне.

— Дак вот не помер, — отозвался Егорыч.

— От-те радость-то. И целый?

— Целей не бывает, — заверил Егорыч.

— Надо ж. А вот Ольга-то не дождалась. Сгинула в лесе. Третий год уж. А Колька-то твой жив.

У Егорыча аж по всей спине до затылка мурашки пробежали.

— В примах он в Добринке.

— Какой в примах, ему щас четырнадцать едва.

— А что ж, мужиков-то нет.

— Кормится он там, — зауспокаивала его Анисья.

— У кого ж?

— Дак Епифаныча, можа, помнишь в Добринке. Девка у него от дочки осталась, уж шестнадцатый поди пошёл. Хозяйство своё как-никак поставил после немцев-то. Один он там, боле нет никого.

— Дак, как Ольга-то сгинула, он-то, Епифаныч, её в лесе и нашёл, привёз на полозьях, похоронил. А Кольку к себе взял. Вот изба-то твоя и пустая. Дак у всех щас пустая.

— Я-то ведь тоже свою всё лажу, да никак. Мужиковых рук нету. А сама, что я. Да и взять ничего негде. Всё в лесе.

Анисья поглядела на Дуняху. Та вроде кивнула ей. Анисья стала доставать из сумки банки, какой-то свёрток из тряпицы. Банки навроде тушёнки солдатской. А в тряпице комки и крошки.

— Ну, вот и хлебушек. Завтра уже подпеку. А то всё всухомятку. И поедем. Я-то находилась, тож голодная.

Анисья повернулась и вышла в сени. Пришла быстро. Из-под жакетки достала фляжку, немецкую.

— Вот и шнапис.

Дуниха налила содержимого из фляжки в три разнокалиберные кружки. Анисья, видно, хотела снять жакетку, да застеснялась Егорыча. Под ней была такая же, как у Дунихи, солдатская нательная рубаха. В жакетке присела за стол. Выпили. Анисья стала есть.

Егорыч поблагодарил баб, поднялся, чтоб их не смущать, и пошёл к двери.

— Куда ж ты? Уж оставайся, где ночевать-то будешь? У тебя одни дыры в дому.

— Посмотрю схожу.

Пошёл к себе. В избе ещё раз осмотрелся. Ничего вроде и не прибавилось. На дворе наломал полынных веток, собрал в веник, прибрал угол, где раньше стояла их с Ольгой кровать. Пол вроде ещё крепок в этом месте. Сходил ещё раз на задворок. Наломал ещё полыни, занёс в избу. За три ходки застелил полыньёю пол, умял. Застелить бы, да нечем. Под голову кинул котомку. Вышел из избы и пошёл к ручью. Ручей-то был, да мелок очень. Весной да летом вода в нём бывала, а к осени спадала сильно, потому звался он Талый. Зачем-то огляделся. Скинул одежду, ополоснулся, стоя по щиколотку в ручье. Мыльца бы. Сел обсохнуть. Обтереться тоже было нечем. Закурил. Просидел долго. Зазяб, засумереченело. Собираясь, надел только штаны и пошёл так.

— Ох, а тощей-то. А был-то крепок.

— Дак где ж ныне жирных-то найдешь.

Пришёл в избу и сразу залёг, не чувствуя колкости полыни, как провалился. Встал уже засветло. Оглядевшись вздохнул. Дома. Собрался быстро. Еды всё равно не было. Остатки хлеба решил снести Дуняхе.

Та уже хозяйничала. Стол был накрыт поболее, чем вчера. Подошла Анисья. Хотя Егорыч почему-то подумал вчера, что живут они обе в Дунихиной избе. Оказалось, нет. Егорыч положил на стол остатки своего хлеба.

— Вот, чем богат. Проел всё, пока до дому добирался.

Дуниха успокоила:

— Дак мы этому рады. Настоящего хлебушка уж сколь не ели.

Порезала хлеб, разложила на троих, Егорычу больше. Спросила, как угадала:

— Никак в Добринку собрался?

— Собрался.

— И мы с тобой.

— А вам-то чего?

— Проведать. А то одним-то страшно по лесу-то. Давно не бывали у Епифаныча.

— То ходите, не страшно, а теперь забоялись.

— Так забоялись...

Посмотрела на Анисью.

— Не пойму я штой-то вас.

— Поутренничай с нами.

Еда та же, но уже больше разносолов, грибы, яблоки. Обычных в это время в любой деревне огурцов, капусты нет. Опять опережая или угадывая его вопрос, Дуняха заотвечала:

— Взять-то негде семян. Всё вывелось. Вот уж на этот год пойдём к кому доведётся, просить будем, можа, есть у кого семена-то. Иль вот уж в район доведётся, коль доберёмся.

— А что ж тут идти-то. За день туда-обратно.

— Так через лес ведь. Боязно.

— Не пойму я чтой-то вас, бабы, — опять удивился Егорыч.

Про себя ещё раз подумал про консервы, сахар, соль, опять же где-то они берут. Но думалось больше про сына, про Николая. А об этом уж потом как-нибудь. Спрашивать ничего не стал. Закончив еду, быстро собрались. Пошли. Вёрст пятнадцать по лесу. Дорожка, теперь уже заросшая, ходунов и ездунув мало, но ещё приметна. По лесу шли молча. Хоть Егорыч и шёл размашисто, бабы не отставали, как прилипли.

Дошли. Добринка вся как есть — одна изба. Тихо. Ни кур, ни гусей, ни другой какой живности. Сразу откуда-то появился Епифаныч. Как ждал. Егорыч признал его сразу. Бородатый, но лицо ухоженное, видно, что волосья подправляет либо бритвой, либо ножницами. Опрятный, стиранный. Егорыч потрогал подбородок у себя. Щетина уже три дня. Пожалел, что не брился утром. Бритва-то в котомке. Дак мыла-то опять нет.

— Здравствуйте вам, — сказал Егорыч, хотя Епифаныч был один.

— Дак и вам не хворать, — присматриваясь к Егорычу, ответил старик.

С бабами поприветствовался кивком. Но Анисья и Дуняха обе сказали:

— Здравствуй, Епифаныч.

Присели на бревно, уложенное вдоль изгороди. Столбики изгороди, как и у Дуняхи, были накрыты касками, но уже и нашими, и немецкими. Анисья и Дуняха встали в сторонке, не мешать чтоб.

— Егорыч, дак слух шёл, помёр ты на войне.

— Дак вот не помёр, — закурил. — А Колька-то мой при тебе?

— А где ж? Мой он теперя.

— Твой не твой, а повидаю.

— Уж почитай семь годов не виделись. Признает ли?

— Я признаю.

— Ну что ж. В лесе они с Варварой.

— Тоже за грибами?

— Да, можа, и грибы есть.

Егорыч опять свернул сигарку. Табак ещё был. Епифаныч достал кисет хорошей мягкой кожи, насыпал себе табаку, скрутил, закурил. Егорыч нюхнул дымок.

— Довоенный ешо. Вот так, — похвалился Епифаныч.

— Тож с лесу?

— Тож.

Курили долго. Не говорилось. И бабы в стороне молчали. Появились двое, женщина-подросток и мужчина-подросток. Одеты добротно, но всё перешиито из военного. Егорыч встал. И не подросток и не мужик застыл напряжённо. Осмотрел баб, узнал их. Поставил корзину, накрытую тряпицей, снял с плеча полевую военную сумку, тяжело нагруженную. Лицо у подростка не то в оспинах, не то татуировано точками. Порох, определил Егорыч. Постояли. Потом кивнул подростку-мужику:

— Кольша, я это, отец твой. Вот вернулся.

— С войны, что ль?

— С войны.

Обнялись. Кольша хоть и не сразу узнал отца, но поверил, заплакал, отвернувшись от баб и Варвары. Ждал, знать, раз поверил.

Варвара, сняв с плеч вещмешок, сразу исчезла в избе, позвав с собой Анисью и Дуняху. Мужики опять закурили. Епифаныч поднялся и тоже пошёл в избу, оставив Егорыча и Николая одних.

Через какое-то время в избу зашли Николай и Егорыч. Изба ухоженная, уютная, как до войны, даже занавески с узорами, на окнах растения в горшках. Стол заставлен едой. Посреди стола чугу́н с похлёбкой, вкусно пахнущей. По краям стола стояли глиняные миски, у каждой ложка деревянная. Бабы уже сидели за столом. Епифаныч из графинчика разлил, видимо, спирт по стопкам. Варвара разлила по мискам похлёбку.

— Ну, с возвращением, тебя, Егорыч. Теперь нас стало поболее.

Выпили. Все степенно стали есть. Варвара хлопотала за столом. Подала картошку. Подрезала хлеба. Егорыч ещё удивился про себя. У Дуняхи с Анисьей нет, а у Епифаныча есть. Но хлеб всё ж оказался не казенный, а свойский и пахнул как-то особенно, не по-совдеповски, ещё дореволюционным детством, какими-то травками. Епифаныч опять, опережая вопросы, ответил:

— Варька сама печёт. Вот и печку-духовину ей сложил тока для хлеба.

— Зерна-то нету, а хлеб есть, — подивился Егорыч. — Откуда хоть?

— Да откуда. Откуда всё, оттуда и мука.

— Опять с лесу, поди?

— Да с лесу, — неопределённо ответил Епифаныч.

* * *

Николай и Егорыч разобрали крышу. Нанесли с лесу толстых жердей. Топоры и пилу взяли у Епифаныча. Осмотрели стены. Сруб решили не раскатывать, не перебирать. Боялись, до холодов не управятся,

но часть верхних венцов решили поменять, где крыша была провалена, подгнила, и угол один подправить. Промерили чего сколько надо. Хоть осенний лес и не годится на дом, всё ж решили не брать брёвна с других изб, а валить в лесу.

С утра засобирались. Николай шёл впереди. Нет-нет да обернётся. Шли по такой же старой дороге, как и в Добринку. Егорыч всё крутил головой, выглядывал подходящие стволы, подходил, постукивал обухом, прислушивался. Опыт ещё от отца остался. Николай, видать, оторвался. Впереди его не было. Кто-то мелькнул в деревьях. Егорыч свернул туда, пошёл в сторону мелькнувшего, увидел спину, прибавил шаг. Spина вроде Кольшина, да и чья же ещё. Тот махнул Егорычу рукой, не оборачиваясь, как бы подзывал его к себе. Егорыч ещё прибавил. Блеснуло в сознании: так же махнул ему солдат в сорок первом, когда никак не мог он дойти до своих, сколько ни шёл на восток. А как вышел к дороге, где наших пленных гнали, солдат из колонны и позвал Егорыча в плен.

Вышел на редколесье. Никого нет. Огляделся. Вот оно что. Кругом были окопы, блиндаж, землянки, воронки. Хаос давнего боя. Стал обходить. Винтовки, гильзы, пустые ящики, остатки одежды, ботинок, сапог. Трупов не было. Хотя какие трупы. Уж давно бы косточки лежали. Но не видать. Спустился в окоп. Винтовка, подсумок с патронами, противогаз, каски. Зашёл в землянку. Цела. Топчаны не разрушены. Бочка в углу приспособлена под печку. Стол из жердей и досок, лампа-фонарь, подобие лавок из жердей же. В углу землянки разбросанная куча пустых банок из-под консервов. Обрывки обёрток и другой бумаги. Запах плесени, сырости. Решил осмотреть другие землянки. Там практически то же самое. В одной, однако, стояли ящики с гранатами, миномётными минами, цинки с патронами. В углу висел автомат ППД. Взял его, осмотрел. Вроде цел, но затвор передёрнуть не смог. Подержавел. Повесил обратно на деревянный костыль, как гвоздь вбитый между тесин. Вышел из землянки. Стал соображать: вот куда за «грибами» ходят Дуняха, Анисья, Епифаныч.

В стороне на ровнине увидел холмики, вроде и не свежие, но и не давние. Пошёл туда. Понял. Могилы. Ещё не провалились. Значит, и в этом году хороненные. Вот оно как. Значит, бабы-то сюда тоже ходили. Еду собирали, одежду, солдат хоронили. Оружие-то им без надобности. Припомнил вкусную похлёбку у Епифаныча из дичины. Знать, мужики всё ж что-ничто, а прибрали к рукам для охоты. Надо бы Николая расспросить.

В это время меж деревьев опять показалась чья-то спина. Человек помахал ему зазывно рукой и пошёл дальше. Егорыч решил идти за ним. Вышли на такой же редколесник, сплошь изрытый окопами. Теперь уже, разобравшись что к чему, Егорыч определил — здесь ещё никто до него не был. Всё цело, и останки ещё ко всему, солдатские, наши. Лежат там, где их застала смерть, пуля ли, осколок. Обошёл позиции. Человек более ста. Рота целиком. Оружия очень много. Зашёл в блиндаж. Сделан добротнo, просторно. В углу целая стопка ящиков. Вскрыл один. Консервы. По виду тушёнка. В разорванном мешке тоже что-то было раньше, да, видать, зверьё и мыши за эти годы тут харчились, даже часть мешковины съели.

Егорыч больше задерживаться здесь не стал. Сориентировался и пошёл обратно, придерживаясь своего следа на траве. Вышел на тропу, по которой шли с Николаем ещё утром, увидел Николая. Как и не девался никуда. Пока расспрашивать ни о чём не стал. Решил обмозговать.

Занялись подборкой леса. Брала в основном ольху, под зиму она лучше, в осень-то другой лес не особо к стройке годен. Опять же валили ольху поближе к тропе. Волочить-то на себе не дже складно будет, если издаля. Сошлись на том, что на сегодня пять лесин будет впору. Впряглись, поволокли одну. Тащили боле часа, устали. Николай-то всё ж хоть и молодой, но кормленный, а Егорычу для такой работы ещё с полгода отъедаться и отъедаться. За этот день приволокли лишь три лесины. Егорыч решил пока передохнуть. Бревна разметили, ошкурили, сделали лапы, уложили на короткие чурки — просыхать хоть немного. Николай ушёл опять в лес за мохом. Пришёл не скоро. Принёс мох и сумку. Мох свалил у крыльца, а сумку занёс в избу. Потом развесил мох на изгородь и позвал Егорыча в дом. На свежесколоченном столе стояли две фляжки, консервы. Картошка была сварена ещё утром. Молча поели. Фляжки остались нетронуты. Видать, при отце Николай пить не решился.

Отстроились за две недели. Выручила погода. Почти весь октябрь был сухой и тёплый. Успели утеплить чердак и переложить печь. Егорыч напил тёсу, благо в одном из домов нашлась продольная пила. Наложили тёс на чердак до следующего года сохнуть, а пока сделали лавки, стол и две кровати из сырого леса. Другого выхода не было. Трудней было со стёклами. В других домах заимствовать неоткуда, всё почти побито. Пришлось делать уменьшенные рамы, чуть не сарайный вариант, зашивать прогалы досками с двух сторон и утеплять мохом. С дровами беда не было — лес кругом, но большие заготовки решили отложить до зимы. По снегу тягать легче.

Николай как-то обмолвился о пищевых запасах. Не всё ж у Дуняхи с Анисьей кормиться. Они то и дело со своей стряпнёй одолевали. Но Николай и Егорыч не чурались ихней стряпни. Ели. Договорились меж собой отработать уход — за зиму и им избы подправить.

Егорыч решился с сыном поговорить. Уж больно не по душе ему было по землянкам прокорм на зиму собирать. Да Николай верно приметил, что другого-то нет и не предвидится.

— Как немцы ушли, тут же ничего не осталось, всё подобрали. Всю скотину повывели, сожрали. Собаки да кошки поразбежались, людей-то нет.

А и правда. Только теперь Егорыч понял, чего ещё не хватает в деревне. Ни тебе лая собачьего по краю деревни, ни петуха по утрам. Даже птицы и то редко поют. Определили собраться у Дуняхи и поговорить толком, как дальше жить, как зиму зимовать, что делать, чтоб всем жилось. Поутру пошли к Дуняхе. Она уж рада была. Сходила за Анисьей. Наконец-то хоть какая определённость, можа, и будет.

— Так мы-то, Егорыч, уж сами намаялись. Чего ж нам, помирать что ль, коль в войну не померли. А взять ничего негде, нетути. Кругом деревни пустые, да все пожжены, да разбиты. Люду-то нетути. Кто остался, прийти не пришёл, один вот ты. А мово всё нету и нету. А где, кто

знает. Ни бумаг не было, ничего. Да к нам и не идёт никто уж почитай с войны. Неучтённые мы. Анисья вон в прошлом году была в Замошье, дак и там никого, пожила у снохи, так тама тоже кормиться надо. А что, где? Одна картоха, хоть ещё развели, а то и её не было. Где у кого оставалась, всю глазками сажали. Хоть она-то хлеб наш. А тут на одной картохе не проживёшь. Семян никаких. Взять-то где. У всех всё одно, как у нас. Стали ходить по лесу по грибы да по ягоды. А там такое! Страх божий. Забоялись сперва-то. Год не ходили. А припёрло-то и — опять. По землянкам добра много было, да одеться надо было. Нет же ничего. А тут застыдобились. Хоронить их начали. Да их там стока, что мы днями с лесу не выходили. Всё копали да копали. Эт уж Епифаньч наладил у них документы забирать. Говорил, можа, кто искать будет. А что ж искать, коль их и не искал никто с самой войны. Она, война-то, от нас в сорок третьем ушла. А набралось у него документа аж целый сундук. Да и мы приладились, пистульки с бумагами у их собираем. А у Анисьи их тоже гора. А куда деть, не знаем. А еду-то мы по землянкам собирали. По первости и хлеб был, сухари, правда, в мешках, да и то наволокли: и у меня было, да у Анисьи, год жили складно. Да потом-то уж его развезло, да живность всякая поела, мышей-то сколь по тем землянкам кормилось, да других годов тоже. В банках что было, так оно и шас ещё есть. Опять же керосин, спички, лампы — всё мы натаскали. А что ж, у нас-то тожа было, да всё война подгрребла. Так у меня этого добра на года есть, два погребца забила. Да и у Анисьи тожа. Так своо охота, с огорода, скотину завести. А то и собак-то нетути. Сбегли. Хочь кошку какую где взять. Совсем тоска.

Егорыч всё это прослушал — как из ушата окатили, хоть о многом он уж и сам подозревал.

— А делать порешим так. Надо мне опять в район иттить. Тама говорить буду, узнавать что и как. Мои бумаги все правильные. На учёте я. Так что пойду. На том порешим.

Собирали Егорыча весь день. Ведь в районе и раздобыть надо было чего-ничего, да и хлеба хоть сколько, на себе много не приволокёшь, да и покупать на что. Договорились так. Егорыч будет менять на тушёнку и спички. Особо много у Анисьи было иголок. Говорят, в большой цене.

Идти решил поутру. А с вечера они с Николаем и Анисьей засели за столом в Егорычевой избе и разбирали документы, хранившиеся у Анисьи. Она их загодя принесла Егорычу, после его разговора с Николаем и рассказа Дуняхи.

— Вот видишь, и адреса тут есть, и жёны прописаны. Надо бы сдать их, документы-то, куда надо.

— А куда надо-то? В военкомат разве? Их люди ищут, ждут ведь, а про них знать никто не знает.

Когда Анисья ушла, а Николай залёг спать, Егорыч ещё долго курил, перебирал смертные медальоны и солдатские книжки. Думал о том же, о чём ему наговорила Анисья. Ждут ведь. А может, пусть лучше ждут? Ну, пождут-пождут, а потом? Что сами-то думать о них будут? А детям что расскажут? Где их отцы. Раз нигде нету, значит, к немцам ушли. Нет. Решил поутру взять часть документов с собой и сдать в военкомат или в совет. Там видно будет. Но решил почему-то взять не все.

Уже к полудню Егорыч добрался до района. Вышел-то из деревни потёмному. Прохладно было из избы-то по-первости. А потом разошёлся, согрелся уж за увалом. Раньше здесь была луговина, да теперь заросла сорным лесом. Когда дорожка уж по лесу пошла, замелькали огоньки в деревьях. Жуть не жуть, а не понятно было, что за огоньки. Уж по светлomu только и успокоился.

В районе быстро нашёл совет, был он на площади, где ещё тогда, когда прибыл, угостила его торговка табаком. В войну здание не пострадало, только от неухоженности облупилась штукатурка на стенах, да двери и рамы были не крашены. Внутри толпился народ, да какая-то женщина всё пыталась им что-то растолковать. Егорыч, поняв, что она из работников этого совета, спросил, где тут старшего найти.

— Да тут все к старшему, — сказал кто-то из толпившихся.

— Да мне не по своему делу, мне тут про солдат поговорить надо. Про убитых в лесе.

— Про каких таких убитых? Про убитых в милицию надо.

— Да нет. Они в войну убиты.

Женщина, работница совета, недоумённо посмотрела на него и продолжила втолковывать просителям что-то своё. Егорыч потоптался, посмотрел на надписи на дверях. Ничего подходящего не нашёл. Вышел из здания. Постоял у входа, пытался свернуть сигарку, да к нему подошла женщина в чёрном.

— Ваню Белова не встречал?

Егорыч даже вздрогнул от неожиданности. Та же женщина, что к нему ещё в тот раз, когда он прибыл, подходила и брала за руку. Судорожно сглотнул комок в горле, ответил:

— Да нет, не довелось.

— А после войны?

— И потом не доводилось.

Отошла. Пошла по площади какой-то согбенной, ищущей походкой, осматривая дорогу перед собой, будто там она могла найти своего Ваню.

Егорыч знал, где расположен военкомат, но решил для верности сходить в милицию. Сначала подумал идти сразу, да удержался. Стал обходить площадь с торговками, ища ту, с табаком. Чем-то она ему приглянулась, глазами, что ли. Узнав эту женщину, подошёл. Одета она была по-другому, не так как в тот тёплый сентябрьский день. Грустная какая-то. Поздоровался. Она взглянула на него, не узнавая.

— Здравствуй, добрая хозяйка. Что невесёлая? Вот должок занёс тебе отдать.

— Никто мне не должен. Откуда ж.

— Табаку мне насыпала ты, когда я совсем искурился. Забыла уж. А я вот о тебе всё вспоминал. На-ка вот тебе.

Достал из котомки банку тушёнки и поставил на деревянный настил перед нею. Женщина, подёрнув губами, непонимающе посмотрела на Егорыча, но банку приняла и убрала её в сумку с табаком же, которым торговала.

— Уж больно табачок был хорош. Всю дорогу вспоминал твою доброту. А то, не знаю, дошёл бы.

— Дак торгую вот, а более нечем. Да кормиться надо, дети ж исть хочут, а их у меня трое.

— А что, боле кормить некому?

— Дак как у всех. Не пришёл кормилец с фронту. Одни мы.

— А живёшь далече? Хозяйство-то как?

— Да недалече. Тут на краю. Дом-то наш пострадал. Дак маемся, приспособили сараюшку.

— Дело тут у меня до тебя образовалось.

Егорыч снял с плеч две котомки назад-наперед, поставил перед собой.

— Угости табачком-то. Расскажу про дело.

Женщина охотно насыпала в стакан табак и протянула Егорычу.

— Дак куда сток. На закрутку пока.

Закурил. Женщина смотрела на него как-то подобострастно, с какой-то скрытой мольбой и готовностью. Ждала подробностей.

— Отойдём давай. Расскажу.

Отошли. Егорыч коротко рассказал ей, зачем он пришёл в район.

— Да вот мотаться тут с грузом как-то неспособно. Может, оставлю у тебя, а ввечеру заберу, да и далее поговорим.

Женщина сразу согласилась. И, собрав свой товар, повела Егорыча в сторону от площади, по ненаезженной улочке, по краям которой стояли одинаково невзрачные домушки, какие-то сиротские, бесхозные. Почти на самом краю зашли в изгородь без калитки. Дом стоял без крыши, обугленный. В стороне сараюшка, по-ихнему, по-деревенски, скорее курятник, определил Егорыч. Зашёл в сарай. Очень чистенькая нищета.

— Вот и изба наша, — сказала женщина.

Егорыч, опять сняв с себя котомки, одну развязал, вынул две банки немецких шпрот, две пачки пшённного концентрата и кулёк с сахаром.

— Ну, угости чаем да побегу я. А уж вернусь, тогда и поговорим.

Женщина суетливо стала растапливать убого сложенную печку, но Егорыч остановил её и предложил перенести чаепитие на вечер. Хозяйка смущённо согласилась.

— Да вот ещё что. Звать-то тебя как?

— Дарья я. Так кличут.

— Вот и лады. Теперь уж совсем познакомились. А я Егорыч. Так вот.

Выйдя со двора, он вновь направился к площади. Пока шёл, к нему привязалась какая-то собака, непонятных кровей, но сразу видать, из местных. Егорыч по первости не обратил на неё внимания, а уж когда она стала идти за ним как привязанная, отгонять почему-то не стал. На площади хотел у торговков спросить, где милиция, да увидел как раз выходящего из здания райсовета милиционера, лейтенанта. Сразу пошёл к нему.

— Извиняюсь я. Посоветоваться бы надо. Да вот не знаю как и с кем.

— Откуда ты? Вроде не знаю тебя.

— С Глинищ я, Егорыч я, — заволновался Егорыч, — Кучматов Иван Егорыч.

— Что за дело-то? Уж больно издалёка. А что Глинища-то, вроде и нету их?

— Ну как смотреть. Вот живём ж.
— И много там шас народу?
— Дак я, сын мой да две бабы.
— Так скок же ходу туда?
— Да вот с темна иду. Вопрос вот у меня. Не знаю, как и начать.
— Пойдём ко мне, там и спросишь. Заодно документы твои посмотрим. Не отмечен ты у меня в Глинищах.

Дошли до здания милиции. лейтенант, проходя мимо дежурного, сказал, что с полчаса будет занят, и показал Егорычу на дверь, на которой висела табличка «Начальник отделения». В кабинете Егорыч подал лейтенанту свои бумаги.

— А что ж, паспорта-то нету?
— Дак не выправил ещё. Прибыл-то в сентябре.
— Да уж вижу. Через фильтрацию прошёл. Два года дали. Чё мало-то?
— Дак в плену был, да вроде не замарался, а два года всё ж дали.
— Каждый, кто попал в плен, — предатель Родины, и каждый советский человек, оказавшийся перед угрозой плена, обязан был покончить жизнь самоубийством.

— Ну да, чтобы ко всем погибшим на войне ещё прибавились тыщи самоубийц. Проверяли ж моё дело, не нашли ничего.

— Ну, вопрос-то у тебя каков?
— Да вишь, лейтенант. В лесу у нас убитых много лежит.
— Каких убитых? Чего ты несёшь?!
— Да с войны ещё. Полагаю, с сорок второго и с сорок третьего. Лежат по всему лесу. С оружием опять же. У многих исправное.

— Во как! И много их там?
— Всех не считал, а тыщ несколько будет.
— Не городи. Откуда столько?
— Да я как разумею, с боёв тех так и лежат. Прямо в окопах, и в блиндажах, и так всяко. И документы у многих имеются. Вот принёс, сколь есть. лейтенант взял солдатские книжки, полистал. Медальоны вскрывать не стал. Начал размышлять.

— Предатели это. Ходить туда запрещаю.
— Как же они предатели, коли с оружием все да в окопах своих побиты?

— Так вот и предатели. Коль их не схоронили, значит, расстреляны.
— Ну, спорить не стану. А делать-то с ними что?
— А ничего не делать. Собакам собачья смерть.
— А документы?

— А что документы? Сдам куда следует. А ты вот что. Давай-ка запишу тебя. Да тебе самому ещё с документами определяться надо. Работать-то где будешь?

— А где ж работать? Нету нигде. Нас там — я сам четвёртый. Всё вокруг пожжено, хозяйства, колхозу-то нету.

— И что ты, тунеядствовать намерен?
— Дак как же тунеядствовать. Избу править надо, порушена. Шас вот на зиму есть-пить где собирать надо?
— Угу. Бабы-то две. Весело тебе там будет.

— Да ты не кори. Жена моя Ольга пропала в лесе. Уж потом нашли, похоронили. Сын вот, уж четырнадцатый ему. Учить где? Кормить чем? А бабы-то уж моих лет вроде. Мужики на фронтах сгнули.

— Вот. Ихние-то хоть сгнули, да по пленам не шарились.

— Дак, можа, потому и сгнули, — как-то тоскливо сказанул Егорыч.

— Ты мне тут не разводи. Думай, о чём болтаешь. А то я шас прям устрою тебе стройки народного хозяйства, обратно загремишь.

— Ладно, лейтенант. Понял я, что ничего не понятно, и делать ничего не надо. Может, в военкомате что скажут?

— А что тебе в военкомате? Там тожа не надо этого. Тебе вот на учёт встать надо.

— Да я заходил к им, ещё тогда, как прибыл.

— Дак что? Встал на учёт-то?

— Да вроде записали, а там я не проверял.

— Ну так иди, пока не стемнело, узнавай. А завтра ко мне. Где ночеуешь-то?

— Дак негде. Сам ишо не знаю.

— Во как. Родни-то нету?

— Здесь нету.

— Ну давай. А обратно ко мне. Я здесь долго буду. Делов-то тоже не-впрыворот.

Егорыч дошёл до военкомата легко. Собака так и ждала его у милиции, шла за ним всю дорогу. Егорыч был расстроен, она это как чуяла и держалась чуть сзади, но дальше, чем сначала.

В военкомате разговора не состоялось. Военкома не было. Женщина, вроде как секретарь или ещё кто, посмотрела его бумаги и сказала, чтоб завтра пришёл опять.

Да, невесело всё складывалось.

Пошёл опять в милицию. Лейтенант и вправду был ещё там. Пригласил к чаю. Есть хотелось очень. Лейтенант подал ему ломоть черняшки и большую кружку с горячим ароматным чаем. Потом, помедлив, достал из ящика стола большой кусок сахару и, не раздумывая, кинул Егорычу в кружку.

— Слушай, а сюда-то в район переехать не желаешь? Баб тут вдовых немерено, на работу устрою, мужик ты, руки-ноги есть. Да и не дурак, раз через плен прошёл и в лагерях не застрял, выжил.

— Да уж. Так вот с самого своего рождения и выживаю. А переезжать-то чево ж, там у меня изба, сын. Да и баб-то как я брошу. Хоть и не родня, а свои, односёлки. Без меня им там совсем не выжить. Опять же, тута хоть и баб много, да не в этом счастье. Район уж пожжён дже. Самим жить негде, а тут ещё я. Уж там сами как-нибудь. Вот Кольшу, сына, учить надо. Да негде, какая уж там школа. Вот его бы я сюда сплавил. Да жить где, кормиться чем? А тут-та школа есть иль как?

— Да есть. Две. Начальная и семилетка. Учить-то некому. Мужиков, сам вишь, нету. А бабы, кто был пообразованней, съехали. Осталась вот одна, питерская. Дак она и есть директором в семилетке. А остальные читать-писать умеют, и то ладно. Вот посмотрел я твои бумаги.

Может, и вправду не дюже ты виноват, что в плен сдался. Вот и подумал я...

— Не сдался я в плен. А ушёл.

— Эт как же, ушёл? Сам, что ль?

— А если сдался, то не сам? Ушёл я. Выхода не было. Но не сдался. Сдался бы, не сидел бы тут с тобой.

— Ладно. Договорю уж. Коль ты там в лесе шарисься, можа, лесником тебе пойти. Есть тут такая должность. И деньги отпущены, и паёк не скудный. По нынешним временам прожить можно. Опять же лошадь положена, да, правда, нету их, лошадей-то. Но будет, дадут и лошадь. Другую какую должность не дадут, а на эту, думаю, согласятся. Ты как, сам-то?

— Да маракую. Хлеб-то нужен. Нетути у нас хлеба-то. А так всё, что ни есть, есть.

Лейтенант не вдавался в дальнейший разговор. Понял так, что Егорыч согласен.

— А как с документами-то?

— Да выправлю я тебе документ. Вроде всё у тебя в норме. Претензий нет. Искупил, так сказать.

— Да не про свои я документы. Я про те, про убитых.

— Сказал я тебе, предатели это. Трогать их не велю. Пускай валяются, коль их не хоронили, значит, предатели это.

— А можа, некому было хоронить-то. Всех же побило. Можа, и тех, кто хоронил? А вот родным бы отписать надо. Ждут ведь, надеются.

— Ну вот и пусть надеются. Так даже лучше.

— Ну лучше, не лучше, а знать надо. Да вот документ им ба выправить, что пали смертью в бою. Хоть каких денег им государство даст. Так ведь положено.

— Ну, что положено, на то наложено. И давай всё об этом. Ночевать где будешь? А то хошь здесь до утра, на нарах. Хоть и не мягко, да зато в тепле. Места есть.

— Да нет уж, благодарствую. Нашёл тут соседку. Попрошусь к ней. Хоть и не в тепле, а всё ж на воле.

— Ну смотри. А то давай, не примут, я дежурному скажу, пустит.

— Да не. Пойду я.

Егорыч, недовольный тем, что все солдатские документы остались у лейтенанта, вышел из здания милиции и увидел ту же собаку у крыльца. Она как-то радостно-жалобно поскулила, пооблизывалась и даже зевнула, то ли кашлянула. Егорыч ещё раз удивился. Вроде не прикармливал. Чего ей надо? Хозяина, может, ищет? И опять отгонять её не стал. Так и пошли вдвоём к Дарье. Сумерки уже были густые. Огней почти не было. На улице совсем, а в домах кое-где. Электричество, видать, пустили не везде, потому горели то ли лампы, то ли свечи. Подошли к Дарьиной ограде. У прохода без калитки постоял да не раздумывая пошёл к сараю. Стукнул в притвор, заменяющий дверь.

— Не заперто, Егорыч.

Зашёл. В свете какой-то коптилки увидел тот же дощатый стол. За столом сидели две девочки примерно лет двенадцати-тринадцати, по-

годки, видать, и мальчишка лет восьми-девяти. Все трое что-то писали в каких-то тетрадях, сшитых, как понял Егорыч, из обёрточной бумаги, а мальчишка — вообще на газете.

— Как узнали, что это я?

— Дак боле никого и не ждали. Давай вот отсумереничаем. Ребята уж поели. Не дождались.

— Ну что жа. Раз никого боле не будет, то и поедим.

В сарае жарко топилась печка-развалюха, но такого добротного тепла, как в хорошей избе, всё ж не было. Девчонки и мальчик собрали со стола всё, что у них было, и расселись на лавку у печки. Затихли. Дарья подала на стол картошку, глиняную миску с похлёбкой, рядом положила добрый ломоть хлеба, подала ложку, деревянную. Сама присела к столу, но себе ничего не поставила.

— А сама что ж?

— Дак мы уже. Не стерпели ребята-то. Вот и я с ними.

Поев и попив чаю, Егорыч подошёл к котомкам, развязал их и высыпал всё на стол. Получилась приличная горка из банок и кульков. Дети заегазили у печки.

— Откуда ж у тебя такое богатство? Неуж на складе где работаешь?

— Да почти. Не переживай, не краденое. Правда, тут не всё моё. На четверых тут. Ну, можно на троих. Я с Кольшей пусть как один будем. Нам ба за всё это хлеба.

— Так сколько ж хлеба-то?

— Да скока дадут. Я ж тут цен-то не знаю. Эт ты у нас по торговой части.

— Да тут много можно взять. Всего этого уж с довойны не едали. А уж рыбины с копотью, так я и ела, когда мужик мой на отходах работал, издаля привозил.

— Эт шпроты по-ихнему. Да вкусные. Я сам-то их тока и ел, пока в армии ещё до войны служил.

— Дак ты всё ж воевал?

— Да вот пришлось. Повоевал в сорок первом, а там уж не довелось боле.

— А я уж думала, не воевавши ты. Уж больно целый весь. У нас-то кто пришёл, все отрубки одни. У кого руки нетути, у кого ноги. А есть и «самовары».

— Это кто ж?

— А эт когда ни рук, ни ног. Один краник.

— Ладно, потом об этом, — резко и недовольно прервал её Егорыч. — Вот, в общем, поменять бы всё это на хлеб. Товар справный, здоровый, съедобный. Грязного и порченого нету. Тушёнка вот в этих банках, и наша, и немецкая. Шпроты вот в этих. Это вот кофий, правда, маловато, на пробу взял. В этих вот банках сосиски, ну колбаса такая по-нашему. Тут вот в кульках сахар, чай, какао. Отбери себе часть, а остальное поменять бы у кого.

— Дак нам-то за что. Я и так поменяю. И платы мне не надо. Когда тебе всё это?

— Дак к завтрашнему к полудню и пойду. Можно сделать?

— Ну есть тут товарки, кто в заводе хлебном работает. Хлеб-то у их водится. Вот хватит ли на обмен-то у них. Тут богатство большое. А как спросят, откуда, мол, — что сказать-то?

— А ничего не говори. Кому это надо, тот не спросит. А бояться тебе неча. Неворованное, говорю ж тебе.

Егорыч присмотрел, что чердак, какой-никакой, всё ж есть в сарае, а сена уж наскребёт там. Сказал Дарье, что полезет спать на чердак.

— Дак за печкою тебе постелено.

— Ничего, не замёрзну.

В темноте чердака нагрёб старого сена к трубе, отбросил какие-то кошёлки, устелился и сразу заснул. От трубы всё ж теплом тянуло. Под утро услышал внизу какую-то возню и шёпот. Поглядел вниз. На столе лежало с дюжину больших целых буханок хлеба и куски, завернутые всяко, и в бумагу, и в тряпицы. Спустился по никакой лесенке. Дарья опять суетливо-заискивающе, обрадованно-смущённо, чуть ли не потупив глаза, сказала:

— Пospал бы ещё, Егорыч, а то ты уж прям и совсем не спал.

— Эт ты, вижу, не спала. По ночам одни колдуны не спят. Ну, что наколдовала?

— Да вот, всё, что тут.

— Дак и не унести мне стока.

— А как жа?

— Будем думать. А шас командовать не буду. Кипятку уж дай. Попьём, поговорим. Дети-то где?

— Да спят уж. Умаялись. Бегали по всем ночью-то.

— Как зиму-то здесь жить будете? Одни дыры. Сарай-то в одну доску.

— Дак зимой теплей. Снег-то и стенки завалит, и крышу починит. Зимой теплей. Тока печку топи да топи.

— А дрова-то? Скока дров-то надо?

— Да вот ходим. Живём-то на краю. В лесе не в лесе, а всё к лесу ближе. Вот все и ходим. А то в день по два раза. Игнатка, как со школы приходит, так у печки и сидит. Говорит, так есть меньше охота.

— Ну вот ещё что. Забывши совсем. Иголки тут у меня. Говорят, в большом почёте они.

Егорыч достал из кармана телогрейки свёрточек, развернул на столе и разложил иголки на досках. Всего было штук двадцать, разных калибров. Дарья аж охнула. Вот товар, так товар. Сразу взяла две самых больших, «цыганских».

— Егорыч, надо б сразу их-то и торговать. А то еду на еду поменяли, а зря. Уж иголки-то точно в цене.

— Ты вот что, хозяйка, — стараясь почему-то не называть Дарью по имени, Егорыч давал дальнейшие распоряжения, сам смущаясь своего хозяйского положения в чужом доме. — Ты куски собери, оставь себе. Мне не снести стока. Кода я ещё сюда попаду. А попаду, ещё занесу. Я и не ожидал, что так отоварюсь. Муки б ещё, да не донесу. Нету у нас хлебушка. Бедствуем.

— Да уж, так рази бедствуют. Вон каких богачеств наташил.

— Дак без хлебушка рази еда. Хорошо хоть картоха есть. Вот ею и пользуем замест хлеба. Уж в зиму не знаю, сподоблюсь ли, а к весне точно буду. Ты бы помогла моим бабам к весне-то. Уж больно страдают они без семян. Всё повывелось, ни огурца, ни капусты, семян нету. А взять негде. Все деревни пустые. Почитай, и они при немцах в деревне не жили три года. А вернулись к разбитому корыту. Не забудешь если, то подсоби. Они уж в долгу не останутся.

— Не забуду. Есть у нас, а чего нет, спрошу у баб. А на обмен они тебе натащут, тока свистни.

Егорыч враз как-то засуетился, встал, взял один ломоть хлеба, отломил от него кусок, вышел из сарая и увидел то, что хотел. Собака сидела у отсутствующей калитки за изгородью и преданно смотрела на него. Егорыч подошёл и подал кусок. Собака долго думать не стала. Проглотила не жуя и, виляя хвостом, ткнулась мордой Егорычу в ладонь.

Ну вот и ещё одно дело решилось. Теперь в деревне будет хоть одна собака. Похлопав её ласково по холке, Егорыч обернулся и увидел Дарью, стоявшую у двери сарая. Подошёл.

— Не переживай. Заберу её с собой. Вот и скотинка в деревне водиться будет. С собаки и начнём. Петуха бы вот ещё, а то по утрам никакой музыки. Как на кладбище.

Сказал и поперхнулся. Сравнение напомнило о делах.

— Пойду я, хозяйка. Дела ещё тут у вас имеются. Вернусь, ещё поговорим.

И пошёл скорой, бодрой походкой к центру, к площади. Начать решил с милиции. Собака бежала уже рядом. Забегала вперёд. Теперь только Егорыч точно узнал, что собака была мужского пола. Значит, и имя надо мужское. Пусть уж дома бабы с Кольшей думают. Дойдя до милиции, Егорыч приказал теперь уже своему кобелю ждать и зашёл в здание. Дежурный сказал, что лейтенант у себя, но занят. Велено ждать. Ну что ж, ждать так ждать.

Из кабинета лейтенанта вышел военный, капитан. Направился сразу к выходу. Вышел лейтенант. Увидев Егорыча, пригласил к себе.

— Ну что? Надумал?

— Чего надумал?

— Ну, работать будешь на благо Родины?

— Дак мы ж не про это хотели поговорить. Насчёт убитых.

— Про них мне больше голову не морочь. И военком так же считает. Предатели это. Всё. Точка.

— А делать-то с ними что?

— А ничто. Сунешься, сгною!

— А как узнаешь? Эт одно. А другое, так как ни ходи, а мимо не пройдёшь. И потом, я-то, можа, соваться не буду, так другие есть. Им-то кто запретит. Оружия опять же там скоко. И ждут их.

Нависло тягостное молчание. Лейтенант вышел из кабинета. Принёс две кружки с круто заваренным чаем. Одну поставил Егорычу. Сахару не предложил. Видать, вчера весь паёк Егорычу и отдал. Во как. Попили вприглядку.

— Ты вот что. Давай оформляйся в егеря. А я при первой возможности всё ж к тебе наведаюсь, сам погляжу, что там.

На том порешили. Лейтенант дал Егорычу бумагу. С ней надо было идти в горсовет.

— Ещё сфотографируешься. Лучше бы сегодня. Я фото сам заберу. Оформим тебе паспорт, и завезу тебе сам.

— Уж больно уважительно.

— Зауважаешь, коль выжил. Нету никого мужиков-то. Как там у Некрасова: отец мой да я.

— Да денег-то у меня нету для фотографии. Так живём, без денег.

Лейтенант дал Егорычу ещё одну бумажку, записку.

— С ней так тебя обделают. Потом отдашь. Ну всё, давай в исполком. Дело решённое.

После всех мытарств Егорыч пошёл к Дарье. Забрал всё своё, попрощался и с собакой двинул к своей деревне. Шёл скоро, благо теперь не один, даже ноша его не горбила, хотя тяжесть ощущал приличную. Ничего, своя ноша не тянет.

Домой вернулся уже затемно. Все собрались в его избе. Ждали. Тепло была протоплена печка. Вкусно пахло добротной едой. Егорыч разгрузил свою ношу и только теперь понял, как он устал. Вывалил всё на стол. Бабы так и ахнули.

— Да что это ишо не всё. Часть у крыльца оставил.

— Что, занесть, что ль? Как допёр-то? — Дуняха прямо чуть не прослезилась.

— Вот так и допёр. И скотину ишо пригнал. Так она на дворе.

Анисья с Дуняхой аж подпрыгнули. Побежали смотреть.

— Во, антихрист. Нашёл кого скотиной назвать.

Кобель сидел у крыльца и как-то повизгивал с непривычки, не понимая, рады ему или нет. Егорыч тоже вышел из избы. Подал кобелю ломоть хлеба и чуть тёплой картошки.

— Вот с него, можа, и скотина заведётся. С кого-то начинать надо. Вы на меня надеетесь, а я на него. Обозвать его как-то надо. Вот и думайте, а то как кликать будем? А он-то уж отстареется. Собака хорошая, умная, главное.

— А порода какая?

— А порода будет наша. Вот он её и разведёт.

Хлеб разделили на три части, как и полагал Егорыч. Одну он забрал себе с Николаем, а две отдал Дуняхе с Анисьей. Они жили разными дворами.

— Ну, а чего слышать-то, в районе-то?

— А чего слышать. Тихо там. Тожа народу не густо. Бабы в основном да «самовары».

— Это откуда ж? Вроде не дюже их водилось, — думая о другом и не поняв, о ком говорит Егорыч, спросила Дуняха.

— Известно откуда. С войны. Назначили меня лесником. Егерем поновому. Буду за лесом следить. Жалованье обещали и лошадь. Так что мы теперя тоже учтённые. А солдатов велено хоронить и документы беречь, — соврал Егорыч.

Всё это он обдумал, пока шёл со своими торбами из района до деревни. Кто их тут считал и кто узнает. А так валяться, конечно, он не разрешит, коль он теперь здесь главный по лесу.

— Вот Николая бы куда пристроить, учиться бы ему. Дак и там, в районе, не дюже разбежишься. Вот и думай.

Анисья встрепенулась, аж зашла от своей неожиданной мысли и тут же её выдала.

— А что ж ежели Николай с документами будет при деле. Отправит их по адресам, письма пускай отписывает. Вот тебе и учёба.

— Так-то оно верно. Дак как их слать-то, письма? Почта-то где? Эт каждый раз в район надо. Да опять же бумаги где взять, чернила?

— Ух, этого добра я знаю где. Принесу. Ещё до снегов успею. Вот с ним и пойдём.

* * *

А Егорыч пошёл к Епифанычу. По дороге всё обдумывал, как обсказать-то ему, Епифанычу, что он хочет, чего мается, от чего на душе-то муторно. Нашёл того на дворе. Он набирал дров из поленницы. Встретил неприветливо.

310

— Ну что ты теперь-то? Уж я теперь один. Уводить-то от меня боле некого.

— Ну прости уж, Епифаныч. Поговорить я. Не знаю, что с ими делать.

— С кем с ими-то?

— Так с солдатами. Ты мне тока скажи, как по-человечески, а как по-Божьему. По-человечьи я уж всех исходил. Никому они властям не нужны.

— Нашёл тоже человек. Где ты их среди властей видал-то?

— Ну, уж не совсем.

— А то нет. Нету их среди властей.

— Ну, ты-то как сам считаешь?

— А что я считаю? Тут считать нечего. Мы-то вот с бабами да с внучкой, да с Николаем твоим их-то хороним. Вот и весь сказ. А побросать их — так и есть не по-человечьи.

— Да это и я вот понимаю. А как по-Божьему будет?

— А что тебе по-Божьему, по-человечьему тебе мало, что ль?

— Да маюсь я. Ходил тут, искал людей Божьих, всё спросить хотел, как по-ихнему.

— Где ж их найдёшь теперь, Божьих-то, коль простых уж не осталось.

— А ты вроде пономарил по молодости в Тамашьях, вроде в дьяки собирался. Может, знаешь чего?

— А чтой-то тебя до Бога-то потянуло? Иль сам не справляешься?

— Дак ведь вот властям-то они не нужны, можа, у Бога есть какой закон?

— У Бога-то есть. — Епифаныч достал кiset, стал ладить самокрутку. — Добро вечно пребудет с праведником. Могилу его всегда будут искать. Вот, могила праведника больше содержит силы, чем живые неправедники. Благо народу, имеющему праведников.

— Красиво.

— Не в красоте суть. Любовь к ближним — это самое благородное, самое возвышенное чувство, а в особенности к усопшим. Созидать гробницу — ещё в ветхозаветной церкви служило выражением особенной любви и почтения к почившему. Быть непогребённым считалось крайним бесчестием. А солдаты те за нашу деревню гибли как за свою, значит, родня они нам, близкие люди. Разве не будешь ты родню свою хоронить? Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.

— Что ж властям-то они не нужны?

— А про власти что я тебе скажу. Зря ты по им ходил. Сомнут, вышлют, посадят. Это всё, что они умеют. И делают это с большой охотой и любовью. Я-то по им не ходил. Мне ихних колхозов по горло хватило. Умеют тока заманивать умирать за Отечество. Да вишь ты, заманивают одни, а умирают-то другие. Вот и решил я держаться от них подальше. Да вот не было бы счастья, да несчастье подмогло. Война эта клятая. Но зато в наших даях жить не мешают. Вроде и нету нас.

— Епифаныч, спасибо тебе за Ольгу, что в лесе её не бросил.

Егорыч развернулся резко и скоро пошёл, оставив Епифаныча стоять у поленницы. А тот уж ещё что-то сказать собрался.

* * *

Всю зиму Николай и Анисья перебирали собранные у убитых солдат документы да ещё письма и всякие штабные переписки и приказы, подбравшие ими в землянках вместе с чистыми бумагами и бланками. В этот раз не побрезговали деньгами и наградами. Почему-то Николай решил забирать у убитых и награды. Пока он не знал, зачем, но думал, если найдутся родные, то им их отдавать. Анисья хоть и считала себя не дуже грамотной, но все ж отходила в своё время пять лет в сельскую школу в Замошье. Это уж потом отец приструнил и запретил дальше мучиться. Надо было по хозяйству хлопотать. Мать не управлялась. День напролёт в колхозе рабствовала, без разгибу, без воскресений и выходных вообще. И теперь, имея времени сколько хошь, стала потихоньку тянуться к учительству. Как всякая, привыкшая к добротности в любом деле, хорошая хозяйка, относилась к бумагам трепетно. А читая редкие солдатские отправленные письма, нет-нет и всплакивала, причитая:

— Вишь, не дождались, а письма-то написаны. А значит, и должны быть отправлены. Любовь-то какая. Я-то от своего так и не получила ни одного. Как сгинул. А можа, так же валяется и письмо моё у него в кармане. Не отправлено. А я так и жду.

— Давай, Кольша, не ленись. Пиши дале: «Здравствуйте дорогие Агния Егоровна, детки ваши и вся родня. Пишут Вам из деревни Глиница Николай, Иван Егорыч, Анисья да Евдокия. Адрес Ваш мы нашли у

мужа Вашего Ивана, геройски погибшего при защите нашей деревни от немцев. Тело его было нами найдено и по обряду похоронено на братской могиле вместе с другими нашими героями...»

Печка, ровно потрескивая дровами, отдавала доброе тепло, лампа освещала стол и часть избы. Во всём чувствовалась какая-то трепетная доброта, приятность, смоченная мокрыми всё время глазами Анисьи. Да и Николай нет-нет да шмурыгал носом. А потом зачастила к ним и Дуняха. Чтоб зря время не пропадало, шила всем одёжку, и уж когда брались за новое письмо, особо слёз не жалела. Вот так, то сморкаясь, то промакивая слёзы, они и коротали зимние дни и вечера, прерываясь только на приготовление еды, растопку печей. А Егорыч всеми днями бегал по лесу, хоть и знал его с детства, да забот было много. А по-тёмному возвращался в избу и давал всякие корректировки к письмам. Больше напирал на то, чтоб поподробнее описана была героическая гибель солдата и точно указывалось место похоронения, с обещанием в ближайшее время обиходить могилки в лучшем виде и обязательно сообщать родным, что за ними есть уход, растут цветы, что земля сухая, могилка у дороги и всякий её видит.

Николай так и отписывал, а Анисья и Дуняха ещё и от себя добавляли поклоны всем родным погибшего.

Раз в месяц Егорыч ходил в район. Получал свой паёк, деньги за своё лесничество. Относил продукты Дарье. Но особо ходил он затем, что относил пачки писем на почту. Побаиваясь возможной цензуры, познакомился с заведующей почтой, довольно неприятной толстой бабой с маленькими глазками, всегда мокрыми губами, вечно засургученной телогрейкой и довольно горластой. Задабривал её банкой-другой тушёнки и шпротами, прося его письма отправлять побыстрее. Хоть и жадна была заведующая, да, видать, проговорилась кому надо. В один из его приходов прямо на почту явился милицейский лейтенант.

— Ну что, попался? — съязвил лейтенант. — Заходи теперь ко мне. Говорить будем.

Пошли к лейтенанту. Засели в кабинете. Пили чай. Говорили.

— Отчего меня не слушаешь? Ведь за такие письма можешь опять загреметь куда телят не гоняют. Я тебя предупреждал. Вот заинтересовались твоими письмами кому надо. И тобой заинтересовались, и хотят знать, откуда у тебя тушёнка, шпроты и всякая другая всячина. А ты знаешь, я за тебя поручался, когда в егеря определял. Да, видать, прокололся. Теперь и меня потянут.

— А чего тянуть-то. Банки эти солдатские, не со склада. А в письмах нету ничего, только про похороны.

— Дак теперь это дело-то политическое. Вишь, солдаты-то у нас валяются, да ещё стока.

— Ну а что ж, коль так и есть. Не считаю я, что хоронить их преступно.

— Уж если государство так решило, то так и должно быть. Пускай так и лежат, земля примет, если достойны.

— Лейтенант, а вот ежели бы твой отец или брат вот так валялись, ты б разве не пошёл их искать, а найдя, хоронить?

— У меня тоже родня на войне побита. Тоже непришедшие есть. Да до того, что ль, щас. Об живых думать надо.

— Дак вот и думаю. Тама в Сибири их живые ждуд. Им-то сам расскажешь, что их мужики по полям да лесам валяются побитые и никому не нужные теперь?

— Ты не дюже ерепенься. Эт ты не мне рассказывать будешь. За тобой уполномоченный из МГБ с минуты на минуту подъедет. Там и поговори. А то разошёлся.

Помолчали, покурили. Егорыча немного лихорадило. Уж очень не хотелось ему в МГБ. Уж точно что-нибудь прилепят. Хорошо хоть лейтенант предупредил. Предупреждён — уже вооружён. Решил валять дурака: не знаю, не ведаю, бес попутал. Как говорят, сам прикинулся пинжачком, а морду ящиком.

Вошёл крепкий дядька, краснощёкий от породы ли, от хорошей кормёжки или от мороза на улице. С плохой кормёжки и на морозе посинеешь.

— Дак вот он, значит, агент, сам сдался. Ну коль сам, то зачтётца, — с нажимом на каждое слово выпалил уполномоченный. — Прошу за мной.

Егорыч поднялся, надел шапку и вышел вслед за уполномоченным. В коридоре тот пропустил Егорыча вперёд и указал на дверь.

— Проходи. Машина ждёт.

Егорыч, выйдя на крыльцо, прищурился на солнце и блики от блестящей легковушки. Из неё вышел ещё один румяный. Открыл заднюю дверцу и жестом не предложил, а приказал Егорычу пройти в машину. Во как, даже жесты у них какие-то свои, не людские. Куда ж повезут-то. Если б здесь где, то навряд машину-то пригнали б. А так выходит, не рядом. Ну, будь что будет.

Ехали долго. Егорыч понял: в область. Значит, дело-то непростое. В машине все молчали. Ни расспросов, ни вопросов. Это Егорыча и удивило, и успокоило. Видать, не они главные. Велено было словить и доставить. И не бьют, и не тревожат. В область доехали часа за три, но в сам город не заезжали, а свернули на хоть и грунтовую, но хорошо почищенную дорогу и подъехали к шлагбауму, где один из сидящих в машине вышел и показал солдату в добротном полушубке какую-то бумагу, а скорее всего, удостоверение. Солдат кивнул и открыл шлагбаум. Лесом проехали ещё с полкилометра и остановились у трёхэтажного особняка, видать ещё царской постройки, с колоннами, с большими окнами, высокими дверями, красивым крыльцом и с каретным подъездом. Машина чуть проехала дальше и остановилась. Первым вышел уполномоченный, пошёл к крыльцу и скрылся за высокой филёнчатой дверью. Вернулся быстро. Через стекло кивнул краснолицему, сидевшему рядом с Егорычем. Тот открыл дверцу машины.

— Выходи давай. Следуй.

Егорыч понял, что идти надо за уполномоченным. Пошёл. Когда вошли в здание, к ним подошёл одетый во всё военное, но без всяких знаков различия, статный, лет двадцати пяти мужчина.

— Приказано раздеться.

Егорыч снял шапку, скинул телогрейку и, оставшись в одной холщовой рубаше, в какой и прибыл в район, стал смотреть, куда бы деть верхнее. Военный указал на перегородку. Егорыч зашёл туда. Военный вместе с ним. Похлопал по рубаше, брюкам.

Досмотр, значит, понял Егорыч. Военный, убедившись, что ничего при нём нет, показал следовать за ним. По широкой лестнице поднялись на второй этаж, где по широкому коридору была расстелена красная ковровая дорожка и по двум сторонам располагались двери без всяких табличек, но с шикарными бронзовыми ручками. Дойдя до одной из дверей, военный открыл её и, пропустив вперёд Егорыча, зашёл и сам.

— Кучматов Иван Егорович доставлен, — отрапортовал военный мужчине, сидящему за крепким широким столом, отделанным зеленым сукном.

Мужчина кивнул и молча указал Егорычу на стул, стоящий у стены чуть сбоку стола. Военный, который привёл Егорыча, вышел из кабинета, мягко прикрыв дверь.

— Ну что ж, Иван Егорович. Вот настало всё ж время отчитаться и вам о своей, так сказать, жизни и деятельности, — мягким, вкрадчивым голосом начал мужчина, не поднимая глаз от бумаги, лежавшей перед ним на столе.

— Готов, — сразу ответил Егорыч.

Мужчина, на вид чуть более пятидесяти лет, худощавый, одетый в военный скорее френч, чем в китель, тоже без знаков различия, но с орденскими планками над левым накладным карманом, достал из коробки, лежащей на столе, папиросу, закурил. Посмотрел сквозь дымок на Егорыча.

— Ну, раз готовы, начинайте.

— Откуда начинать-то.

— А сначала и начинайте.

— Так вот. Живу я в Глинищах...

— Это мы всё знаем. Вы вот с этого начинайте, — он выдвинул ящик стола и вынул из него солидную стопку писем, которые Егорыч сразу узнал. Значит, эта сволочь на почте жрала его тушёнку и потихоньку отправляла все письма куда надо. А может, и не она, а уж эти сами где перехватывали. Да нет, скорее, она. Уж отправленные-то письма не все перехватишь.

Не смутившись внешне, Егорыч, как и наметил, продолжил валять дурака. Может, дуриком и проскочит. Но его смутил сперва мягкий тон начальника и это выканье. Да нет. Просто мягко стелют.

— А чё? Письма как письма. Родным это.

— Уж больно много у вас родных по всему Союзу.

— А что ж, все мы люди, братья.

— Давайте дурочку валять не будем. Я пригласил вас, как выяснилось, по довольно серьёзному вопросу. Вот и доклад есть у меня начальника районной милиции, что вроде бы вы много убитых где-то нашли. Вот с этого места и поподробней, пожалуйста. А к письмам мы позже вернёмся.

— Дак что же. Пришёл я в свою деревню в сентябре ещё прошлого года. Увидел полную поруху. Из всей деревни два дома жилые, две бабы

в их только и живут. Деревня-то до сорок третьего под немцем была. Уж когда немец ушёл, они и вернулись. А боле никто не вернулся. Моя-то Ольга, жена то ись, в лесе сгинула уж опосля немца. Нашли они её случайно, схоронили. Да сын вот мой остался. К им я и шёл через всю войну, с сорок первого...

— Ну, это нам тоже известно, как вы шли.

— Ну что ж, и в плену побывал я. Дак не один же. И не сдавался я, а попало так. Отбыл за это где надо.

— Знаю, вы в империалистическую ещё повоевали. За царя-батюшку, так сказать. — В голосе уже послышалась Егорычу какая-то язвинка.

— Ну так куда ж денешься, коль война да года подошли. Побегал и в ту войну. Насмотрелся, настрелялся.

— Ну, а в Гражданскую за кого бегали или от кого?

— Дак и не пришлось в Гражданскую. В глухомани так и прожили, пока узнали. Уж коммунии стали образовывать, а у нас артели. Да я и туда не попал. Это уж когда в колхозы сгонять начали... — и осёкся Егорыч. — Ну, то ись, значит, в колхоз нас записали, тута мы уж про всё и узнали.

— Выходит, лешаками так до коллективизации и прожили.

— Выходит, что так. А то ведь до этой вот коллективизации и дорог-то до нас особо не было. Так, по лесу ежели тока к соседям да в район иногда, и то редко. Своё всё у нас было, да в лесе чего-ничего набиралось.

— Так. Общо, конечно, но понятно. Сейчас-то как?

— А что сейчас. Живём, хоть и хлеб не жуём. Хозяйства нет, колхозу то ись. Две бабы и я, до району почти полсотни вёрст, и в округе всё так же, пожжёно, порушено. Где в деревнях есть избы, да и то одна-две и людей стока жа.

— Угу. Ну что ж. Правдиво. Ну а про убитых вот вы везде рассказываете. Так байки или правда?

— Так всё правда. Сам-то я их ещё в сентябре увидел, как за лесом для избы пошёл. А бабы-то сразу, ещё как в сорок третьем вернулись в деревню, да в лесе-то их и нашли. Есть-пить надо, вот и пошли за грибами да нашли их. А чё их искать, коль их там несчитано. По первости испужались, а потом пообвыкли, стали с голоду по землянкам смотреть. Да находили кой-чего с еды, да одежду вот кой-какую брали.

— С убитых?

— Так живых-то там откуда?

— Мародёрничали, значит...

— Дак как мародёрничали. Эт када военный с военного да военный с гражданского грабит, а тута куда деться. Взять-то негде. Не помирать жа, коль войну пережили. А так оно, конечно, греховно.

— Значит, и тушёнка ваша оттуда же?

— Ну так и тушёнка оттуда. Да не со складов. Так, есть кой-где продуктовые землянки. Да больше всё с немцев. У их, вишь, пожирнее, видать. А наши, чего там, сухари, да и то по карманам.

Мужчина промолчал, хотя здесь уж можно было бы одёрнуть Егорыча. Да он и сам, когда разошёлся, понял, что пооглядистей надо трезвонить, а то вляпаешься за язык-то. Мужчина закурил ещё папиросу и предло-

жил Егорычу. Егорыч взял, повертел, понюхал. Папиросы пахли приятно. Отродясь таких не курил, хотя на фронте и в плену пробовал разные. Закурил тоже. В носу защекотало ароматом. Да и разволновался, не понимая всё же до конца темы разговора или всё же допроса.

— Продолжайте.

— Да что ж ещё-то. Вот в этом всё и дело. Что пошли за грибами, а нашли их. И их без счёту, тыщ много. Да и не всех ещё видели. Я-то потом пошёл в район, спросить, что делать-то с ими. А мне, вишь, везде отказ. Предатели это, значит, раз так валяются. А как же предатели, коль оружие при них да в своих окопах. Вот и порешили мы их сперва хоронить, а потом уж и письма вот.

Немного подумав и докурив папиросу, Егорыч продолжил.

— Медали у них есть, и знаки всякие, и документы почти у каждого. Какие же предатели.

— Н-да...

— Вот и я говорю, — заторопился Егорыч, — ждут ведь их тама, дома, в ихней деревне, а не знают, кто где, что вот так вот они, здесь, тама, то ись,— Егорыч совсем разволновался.

Подсознательно, внутренним чутьём пытался угадать настрой начальника и всё же не мог его понять, и от этого была неуверенность, что может закончиться всё для него плачевно, а хуже — трагично. Да что ж, теперь уж бежать некуда, да и не сбежишь.

— А много ль оружия?

— Оружия навалом. Всяко-разно. И наше, и немецкое. А хуже всего — мин полно да снарядов нервных, да и не стреляных тож. Земли у нас мягкие, да заболоченность есть. Не все рвались. Вот и Ольга моя, полагаю, бабы-то хоть не говорят, разорвало её. Я-то на могиле был, дак так не увидишь. А думаю, разорвало на mine иль ещё на чём. Вот они и не говорят. А ходить-то в лесе надо. Как без его. Не прокормишься. У нас и хлеба-то нету, да и другого чего. Уж как же быть-то. Да и тех жалко. Хоть и стыдно, да и не мародёрство это. Уж я и не знаю.

Постоянно глядя на начальника, Егорыч всё же не мог угадать его. Вот хорошо бы, ежели б он тоже воевавший был, а то, можа, по кабинетам орденами отоварился иль ещё за что. Мужчина как угадал мысли Егорыча и сразу ему и ответил.

— Мне вот тоже довелось побегать, как вы выразились, почти всю войну. По первости от них, а потом уж и за ними. Немного повидал. Сын у меня тоже не знаю где остался, ещё в сорок втором.

— Да, можа, и там он, — от волнения Егорыч перебил говорившего.

Мужчина посмотрел на Егорыча и продолжил, как бы не слыша его.

— Искал его, искал. Знаю, что не в плену, знаю, что пал на поле, а где схоронен и схоронен ли, не знаю.

— Вот и они так, ихняя родня-то, и отцы их, и матери, и жёны, и дети. Да и самим-то им, которые валяются, ведь и им плохо, что никто не знает. А им-то, можа, и хуже всех.

— Ладно. Доклад я ваш выслушал. Всё ли мне понятно, пока не скажу. Вы ведь на службу приняты там в районе.

— Дак егерем, лесником то ись.

— Вот и я говорю. При деле. Да ещё и при обязанностях. Вас сегодня доставят до места, до райцентра. Там нужно будет вам встретиться с начальником милиции. Да вы его знаете. Он будет в курсе, я распоряжусь. Ну, всего вам доброго. По весне, может, увидимся. Но на всякий случай прощайте.

В кабинет вошёл сопровождавший Егорыча военный, и они вышли. Военный выдал Егорычу одежду и, указав на выход, молча стал подниматься по лестнице на второй этаж. А Егорыч, выйдя из здания, увидел ждавший, видимо, его автомобиль, подошёл к нему. Из машины вышел всё тот же краснолицый, пропустил Егорыча на заднее сиденье. Сам сел рядом. Машина поехала в сторону райцентра.

В районе Егорыча довели до места, где взяли. Егорыч вышел из машины при полном молчании. Никто не прощался, ни слова не проронил. Машина рванула с места, обдав его облаком едкого пара. Егорыч вздохнул с таким облегчением, что аж самому страшно стало. Так страшно-хорошо ему ещё никогда не было. Крутил самокрутку раза три, руки трясло, табак высыпался, спички ломались, во рту сухо, слюны не собрать, чтоб сигарку склеить. Но всё ж закурил, зашёлся кашлем, зачихал.

— Ну вот, освободился. Эх.

Зашёл в милицию. Дежурный принял как своего. Объяснил, что велено ждать, угостил чаем, на этот раз сладким. Из кабинета вышел лейтенант.

— Ну что, прибыл? Испужался?

— Тут испужаешься, когда такая церемония с антимонией.

— Чего хотел, того и получил. Ладно, всё хорошо, что хорошо. Хотя ещё не факт. Заходи, неча в коридоре засиживаться.

В кабинете у лейтенанта сидел военком. Вдвоём они начали расспрашивать Егорыча, как на перекрёстном допросе, но тема всё ж была не та. Теперь их интересовало оружие и продукты.

— Оружия-то завались, я уж говорил. Ну а продуктов, что ж греха таить, набрали немного, зиму, можа, протянем, так на четверых и хватит, а вот хлеба нету. Вот и таскаюсь сюда. Карточки-то, слышал, отменили, так вот и меняю, что у нас есть, на хлеб. С деньгами-то у нас тож туго. На четверых моего жалования никак не хватает.

Лейтенант перебил:

— А ведь знаешь, спекуляцию тебе пришить можно и воровство.

— Какое ж тут воровство? То мародёрами обозвал, то теперь воровство. У кого ж? Побитые они. А банки те аж с сорок третьего в лесе валяются.

— Казённое это добро. Государство солдату выдало, а он не использовал, значит, должно быть возвращено.

— Так кто ж возвращать-то будет, коль солдат погиб, потому и не использовал? А самого-то его кто возвращать будет? Не валяться ж ему всю жизнь? Иль как там? Всю смерть. Иль уж не знаю как.

— Во-от. Всё тянет тебя на эти приключения. Об себе бы подумал. На этот раз пронесло, а на другой, кто знает, где окажешься. Уж какой

раз тебе говорю, забудь ты! Отрапортовал и будя. Вишь чем может обернуться. Небось когда везли, не раз в штаны наложил. А коль не наложил, ещё успеешь.

— Наложил, не наложил... При чём здесь это? Надо как-то по-человечески с имя обойтись. Погибли они, за нашу же деревню тожа.

— Погибших похоронили ба.

— Вот я и говорю. А коль не смогли, так теперь надо.

— Не знаю уж, как тебя уговорить, но чую, нарвёшься ты на кого надо.

— Так у него, у кого надо, у самого сын неизвестно где, на войне сгинул.

— Ну эт ты брось тут ещё у меня пропаганду разводить.

— Так не пропаганда это. Сам он мне открылся.

— Ну да?

— Вот и ну да. Да и ты говорил, что у тебя тоже родня погибши.

— Да, но по пленам не отиралась, и на немца не работала, и против своих не сотрудничала.

— Так кто ж говорит.

Нависло тягостное молчание. Военком в перебранку не вмешивался. По виду невоевавший он был. Тыловик. Но не стал права качать, как часто это делают люди несведущие в каком-либо вопросе, а пока слушал. Гонора не проявлял.

— Оно, конечно, правы и не правы оба, — начал было военком. — У всех у нас в родне кто-нибудь погиб или не вернулся. И не про всех мы знаем. Да вишь в чём дело. Распоряжения всякие есть по тому поводу. А говорить я про эти распоряжения не уполномочен, а здесь особо. Поэтому склонен поддержать начальника милиции и дать разумный совет. Хоронить-то хоронить, а вот с документами я бы с отправкой повременил.

— А скок жа времени-то?

— Не перебивай старших, — опять вскипел лейтенант.

— Пока не знаю. Но думаю, не вечно.

* * *

Прошло с тех пор почти семнадцать лет. Николай Иванович Кучматов, не сумевший получить никакого добротного образования, какого он хотел, в силу не совсем чистой анкеты своего отца, всё ж закончил областной агротехникум. Образование, которое он получил с огромным трудом, не имея полноценного ни начального, ни семилетнего, не устраивало его. Хотел стать «газетчиком», как ему пророчила Анисья, когда он вместе с ней писал письма про убитых солдат да читал редкие, приносимые отцом из района газеты. «Надо тебе, Николай, учиться, уж подчерк у тебя хорош», — подбадривала его Анисья.

Кое-как сдал он за семилетку. Помог всё ж лейтенант. А тут в районе подвернулась разрядка на агронома в техникум. Особых анкет заполнять не надо было, не институт. Вот и проскочил. И ещё раз

подсуетился начальник милиции — с комсомолом. Без этого бы и в техникум мало вероятности проскочить было. Приняли без особого напряжения. Парней, как и мужиков, везде был недобор. Уж потом отслужил армию, в артиллерии, как особо грамотный. Служить нравилось. Впервые, когда погрузились в теплушки, наелся вдоволь. Не съел, а прямо проглотил огромный батон белого настоящего хлеба, что выдали сухпайком. После службы решил на целину. Биографию надо было зарабатывать. Поработал на целине, но там не остался. Не смог привыкнуть к голой пыльной степи. С семьёй у него не сложилось, да и отношения к женщинам на целине были не деревенские, не те, какие он сам хотел бы.

И вот теперь возвращался в свои Глинища. Отца не видел аж с агротехникума. Почитай, лет десять. Когда поднялся на взгорок и увидел деревеньку, обнаружил, что совсем ничего не изменилось. Изба их та же, крыта щепой, что они с отцом положили. Другие избы совсем рассыпались. Но к дому всё ж тянуло. Ноги сами несли его. Подойдя к избе, увидел за изгородью женщину уже в возрасте. Но не признал в ней ни Анисью, ни Дуняху.

Поздоровался по-местному:

— Здравствуйте вам.

— И вам, — женщина отёрла руки о фартук и смотрела вопросительно на Николая.

— А что, Ивана Егорыча как бы застать, — заволновался Николай.

— Да в лесе он. Уж должен вернуться. А вы по какому вопросу? Если с проверкой какой, так у его уж были днями из района, иль ещё зачем? Если подачничать, так эт с им вам надо.

— Сын я ему, Николай.

— Охы. Да что ж эт я. Да и не видывала я вас никогда, Николай Иваныч, вот и не признала. Ну что ж мы. Давайте в дом. Щас я, щас. Вот не признала-то, прям оконфузилась дажа. С дороги уж, устали. Щас, я щас, — и забежала по двору, по избе, загремела посудами, заскрипела притворами.

В избе Николай обнаружил не ихний с отцом аскетический минимум, а довольно добротню, хотя и по-деревенски обставленный уют. Где-то в подсознании вспомнилась почти такая же довоенная обстановка, созданная и хранимая его матерью. Даже запахи вспомнились, и горшки с цветами на окнах, и занавески, и такие же были на железной кровати подзоры расшитые, и подушки горкой.

Женщина достала скатерть, застелила стол. И опять заметалась, ища, как понял Николай, посуду для него, не поплоче, а получше. Тарелками городскими так и не обзавелись, видно. Поставила глиняные миски, ложки — деревянные. Единственно, что было нового, это чайная кружка — городская. Да выставила пять стеклянных лафитников. Вот и все перемены.

Николай всё не мог спросить, кто ж эта женщина и как она здесь хозяйствует. Уж когда она управилась и присела на лавку, сложив крупные, почти мужские руки на коленях поверх передника, сама и призналась.

— Дарья я. Иван Егорыч перевёз меня из району. Сошлись мы с им. И деток моих сюда перевезли. Это уж как вы в область уехавши были.

Так и продолжала выкать Дарья. Видно, заискивая перед его городским видом, и перед его плащом, и костюмом, и даже перед чемоданом, который Николай оставил у лавки перед кроватью.

— Девчонки-то мои опять в районе. Одна, Марья, за мужем. — Она так и сказала раздельно. — Другая пока так живёт. На почте. Всё ж выучилась до семилетки. Ухажёр у ей. Хоть и помоложе её, но добрый. Были у нас... — Осеклась, не зная, прилично ли при Николае намекать, что и она здесь хозяйка. — А Игнашка вот армию закончил. Пока с Егорычем. Уж год как здесь. Да не знаю, чё он надумывает, отшельничает. Уж мы-то ладно. Жизнь, можно сказать, прожита. А он чё думает, прям ума не приложу.

— Ну, а кто ещё-то в деревню вернулся?

— Да никто не вернулся, уж даже наоборот. Евдокия померла, уж годов пять как. Анисья совсем стара. Но ходит. Шас узнает, что вы здесь, уж точно прилетит, — и сама добро усмехнулась. — Игната моего любит, не наглядится. Говорит, ну вылитый её мужик, как они сошлись молодыми. Ох, да что ж их-то всё нету. Можя, мне за Анисьей добечь. Уж она рада будет вам. Шас я, — не спрашивая уж разрешения, Дарья скоро вышла из избы.

Николай стал разбирать чемодан. Он-то рассчитывал подарки и на Евдокию, но уж коль так, то решил передать Дарье, чтоб не оставить её ни с чем, а распределить всё заранее. Ему казалось, так будет естественней. Вот Игнату уж совсем ничего не предусмотрел, да и выбирать нечего. Если только от отца что отполовинить. Ну ладно. Решил, что с мужиками сдюжит. Вот женщин бы не обидеть.

Вновь хлопнула дверь на улице. Через окно Николай увидел отца. А в избу вошёл крепкий малый, статный, даже по-городскому красивый, хоть и в обляпанной деревенской одежде и в охотничьих броднях, с ружьём же. Видно, по болотам топали. Он удивлённо уставился на Николая, но всё ж для начала поздоровался.

— Здравствуйте. Вы к нам?

— А к кому ж ещё? Здесь всё ж и нет никого больше.

— Да и верно. Ну извините, не сообразил сразу.

В это время в избу зашёл отец. Тоже удивлённо остановился у двери, но сообразил быстро.

— Кольша, неуж ты это?

— Да я, кто ж ещё-то, — уже с комком в горле проговорил Николай.

Обнялись. Николай почувствовал, что хоть и крепок ещё отец, а всё ж не тот, что ранее. Многовато воды утекло.

— Ну хоть шас-то встретились. А то уж думал, не увидюсь боле, помру. Ну слава те. Ох, закурю-ка я. Игнат, давай-ка по малой. Захолонуло меня прям.

Отец присел на лавку, стал крутить самокрутку. И руки трясло, и спички ломались, и во рту пересохло. Пришёл Игнат с бутылкой домашней водки. Видно, на чём-то настоящей. Выставил бутылку на стол.

— Да разливай уж, — закомандовал Егорыч. — Чё уж там. Бабы придут, и им будет.

Расселись за столом. Игнат разлил по лафитникам водку. Выпили. Закусывать сразу не стали. Все закурили. Николай достал коробку ленинградского «Казбека».

— Во как. Генеральские. Дай-кось и мне.

Все взяли по папиросе из раскрытой коробки. Потом ещё по одной. Женщин всё не было.

— Ну, ещё уж по малой. Тоже мне, хозяйка. Рази тут лафитом обойдётся. Тут и кружки не хватит.

Выпили ещё по лафитнику и как-то все разом заговорили.

— Уж мы-то тебя ждём-ждём. Уж кажись, вся жизнь прошла. Один я ведь тут. Как тебя определил, то и захворал сам. Кругом тоска, прям беда аж. Всё к Епифанычу бегал. Всё ж мужик тож. Какие-никакие, а дела-то общие, мужицкие. А потом уж ты в армию пошёл, а я вот Дарью с её ребятами сюда позвал. Сперва не хотели они, уж совсем глухомань, да голодно в районе-то, да и избы-то не было у их. А мне тама избу им править несподручно. Не набегаешься по сто верст туда-сюда. А ребятам всё ж опять учиться надо. Так вот хоть и разрывались, а устроили мы их в интернате. Девчонки-то там недолго побыли, уж большие были, а Игнат-то до семилетки дотянул уж тама. Потом обратно здесь. Подъелись. Я-то с Епифанычем к охоте приладились: уж чево-чево, а дичины было у нас. Аж соли не хватало. Да вишь, Епифаныч-то помер надясь. Уж в Добринке и никого нынче. Изба его одна осталась. Внучка-то, Варварка, уехавши ещё до того была. А вот щас и сам не знаю где. Епифаныча схоронили там же, с мамкой нашей. И Евдокия там уж пять лет как.

— Да, что ж, отец, и я помотался, да вот тянет меня сюда что-то, сам не знаю, что или кто.

— Знаю я, кто. Скоро сам увидишь. Вот и Игнат такжа не знает, а ехать обратно не хочет. Устроил я его своим помощником, чтоб уж не придирались к нему, что лодырь-то. Тут работы на многие года. Да ладно пока об этом. Где ж бабы-то наши? Видать, Дарья за Анисьей ушедши. Да вот и они.

В избу вошла Анисья, а вслед и Дарья.

Анисья причитать не стала, сразу обняла Николая, только охала, а уж потом утирала глаза краем платка белого, нарядного, как принято на праздники повязывать в деревнях. Женщины присели за стол. Игнат вновь разлил по лафитникам водку, но уже на пятерых. Тут уж слово взяла Анисья.

— Вот и я хоть кого дождалася, вот Дуняха так и померла, и никого. А ты уж, Кольша, и нам как родной. Уж хоть ты-то проживи как надо. Не майся. Спасибо тебе. Хоть помру в счастье. Вот так вот, — и опять отёрла платком глаза и выпила сразу.

Егорыч шмыганул носом и выпил вместе со всеми. Игнат пока помалкивал, соблюдая субординацию старших. Николай платка не имел и носом похлопал, и глазами проморгался. Встал быстро. Подошёл к чемодану, уже открытому, достал два цветастых платка, передал один Анисье молча и один Дарье. Тут же достал два пуховых, оренбургских, и также распределил между ними.

— Ну богачество, и не носила таких сроду. А этот-то, прямо пух. А тёплый-то. Вот до зимы ба дотянуть, походить ба, да не перед кем. Уж чужих-то мужиков нетути, а свою родного отбивать не след.

— Ну вот, запричитала, — это уж Егорыч хотел осекнуть Анисью. — Вот в район тебе свезём, так-то за молодуху и сойдёшь.

— Эх, уж не угадала жизнь моя, когда бы мне родиться.

Отцу Николай достал ружьё в чехле. Ижевка, двустволка. Да глянув на Игната, отдал ему. А отцу уж костюм, пара, да сапоги, хром, мягкие. Подобрано всё по отцову размеру. Игнату бы не подошло.

— Ну вот, теперя и в домовину будя в чём ложиться.

— Да окстись уж, сам причитал, а то на мени уж огрызся. Живи тапе-ря. Вишь сын какой угодливый да красивый. На мово дюжа похож, когда мы молодыми сошлись.

— Да у тебя все на него похожи, как молодых углядишь.

— А что ж, уж и облик-то забывать стала. Даже портрета нетути, — и опять край платка засмурыгал по глазам.

Дарья аккуратно сложила свои и Егорычевы подарки, сразу прибрала в сундук. Анисья так и сидела за столом в двух накинутых на её плечи платках. А Егорыч сразу перехватил у Игната ружьё, быстро собрал его, чехол положил на лавку рядом с собой. Разломил собранное ружьё, глянул в стволы, направил на окна.

— Да, чистая работа. А с патронами как жа?

— Да всё есть. Вот и патроны, и гильз тебе, то есть Игнату, на зиму хватит, и порох, и дробь, и барклай, и всякая всячина.

— Эт какой бой, а то и на полчаса не хватит, — съязвил Егорыч, уже слегка разморённый и от счастливой встречи, и от усталости, и от выпитого.

Так они досидели до глубокого поздна. Дарья пошла проводить захмелевшую и растроганную Анисью до её избы. Мужики всё толковали, то доставали старое Егорычево ружьё, выданное ему в районе как егерю ещё в 48-м году, и это, новое, всё целились из переломленных стволов теперь уже не в окно, а в лампу, ярко, по-праздничному горевшую над столом, то поднимали лафитники из нескончаемой бутылки и внутренне бессловесно радовались своему мужскому единению. А Егорыч всё хорохорился и всё говорил, как щас бы он зажил ба, уж ежели б не война. Всё-то она поломала, всё-то покорёжила.

Вернулась Дарья. Присела за столом. Мужики даже и не заметили её возвращенья, так они были увлечены своей значимостью в этом их маленьком, затерянном мире. И Дарье так не хотелось прерывать эту их мужицкую радость, пришедшую, может, раз за все эти годы мытарств и горечей. Сидела, сложив руки на коленях, и сознавала их всех своими родными, своей семьёй, только теперь вернувшейся и к ней, и к ним. Дарья потихоньку, не мешая мужикам, устелила кровать Николаю, себе в сенцах, Егорычу за печью, а Игнату на сеновале. Уж потом, хоть и с опозданием, подоила двух коз, успокоила их, пообещала, что такого не повторится, так уж сложилось. Вишь, гости к ним.

Наутро поднялись спозаранок, причём даже Николай, уже отвыкший от деревенского распорядка.

— Што ж, ай постель не мягка?
— Да мягка, мягка. Только вот соскучился больно по лесу. Так прям и тянет. Аж снился мне там, на целине. Да и в армии снился, да и вообще...
— Ну да ладно. Давай-ка поснедаем по-тихому, да и айда. А Дарья нам соберёт чего-либо с собой. Тут вишь какое дело, до майских надо бы болотину одну обойти.
— А чего же к майским-то? Для отчёту или как? — спросил Николай у отца.
— Дак оно кому как. Можа, для отчёту.
— Ну ты прямо весь в загадках.
— Да ладно, ладно. Там углядим, чего да как...

* * *

— Ну-ка, стой. — Егорыч подтянул слегу. — Суды ногу не ставь! Тут топко. Засосёт, и «мама» крикнуть не успеешь. Шас я к тебе переберусь, рядом пойдём. А там уж и до суши недалече.

Так они втроём дошли до поляны среди болота.

— Ну вот, тута и передохнём. Да гляди в оба и увидишь, кто тебя суды тянул.

— Ты о чём, отец?

— Да я всё о том жа. Ты вот тута мне всё про сны рассказы говорил, а я уж в этих снах утонул аж. Вот наглядисься, а в вечеру в избе и поговорим.

— А сюда-то мы зачем забрались? Болото кругом, что здесь делать-то, не клюкву же собирать?

— Понимаешь ли, Епифаныч мне давно ешо говорил, что самолёт тут есть, с лётчиками. Мне-то всё недосуг был, в другом месте я всё время проводил. А тут вот Игнат-то мне всё с расспросами лез, я и вспомнил. А Епифаныч мне говорил, что аккурат на майские их подбили ешо в сорок третьем. Вот на майские их и схоронить ба.

— Так как же их тут, в болотине, найдёшь разве?

— А чего искать, сами покажут.

— Да как же это, отец?

— А вот уже сам углядишь. Малой ты ешо был, когда мы с тобой по землянкам-то шарились, вот, видать, они к тебе и не ходили. А я-то как вернулся, мы с тобой за лесинами пошли. Помнишь небось. Так я его сразу узрел. Он меня до окопов-то и довёл. Эт я уж потом к тебе вернулся, да говорить не стал. А с Епифанычем-то мы уж потом, когда говорили, он мне и поведал, что ходют они тут в лесе и воюют ешо. Говорил, целыми толпами мыкаются как неприкаянные. Вот он-то, Епифаныч, первым и стал их хоронить. Мамку он нашу схоронил. А видать, испужалась она солдатом-то, да и побегла, а на mine и разорвало её. Сам я так думаю. Вишь дело-то какое. Надо их на майские...

Тут Егорыч приподнялся и, не озираясь, пошёл в глубь леса, да не разбирая, где трясина, где кочка, «аки по суху». Минут через двадцать Николай и Игнат услышали крик Егорыча:

— Давай ко мне. Тут я. Нашёл.

Николай и Игнат пошли в сторону голоса. Нашли Егорыча не сразу. Пришлось ещё несколько раз перекрикиваться. А когда вышли на небольшую проплешину, увидели кучу какого-то хлама, а рядом Егорыча.

— Ну вот и они, — сказал Егорыч, указывая на хлам.

— Кто они?

— Лётчики. Вишь, планшетку я уже нашёл, да вот очки ихнии. Давай разберём кучу-то. Глядишь и найдём.

Стали методично разбирать кучу. Сначала аккуратно корчевали мелкий кустарник, потом руками разгребали влажную, ещё холодную землю вперемешку с корнями и листвой.

— Да не дёргай сильно-то, мягше, да гляди, косточки могут попасться, а ты откинешь. Да вещи могут быть, хотя и мелкие. Теперь всё сидитца.

Когда отгребли траву, показались обрывки перкаля, деревянные бруски, планки, куски фанеры.

— Ну вот и самолёт, — определил Егорыч. — Теперь давайте ещё аккуратней лётчицкие места просмотрим, да руками, руками.

Из незастеклённых кабин стали выгребать листву, перемешанную с корешками разных трав, оголили приборную доску с указателями высоты, скорости и ещё какими-то неизвестными им приборами.

— «Небесный тихоход», — определил Егорыч.

— Ты-то откуда знаешь?

— Да лет десять назад в районе такое кино видел. Так и называется — «Небесный тихоход». Думаю, про этот вот и есть.

Когда разгребли траву и дёрном покрытые бугорки, обнаружили останки двух лётчиков. Стали бережно собирать косточки. Сначала достали черепа в истлевших матерчатых шлемах. Егорыч аккуратно расстелил невдалеке две холстины и велел останки каждого лётчика укладывать отдельно.

Так они проработали часов пять. Собрали вроде всё. Но Егорыч потребовал перебрать ещё раз весь мусор. Нашли два зеркальца в карманах истлевших комбинезонов и женские туфли.

— А эт-то откуда? Что ж, баба одна-то.

— Да не одна, а обои, — сказал Егорыч. — Документы ихние у меня. Епифаныч ещё передал.

Свернули две холстины в два узла.

— Вот и всё уж теперь. Когда Епифаныч их нашёл, они в теле ещё были. Не смог тащить. А теперь уж что жа, дотащим, донесём то ись.

— А как ты, отец, их сразу-то нашёл?

— Как-как. Сами показали. Пошёл прям за ими. Они и привели.

Больше Николай ничего спрашивать не стал.

В деревню вернулись уже под вечер, уж под ранние сумерки. Принесённые останки оставили за изгородью у дома. В избе молча сели за приготовленный Дарьей стол. Ели молча. Потом Егорыч, то ли опомнившись, то ли так ему захотелось, попросил у Дарьи водки. Сам разлил и, подняв стакан, сказал:

— Давайте помянем девчонок. Совсем крохи были-то. Одной двадцать два, Натальей звали, а Маринке совсем девятнадцать. И не замужем, и без деток. Так вот. А родню искать будем. Теперя и сказать есть што. И похоронены они будут.

* * *

Это уже в июне, ближе к концу, вдруг в избу постучал почтарь. Дарья впустила. Так-то знала его. Нет-нет да бывал он у них, не то раз в году, не то почаще. На велосипеде объезжал своих адресатов. Вот и к ним зачем-то сегодня.

— Тут вот какое дело, Дарья. Ивана твою в район вызывают. В военкомат, значит. Повестка вот. Распишись в получении. Я уж дожидая его не стану, катить мне ешо далече. А ему скажешь, что по важному делу. Пусть уж сходит. А сам я не знаю, хорошо ли ему оттого будет, плохо ли. Да газеты вот вам, читаете.

Егорыч вместе с Николаем и Игнатом вернулись опять под вечер. Дарья показала ему повестку. Егорыч повертел её и как-то сник. Неужто опять за старое трепать будут? Вот вроде уж сколько годов не трогали. А тут опять. Хорошего-то от них ждать не приходится. Хоть и поздновато уж было, но велел Дарье протопить баню.

— Ну и костюм твой, Кольша, вишь, сгодитца. Не только на похороны, а и так вот. В ём пойду.

В баню пошли все трое мужиков. Особо не парились, да и баня-то не набралась. Всё на скорую руку. После бани посидели в избе за столом. Вяло разговаривали ни о чём. Егорыч ушёл к себе за печку и то ли застал, то ли так затих в думках.

Утром проводили его до большака, а там всё ж дождались попутку, усадили его, нарядного, в кабину, благо шофёр, видать, спозаранку ещё никого не подсадил.

А вечером, уж опять по-тёмному, пришёл Егорыч в избу. Достал из кармана пиджака две «казённые» поллитры и тряпицу, носовой его платок, какой Дарья ему утром запхнула в карман пиджака. Развернув тряпицу, Егорыч показал красную коробочку, достал из неё медаль «XX лет Победы» и две книжицы.

— Вишь, вот дали как участнику, а «За отвагу» только книжку. Два раза не дают. Ту-то я утратил. А ведь помню, что и я воевал. Знать, не во всем я был виноват.

Вот за это выпил. Ушёл на улицу. Долго его не было.

— Вот, Николай, и жизнь прошла. И всё время я всё чего-то доказывал. Ну что я тоже не плохой, например. Что не сдавался я в плен, что не кулак, что не против колхозу, хоть и не верил в ево. И так всю жизнь. А вот теперь вроде и хороший я, коль признали, а мне уж это не нужно. Я и так уж знаю, что поступал как надо. А выхода не было.

— Чего-то, отец, ты как бы прощаешься.

— Да нет ещё. Чуток потяну. Надо мне тебе кой-кого показать. Вот уж с неделю потерпи. И Игнату тож, коль он тоже заражённый. Тогда

уж, можа, и упокоюсь. Машут они мне всё время, машут. Хочу, чтоб вам теперя махали.

* * *

Николай прибыл в район. Зашёл на почту. Получил послания «до востребования», получилось немало. Потом в ритуальную мастерскую.

— Здравствуй, Безенчук! — так он поприветствовал своего давнего однокашника ещё по техникуму, а теперь никому не нужного сельского специалиста Митрофана Степанова. Вот и его перестроили из агрономов в камнерезы.

— Ну, здоров, здоров. И вам. Готово вот всё. Глядеть будешь?

— А как же. Не каждый день памятники отцам ставим.

Кучматов Иван Егорович
1897–1971
Солдат
Кавалер ордена «За отвагу»

— Почему ж ордена-то, Митрофан?

— А ты не знаешь? В сорок первом ему дали. А в сорок первом это всё равно, что Герой. Не ошибся я. Пусть так будет.

— Да уж. Помню я, как он рад был, когда в шестьдесят пятом награду вернули.

После XX съезда стали думать о восстановлении доброго имени людей, оказавшихся в плену главным образом в первый период войны, во время длительных отступлений и огромных по масштабу окружений. Требовали даже наиболее полного восстановления справедливости по отношению ко всем, кто заслуживает этого, восстановления поправленного достоинства всех честно воевавших и перенёсших потом трагедию плена солдат и офицеров.

— Ладно. Принимаю, — продолжал Николай. — Вранья нет. Как вот теперь до места довести?

— Это в Глинища, что ли?

— Да. Там мы его похоронили. Вместе со всеми. Ты вот что ещё, Митрофан. Надо бы нам ещё к празднику Победы сделать плиту с именами погибших. Прочли ещё почти семьдесят имён. Смог бы ты столько написать к Победе-то?

— Да уж одному не под силу. Так вот ещё Гришку попрошу. Да, вишь, он, гад, за бесплатно не хочет.

— Ну найдём мы ему деньжонок. Не богато, но уж не обессудь.

— Да ты знаешь, я-то не рву. Это вот их из какой матери нашли. Всё им деньги, деньги. Да и сам знаешь, каково щас им, молодым. Всё надо, всё денег стоит. Можа, они и правы. А так-то ты не переживай, успеем. Раз надо, то надо. Уж ежели им отказывать, то кому ж тогда не отказывать.

— Ну тогда жди меня назавтра. Сейчас пойду составлять список подробный, чтоб без ошибок. Нельзя нам здесь ещё раз опростоволоситься.

— Эт ты про Тарасова, что ли? Так эт всё от тебя зависит. Как ты нам написал, так и мы написали. Ты ж сказал Тарасёв, мы и выбрали Тарасёв.

— Ну вот видишь, из-за одной буковки, а почти десять лет родных искали. Так что всю ночь сегодня придётся перепроверять все списки.

— Николай, всё спросить хочу. А что ж наш горсовет-то не встревает, с деньгами-то. Могли б подкинуть на памятник.

— Да уж ты-то хоть не смейся. Ты ж знаешь, у них все деньги ушли на выборы, да на фейерверки, да на шарики. Вот деньги с шариками и улетели. Да обойдёмся, лишь бы не мешали.

— Эт точно!

— Ну давай, до завтра.

* * *

Как обычно, в конце апреля Николай и Игнат собирали всех желающих участвовать в поисковых работах и в захоронении солдат, погибших в эту страшную войну (хотя где бы увидеть войну не страшную), у себя в Глинищах. Вот для этого восстановили несколько изб, чтоб можно было более-менее по-человечески хоть переночевать в тепле да обсушиться у печки. Но лагерь делали прямо в лесу, чтоб не бегать туда-сюда, а целый день работать. Весна, уже оттаяла земля, нет комаров, трава ещё не подросла и не мешает собирать лежащие практически наверху останки солдат.

Вот и в этот раз прибыло человек сорок, некоторые с детьми, семьями. Лагерь собрали часа за три. И палатки поставили, и тенты натянули, и костры разожгли, и уже похлёбка варилась. Сегодня в поиск не пошли. День сбора. Не виделись давно. Наговориться надо, да и выпить за встречу, планы наметить, песни попеть. А уж завтра в работу и чтоб уж не отвлекаться. Мужики настраивали металлодетекторы, подгоняли одежду, подбирали обувь по погоде, собирали дрова для костра. Костёр должен и ночью гореть. В лагере останутся на ночь человека три-четыре, а остальные пойдут в деревню на отдых. Но сегодня решили в лагере остаться все. Женщины варили обед-ужин-завтрак, гремели посудами, тарили продуктовую палатку, раскладывали спальные мешки, проветривали. Ну, хорошая такая, весёлая, почти туристическая колготня. Детворы в этот раз уж больно много. Даже дошкольники.

— Ну куда ж вы таких-то? — всё сетовал на родителей Николай.

— Да пусть привыкают. Им же наше дело дальше двигать.

— Да уж. Вот и сбылась мечта и отца, и Анисьи, и Евдокии. Вернулся в деревню народ. А они так ждали, так хотели. Вот не дожили. Но все равно хорошо.

Все расселись за длинным, сколоченным из привезённых с собой досок столом.

— Ну что ж, друзья, а по-другому сказать уж не могу. Вот и снова мы с вами здесь. Давайте уж за встречу, — с комком в горле и с какой-то

хорошей мужицкой «соплёй» в голосе проговорил Николай и поднял до краёв наполненный спиртом солдатский котелок, отпил полглотка и пустил котелок по кругу.

Каждый, принимая его, отпивал чуть и передавал другому. Все, кроме детей и подростков, пригубили, помолчали, загремели ложками.

— Ну, по второй.

Всё повторилось.

— Ну, а теперь третья, стоя и молча.

Котелок вновь обошёл по кругу всех вставших за столом.

— Ну что ж, Николай, давай уж четвёртую.

— А это уж что-то я и не знаю.

— Ну как не знаю. Четвёртая, это чтоб за нас третью не пили... или за косоглазие врагов.

— Отказать не могу, принимается. Но чтоб завтра уж только после работы, вечером.

— Какой разговор.

Так за столом просидели за полночь. За год разлуки уж не могли наговориться. Николай несколько раз командовал отбой, но народ чуть ли не на коленях просил продолжения банкета и клятвенно заверил, что утром «все как штык». Конечно, Николай переносил каждый отбой ещё на полчаса и ещё на полчаса. Ему и самому было радостно сидеть вот с этими — просто людьми — за столом. Ведь они, именно они стали вдруг его односельчанами, родными. Не хотелось прерывать эту связь. Детвора бесилась у костров. Уже заиграла гитара. Уже один малец, гитара больше его, что-то пел. Николай разобрал сквозь гомон сидящих за столом: «А был солдат бумажный...»

Утром, конечно, «штыками» не пахло. Но народ, хоть и робко, но добросовестно вылезал из палаток. Один, второй, потом кого-то тащили за ноги из палатки, но всё ж к назначенным девяти часам все были на ногах, экипированы и «стучали копытами». В лагере оставили дежурных и вышли по тропе в лес двумя группами. Одну группу возглавил Игнат, другую сам Николай.

Обе группы вернулись в лагерь вечером. Принесли останки солдат, стали раскладывать их на полянке, обнесённой красной лентой. Закончив и эту всё же работу, ополоснули руки водой, расселись за столом. Молча пустили по кругу котелок со спиртом. Поели, помолчали. Дежурный сообщил Николаю, что днём, часа в два, приезжал участковый и предупредил, что завтра будут представители администрации и ему необходимо их встретить.

— Ну что ж, встретим. Видимо, те же, с «экологической» проверкой.

Николай отошёл от лагеря, встал у одинокой берёзы на взгорке, закурил. Уж больно сильно стали опекать Николая всякие представители. Даже подумать не мог, что в администрациях столько служб, отвечающих за счастливую жизнь простого народа. И экология, и пожарные, и милиция, и по делам молодёжи. И везде нужно отметить, обосновать своё присутствие. Вот только почему-то сапёров не присылают, когда большие взрывчатые предметы находятся. Маленькие уж сами научились уничтожать. Да что там говорить. Иной раз досок не допросишься на

гробы солдатам. А на проезд родственникам к могиле в Глинищах собирают всей деревней на родине солдата. Действительно, все деньги на шарики улетели.

В низинку стал спускаться туман. Николай оживился, стал настороженно ждать. В дымке появился силуэт солдата в форме времён войны. Солдат прошёл мимо в согбённой позе, не обращая внимания на Николая. Через время замахал зазывно рукой, не оборачиваясь. Николай споро последовал за ним.

* * *

Вернулся он в лагерь лишь под утро. Усталый, грязный, но спокойный, хотя с возбуждённым блеском в глазах. Лагерь ещё спал, кроме дежурных. Быстро соорудили поесть. Николай велел поднимать лагерь, кормить и собираться в поиск.

— Николай Иваныч, тут к вам делегация. Ветераны.

— Чего хотят?

— Говорят, старшего им нужно. Пришли спозаранку, часов в шесть. Мы их по палаткам распределили. Пусть отдыхают. Говорят, с первым автобусом до большака доехали, а потом пёхом добирались. Один вообще на протезе.

— Ну поднимай их, поговорим.

Но три старичка уже стояли у костра. На вид им было за восемьдесят или около того. Николай пригласил их к столу.

— Да нас уж ребята ваши подкормили.

— Ну и хорошо, коль так. С чем к нам пожаловали?

— Да, вишь, дело-то тут какое, Николай Иваныч. Воевал я в этих местах. Правда, не совсем здесь, но и недалеко. В этих же боях, где всех положили отцы-командиры. Как этих побило, нас и бросили в прорыв. Мы-то с их окопов начинали. И в окопах, и перед ними всё было завалено побитыми. Ну мы прям по ним и ходили. Нам на всё про всё дали час — и в атаку. Ранило меня тогда легко, а других из наших, уже свежих, много побило. Шли-то мы на пулемёты почти в рост. Обмундировки никакой, винтовок мало. Не у всех. Ну а немца мы всё ж тогда погнали. Да... Но народу полегло-о... Дак вот, узнал я тут от молодёжи, что теперь тока солдат тех хоронют. Ну и решил тожа, да и мужики вот, ну, эта, с вами, в общем...

— А живёте-то где, с кем?

— Да живём мы все трое в районе, в одном же бараке, соседи. Одни вот остались. Сила уж, конечно, не та у нас, но, может, сгодимся. Мужики тоже воевавши, хоть и не в этих местах. Мужики справные. Вот и просим взять нас к вам, на захоронение солдат этих.

— Ну что ж. Дело это добровольное. Но сдюжите ли? Тут по лесу ходить надо много.

— Так мы с молодыми уж, пригреемся. От них духу наберёмся.

— Ну раз так, я не против.

— Вот и благодарствуем. Обузой не будем. Пропитание у нас с собой есть, не объедем.

— А что ж раньше-то не сообщили никому, что солдаты тут побитые брошены?

— Так не мы ж бросили. Да и думал я посла, что похоронены они как положено. А как вот прознал я в прошлом годе от соседа, что вы тут солдат хороните, ну и заволновался. Пряма места не находил.

— А кто ж сосед?

— Да он памятники режет, фамилии, ну в этой, как её, в похоронке.

— Не Григорий ли его зовут?

— Да, да. Он.

— Ну ладно. А вас-то как зовут?

— Иван я. Как ещё-то? Гришанин моя фамилия. А отец — Пётр.

— Сегодня-то в лес, Иван Петрович, я вам ходить не рекомендую. Отдохните, осмотритесь, помогите дежурным. Повспоминайте. А вспомните что, то и нам поможете. А уж завтра вместе со всеми и в лес пойдём.

Деда как-то приободрились после разговора, помолодели даже. Достали свои котомки и разложились к завтраку.

— У нас общий котёл, — сообщил им Николай. — Ставим вас на котловое довольствие. Приобщайтесь.

* * *

Вечером уже, когда отряд, вернувшийся из леса, хлопотал в лагере по нескончаемым бытовым делам, Николай заметил ветеранов сидящими за вновь сколоченным столиком. Сделан он был добротнo, рядом с основным отрядным столом. Лавки вкопаны, затрамбованы и даже подогнаны по росту каждому из стариков. Вокруг их стола собралась молодёжь. Николай подошёл к ним и встал в сторонке. Рассказывал ветеран с протезом.

— Отец мой говорил, чтоб я выбирал такую профессию, которая давала бы кусок хлеба при любых обстоятельствах. Совет-то прост, да не так лёгок. Кажется, например, что работа продавца продмага или повара в столовой всегда даёт этот кусок. Так, да не так. Тут ты имеешь кусок только тогда, когда все прочие имеют тот же самый кусок или кусок лучше. А случись что серьёзное... У нас в городке, например, когда началась война, начальство первым делом заполнило все питательные точки своими родственниками и холуями, а прежних обладателей этих точек вытурили, кого в армию, кого в тюрьму, кого на военные заводы. А все бездельники всю войну провели в теплоте и сытости. И все уцелели! А я-то после ранения был комиссован. Госпиталь тут рядом был. А посла госпиталя куда-то деваться надо было. А куда? Родных-то никого. Ехать некуда. Да и кому я нужен с култышкой. Решил остаться здесь. Пожил в землянках. Домов-то мало уцелело. Потом бараки стали ставить. Я и начал столярить. Вроде при деле, хоть и инвалид. Паёк давали как всем, в барак переселили. Обженился я. В бараке у нас и дети народились. И выросли. Нам-то потом дома велели строить. Но в дома нас не перевели. Всё в бараке да в бараке. Уж дети выросли, разъехались. Остались мы с женой. Дожили до пенсии. Пока моложе были, вроде всё

устроивало. А так что в бараке: ни воды, ни газа, ни отопления. Даже общей кухни нет. Мы-то с тремя детьми так прожили, в одной комнате. Тут тебе и кухня, и столовая, и спальня. Нужник на улице, вечно промёрзший, колонка с водой на другой улице. А как жена заболела, стал я ходить в исполком. А мне говорят, мол, у меня пенсия большая — и на сиделку вам хватит, и на еду, и на всё остальное. А один начальник пообещал: дескать, обожди, вот перестройка кончится, может, дадим. Никак не пойму: перестройка кончилась или нет? А потом, когда жена померла, я и ходить никуда не стал. Что толку? Кричат, ругаются и оскорбляют. А отвечают, как продавщицы в магазине. Если чего не понял, лучше не переспрашивай: так глянут, так тебе ответят, что дай бог ноги. Душу всю выворачивает. Вот мы с мужиками так и доживаем. А барак всё ещё стоит, и в нём люди ещё живут. Крепкий барак оказался. А нам вот предлагали без очереди в дом для стариков, в интернат по-ихнему. Да что ж мы там доживать-то будем разве, сгниём ни за грош. Уж вот узнали об вас. Порешили мы тута подмочь. Вот были бы дома в деревне, можа, и жить остались. За собой ходить ещё сможем. А так, троих, друг за дружку — продержимся.

Кто видел, как плачут старые солдаты? Плача, собственно, нет. Это же не дети. Какая-то влага на глазах, высушенных в окопах, стеснительный жест согнутым в крючок пальцем по ресницам. И — желание провалиться, сделаться невидимым, не выставляться в таком виде. Слезы стариков способна выжать лишь жгучая обида. Боль они привыкли терпеть.

Плачут, плачут наши старые солдаты, трут корявыми ладонями глаза. И стыдно им, больно им, невыносимо им. Мало нас калечили фашисты, так теперь нет покоя и дома. Дайте хоть умереть спокойно!

— Да есть в деревне дома-то. Мы их подправили даже. Жить-то можно. Колодец отчистили. Вода — обопьёшься!

Если и знал кто правду о прошлом, если кто и знает её сейчас, то это — народ. Она — выход из его опыта и потребностей.

Кто не ведал, что народ переживал, тот вряд ли способен услышать и то, чем живёт он сегодня... Недоверие к народу и тем более пренебрежение к нему не приводило к правде...

Да уж...

Чем ты, великая держава,
Искупишь слёзы матерей?

Вспомнилось, как он на своей машине ездил на Смоленщину. Отвозил родственникам медальон-«смертник» солдата Григория Фёдорова. Взял с собой журналиста Марата Петросова. Ехал наудачу. По адресу, который был указал в «смертнике». Все попытки установить, есть ли родные, ни к чему не привели. Получал одни отписки. Да что там. Поехал. И вот Марат увязался. Ну что ж.

Пока ехали до Смоленска, журналист всё рассуждал, какие бои здесь были и наверняка в этих местах также в лесах и на полях лежат ещё незахороненные солдаты.

— Да везде они лежат, от Карелии до Туапсе. И, знаешь, ещё (или уже?) никому не нужны.

В Смоленске купили в киоске подробную карту области, поехали дальше. Километров двадцать ехали по асфальту, а дальше пошли уже направления. Машина едва ползла по просёлкам. Только к вечеру добрались до деревеньки, обозначенной в «смертнике», остановились у первого дома. Деревенька как деревенька, домов, правда, мало. Да и народу особо не видно. Из сарая вышла тётка, уже в возрасте, с подойником. Остановилась, приложила руку к глазам козырьком. Видать, закатное солнце не давало хорошо рассмотреть гостей.

Николай вышел из машины, подошёл к ней, поздоровался.

— Ищите кого?

— Как догадались?

— Так живёт-то здесь народу мало. Я всю их родню знаю.

— А вы в войну здесь жили?

— Да я всю жизнь отсюда не выезжала. А теперь и некуда, и незачем. А что так спросили?

— Ищем мы родных солдата, который погиб в войну.

— И кого ж?

— Григория Фёдорова.

— Охы. Я ж помню, как он на войну уходил. Я-то ещё девчонкой была. Посадили их на телегу и увезли.

— А родные-то его живы?

— Так матушка его ещё в шестидесятых умерла, всё ждала. Жена здесь жила, да два года как тоже померла. Да сёстры его в Осоках живут. Тут километров пятнадцать будет. Замужем они там, и фамилии у них другие. А найти их легко. Там, в Осоках-то, две улицы крестом. Марфа-то аккурат на кресту живёт, а Мария — через дом. Вот рады-то будут хоть что про Гришку узнать. В добрый путь вам! Молочка вот на дорожку, парное. Испейте.

До Осоков добрались тогда сравнительно быстро и дом Марфы сразу нашли. Объяснили ей, почему оказались здесь.

Марфа сейчас же побежала к Марии. Вдвоём они сразу стали накрывать на стол. Побегали по соседям. Тогда были знаменитые 90-е. Всё по талонам. Водки и то толком не было. Но добыли у кого-то две бутылки «казённой». Уселись за столом. Помянули.

И потянулись в избу соседки. Уже вся деревня знала, что у Марфы с Марией брат с войны нашёлся.

— А в сорок третьем, когда нас с-под немца отбили, стала я ходить в школу. А ходили далёко, за пять вёрст. Утром, темно ещё, иду по полю. А с-под снега солдаты валяются, убитые. Всё поле завалено. Волки их грызут, нас, живых, не трогают. А я иду и всё про Гришку думаю. Вот лежит где-нибудь так же, и волки его грызут. От него с сорок первого никаких сведений. Да и какие сведения могли быть. Мы-то под немцем были.

— А моего-то не можно найти? Мой-то тоже сгинул. Уж хоть бы могилку. А то никак...

И загалдели бабы, и полились слёзы. И ручьями, и реками, и морями. Марат тогда сидел как пришибленный. Не ожидал таких масштабов.

— А что ж ты хотел, говорено же: «Нет в России семьи такой...»

И на обратном пути Марат ехал молча. Курил всё. Вернулись домой. Николай довёз Марата до гостиницы. Вечерело. Вышли из машины. Закурили. Марат провёл рукой по крыше. Машина была покрыта влагой.

— Вроде дождя-то не было?

— А мы, Маратик, пол-России проехали. Вот все бабские слёзы и собрали.

* * *

В лагере поисковиков мужики делали гробы. Женщины и дети омывали останки найденных солдат. Рядом с останками стояли три солдата-ветерана. Иван Гришанин взял в руки череп. Стал его рассматривать.

— Молодой совсем. Все зубы целые, не съедены. Одногодок мой.

Незаметно он отошёл в сторонку, прислонился к берёзке, постоял так какое-то время и медленно осел. Со стороны казалось, что притомился старик, присел передохнуть.

Хватились его примерно через час. Николай подошёл к нему спросить, чем обивать гробы или, по местному обычаю, обжечь их из паяльной лампы. Петрович не ответил. Николай тронул его за руку, а он сполз и остался лежать под берёзой. Николай пощупал пульс. Пульса не было, и рука уже остыла.

— У-у-у!

Подошли ветераны и ребята из отряда.

— Не надо ничего. Ушёл он. Значит, пора пришла... На поле боя помер. Давайте обиходим как положено.

Солдата перенесли на кусок брезента, аккуратно поправили ноги, руки сложили на груди. Николай присел на поваленном дереве рядом с умершим ветераном. Закурил.

Зарастают могилы травой, но новые могилы вырастают на наших кладбищах.

* * *

По грунтовой, поисковиками накатанной дороге к лагерю подъехала кавалькада легковых машин. Из них вышли уже знакомые Николаю представители местной администрации с характерной внешностью «уродов». С ними местный участковый и «мальчики» в добротных костюмах с галстуками, румяные, все одинаковы с лица, как из одного ларца. Осмотрели брезгливо лагерь. Увидели стоявшие на столе кружки со спиртом, накрытые ломтями хлеба. К столу подошла замша главы местной администрации и с размаху ударила по кружкам.

— Вот вы, значит, чем тут занимаетесь! На каком вы здесь основании? Кто вам здесь позволил пьянки устраивать?

Николай глубоко набрал воздуха в лёгкие, желваки на скулах явно не успокаиваются. По виду, отвечать не намерен, да и не готов. С укором

посмотрел в тупые пороссячьи глазки этой дуры. Подумал: «Кабаниха живьём. Исторически мы несчастливый народ».

— Составьте на всех протоколы, — вальяжно хорохорилась функционерка, обращаясь к участковому. Увидела гроб с телом Петровича и гробы с останками найденных солдат. — Что за гробы? Что это тут ещё за крематорий? Кого это вы тут у нас собираетесь хоронить? Допились!

Николай еле сдерживал себя, играя желваками, сжимая-разжимая пальцы рук. Очень ему хотелось хрястнуть по этой жирной морде с пороссячьими глазками.

Если доброму делу сопротивляется обширная толпа чиновников, то она ещё не народ.

К лагерю подъехала машина, «Нива». Из неё вышли водитель, парень из отряда, и священник.

Функционерка немного затихла. Вся их камарилья отошла в сторону. Стали о чём-то переговариваться. Видно, что Кабаниха им что-то втолковывает, требовательно жестикулируя. В это время священник разжёг кадило, начал ритуал отпевания, подойдя сначала к гробу с умершим фронтовиком, а потом обошёл гробы с останками всех найденных бойцов.

— Прости им все прегрешения, вольные и невольные...

Поисковики собрали разбросанные Кабанихой кружки, котелки и стаканы. Вновь заполнили их спиртом и накрыли хлебом. К Николаю подошли милиционер и мужчина в костюме и галстуке.

— Нам необходимо составить протоколы на вас всех. Нужны ваши данные, Николай Иванович.

— В связи с чем протоколы?

— Ну... за распитие.

— А в лесу что, сухой закон или общественное место? И мы как бы ещё и не распивали. Спугнули вы нас. Это теперь на убитых надо составлять. Да вот данных на них нет.

— Ну, тогда за проживание без регистрации.

— Не смехи, участковый. Туристы мы, прибыли утром.

— Ну, поймите меня. Мне замглавы администрации района дала указание, я не могу не выполнить.

— Так выполняйте, коли наглости хватает. О совести уж не говорю. Да, кстати. У меня тут ребята напросились. Многие прошли Афганистан, Чечню. Половина после ранений. Я не думаю, что им ваша бодяга понравится. Смотрите, как бы вы не разворошили муравейник.

Николай отошёл от участкового к столу. Батюшка ещё нёс службу, ходил вокруг останков, раскачивая кадилом и напевал молитвы. Священник был статный, крепкий, даже с военной выправкой, моложе Николая.

Ребята налили спирт в один солдатский котелок. Батюшке подали кружку, в которую налили вина «Монастырская изба». Все выпили на помин, не обращая внимания на группу, стоящую у машин. Группа эта потопталась ещё какое-то время, расселась по машинам и уехала. Участковый остался. Подошёл к Николаю. Николай протянул ему котелок со спиртом. Участковый молча выпил.

Посидели. Николай при священнике курить постеснялся. После этих «кабаних-кабанов» разговор как-то не клеился.

Первым начал священник:

— Мы выходим на старинное, извечное соотношение закона и совести, закона юридического и нормы нравственности, как говорили в старину, — закона и благодати... Не надо бы вам, Николай, всё так близко принимать к сердцу.

— Их всегда пытались накрепко связать, закон и благодать, совместить. Иногда даже казалось, что они действительно слиты. Но проходило время, и становилось ясно, что личностные понятия ничем незаменимы.

— Да. Вы правы, Николай. Нравственность — понятие личностное, закон — социальное. Может быть, когда-нибудь, в необозримом будущем, они совпадут. А пока конфликт между ними в определённой мере и является тем импульсом, который пробуждает человеческую душу и разум. Так что это вовсе не аномалия, а норма. И игнорирование её влечёт за собой совершенно иные представления о человеческих ценностях, определяет совсем иной способ жизни.

— Уж очень зафилософствовались мы с вами, батюшка.

— Так что ж. Иногда и это полезно делать. Замечу, не всем это дано. Если человек знает, что в этой жизни нет тайн, кроме кроссвордов, если он не допускает мысли о том, что есть проблемы, которые разрешаются только им самим, только в его душе, он полностью надеется на некую всесильную инстанцию, учреждение, но не на себя. Беда грозит нам в связи с обнищанием личностных начал в человеке.

— А не богохульственны ли ваши речи, батюшка?

— Да нет. Правильно это.

* * *

По этой же грунтовой дороге к лагерю подъехали яркие автобусы типа туристических. Остановились метрах в двухстах. Из автобусов под нашу музыку с гоголом начали выскакивать люди в цветных одеждах, явно не соотечественники. Не обращая внимания на поисковиков, часть из них стала ставить столы, на столах появились банки-склянки, пакеты, какие-то упаковки. Из лагеря не очень хорошо было видно. Николай брезгливо отвернулся, сказал своим:

— Ну что ж, нам бы до завтра продержаться. Похороним солдат и снимемся. Тут, видать, наша смена прибыла.

В лагере оставили дежурных и ушли в лес.

Вернулись вечером. Николай увидел у стола груды всякой цветной одежды.

— Это откуда?

Дежурные стали объяснять.

— Эти с себя снимали и принесли нам. Этот, там с ними, из администрации, по делам молодёжи, говорит, что, мол, стыдно на нас смотреть, оборванные, в незнамо чём, мол, мы одеты. А это всё импортное, велел использовать.

Николай осмотрел лагерь соседей. Стояли аккуратные, добротные цветные палатки, одна — как вагон трамвая, видно, столовая. Рядом натянута волейбольная сетка, играет громкая музыка. Некоторые из приехавших сидят в шезлонгах под цветными зонтиками. Курорт.

В это время подошёл к Николаю «молодёжник». По каким-то неизвестным признакам, которые и описать-то нельзя, Николай определил — из бывших комсомольских.

— Мы сопровождаем один отряд из Германии. Патриотическое движение. Будут тут они своих солдат искать...

— Ты своих лучше б поискал, а то как пресмыкался, так и пресмыкаешься.

— Ну, зачем вы так. Ведь международные связи, наша политика и вообще.

На нём уже была майка с какой-то полуобнажённой красоткой и броской надписью. Николай осмотрел «молодёжника». Попытался прочесть импортную надпись.

— Что, уже рассупонился? — кивнул на майку.

— Ну да. И вам бы переодеться. Они вот передали для ваших, и вам подберём. Они...

— Хозяйственный... — И крикнул: — Виталий!

Подошёл парень из отряда Николая.

— Ты вот что. Тряпье закопай, а «патриотам» сала отнеси, а то, может, они голодают, раз последнее исподнее на обмен принесли.

— Будет сделано, — резво и обрадованно побежал исполнять.

Немцы разожгли костры. С их стороны грохотала музыка, неслись гогот, женское ржание. Николай стоял, прислонившись к берёзе. Курил. Из сумерек ему привиделся человек. Махнул зазывно рукой.

* * *

Наутро поисковики погрузили гробы с останками солдат в тракторную тележку. Туда же поставили гроб с умершим фронтовиком. Медленно пошли за тележкой.

Когда заканчиваются войны, начинаются воспоминания о них. Воспоминания непрерывные, бесконечные, до тех пор, пока живы те, кому пришлось побывать в их купели. Почему и зачем вспоминают солдаты? Почему не спят длинными ночами, зачем берегут переполненные впечатлениями и испытаниями души? Почему всплывают в их памяти те картины, которые они хотели бы забыть? Они вспоминают не только для того, чтобы уточнить ход тех или иных боевых операций, проанализировать их. Ведь ничего не изменишь, ничего уже не поправишь, если даже и было что-то не так, как хотелось бы...

Видимо, вспоминая те дни, солдаты хотят, пытаются возвратиться к тем психологическим, нравственным состояниям, которые они пережили в бою. А потому такие воспоминания — наш общий нравственный потенциал, наше общее достояние, которое надо хранить. Ведь войны не

кончаются тем моментом, когда смолкают орудия, они продолжают в судьбах, в душах тех, кто в них участвовал...

* * *

За изгородью возле развалившейся избы сидели кто на чём за импровизированным столом мужики. На столе всякая деревенская снедь. Картошка в ведре. Видно, что мужики уже выпили, медленно разговаривают. Одеты во всё чистое. Один пожилой рассуждает:

— Вот слышал, запад наши земли опять прибрать к себе хочет.

— Эт как же, опять война?

— Да нет. Хитрее удумали. Аренда у них. Хотут, чтоб наши земли освоить, продукт растить и к себе везть.

— А мы что ж?

— Дак у нас-то, вишь, техники нет. Поля все заросли, обсурепились, почитай, целик. Скоко уж не пахано. А ихняя земля вся уж заразная, продукт несъедобный.

— О как! Помню, мне Егорыч так же опосля, как он с войны-то вернулся, с плену-то, рассказывал, что видел он в ихних лагерях, как они от наших деток кровя брали да своих солдат бодрили нашими деткиными кровями. Получается опять так жа, тока теперь кровя из земли будут пососаны...

К избе подкатил уазик с военными номерами. Вышли два офицера — в форме майора и капитана. Капитан был за рулём. Майор — крупный мужчина, капитан — шакалистый, какой-то поджатый.

Майор, не поприветствовав присутствующих, громко распорядился:

— Так, господа. Чтобы не было неразберихи, надо бы все бумажки, что вы тут нашли, сдать нам.

— Какие бумажки?

— Смертники, книжки солдатские...

— Это ещё почему?

— А так положено.

— А что положено, на то наложено. Нами они найдены, значит, у нас и останутся. А когда родных найдём, то родным и передадим.

Капитан, выглянув из-за спины майора, пролепетал каким-то писклявым, вовсе не военным голоском:

— Положено, чтоб неразберихи не было...

— Что ж вы за столько лет всё не разобрались?

— Выполняйте указание.

Николай привстал, отошёл к изгороди. Мужики, не обращая внимания на военных, продолжали:

— Эт, вишь, закудахтали-то. Они, вишь, уже похоронили этих солдат-то. Ещё в шестидесятых, по указу Никиты. Да понаписали фамилии по спискам частей, да родным сообщили. Те стали приезжать на могилы. А на самом-то деле там похоронены солдаты, да не те. А тут нашли мы в запрошлом годе родных, да документы им передали, да сообщили, что похоронили мы ихнего отца в Глинищах. А те удивились, говорят, он

уже похоронен в другом месте. И документ у них из военкомата есть. Во как!

Николай закурил, потупил взгляд. Постоял так. Дальнейший разговор офицеров с мужиками слышал неразборчиво, уже как-то издалека. Хотел вмешаться, уже собирался выбросить окурочок. Поднял глаза, а за баней показалась ему чья-то спина. Солдат в гимнастёрке. Махнул призывно рукой. Николай пошёл за ним.

Коломна
2009



ХРОНИКА

Священное знамя

В южной части Мемориального парка, на границе бывшего городского некрополя, возвысилось торжественное здание. Его необычный фасад похож на алое боевое полотнище. И не случайно архитекторы выбрали именно такое решение. Ведь отныне здесь располагается **Музей боевой славы** — филиал Коломенского краеведческого музея, частичка нашей памяти о воинах!

Ранее экспозиция находилась рядом — в храме Петра и Павла. Но большинство коломенцев понимало: хотя под сводами церкви действует воинский мемориал, а не спортзал, всё равно в такой ситуации есть что-то духовно неправильное. Всякий храм есть Дом Божий, и светскому учреждению в его стенах не место.

Наконец в 2009 году администрация города возвратила святыню Церкви. И здесь же, недалеко от Вечного огня и монумента коломенцам, павшим в Великой Отечественной, началось строительство нового музейного здания. Это дело тоже стало своеобразным подвигом. Ведь проект осуществлялся в разгар экономического кризиса. И тем не менее коломенцы — и состоятельные благотворители и простые горожане — соединились в общем порыве. Создание Музея боевой славы стало поистине всенародной стройкой. Большинство жителей Коломны, в том числе и наша писательская организация, внесли в строительство толику своих средств.

Рядом с каменным знаменем застыла на постаменте грозная гаубица. И как знак памяти вознёсся над землёй символический колокол... А внутри, в таинственной тишине, мерцают латы древнерусского конника, стрелец готовится к защите кремля, глядят со стен Георгиевские кавалеры и герои «забытых» войн — в том числе Финской кампании.

Но главный раздел, конечно, отдан Второй мировой. Редкие образцы грозного вооружения, диорама, зримо переносящая нас в атмосферу жестокого городского боя, старинные документы и фотографии, словно опалённые огнём войны... Нашлось место и рассказу о локальных конфликтах, прежде всего об Афганистане.

Живёт, не угасает народная память... И современным коломенцам не стыдно перед своими предками. Мы помним о них!

Лариса РЯБКОВА



Лариса Борисовна Рябкова родилась в Костромской области, выросла в Коломенском районе. После окончания исторического факультета Коломенского педагогического института работает в Коломенском краеведческом музее.

Автор многочисленных работ по истории города, среди них: путеводитель «Короткое путешествие по Коломне пешком и на трамвае» (совместная работа с И.В. Маевским; Коломна, 1993); «Страницы истории коломенского земства (конец XIX века — 1917 год)» (Коломна, 2005); редактор-составитель сборника «Великая Отечественная война в письмах коломенцев» (Коломна, 2005); «Коломенские благотворители» (Коломна, 2009).

ПОТЁРТЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ

Давно отгремела Великая Отечественная война, которая в 1941 году круто изменила жизнь нашей страны. Она вошла в каждый дом, в каждую семью, принесла колоссальные разрушения, страдания и горечь. Каждый день войны был испытанием на терпение, стойкость и героизм; миллионы людей поглотила она в своём пламени, но это была не только самая кровопролитная, но и самая великая война по своему характеру и содержанию. Она показала величие наших солдат и офицеров, их безграничную любовь к Родине — за неё многие не пожалели своей жизни. Неимоверными усилиями армии, тыла, партизанских соединений была достигнута Великая Победа в мае 1945 года. С тех памятных дней прошло шестьдесят пять лет, за это время ушли из жизни многие из славного поколения фронтовиков. И чем меньше остаётся участников героической битвы, тем драгоценнее их свидетельства о ней. Неповторимыми в своей достоверности документами истории являются письма фронтовиков, в которых звучат голоса непосредственных участников событий военного времени, в них подлинная правда жизни.

Фронтовые письма — военные реликвии, они бережно хранятся в архивах многих российских семей. Они стали для них единственной памятью о родном человеке, который не вернулся домой с войны и остался в памяти близких таким, каким он был в те далёкие военные — сороковые.



*А.И. Лактионов. Письмо с фронта.
1947 год*

Несколько сотен фронтовых писем хранится и в фондах Коломенского краеведческого музея. Это потёртые, пожелтевшие треугольники с плохо читаемым адресом и номером полевой почты, с обязательным штампом военной цензуры. Текст очень часто написан на случайном обрывке, карандашом, который за давностью лет почти выщел. Чтобы понять содержание такого фронтового послания, нужно напрячь зрение и набраться терпения... И вот одна с трудом прочитанная фраза, затем другая — и перед тобой уже не стёртые строчки, а целая жизнь воина, полная тревоги и заботы о близких и уверенности в скорой победе. Эти пожелтевшие страницы — свидетели беспримерного мужества, высочайшего патриотизма и неггибаемой

воли — выглядят сегодня живой летописью войны. Её авторы честно, без прикрас описывают свой боевой путь от трагического начала — отступление, сожжённые сёла и деревни, разрушенные города — до героического конца: разгром заклятого врага, освобождение, долгожданная победа.

Кто авторы этих фронтовых писем? Наши земляки — люди разного возраста, темперамента, профессии, но все они в целом — то фронтовое братство, которое укрепляло силы каждого бойца в борьбе за родную землю.

В эту подборку включены письма двух коломенцев — Клады Дарзимановой и Николая Смолина. Этих двух разных по возрасту и темпераменту людей объединяет одно: они — герои войны, которые в тяжёлой, изнурительной схватке одержали великую победу.

Клавдия Трофимовна Дарзиманова родилась в 1925 году. Перед началом войны она окончила седьмой класс коломенской школы № 5. Её учитель А.В. Ососков вспоминал, что Клава была «порывистая, прямая, честная, интересующаяся очень многим, имеющая множество друзей». В семнадцать лет, приписав себе один год, Клава добровольцем ушла на фронт. Ей потребовалось немало сил и стойкости, чтобы переносить все тяготы фронтовой жизни. Это о таких, как она, писала фронтовичка Юлия Друнина:

Я пришла из школы в блиндажи сырые,
От Прекрасной Дамы в «мать» и «перемать»,
Потому что имя ближе, чем «Россия»,
Не могла сыскать.

Сражённая осколками снаряда, она погибла в девятнадцать лет 2 декабря 1944 года на венгерской земле, за тысячи километров от родного города. О двух годах тяжёлой и героической жизни этой юной девушки на фронте мы узнаём из её писем матери и учителю. В данном выпуске мы предлагаем несколько её писем.

Сергей Николаевич Смолин был призван в ряды Красной Армии в 1941 году. За плечами — служба в армии, работа на заводе имени В.В. Куйбышева, в городском отделе народного образования. На фронте он — заместитель начальника политотдела дивизии, заместитель начальника отдела пропаганды политуправления военного округа. Он много ездит по дивизиям, полкам, беседует с бойцами, участвует в боевых операциях. О том, что он видит и слышит, Сергей Николаевич, хорошо владеющий литературным языком, подробно пишет жене. Поэтому его треугольники — это своего рода живая летопись войны, которая без прикрас описывает боевой путь, включая отступления, сожжённые сёла, разрушенные города, разгром врага, освобождение военнопленных, падение Берлина и долгожданный День Победы.



Ф.А. Модоров. Письмо из дома. 1942 год

Сергею Николаевичу повезло: он вернулся домой с войны. На его груди блистали ордена Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени. Сначала Смолен работал заведующим отделом пропаганды и агитации Коломенского ГК КПСС, а с 1954 по 1964 год — редактором газеты «Коломенская правда».

Всё дальше в прошлое уходят от нас трагические и героические годы той войны. Но память о ней живёт в сердцах людей. Фронтовые письма коломенцев — это тоже память о страшных военных годах, которые не должны повториться. Это своеобразный памятник тем, кто не вернулся с кровавых полей, кто изгнал захватчика с родной земли, кто собой защитил Родину. Всем им сегодня мы говорим: «Вечная слава вам и вечная память».

БИБЛИОТЕКА

Кто всегда собирал камни

Рябкова Л. Коломенские благотворители. — Коломна: Администрация городского округа Коломна, 2009 г. 240 с.

Сейчас выходит много книг о благотворителях и меценатах. Знаковой среди них представляется монография «Коломенские благотворители». Автор — научный сотрудник Коломенского краеведческого музея Лариса Рябкова, издатель — администрация городского округа Коломна; книгу предваряют два обращения к читателю — митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и главы муниципального городского округа Коломна Валерия Шувалова. Коломенский издательский дом «Лига» выпустил 240-страничный великолепно иллюстрированный том большого формата в безупречном полиграфическом исполнении. Издание осуществлено при участии Благотворительного фонда поддержки культуры и сохранения исторического наследия «Коломенский кремль».



В книге Ларисы Рябковой можно прочесть о многих малоизвестных подробностях благотворительного движения в России.

Труд Ларисы Рябковой содержит огромный объём информации, о благотворителях уездного города рассказано очень подробно. Освещены все направления их деятельности. В каждом разделе — множество имён. Эта книга будет интересна всем, кто любит свой родной край, изучает его историю.



Клавдия Трофимовна Дарзиманова родилась в 1925 году. Когда началась война, она окончила седьмой класс школы № 5 города Коломны. Клаве исполнилось всего семнадцать лет, когда она добровольцем ушла на фронт. Стойко переносила вчерашняя школьница все тяготы фронтовой жизни. Участвовала в танковых десантах, ходила за «языком» в глубокий тыл врага.

На счету Дарзимановой было 64 убитых фашиста; 60 раненых воинов вынесла она с поля боя.

Клавдии было девятнадцать лет, когда она погибла за тысячу километров от родного города. Это случилось в Венгрии — 2 декабря 1944 года.

Три года боёв, походов, недолгих тревожных привалов нашли отражение в её письмах домой — маме, младшему брату и школьному учителю.

Клавдия ДАРЗИМАНОВА

ПИСЬМА С ФРОНТА

Письма матери и младшему брату

20 августа 1943 г.

Здравствуйте, мои дорогие мама и Славик.

Горячий привет вам с кровопролитного поля боя. Мама, пользуюсь малюшкой минуткой и спешу, спешу написать тебе. Спасибо, дорогая, за частые и добрые письма, они очень поднимают боевой дух. Я всегда жду их с большим нетерпением. Мама, за меня ты не беспокойся, я жива и здорова, не считая уш. Как живу, писать не буду, ты сама по газетам и радио знаешь, как наша жизнь. Думаю, что сейчас про нас достаточно пишут, и, конечно, все вы там с напряжением следите за нашими действиями. Мама, будь уверена, немца мы дальше не пустим, а назад погоним, и уже гоним. Трудновато приходится, но ничего не поделаешь, без трудностей ничего не бывает. Мама, ты зовёшь меня рыть картошку. Тут я в затруднении, будет время, и буду жива, насчёт этого напишу всё подробно. Мама, очень жаль, что вы не получили до сих пор моих денег и посылки. Причину задержки мне узнать негде и некогда. Переехали на другое место, а потом во время жаркого боя об этом совершенно не думаешь. Номер моей квитанции — 84, послана 26 апреля. Верх с пальто цел, платье шить отложила, пока белья и другого хватит. Платье мне сшили военного

образца, ну а на зиму ещё рановато готовить. Зимой думаю быть дома в гражданском.

Славик, рисовать мне сейчас совсем некогда, лучше ты мне что-нибудь нарисуй. А потом скажи маме, чтобы она с тобой сфотографировалась и прислала бы мне карточку.

Ну всё, родные. Пишите как можно быстрее и чаще. Привет соседям и всему коллективу д. 15. А вас обнимаю и целую.

Мл. сержант К.Д.



8 мая 1944 г.

С фронтовым майским приветом!

Здравствуйте, мои милые мама и Славик!

Мама, ты, я вижу, уже начинаешь беспокоиться, что не получаешь от меня месяц писем. Я тебе всегда писала — всё это напрасно. Если жива, то я напишу всегда, убьют, то друзья сообщат тебе тут же. А забывать тебя, мама, я никогда не думала. Конечно, если бы ты побыла здесь хотя бы с месяц, то знала, почему иногда долго не бывает от меня писем.

Вот сегодня пока тихо, вылезла из окопа и начала писать письмо. Мама, а знаешь, как красиво вокруг нас. Сбоку барское имение — хозяин сбежал в Бухарест, кругом небольшие красивые горы, и на их предгорьях большие стада овец. Цветут абрикосы, яблоки, виноград, цветёт каждое деревце, перед носом блестит замечательное озеро. Как видишь, у нас неплохо, но только не всегда приходится использовать эти удовольствия. Иногда

344

КЛАВДИЯ ДАРЗИМАНОВА



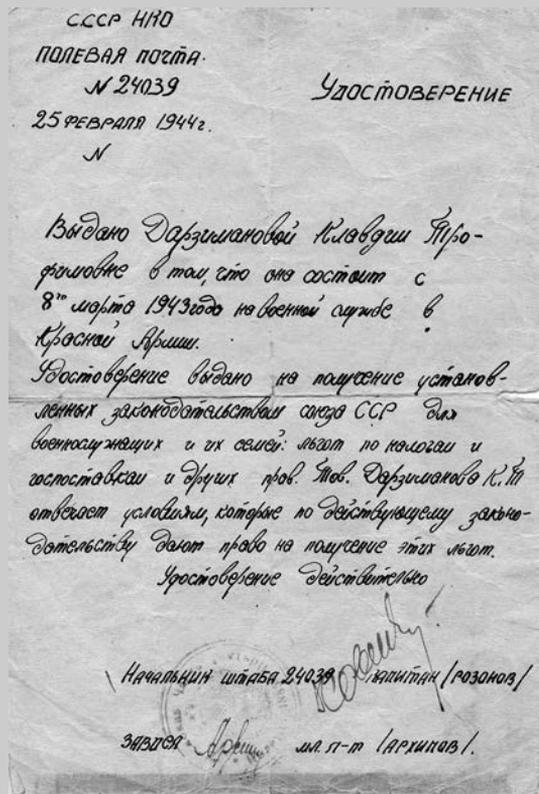


только сходишь в имение за семечками да идёшь обратно в свой окоп. А сегодня, мама, совершенно тихо. Лежу на озимой пшенице и пишу. Ветерок немножко играет, только от пороха и пыли стоит тяжёлый воздух и так какой-то чёрный туман.

Конечно, мама, всё это давно уже привычно, ведь так каждый день. Надоедает иногда, но привычка. Может быть, и думаете вы, что происходит это как на коломенском киноэкране, когда смотришь военное кино. Там всё чепуха, мама, забавно и совсем неправильно. То, что проис-

ходит здесь, никакое кино никогда не в силах показать в действительности. Мама, нелегко мне было первые месяцы привыкать к этой тяжёлой обстановке. Той войны, какой представляла я её дома, в тишине и спокойствии, здесь не оказалось. Мне показался 43-й год жутким и страшным. А теперь уже 44-й год, конечно, война всё та же, но уже стала совсем другой я. Знаешь, мама, когда мне приходилось лежать в госпиталях, то больничная тишина просто угнетала меня. Теперь для меня более привычна обстановка с грохотом, скрежетом, шумом. Вот сейчас, немного позади нас, играет «Катюша», немцы теперь позалезали в свои норы. Они здорово боятся нашей «Кати», а я лежу и слушаю, как через меня полетели к немцам «Катины гостинцы», и так хорошо на сердце. Я знаю, у вас всё равно лучше, но ничего, мама, вот добьём зверя в его берлоге, тогда и мы приедем к вам и будет всё хорошо.

Мама, получила ли ты моё фото и деньги? Я тебе выслала ещё в апреле.



Немцев луплю короткими очередями.
Командование наградило меня 4-мя правительств. наградами: 2 медали «За отвагу», орден Красной Звезды² и орден Славы III степени³. Пока всё. Ждите ещё. Передавайте всем-всем привет.
Мой горячий фронтовой привет Вашим ученицам. Крепко жму Вашу руку.

Ваша *Клава Д.*



*25 июля 1944 г.
Карпаты*

Привет из далёкой Румынии!

Здравствуйте, Афанасий Васильевич!

Я Вам пишу из немецкого тыла, выполняя одно из своих заданий. Наверно, эта открытка придёт к Вам поздно, так как пока у меня нет возможности передать её с кем-либо. Если ко мне кто-либо проберётся из наших, тогда оно пойдёт к Вам. Афанасий Васильевич, не буду писать Вам обширного письма, если вернусь, напишу. А сейчас никак не могу. Работаем у немцев под носом с молодым пареньком-харьковчанином. Очень трудно здесь, среди румынского населения. Хорошо было на родной земле, где от мала до велика старались помочь нам в этой трудной, опасной работе. Но всё равно, мы наделали немцам сюрпризов. От вчерашней нашей работы они ещё мечтают, как ужаленные. Сегодня ночью я им ещё преподнесу.

Вот так, дорогой учитель, живём и воюем. Не знаю, может быть, я не вернусь. Помните, дорогие воспитатели, ваши ученики никогда не опозорят вашей работы, ваших фамилий. Иногда вспоминайте о нас. Вот что я хотела сказать Вам. Передавайте мой пламенный привет всем-всем.

Прощайте, мой учитель.

С уважением к Вам *Клава Д.*



23 августа 1944 г.

Привет с Турецкого вала!

Здравствуйте, мой родной учитель!

Афанасий Васильевич, это письмо будет спешным. Совершенно некогда писать. Да Вы и сами знаете. Ведь салют за салютом вы даёте нам⁴. Радость за радостью слышите каждый день по радио. Вот мы уже дошли до Турецкого вала. Когда-то Суворов штурмовал его, а теперь мы проходим форсированным маршем, ибо румыны убежали аж до Бухареста. Что-то должно скоро случиться у них⁵.

Если бы Вы видели, Афанасий Васильевич, как румыны бегут. По правде говоря, мы даже не всегда за ними попевали. Тысячами они

бегут к нам с поднятыми вверх руками. Но всё равно, два сапога пара, так и румын с немцем⁶ — всем мстить, всех уничтожить. Радость бурлит в груди. Смешно слышать румынское «разбой капут».

Афанасий Васильевич, не обращайте внимания на число — это письмо пишу 4-й день. Писала с Турецкого вала, а сегодня мы уже далеко за Сиретом. Я не ошиблась, вот Вам и события в Бухаресте. И мы проходим село за селом, город за городом.

Что Вам написать о Румынии, честное слово, сразу не соображу. Кругом вижу удивлённые и в то же время любопытные черномазые лица румын. Обо всём строе поговорим как-нибудь позже. Виноград, вино, брынза, мамалыга, и рядом — драные, измождённые лица румынского населения. Богатые дома, и в них жуткий хаос — следы панического бегства. Мы же идём героями-победителями по этой несчастной нищей стране. Вот на 20 м[инут] отдых — использую на Ваше письмо, и, наверно, стоящего, толкового ничего не выйдет. Но пусть, Афанасий Васильевич, я просто хочу, чтобы Вы хоть чуточку помнили обо мне. Вас же помню всегда. Извините за плохую каллиграфию — немножко задело по указательному пальцу, трудно вато писать.

Жду Ваших новостей. У Вас очень много.

Привет всем-всем.

С фронтовым приветом Ваша *Клава*.



2 сентября 1944 г.

Привет с района боёв!

Здравствуйте, Афанасий Васильевич!

Вы начинаете новый учебный год в родном городе, на родной чудесной стороне, а я сижу здесь, в сырой трансильванской земле. В короткие минуты отдыха мне всегда снится мой необъятный СССР, всегда гордые, свободные советские люди.

Как здесь надоело, Афанасий Васильевич!

Уже не могу выносить румынскую униженность и их лисью выходку. Жаль, что она успела стать перед нами на колени. Знаете, как чешутся руки, чтобы по-русски ударить румына в морду. Ничего простить не могу.

Могучей силой тянет на русскую землю. Но ничего, ещё немножко потерпим. Войдём в Германию, тогда ни один Фриц, ни одна Гретхен, ни один фриценёнок не уйдут от меня. Тогда я тоже сумею выколоть глаза и, как хирург, располокую брюхо колбаснику⁷.

И потом — домой. Опять к Вам.

Но уже всю жизнь буду военным человеком. Теперь я знаю, где мне быть.

Я уже Вам не пишу подробных писем — причину знаете.

Фото я Ваше получила и все до одного письма.

читала. Так что основы марксизма-ленинизма ещё усвоила недостаточно. Правда, книгу тов. Сталина о Великой Отечественной войне изучила уже здесь, на фронте, сама. Сейчас изучаю его октябрьский доклад. Плохо, что у нас очень мало литературы, довольствуешься газетными материалами и брошюрками. Моя работа поставлена на неглубокую основу.

Между прочим, у нас сейчас новое пополнение, которое неглубоко разбирается в политвопросах. Строишь свои планы на самых первоначальных фазах. Начинаешь с азов. Пока мне всё под силу. Кроме того, пришла настоящая страсть в работе. Работаю с увлечением и большущей охотой.

Конечно, Афанасий Васильевич, наша воспитательная работа в корне отличается от тыловой. Людской состав меняется очень часто. Люди приходят совершенно разные между собой. Вот сейчас новое пополнение — из освобождённой Бессарабии. Здесь приходится работать много. Одно то, что люди были при Советской власти всего год, и после — трёхгодичная немецкая долбёжка-пропаганда. Приходится заново перестраивать свою работу. Правда, люди с большой охотой интересуются всеми происходящими событиями. Определённого метода воспитательной работы у меня нет, практика ещё не знала такого. Работу строю по обстановке. В затишье стараюсь собрать всех комсомольцев вместе, провожу собрания, старшие товарищи проводят для них лекции, доклады. Тогда на этих собраниях говорили обо всём. Не оставляли ни одного неразрешённого вопроса. Меня, как девушку, немножко стеснялись, постаралась изжить это. Теперь уже всё в порядке. Стараюсь больше всего опираться на свой актив, каждому комсомольцу обязательно даю по силе поручение. Сделанную работу проверяет кто-нибудь из комсомольцев.

Дорогой Афанасий Васильевич, продолжить письмо, не дописанное Клабочкой, пришлось мне. Вам, конечно, очень будет тяжело, но я сразу же хочу сообщить, что Клава... погибла смертью героя. Мне так тяжело Вам писать о ней, что я не могу даже найти слов. Могу сравнить её с тысячами героев, я её сравниваю с Зоей Космодемьянской.

Теперь о её работе, жизни и я о себе. Она была в последнее время в моём подразделении, я являлся непосредственным начальником. Клаву весь личный состав части знал как самую лучшую, боевую, скромную девушку. Таким я пишу настроением, слов подобрать не могу. Вот, Афанасий Васильевич, мы с ней никогда не разлучались, всегда были вместе. А сегодня я её похоронил... За письмо взялся третий раз. Что начато карандашом, я пишу на самом том месте, где убило нашу дорогую, родную Клабочку.

Больше я писать ничего не могу.

Очень тяжело переносу.

Клава была простая девушка, самая дорогая моя фронтовая подруга. О своих переживаниях, радостях и горестях мы всё друг другу говорили.

Клабочка мне многое говорила о Вас. Поэтому я решил Вам дописать письмо.

Я думаю, мы с Вами заведём дружбу вместо Клавы, теперь будете другом Вы мне и семья Клабочки.



Сергей Николаевич Смолин родился в г. Кунгур Пермской губернии, а с 1925 года жил и работал в Коломне — сначала кузнецом-штамповщиком на заводе им. В.В. Куйбышева, а затем секретарём одной из цеховых партийных организаций.

С 1938 по 1941 год Сергей Николаевич возглавлял Коломенский городской отдел народного образования.

В 1941 году он был призван в ряды Красной Армии. За мужество и бесстрашие, проявленные в годы войны, С.Н. Смолин был награждён орденами Красного Знамени и Отечественной войны I и II степени, несколькими медалями. Правительство Чехословацкой Республики удостоило его высочайшей награды — ордена Военный крест.

В письмах своей жене Валентине Смолин описывает военные события, свидетелем и участником которых был: кровопролитные бои, зверства фашистов, освобождение военнопленных, встречу с партизанами, бегство врага, освобождение Чехословакии, падение Берлина, День Победы.

Сергей СМОЛИН

АДРЕС МОЙ — ПОЛЕВАЯ ПОЧТА

3 октября 1942 г.

Здравствуй, Валюшка родная!

Ну вот я и на новом месте. Приказ о назначении получен, и отныне я — агитатор Политотдела армии. Вчера переехал на новое местожительство — это понятие относительное, ибо места для жилья нет, нужно его ещё приготовить, и, видимо, придётся этим заниматься самим. Вообще-то мы народ не оседлый, но какое-то пристанище иметь нужно. Вот сейчас сижу у своего будущего жилья — хороша землянка, внутри вся обложенная сосновым деревом. С окнами, но без дверей, печки и топчанов нет, вот всё недостающее нужно сделать.

Нахожусь в лесу, километрах в 30 от фронта. Тишина непривычная. Только сосны поскрипывают, да шелестит листва, спадающая с деревьев. Осень, Кисёнок, стоит золотая — погода замечательная, днём даже жарковато. Я уже тебе писал ранее, что листья здесь красивые, и вот сейчас, когда лес оделся во множество красок, — особенно красиво. Чаще вспоминаю тебя, зная, как ты любишь осенний лес, и вот в минуты затишья от боёв, в минуты кратковременного отдыха взглянешь на всю эту благодать, которая тебя окружает, вспомнишь своих родных, близких людей, и закипит внутри злорада на этих мерзавцев — фашистских выродков, разве можно отдать им то, что близко родному нашему народу... никогда, но зацепились они за нашу



землю крепко, и выкуривать их приходится с большим напряжением. Ничего, сколько бы им ни сидеть на нашей земле, всё равно ничего не выйдет — выгоним, как это всегда было в истории русского народа. Трусливые грабители никогда не могут быть завоевателями, а что они грабители и трусы, когда дело касается расплаты, так это тысячу раз доказано.

Вот нам удалось захватить одного из таких типов (мадьяр)¹, попался с целым мешком награбленного у наших жителей. Набил в мешок всяких тряпок, вплоть до детского платяца и женских панталон, последние хоть бы новые были, а то такие, что и в руки-то взять без перчаток противно, а он всё это нахапал в мешок и таскает за собой. Противная, гадкая морда, тупая, как у свиньи, он ничего не понимает, ни в чём не разбирается, кроме удовлетворения животных инстинктов да грабежа — в этом цель войны для него и ему подобных. Для подобных типов единственный метод воспитания и агитации — это пуля в лоб, и чем больше их истреблять, тем скорее дойдёт до их сознания, что они «не в свои сани сели». Сейчас мы всячески развиваем и закрепляем снайперское движение. Снайпер — мастер меткого огня, наиболее активный «агитатор». Было время, когда фрицы нагло разгуливали у себя во весь рост, а сейчас никого не видно, снайперы загнали их в землю и не дают

носа высунуть. Вот такие-то дела, Валюшка! Получил письмо от Лёни² и от папы. Леонид пишет, что Лёвку опять сильно контузило — правда ли? Отец пишет, что хочет ехать в Бийск к внучатам, ждёт разрешения об устройстве его там на работу. Поедет один, видимо, «семейная» жизнь ему порядком осточертела — так, по крайней мере, я понял из письма.

Получил открытку от Попова, он написал, что был в Коломне и заходил к вам, ответил ему. Постараюсь связь поддерживать, если время позволит. Время-то, Кисёнок, как летит незаметно — вот уже год, пошёл второй, как я в Красной Армии, вот уже скоро 3 месяца, как на фронте, а кажется, что всё это было так недавно — вчера. Лето пролетело незаметно, кажется, что так недавно было, когда распускалась листва, когда я приезжал в Коломну, а вот поднимаешь голову и видишь, как эта листва медленно падает с деревьев. Срок небольшой, а воды утекло много, много всего перевидел, перечувствовал — старость идёт быстрее. Ну да ладно об этом, сил и энергии хватит для того, чтоб драться с врагом до последнего.

Ну, какие у тебя дела? Что нового в гороно? Анна Николаевна мне иногда пишет, но очень осторожно, о делах своего «начальства». Что слышно о Викторе Боголепове, узнай его адрес. Ну, будь здорова.

Привет всем нашим. Целую всю крепко-крепко и много-много.

Сергей.

Адрес мой: 1963. Полевая почтовая станция. Политотдел армии.
Мне.

357



25 января 1943 г.

Здравствуй, Валюшка!

Пишу из части. Началась походная жизнь в полном смысле слова. Фрицев гоним. Проходим по территории, только что освобождённой от фашистских захватчиков. Всюду следы их подлого, преступного «жительства». Эти гады решили зимовать в тёплых хатах наших сёл и деревень и заготовили топлива, но для этой цели спилили яблони, груши и всё это с немецкой «аккуратностью» сложили в поленницы у каждого дома. Прекрасные фруктовые сады превращены в пустыри. В некоторых хатах все стены разрисованы похабщиной. Грудами валяются эрзац-валенки из соломы, вот уж действительно «обувь»! Наши бойцы от смеха просто по снегу катаются при виде такой обуви и примеряют это «сооружение». Много трофеев в складах и просто брошенное в машинах и повозках на дорогах. Сейчас все ребята курят сигары, их были порядочные запасы, заготовленные для фашистских офицеров. Ну а попали нашим бойцам. Нужно сказать, что своего у них ничего нет, всё грабленое в различных странах. Этим и живут.

В общем, я сейчас напробовався различных эрзацев — всё это в красивых обложках и укупорках, но внутри дрянь в полном смысле этого

слова. Трупы «завоевателей» валяются повсюду, не в меньшем количестве и сдаются в плен, правда, больше это падает на румын и венгров. Немало таких случаев, когда они, разбежавшись по лесам, группами приходят в селения и спрашивают: «Рус, где сдаются в плен?» Но вообще-то приходится держать ухо востро, ибо немало случаев, когда от подобной публики наши бойцы получают пулю в спину.

Сегодня всю ночь вдвоём с одним майором ездил по селениям около передовой, выполнял боевое задание. Ночь лунная, морозная, с ветерком, местность незнакомая, да ещё вдобавок ко всему не имел карты, а это в нашем деле непростительно, ибо и на времени отражается, да и нетрудно к фрицам в лапы попасть. Вот я уж тут привлёк всё своё внимание и знания для точной ориентации. Люблю я ночи на фронте, в них есть что-то такое одновременно грозное и лирическое, трудно передаваемое словами. Спутника моего тревожил желудок, и ему, бедняге, пришлось на таком морозе несколько раз приземляться. Уж посмеялся же я над ним. В общем, утром благополучно вернулись к себе, растопили плиту, разогрели банку консервов, закусили и решили, как мы говорим, «минут 300 вздремнуть», да ничего не вышло — пришлось опять работать. Сейчас выпала свободная минутка, потому что спать днём я так и не научился, ну, чтоб её не терять зря, вот пишу тебе. С письмами сейчас будет не совсем регулярно, поэтому не волнуйся. Хоть открыточки, да черкнуть я смогу, а вот когда буду читать твои письма и отвечать на них — не знаю, ибо когда попаду к себе в политотдел, сказать трудно, всё будет зависеть от обстановки, а она сейчас такая, что только повёртывайся. Видишь, как у нас бывает, то времени хоть отбавляй, т.е. столько, что можно и Тургенева почитать, а то и для письма не выкроишь. Ну, кончаю, нужно обедать, а вечером, в ночь, видимо, опять в путь-дорогу.

Привет Анне Николаевне и нашим знакомым. Пишет ли чего-нибудь Лёвка? Я от него ничего не получаю.

Целую крепко-крепко и много-много раз.

Сергей



16 февраля 1943 г.

Валюшка, родная!

Поздравляю тебя с 25-й годовщиной Красной Армии, с днём твоего рождения. Желаю успехов в работе. Письмо, видимо, получишь немного позднее, потому что пишу-то я его 16/II, да и расстояния сейчас от Коломны всё увеличиваются и увеличиваются с каждым днём. Пишу тебе сейчас из того города, где ранее, при поездках в Крым, всегда на вокзале выпивал кружку бархатного пива. В город приехал вчера ночью из части, где несколько дней путешествовал и гонял фрицев, и вот сейчас утром, перед завтраком, пишу тебе.

Впечатлений сейчас много, и самых разнообразных, да и переживаний тоже. В сёла и города вхожу непосредственно за боевыми порядками

ми, и поэтому наиболее глубоко воспринимаешь отношение населения. Вот в одной деревушке, где я был несколько дней тому назад, в хате встретил девочку лет 11–12, хорошенькая, черноглазая — сидит и пристально смотрит на меня. Я взглянул на неё и улыбнулся. Она, как это обычно бывает в деревнях, смутилась, а сама исподтишка продолжает наблюдать за мной. Тогда я обращаюсь к ней: «Что разглядываешь-то меня?», а она в ответ мне: «Дяденька, почему вы так долго не шли?» Сказано это было таким тоном, где грусть сливалась с радостью, глаза её говорили о том, что она глубоко рада нашему приходу, всё в ней кричит от этой радости; а с другой стороны, такой вопрос и налёт грусти. Ну, разговорился я с ней и выяснил, что отца у неё расстреляли немцы и порешили братишку. А вот ещё один интересный случай. В хате, где я ночевал пару дней, у хозяйки несколько сыновей-подростков и один ещё дошкольного возраста — ему семь лет, зовут его Толя, он ранен осколком мины в левую руку и в щёку. Как это произошло? Немцы сейчас, отступая, бродят кучами, стараясь прорваться из окружения, и вот одна из таких групп двинулась на тот городишко, в котором жил Толя. Город был нами занят только один день тому назад, немцев мы встретили как подобает. Толя, увидев, что наступают немцы, выскочил на улицу, собрал своих приятелей и все они, вооружившись винтовками, которые здесь валяются в избытке, бросились вслед за бойцами. Кучка ребятишек была хорошей мишенью для фрицев, и они бросили в них мину, осколками которой и был ранен Толя. Разговаривая с ним, я хотел выяснить, что побудило его на такой поступок? Толя мне ответил: «Их надо убивать, я из-за них папу не вижу и не знаю, где он есть». Интересная деталь — винтовка, которую схватил Толя, была без затвора, и вот его старший братишка подтрунивает над ним: «Тоже мне, вояка, полез на немцев с винтовкой без затвора». Толя чувствует, что в этом деле здорово проморгал, и поэтому очень не возражает на замечания своего братишки. Вот видишь, какие ребята растут в нашей стране — молодцы. Между прочим, многие ребятишки по собственной инициативе помогают взрослым в расчистке дорог от снега, а это сейчас очень важно. Ну о себе, что же можно сказать — жив, здоров, работаю всё на той же должности армейского агитатора, всё время в движении, с внешним миром связан только посредством радио.

О наших действиях ты можешь знать из газет и сообщений Совинформбюро. Не обижайся за редкие письма, не пишу не потому, что нет времени, а потому, что иногда писать некуда, — наши ППС не всегда за нами успевают. «Колхоз» наш, видимо, распался, потому что «председатель» перешёл на другую работу, а мы не встречаемся друг с другом иногда целый месяц, но дружба и «колхозные» взаимоотношения остались по-прежнему. Погоны ещё не надел — никак они нас не догонят.

Ну ничего, главное — фрицев гнать. Ну, будь здорова.

Привет всем нашим знакомым.

Целую крепко-крепко всю.

Сергей

Здравствуй, Валюшка!

Ты, конечно, правильно ориентируешься в отношении «большой звёздочки» — подошли почти вплотную, но, видимо, придётся чуток задержаться, причина тебе понятна.

В отношении письма твоим товарищам — сотрудникам по д/саду — едва ли что получится. Всему вашему коллективу от меня большое спасибо за внимание и помощь, которую тебе оказывают. Передай, что приеду, так всех их расцелую, тем более что о женских губках здорово соскучился.

Хорошо, что ты к этой зиме готовишься основательней, чем к прошлой, спокойней будешь, ну а приеду ли есть картошку нового урожая — будет зависеть от нас всех — чем скорее разобьём Гитлера и его К°, тем скорее и вернёмся к своим «хатам». Сейчас у нас всех одно желание — бить фрицев так, чтоб надолго, вернее, навсегда отбить желание воевать.

Натворили эти звери на Украине порядочно «шкоды» — вот вчера проезжал через одно село, правильной — через место, где когда-то стояло прекрасное село, а сейчас это большой пустырь, на котором даже печей не осталось, только обгоревшие деревья, колодцы да фруктовые садики в усадьбах. Говорят, что здесь было человеческое жильё, а сейчас вот пустырь, заросший бурьяном. Сожгли фрицы это село дотла, потому что считали его партизанским.

В одном селе около г. Нежина мне рассказали жители жуткую картину расправы фашистских палачей-карателей над населением, и в частности над детьми. Показали и мать одного ребёнка, растерзанного этими подлецами (мать сошла с ума). Пьяные фрицы, отыскивая в этом селе партизан, согнали около сотни человек мужчин и женщин в сарай и живьём их там сожгли, а ребят разрывали пополам — кованым сапожищем наступает палач на ножку ребёнка, придавливая её к земле и, схватив руками за другую ножку, с хохотом рвёт тело ребёнка на две половинки.

И эти человекоподобные существа претендовали на звание носителей культуры? «Ангелы», от действий которых сходят с ума матери. Нет, бить их, только бить. Попадая в плен, они выглядят «светлыми великомучениками», но как вспомнишь о всём том, что они натворили, так вид их вызывает такое чувство гадливости, как будто наступил на что-то мерзкое.

Ты после трудов праведных помылась в баньке, я вот сегодня тоже мылся, но... в корыте. Удовольствие ниже среднего, но дело это совершенно необходимое. В настоящей бане я уже давно не мылся. Сегодня у меня «день отдыха» — читаю, пишу, а завтра, наверное, опять в поездку.

Ну, вот и всё за эти дни. Привет всем нашим знакомым и твоим ребятishкам — пусть лучше занимаются физкультурой и чаще моют свои носы, руки, ноги — это необходимое условие для того, чтоб быть сильным и выносливым в борьбе.

Целую тебя крепко, всю-всю.

P.S. Передай от меня Тосе привет.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Выдано Матору Станислу Сергеев Николаевичу
звание, фамилия, имя, отчество

в том, что он закончил обучение по программе военной подготовки политического состава стрелковых частей, установленной приказом НКО № 144 от 29.3.1943 года, и сдал зачёты со следующими оценками:

1. Тактика Хорошо
отлично, хорошо, посредственно
2. Материальная часть Хорошо
отлично, хорошо, посредственно



Председатель Комиссии

Петров

25. Август 1944 г.



5 августа 1944 г.

Здравствуй, родная!

Сравнительно давно уже тебе ничего не писал. Времени прошло уж не так много, но событий столько, что трудно мерку им подобрать. Пишу тебе из-за границы, причём забралась уже довольно далеко.

Как проходили эти дни? Как в кино: бой и движение вперёд, стремительное движение. Двигался всяко: и на машине, и верхом на коне, и пешком — в зависимости от обстановки. Чем отличается внешне эта местность от нашей — обилием зелени и цветов (садовых). Аккуратно подстриженные живые изгороди окаймляют усадьбы. На всём лежит отпечаток частной собственности. Если попадётся участок леса, так он вылизан — не найдёшь ни одного сучочка на земле, вот эта-то прилизанность, чрезмерная аккуратность, непонятна нам, чужда. Города, даже и маленькие, вполне соответствуют своему названию, на них лежит строгий отпечаток глубокой старины, и построены они по шаблону — в центре обязательно площадь. Приходилось ненадолго останавливаться в крупных городах, и после лесов, хатёнок и разного рода стодолей (сараяв) спать в многоэтажном доме со всеми коммунальными удобствами было как-то диковато (ведь вот до чего можно привыкнуть к походной жизни и отвыкнуть от бытовой культуры). Нам всё приходится сейчас «скандалить» с хозяйками и удивлять их при совершении утреннего туалета. Здесь принято умываться из таза — нальют воды в таз, вот и полощись, а мы привыкли пользоваться кружкой и собственным ртом вместо умывальника. Доказываем хозяйкам, что мыть лицо в той же воде, в которой мыл руки, не резонно, ну а они нам заявляют, что мало резона и в использовании собственного рта в качестве резервуара умывальника.

361

АДРЕС МОЙ — ПОЛЕВАЯ ПОЧТА

В общем, объясняться с местным населением становится труднее, особенно с ребятами: если взрослые нас кое-как понимают, так ребята на наши вопросы к ним только глазёнками недоуменно хлопают.

Жаль, что ты потеряла «Трёх богатырей», у меня такой карточки тоже не осталось, и возобновить трудно. Сказал Диме про потерю, говорит: нужно повторить, будет возможность — постараемся сфотографироваться. А сейчас посылаю тебе другую — это Степан Иванович Филиппов — наш бывший председатель «колхоза “тихая жизнь”» — помнишь, писал тебе в период нашей воронежской жизни? Он сейчас работает в другом месте, я как-то заглянул к нему, и он затащил меня сфотографироваться, причём предупредил: «Вот плохо, что в пилотке, не люблю я их». — «Ну, говорю, любишь или не любишь, а пилотку летом я ни на какую фуражку не променяю». И всё же, когда сели под фотоаппарат, так он снял с фотографа его картуз и шлёпнул мне на голову, я и поправлять его не стал, вот поэтому и вышел таким ухарем. Было это ещё в начале лета, я уже и забыл, но вот на днях получил карточки и посылаю тебе.

Смотри, не теряй.

Писал в командировке. Сейчас вернулся и получил твоё письмо, где ты пишешь о посылке — хорошо.

Получаешь ли от Маруськи письма? Я ей писал, но ответа не имею.

Ну, будь здорова. Устроили меня на квартиру в такие хоромы, где, как говорится, плюнуть некуда — чистота идеальная, а я — пыльный, грязный, ну да ничего, сойдёт.

Целую много и крепко.

Сергей.



25 февраля 1945 г.

Здравствуй, родная!

Как и следовало ожидать, праздник 27-й год[овщины] Кр[асной] Армии все ребята провели в частях, а на мою долю выпало подготовить всё к празднованию при их прибытии сюда, т.е. к 24 февраля.

Нашёл я роскошный особняк, подготовили питьё и яства и вчера отпраздновали так, как следует годовщину Красной Армии. Правда, мы с Димой ушли рано, ибо оба мы не танцующие, да вдобавок у меня, видимо, появился грипп, ибо очень ломит ноги, так как ещё никогда до этого не было, видимо, война начинает сказываться.

Сегодня решил отлежаться дома, пока есть возможность для этого. На германской земле я уже побывал и немцев в штатском платье повидал. И то и другое производит неприятное впечатление, трудно передать почему, видимо, главное, потому, что ходишь и сталкиваешься с людьми на земле, которая породила и воспитала всё самое скверное, что может быть в человечестве.

Населения, конечно, очень мало — старики дряхлые и дети; остальные, бросив всё, бежали.

все просят звёздочку «на памятку», и, уж если получают, так радость их неопишима.

Ранее сегодняшнего дня написать тебе не мог, потому что всё время были в одном из чешских городков. Как долго пробудем здесь, неизвестно. Работы будет много, но ведь работа никогда не была страшна, а теперь особенно.

Погода стоит прекрасная, но жара жуткая, я никак не соберусь влезть в летнее обмундирование, а в суконном стало просто невтерпёж.

Замечательно красивые здесь места, особенно в Карпатской части, но как вспомнишь нашу прекрасную Родину — Русь-матушку, так аж под ложечкой засосёт — соскучились мы о своей земле.

Как-то вы встретили и отпраздновали победу? Я представляю вашу радость. Мы все вспоминали и представляли себе, что вы делаете в этот момент, и каждому захотелось хоть одним глазком взглянуть на Москву.

Привет всем-всем. Не скучай, я ведь тебя знаю, будешь теперь подчитывать, когда вернусь.

Целую крепко-крепко всю.

Сергей.



21 июня 1945 г.

Здравствуй, моя родная!

Вот мы снова в Польше — всё ближе к родной земле, и, видимо, в недалёком будущем будем у себя на Родине.

Обстоятельства складываются так, что это будет вполне вероятно. Что-нибудь более ясного, толкового сказать не могу, ибо и сам этой ясности не имею.

Писем от тебя что-то нет, видимо, закрутилась со своей «дачей», да и вообще ни от кого писем не получаю, а времени читать их сейчас имею с избытком. Работы почти никакой нет, дёрганий тоже. Убиваю время чтением книг, благо обновили свою библиотеку какой-то стариной-матушкой, ну да это неважно.

Из Чехословакии в Польшу ехал через Германию. Какое же гнетущее впечатление производит Германия! Пустыня в полном смысле этого слова. Когда мы шли по ней с боями, тогда не ощущалось этого, потому что всё время двигались части тыла — жизнь кипела ключом. А теперь, когда давно уже смолкли пушки, тишина и руины немецких сёл и городов ярко свидетельствуют о позорном, вполне заслуженном конце фашистской Германии. Вот, например, г. Бреслау — это в прошлом громадный и, видимо, красивый город, сейчас — сплошные руины. Стоят целые улицы разрушенных домов — крыш нет, в стенах зияют громадные бреши от снарядов и авиабомб, все улицы, кроме главной, завалены битым кирпичом, исковерканной мебелью, какими-то обломками и т.п.

Проехать по этим улицам невозможно, пройти можно с трудом. Жизнь в Бреслау теплится только на окраинах, которые меньше пострадали, центр пуст.

Такая же картина примерно и в сёлах. Поля засеяны, а ухода за ними нет, и как будут убираться, сказать трудно. Кое-кто из жителей вернулся, но они какие-то инертные, видимо, оборотная сторона войны, которой немцы не знали давно, их ошеломила настолько, что они не знают, с чего начинать, всё, видимо, ждут, что им скажет «их фюрер». Какие же всё-таки они тупоголовые.

Живём с Димкой в центре одного из польских городишек, из каждой комнаты ход на балкон, с которого можно обозреть площадь и центральную улицу, в общем, живём уже не по-походному, и это начинает сказываться на нашем облике. Я на днях свешался, и результат — 86 кг. Боюсь, что к тебе приеду с брюшком, так что не очень хвались тем, что твои кое-какие принадлежности твоего туалета на тебе не сходятся.

Ну, будь здорова. Привет всем. Целую много-много и крепко всю.

Твой Сергей.



11 июля 1945 г.

Здравствуй, Валюшка!

Побывал и я в Берлине. Ездили туда экскурсией. Поездка была интересная — поехали на грузовой машине, а ехать нужно около 500 км. Выехали в 5 ч. утра, день, как назло, был дождливый, холодный, как ни «скучновато» было, всё же добрались к вечеру.

Что представляет из себя Берлин? Большой город, центр которого совершенно разрушен — целыми кварталами тянутся развалины, но всё приведено в порядок — улицы расчищены от мусора, прибраны. Это сделано по инициативе и распоряжению наших властей в Берлине. Есть электросвет, на окраинах ходят трамваи, работает метро, но не на всей трассе, а частично, там, где разрушений меньше, ведь ты знаешь, что в метро шли бои. Работает водопровод и газ.

Берлинское метро ни в какое сравнение с нашим не подходит, если даже сделать скидку на то, что оно подвергалось частичному разрушению, что его задела война, всё равно оно много хуже нашего.

Станций, к которым мы привыкли, там нет — идёшь по улице, видишь: чугунная решётка на дороге, а между ней ступеньки под землю — вот это подземное сооружение станции, а под землёй обыкновенная платформа. Низко, мрачно. Стены кое-где покрыты рекламными плакатами. Вагоны очень схожи с нашими, почти нет никакой разницы.

Так как мы располагали машиной, то нам удалось очень много объехать за то короткое время, которым мы располагали. Больше всего мне понравился Рейхстаг. Ты знаешь, что за это здание шли упорные бои. Дело в том, что здание Рейхстага очень массивное, с глубокими, крепкими подвальными помещениями, расположено оно на берегу р. Шпрее, в р-не, где находятся все правительственные учреждения. Так вот, в этом здании, полуразрушенном, все стены, колонны, статуи — всё расписано вдоль и поперёк, десятки тысяч надписей и подписей — это ответ наших

бойцов на надменное заверение гитлеровских главарей о том, что ни одна вражеская нога никогда не будет в Берлине. Наши солдаты, захватив этот последний оплот фашизма, своими подписями на стенах правительственного здания гитлеровской Германии ещё раз доказали, что наше слово с делом не расходится. Надписи очень лаконичны — город и фамилия бойца. Попадали и коломенцы, одного из них запомнил — Астахов. От Бранденбургских ворот тянется широкая улица-лес (по обе стороны этой улицы лес вроде Сокольников в Москве), а в конце улицы высится колонна «Победа».

Побывали мы и на «Победе» — это высокая колонна, на вершине которой бронзовый «ангел мира». С вершины этой колонны (я лазил туда — 250 ступенек) Берлин виден, как с самолёта, и разрушения, нанесённые ему непрерывными бомбёжками, особенно рельефно видны с «Победы».

Побывал я и в имперской канцелярии — резиденции Гитлера. Здание также разрушено, внутри всё поломано. В общем, вся-то красота и заключается в разрушениях. Они являются подтверждением для оставшегося немецкого населения того, что кто сеет ветер, пожинает бурю. Жители Берлина — очень жалки, но прирождённая немцам наглость их не покидает — клянчат покурить, просят «одолжить» несколько марок и т.п.

Подробности расскажу, когда встретимся, а это уже не так долго. Кстати, посылаю тебе сигареты, которые взял у Гитлера в кабинете, не думай, что это его, видимо, кто-нибудь из американцев оставил. Их и англичан много в Берлине — каждые в своей зоне оккупации, но они так же, как и мы, интересуются деталями логова фашистского зверя. Мы

367

АДРЕС МОЙ — ПОЛЕВАЯ ПОЧТА

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 181

Выдано сержанту Соловьеву С.Н.
(звание, фамилия, имя и отчество)

в том, что ему на основании постановления ГОКО за № 9036 от 9.6.45 г. Военным Советом 60 армии выдан бесплатно в личную собственность трофейный велосипед
(мотоцикл, велосипед)

марки шасси № двигатель №

Командующий бронетанковыми и механизированными войсками 60 армии гвардии полковник Ковалев (КОВАЛЕВ)

„ 4 “ июль 1945 г.

встречали американских и английских солдат и офицеров в тех местах, где были сами.

В общем, я получил полное удовлетворение, побывав в Берлине. Очень возможно, что некоторое время будет задержка с письмами — не волнуйся, так нужно.

Да, получил велосипед, чёрт его знает, как его доставить в целости в Коломну, не придумаю, тем более что хотел его подрабывать, но, когда ездил в Берлин, мою машину вместе с другими увезли на новое место, и найду ли я его там — не знаю.

А как наши велосипеды? Ждут ли меня для поездок в лес за грибами? Учти, что в этом году за грибами я обязательно поеду.

Ну, будь здорова. Привет всем. Целую всю крепко.

Сергей.

Примечания

¹ Венгерская армия воевала на стороне гитлеровской Германии. В 1944 году в тылу у фашистов начали развёртывать действия первые венгерские партизанские отряды.

² Брат С.Н. Смолина.

³ Город Оломуц.

Александр Яшин

* * *

Что нам тысячи километров!
Имя вслух мое назови —
И домчится, как песня, с ветром
До окопов голос любви.

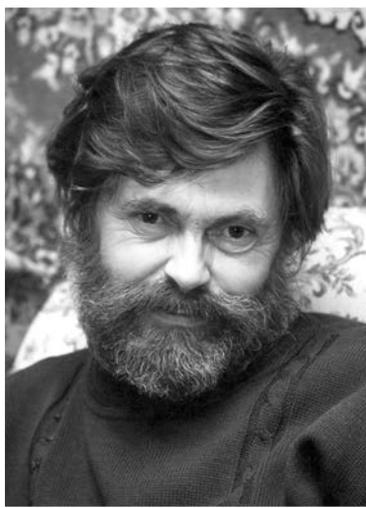
Я сквозь грохот тебя услышу,
Сновиденье за сон приму.
Хлынь дождём на шумную крышу,
Ночью ставни открой в дому.

Пуля свалит в степи багровой —
Хоть на миг сдержи суховой,
Помяни меня добрым словом,
Стынуть буду — теплом повеи.

Появись, отведи туманы,
Опустись ко мне на траву.
Подыши на свежие раны —
Я почувствую, оживу.

1943

ВETERАН



Валерий Васильевич Королёв (1945–1995) родился в Москве. Окончил музыкальное училище, Московский институт культуры. После службы в армии работал преподавателем музыкальной школы, методистом Дома народного творчества, инструктором райкома КПСС.

В 1979 году переехал в Коломну.

Первый рассказ был опубликован в 1981 году. Рассказы печатались в журналах «Юность», «Крестьянка», «Сельская молодёжь», «Москва», «Волга», «Студенческий меридиан», «Московский журнал», в еженедельнике «Литературная Россия», «Ветеран».

При жизни вышли в свет две книги прозы: «Жизнь как жизнь» (1984), «На трёх буграх» (1990). В 2000 году вышла в свет третья книга прозы «Древлянская революция».

Именем В.В. Королёва названа Центральная городская библиотека Коломны.

Ордена Славы Сергей Сергеевич вычистил питьевой содой, новой зубной щёткой аккуратно потёр засаленные места орденских лент и принялся прицеплять на пиджак один за другим, не спеша: третьей степени, второй, первой, — в том порядке, в котором когда-то получал их. Орден Трудового Красного Знамени чистить не стал. Своей тусклостью он подчёркивал блеск боевых знаков, да и сам выглядел значительней, тяжелее: вроде бы устал от долгой работы и теперь, пристроенный на почётное место, отдыхал, слабым блеском давая понять, что подвиги, которые он олицетворяет, не были искромётными, растягивались на годы, дело тут не в блеске, и ещё неизвестно, что тяжелее: сходить в молодецкую атаку или день изо дня, двадцать пять, тридцать лет делать очень нужную, но внешне такую обыденную, негеройскую работу.

Сергей Сергеевич усмехнулся своей мысли. Скажи ему кто-нибудь такое тридцать лет назад — он бы изумился.

— Эко, чудак-человек, — ответил бы в сердцах. — Сравнил тоже кое-что с пальцем. Из траншеи-то выскочишь, что родился — не рад, а работа — сплошное удовольствие. Паши, избы руби, ямы копай, сам себе бог, сам — чёрт, а дома щи, баба, шуры-муры, дети пойдут. Ты про атаки молчи, коли не знаешь.

Мягко бы так отчитал Сергей Сергеевич собеседника лет тридцать назад, но твёрдо, а кричать, оскорблять, кичиться бывалостью не стал бы. Не спознался человек со страхом — вот и

мелет языком. Не от дурусти это, от незнания. А не знает страха — очень хорошо. Дай ему Бог до гроба прожить в незнании. Сергей Сергеевич был добрым, а четыре года войны сделали его ещё человечнее: душа у него вроде бы размягчилась, а сам он, когда вернулся с фронта домой и осознал наконец разницу между бранью и миром, заболел светлой тихой завистью к тем, кого обошло военное зверство и кто вот так вот, с плеча, мог наивно рассуждать о мирном и военном геройстве.

Сомнения появились, когда он вышел на пенсию. Разглядывая нынешнее житьё-бытьё, Сергей Сергеевич неоднократно думал: «Боже милостивый, и как хватило сил всё это обладать. Уведомь меня кто-нибудь тогда, в сорок шестом, какого придётся хватить лиха, кажись бы, лишний раз лучше в атаку сходил либо в поиск. Там просто было, там пан или пропал, а тут...» — и он, вздыхая, поглаживал гражданский орден. Порою ему казалось, что обошёлся он ему дороже трёх военных.

Закончив прилаживать ордена, Сергей Сергеевич принялся одеваться, и когда нацепил галстук, завязанный сыном загодя, вечером, накинул пиджак и подошёл к трюмо, чтобы обзреть свою личность.

Отражения своего не одобрил. Глядел на него из зеркала шуплый парнишка: брюки у парнишки на интересном месте — мешком, шея из

широкого воротничка спичкой торчит, пиджак — будто с отцовского плеча (выпросил парнишка его у родителя сбегать на вечерку). И лишь седые волосы, залысины у висков да взгляд утомлённых глаз раскрывали настоящий возраст. В телогрейке и кирзовых сапогах выглядел Сергей Сергеевич значительней. Оттого-то и не любил он наряжаться, предпочитал даже на большие торжества одеваться просто. Но сегодня был особый день и скромничать не полагалось. Раз в год доставал он из шкафа выходной костюм и, благоухая смесью запахов «Шипра» и

нафталина, отправлялся в город. Там вместе с двумя местными Героями Советского Союза шёл во главе колонны к Вечному огню, восходил на трибуну, с достоинством выслушивал речи военкома, начальника местного гарнизона, двух-трёх бывших фронтовиков, умеющих говорить на народе, и после митинга отправлялся к Сашке, единственному живому однополчанину в здешних местах. У Сашки выпивал, в норму, вспоминал былое и на четырёхчасовом автобусе уезжал домой. Дома его тоже ждало угощение. В такие дни жена не супротивничала, рюмкой не обносила, сидела напротив и слушала Сергея Сергеевича, пока тому не надоедало вспоминать.



370

ВАЛЕРИЙ КОРОЛЁВ

— Ну как? — спросил Сергей Сергеевич у вошедшей жены.

Жена, к старости ставшая на полторы головы выше, крутнула мужа за плечи, оглядела со всех сторон, отступила на шаг, подпёрла кулаком щёку.

— Орёл, — сказала уверенно. — Мундир бы — вылитый генерал... Гвардию, гвардию-то прицепить забыл!

Сергей Сергеевич лапнул себя по правой стороне груди. Гвардейский значок отсутствовал.

— Цепляй, цепляй, — уговаривала жена. — Гвардия — она всех орденев чище.

В глубине души Сергей Сергеевич считал так же. Гвардейской их часть нарекли в сорок четвёртом за форсирование водной преграды, и эта коллективная награда тогда уравнила всех: и живых, и тех, кто остался на той речке, и тех, кто погиб раньше под Москвой, и тех, кто остался у Смоленска; всех, кого спаяла в великое братство война, кто в герои не вышел и числился в нормальном количестве потерь, заполнил собой эту необходимую графу донесений, освободил других от смертельных ударов, чтобы те, другие, дошли.

— Ну а теперь как? — спросил Сергей Сергеевич.

Жена пригладила борта пиджака, оправила мужу галстук, безмянным пальцем смахнула невидимую соринку с гвардейского значка и ответила:

— Теперь всё путём. Иди.

Автобус запаздывал, но сегодня это было кстати. Сергей Сергеевич и Сашка разговаривали четыре часа, но всего так и не переговорили. Сашка разволновался, сновал на своей тележке туда-сюда перед лавочкой, Сергей Сергеевич сидел на лавочке и кивал головой.

— Эх, Сергеич, сержант, — стучал себя кулаком Сашка в то место, где висела серебряная «Отвага». — Мина, сволочь, подкузьмила, а то бы я тоже до Берлина дошёл и тоже бы сейчас в орденах был. Ты веришь, веришь?

— Верю, Сашка, — кивал Сергей Сергеевич. — Ты парень был лихой. Как вспомню, что ты вытворял, — по сей час мурашки бегают.

— Не кричи, не на базаре, — призвал Сашку к порядку подошедший молоденький милиционер.

— Да пошёл ты, сопляк, — огрызнулся Сашка. — Не за теми смотришь. Нынче — наш день.

Милиционер даже пожал плечами, но ретировался. И пошли опять воспоминания. Опять бежал с «дегтярём» Сашка и кричал: «Полундра, мать-перемать!»

Трусил рядом с дисками второй номер, и Сергей Сергеевич тоже бежал. Приметил он в окне автоматчика, хотел указать Сашке, но решил сам, бухнулся животом на землю, подполз к колодцу и из-за сруба, в упор, автоматчика снял.

— Мина-то мне и досталась, — радовался Сашка, словно на вечерке у Сергея Сергеевича девку отбил. — А то бы сейчас я на лавочке с орденами сидел, а ты на коляске с «Отвагой» катался.

— Так, всё так, — вздыхал Сергей Сергеевич, и ему до слёз было обидно, зачем он тогда Сашке на автоматчика не указал. Пока бы показывал — остановился, глядишь бы мина — ни ему, ни Сашке — мимо прошла.

Подошёл автобус. Сергей Сергеевич сел у окна, потом встал, выглянул наружу.

— Ты приезжай, — попросил Сашку. — Скажи брательнику — пусть привезёт. Как откосимся — ждать буду.

Автобус тронулся. Сашка привстал на тележке, бросил палки-толкачи, размахивал руками. Сергей Сергеевич в ответ тоже махал и всё думал — про автоматчика.

Автобус сломался на Пристанинской горе, в тридцати километрах от города. Шофёр выпустил пассажиров, остановил идущий в город самосвал и отбыл в гараж на прицепе. Пассажиры — народ не старый — пошли пешком по своим весям, а Сергей Сергеевич перелез через кювет и сел на бугорке в ожидании попутки. День праздничный, дорога пуста, ожидать машину придётся долго. Сергей Сергеевич распустил галстук и прилёг, прислушиваясь, не раздастся ли звук мотора. За спиной Сергея Сергеевича изгибалась речка, через речку тянулся мост, за мостом уцепились за гору четыре дома, а впереди, вдоль шоссе, торчали ёлки; за ёлками пестрели стайки берёз, за берёзами туманилось поле, а уж за полем, далеко, угадывался коренной лес. Сергей Сергеевич привстал, прислушался, поглядел на трясогузку, бегущую по шоссе, вдохнул запах молодой травы, прилёг опять и незаметно уснул. Его разбудила песня.

— Ты черна! — рявкал мужской голос.

— И слава Богу! — взвизгивали в ответ девичьи.

— Чернота...

— Угодна Богу!

— Ночи чёрные...

— В Иране!

— Буквы чёрные...

— В коране!

Дребезжала измученная гитара, брякали на всю округу — как догадался Сергей Сергеевич — алюминиевые ложки.

— Эй, дед, — требовательно рявкнул над головой Сергея Сергеевича другой мужской голос, потоньше. — Что за речка, что за выселки?

— То не выселки, а бывшее село, — назидательно объяснил Сергей Сергеевич, приподнимаясь. — А было в нём, как сейчас помню, двести дворов. И церковь.

— Куда же двести дворов подевались? Знать, колхознички на заработки в город подались?

Компания грохнула хохотом, отдавая дань «сверхострой» шутке, а Сергей Сергеевич нахмурился.

— Ржать-то тут нечего, — оборвал смех. — Это, брат, война.

Компания окружила Сергея Сергеевича.

— Ба, — удивился нарочно тот, кто запевал. — Дед-то — заслуженный товарищ. Вся грудь в крестах. А мы-то ищем сильную личность. А ну, поведай, дед, как в Великую Народную шапками кидался.

Сергей Сергеевич от слов таких обалдел, пялился на хулигана и только отдувался. А компания над ним потешалась. Одна туристочка села на корточки, свесила попку в джинсиках в травку, заглядывала Сергею Сергеевичу в глаза.

— А дед-то ещё — ой-ёй-ёй, — кричала и тыкала пальцем в гвардейский значок. — Он из старой гвардии. А старый гвардеец борозды не испортит. Становись, дамы, в очередь!

— Ну, каковы девочки? — допытывался у Сергея Сергеевича лохмач-гитарист. — Они тебе щас, старпер, покажут. Сдохнешь с первого раза. Это тебе не рейхстаги брать.

Сергей Сергеевич вертел головой и думал: «Господи, да это же — свиные рыла». Про свиные рыла он где-то когда-то читал, а может, смотрел по телевизору. Фраза эта, видно, врезалась в мозг и вот всплыла, обрела реальность, и Сергей Сергеевич подумал: «Я им сейчас про рыла скажу. Пусть они про себя узнают».

— А это мы у тебя заберём, — сказал лохмач и протянул к орденам руку. — Серебро теперь модно. Усёк? Нашим девчущкам на побрякушки.

И Сергей Сергеевич встал. Ростом он сделался словно в два раза выше, а руки стали сильны так, как в молодости, когда он один запросто заваливал в «студебеккер» миномётную плиту. Бил Сергей Сергеевич хлётко, без размаха, как учили когда-то в запасном полку и как случалось потом бить не раз на пути от Москвы до Берлина. Злость была та же, что и тогда, но сказывался сорокалетний перерыв, а то бы Сергей Сергеевич бил насмерть.

Первым упал лохмач и пополз, за ним скатился с бугорка ложечник, потом ещё кто-то и ещё; минуты не прошло — пригорок очистился. Туристы бежали через шоссе, вжав головы, бросая на асфальт сумки. Сергей Сергеевич трофеи не брал, а, перепрыгивая через трофеи, преследовал врага. Делал рывок, нагонял, хватал и накладывал, накладывал. Догнал любвеобильную туристочку, цапнул одной рукой, что клещами прихватил, за джинсики, рванул — лопнула джинсовая и прочая ткань — и голым местом в крапиву, в крапиву.

— Мама! — стонала туристочка, цепляясь за Сергея Сергеевичев пиджак.

— Я покажу тебе маму!

До речки три шага. Туристочку поднять — и пинок. Пойди охоло- нись!



Домой Сергей Сергеевич явился ещё засветло. Скинул в спальной половине пиджак и проследовал к столу, в горницу.

— Что припозднился? — спросила жена, оглаживая новый платок, повязанный по торжественному случаю.

— Машину попутную поджидал, — ответил. — Автобус сломался.

— А у Димочки, внучка-то, зубок вылез.

— Слава Богу, — улыбнулся Сергей Сергеевич и вдруг, почему-то по-грустнев, промолвил: — Вот и дожили, вот и дожили...

Уже после вторых петухов, когда утомлённая его воспоминаниями жена заснула, Сергей Сергеевич снимал хмельными пальцами ордена и прятал их в комод, в коробочки.

— Ай-яй-яй, — качая головой, шептал он, рассматривая пиджак. — Свою славу-то отстоял, а общую не сдюжил.

На месте гвардейского значка белела подбоем дырка.

Рисунки Василины Королёвой



ХРОНИКА

Уникальный музей

14 февраля этого года в Коломне произошло поистине историческое событие. Торжественно открылся музей Ильи Георгиевича Лебедева «Кузнечная слобода».

Гостей у ворот встречали кузнецы в войлочных шапках и новеньких фартуках. На дворе под навесом расположился музей старинного быта. Морозец пощипывал щёки, но на столах были готовы самовары, и русские красавицы кому наливали чаю, кому подносили праздничную стопочку. Приглашённые ходили, дивились, фотографировались. Кажется, весь старинный уклад крестьянской жизни представлен здесь. Все вещи подлинные, новоделов нет. Привёз их Илья Лебедев из разных областей, но больше всего из родного Пермского края. «Когда человек начинает чем-то заниматься, вещи сами находят его», — говорит Лебедев, когда его спрашивают, как он всё это отыскал.

Главная экспозиция расположена в здании, которое Илья Георгиевич реконструировал своими силами. По стеллажам кузнечные изделия: кажется, нет такой вещи, которую бы не мог мастер выковать. Вот и кузница посреди зала: горно с тлеющими угольками, над которыми кто-то в шутку попытался погреть ладони, мех, наковальня и набор инструментов.



Более трёх тысяч предметов в экспозиции музея. Более двух тысяч лет — возраст некоторых из них. «Мы будоражим людскую память, заставляя вспоминать наши корни», — убеждён Лебедев.

В этот счастливый день коллекция И. Лебедева пополнилась дарами. Медным чайником, какими некогда на всю Россию славились холмогорские мастера, офицерской кавалерийской шашкой, а от главы города передали старинные весы-безмен.

Николай ГУЦИН

МОЯ ВОЙНА



Николай Иванович Гуцин родился в 1932 году в деревне Сельниково Коломенского района. В 1950 году окончил Коломенский паровозостроительный техникум.

С 1957 года, после окончания Рязанского радиотехнического института, работает в Конструкторском бюро машиностроения (г. Коломна). В 1989–2003 годах — начальник — главный конструктор предприятия. Доктор технических наук, профессор, академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Лауреат Государственных премий СССР и РФ, награжден орденами Ленина, «Знак Почёта». В 2000 году удостоен высокой общественной награды России — национальной премии имени Петра Великого.

Беда пришла в деревню тёплым июньским утром... Ничто, казалось, её не предвещало. В парном предрассветном тумане спокойно спали окружённые деревьями дома, и лишь горластые петухи будили тишину.

Неожиданно в этой дрёме раздалось два сильных удара о рельс. Потом ещё и ещё...

Бабка Марфа, высокая худая старуха, бежала от дома к дому, от палисадника к палисаднику, бежала, поднимая пыль ветхими чунями. Платок у неё сбился на сторбленные тяжёлым сельским трудом плечи, седые пряди волос в беспорядке мотались по потному, выжженному солнцем лицу. Марфа голосила что есть сил:

— Война! Началась война! Идите к клубу!

Оглушённые вестью односельчане, наспех одетые, спешили к старому просторному дому в центре деревни, который торжественно именовался клубом. Колхозный конюх Василий, обгоняя всех, мчался на телеге. Тихо, встревоженно переговариваясь, расселись на длинных скамьях напротив серебристо-серого сруба. Ждали председателя колхоза.

Он пришёл, небритый, непривычно бледный, и сообщил: на нашу страну напала фашистская Германия. Председатель старался, чтобы речь звучала патриотично и грозно, но не очень получалось: слова будто стыли тяжёлым комом в горле.

— Вот такие, мои дорогие, дела, — закончил он. — Для всех нас с сегодняшнего дня начнётся иная жизнь. Суровая и жестокая.

Померк, казалось, солнечный свет. Люди сидели хмурые, разом ослабевшие. Заплакала бабка Варвара. Мужики осторожно заговорили:

— Что же теперь будет?

— Война...

— Как быть? Немец-то силён...

— А то! Эвон — всю Европу под себя подмял.

— Морда у него треснет от России!

Все повернулись на голос. Дед Фёдор, которому шёл уже девятый десяток, спокойно оглядел собрание. Деда в деревне уважали. Он повоевал в Японскую, и поговаривали, что где-то за иконами хранит Фёдор солдатский Георгиевский крест. На Германской в него попал осколок, потому левая рука работала плохо. Но седая голова крепко хранила премудрости векового крестьянского опыта. К нему то и дело шли за советом, когда пахать землю, сеять рожь, косить сено.

Вот и сейчас все смотрели на деда Фёдора вроде как с надеждой. А он сидел спокойно, теребя серебряную бороду, и солнце струилось по его мудрому лицу, точно по глубоким морщинам пятисотлетнего дуба.

— Немца бить можно... Он рукопашной не любит, всё на технику надеется. А если к нему в окопы прорваться или по-тихому подойти, как партизаны, тут он и даёт слабину. Я вам вот что скажу: дурак ихний главный, право дурак. Сколько ворогов на Русь приходило, не счесть... А всем один конец наступал. Вот Наполеон куда был умнее, в самую Москву вошёл. И то драпанул в свою Европу, так что пятки засверкали, а всё войско его так в русской земле и полегло. Нам бы техники поболее... А не хватит — мы ж его всё равно числом задавим. Велика Расея, и страшно в ней иноземному человеку... Не робейте: выдюжим!

376

НИКОЛАЙ ГУЩИН

Шёл шестой час войны...

А уже через неделю вся деревня провожала в армию добровольцев: парней двадцать пятого и двадцать четвёртого годов рождения. Ухарский вид ребят, военные песни, повозки с новобранцами... Всё это и поныне — в моей памяти.

Старики держались бодро, прямо, говорили коротко. Женщины, молодые и старые, выстроившись печальной шеренгой вдоль дороги, опускали влажные глаза. Вслед за ними погрузтело, расплакалось по-осеннему частым, морозящим дождём недавно такое ясное июньское небо. Дождь лил на осиротевшую толпу провожающих, на опустевшие площадки для игр и танцев... Будто с уходом парней кончилось ясное лето.

Думал ли я тогда, что никого из них больше не увижу? Звериное чрево войны поглотило их, молодых, сильных, красивых, в первый же год войны. И сердце щемило тоской, стоило только взглянуть на опустевшую танцплощадку, футбольное поле.

Осенью грузовик-полупотроха увёз на фронт и отца. Мы, мальчишки, долго бежали за машиной, пока она не скрылась в облаках дорожной пыли.

Невысокая наша изба словно осела, сжалась, потемнела. Мать, положив маленькую натруженную ладонь на моё хрупкое плечо, с грустью сказала:

— Ты теперь у нас хозяин, сынок...
Было мне тогда девять лет.

Враг наступал стремительно. В октябре немецкие войска были уже под Зарайском, в пятидесяти верстах от нас. Через деревню отступали измученные в боях советские воинские части. Одну из них вёл комиссар — молодой, высокий, стройный. Правая рука и голова у него были перевязаны. Видно было, что солдаты идут долго, и силы их на исходе.

Командир дал знак, и несколько труб духового оркестра заиграли марш. Бойцы приободрились, шаг стал чётче.

Старая Варвара со слезами крестила уходящих. Всё повторяла: «Сынки, сынки...» Все трое её молодцов-сыночек полегли в первые же дни войны.

Жители подбегали к колонне и давали красноармейцам еду — кто что мог. За околицей оркестр смолк. Воинская часть уходила в глубь Мещёры.

С противоположной стороны каждый вечер в темноте вспыхивало зарево. Это московские зенитки отбивали очередной налёт немецкой авиации.

До нашей деревни немец не дошёл.

Но жуткий призрак войны бродил вслед за сумкой почтальона, за мальчишками, взвалившими на себя тяжёлый крестьянский труд взрослых мужиков.

Осенью сорок первого года снег выпал необычно рано. Ударили морозы. В этом жутком холоде по дороге брёл молодой долговязый немец. Серая солдатская форма висела на нём, как на вешалке. Смахивая худым, покрасневшим от мороза запястьем с серого лица своего слёзы, немец беспрестанно повторял: «Матка, матка...»

Красная армия перешла в контрнаступление, немцев отбросили на сотни километров. А этот отбил от своих, потерял направление и шёл прямо на восток, в советский тыл.

Вся деревня, даже старики и мальцы, прильнув к окнам, смотрела на жалкого завоевателя. Его вид приободрил односельчан лучше всякой пропаганды. Каждому стало ясно: германцам врезали крепко.

Суровой и снежной зимой сорок первого года наши деревенские избы, словно спасаясь от холода, стояли в сугробах по самые крыши. На Рождество брёвна трещали от мороза. Два-три раза в неделю всё село выходило с лопатами на дорогу: прокладывать путь для прохода наших войск и техники. Снежные траншеи были выше человеческого роста.

В работе будто забывалось, что идёт война: перекидывались прибаутками старшие, подшучивали над нами, ребятами.

— Эй, Гришка! — кричал дед Фёдор двенадцатилетнему внуку, — чтойто нос у тебя, как у Деда Мороза... Потри варежкой, а то отвалится!

— Ничего, — откликнулась Гришкина мать, дородная розовощёкая Настасья. — Парень крепкий: в нашу породу, в Митюхиных... Гриш, а Гриш! Подрастёшь — задашь перцу фашистам?

У Гришки улыбка растягивалась до ушей. Ещё больше краснея от непривычного внимания стольких людей, он часто кивал головой и утвердительно, пытаясь говорить басом, отвечал: «Угу!» И в этом его «угу» была взрослая сила. Гришка ненавидел фашистов такой лютой ненавистью, что в школе даже отказался учить немецкий язык.

Печи приходилось топить дважды: утром и вечером. Дрова заготавливали в глубине мещёрских лесов централизованно. Но в ту холодную зиму к весне они уже кончились. Самовольная вырубка запрещалась, а расправа в те годы была жестокой. В марте на заснеженных полях образовался наст. Ночами по этой твёрдой поверхности жители на санках возили из леса дрова. Страшно, но делать нечего: тёмные тени женщин и подростков скользили по насту, а бледная луна жалостливо смотрела на муки вдов и сирот.

Извещения о гибели приходили почти каждую неделю, и не было дома, которого бы не коснулась беда. Пришло извещение и о «пропавшем без вести» нашем отце. Помню мертвенно-бледное лицо матери. Провожая хромоногую почтальона, она ещё в сених кинулась было в крик, но, войдя в избу, увидев нас с сестрой, притихла. До самой ночи не проронила ни слова. А утром, перед уходом на работу, погладила меня по колючей белобрысой голове. Это было так непривычно: мать не баловала нас с сестрой лаской, особенно меня, — за баловство чаще доставались подзатыльники. Но теперь она смотрела повлажневшими глазами и всё повторяла: «Хозяин ты мой, хозяин...»

Стандартный бланк грубой серой бумаги — вот и всё, что осталось от отца...

Первая военная весна — сорок второго года — была бурной. Огромное половодье на заливных приокских лугах несло с полей сражений убитых: людей, лошадей... После разлива на берегу остались зловещие «сувениры» войны, и любопытные мальчишки собирали их. Однажды мина взорвалась в руках у соседского парнишки: спасти его не удалось. И нам настрого запретили трогать оружие.

Весенняя пахота выдалась тяжкой. В первые же дни войны лошадей мобилизовали на фронт. До сих пор в памяти картина: шесть женщин тянут на лямках плуг, за которым иду я — десятилетний мужчина. Позже, в юности, увидев знаменитое полотно Репина «Бурлаки на Волге», я долго стоял перед ним. И картины военного детства вновь вставали в моей памяти.

Деревенское общество быстро приспособилось к повседневной жизни без мужчин. В деревне остались только женщины, дети, старики и старухи. Старшее поколение взяло на себя дополнительный труд по дому и уходу за малышами, подростки помогали по домашнему хозяйству и работали в колхозе, а основная тяжесть деревенского труда легла на плечи женщин. Эти-то тридцати-сорокалетние женщины и взвалили на себя изнурительную работу от зари до зари.

В редкие праздничные дни они собирались вместе, нарядные и красивые, у кого-нибудь в избе. Пекли пироги с картошкой, ставили на стол нехитрые деревенские соленья. Плясали, пели. Но вперемежку с

залихватскими, озорными, а чаще невесёлыми песнями и частушками звучали «страдания» с горькой тоской по мужикам. А назавтра их ждала повседневность: дойка, выгон скота, готовка, работа в колхозе и вечерние труды по хозяйству. И так изо дня в день. Может быть, этот отлаженный ритм отчасти и помог выжить? Но не приведи Господи испытать кому-либо такую женскую долю!

Однажды поздним вечером раздался стук в окно. Мама вышла открыть, и вскоре из сеней раздался её плач.

— Фёдор Иванович! Живой, слава богу! — сквозь рыдания говорила она.

Это был наш сельский учитель. Он захал только на ночь, из госпиталя, где лечился после очередного ранения.

— Что с Иваном Семёновичем? — спросил дядя Федя.

— Прислали извещение, что пропал без вести, — горестно ответила мать.

Фёдор Иванович задумался, а потом внимательно глянул на нас.

— Знаете, многое пришлось повидать на фронте... Такие вещи случаются, что и поверить трудно. И я вам скажу: надо ждать! Он больше жив, чем мёртв.

А рано поутру машина увезла капитана Ерошина в который раз на фронт. Он оставил нам надежду, и она спасала нас: всю войну мы ждали отца.

Самым большим несчастьем для нашей родни стало ранение дяди Миши Зверева, маминого брата. Близкий взрыв оставил его без глаз. Помнится, на престольный праздник он пришёл к нам с дочерью Тamarой. Она была златокудрая, красивая и походила на Золушку из сказки, которую ещё до войны читала нам мама. В пришедшем с ней незнакомце в чёрных очках, сгорбленном, постаревшем мужчине, ничего не осталось от весёлого и стройного довоенного Михаила. Мы с сестрой с трудом узнали его. Держа дочь под руку, он неуверенно ступал по пёстрым домотканым дорожкам, боясь зацепиться. Мать бросилась ему на шею, заплакала, посадила в передний угол, под иконы. Вытащила из печи чугунок с дымящейся картошкой. Достала из дальнего чулана тщательно сберегаемый (а вдруг придут фашисты!), сохранившийся ещё со времён бабушки, до блеска начищенный самовар. Заварила морковный чай. Дядя Миша вынул из кармана потёртой шинели гостинец нам с сестрой Валентиной — пригоршню баранок. Мы размачивали их в стаканах, смотрели, как смешно отражал самовар наши раскрасневшиеся от домашнего тепла и горячего чая рожицы, тихонько перешёптывались и, кажется, совсем забыли о войне.

За столом негромко переговаривались мама с Тamarой. Дядя Миша молча сидел за столом и участия в разговоре не принимал.

После ранения дядя Миша прожил недолго. Не взрыв погубил его, а надлом души. Царства мрака не мог вынести дух этого человека: такой подвижный, огнистый, такой жизнелюбивый.

Я могу понять его. Темнота меня угнетает. Деревенское детство, в котором взрослые рассказывали о ведьмах на крышах и чертях на чердаках, заставляло бояться сумерек. И сейчас не люблю ночи и тьмы. Всегда радуюсь рассвету.



Михаил Павлович Маношкин (1925–2002) родился в деревне Орешково Московской области. В 1933 году семья переехала в Коломну. В марте 1942 года по призыву комсомола ушёл на фронт. Воевал под Сталинградом, был в партизанском отряде, участвовал в боях на Курской дуге. При штурме Берлина был ранен.

После войны он окончил филологический факультет МГУ, занимался преподавательской работой. А затем принял нелёгкое решение: ступить на суровую писательскую стезю. В 1994 году НПП «Параллель» в Нижнем Новгороде выпустило два его романа под общим названием «Перед гуннами».

Постоянный автор «Коломенского альманаха». Член Союза писателей России.

Михаил Павлович родился 9 мая. Как символично, что день рождения воина-ветерана совпал со священным Праздником Победы! И как грустно, что Маношкин не дожил всего несколько дней до своего 77-летия.

Фотография 1944 года сделана в танковой школе в г. Пятигорске.

Михаил МАНОШКИН

ПОКЛОНИСЬ ПЕХОТЕ...

Баллада о первом партизане

Задёрнутая рыжей гривой,
Лениво поднялась луна,
И робко, птицею пугливой
Опять вернулась тишина.

Он шёл по лесу напрямик.
В нагане — больше ни патрона.
Рвал сердце материнский крик,
И холодела грудь от стога.

Журчал ручей в лесной глуши —
Он пил, склонившись над потоком,
А снизу на него в тиши
Луна смотрела волчьим оком.

Он встал — кружилась голова —
Прислушался к ночному мраку:
В чащобе крикнула сова,
Вдали залаяла собака.

Потом разделся донага
И с берега вошёл по грудь.
Торчали из воды рога,
Готовые его проткнуть.

Всё копошилось в глубине,
Бурлило за его спиной,
Как будто воинство на дне
Вёл в наступленье водяной.

А он бездумно, безмятежно
Стоял, не видя ничего,
И струи ласково и нежно
Лизали раны у него.

То сторона его родная
Журчала сказкой в тишине —
Как будто бабушка седая
Рассказ вела о старине.

Как ехал богатырь могучий,
Как ведьма преградила путь,
Как лес ему грозил дремучий,
И как стрела вонзилась в грудь.

И как лежал он на земле,
В бою никем не побеждённый,
Рукой коварною сражённый,
Трусливо скрывшейся во мгле...

Как конь склонился над убитым,
Призывно ржал и бил копытом...
И как раздался волчий вой,
И леший заиграл листвою,



М. Самсонов. Год 1941-й

И как, едва взошла заря,
Старик с седою бородою
Нашёл в траве богатыря,
Принёс кувшин с живой водою,

Как вырвал наконечник с ядом,
Как конь стоял печально рядом,
Как скатывалась вниз слеза,
Как богатырь открыл глаза

И поклонился старцу в ноги...
Как снова ехал по дороге,
И как его могучий конь
Из камня высекал огонь...

И как потом земля дрожала,
И сталь булатная визжала,
Как головы катились с плеч,
Когда за Русь он поднял меч...

Свой сказ закончил петь поток,
И зарубцовывались раны.
Зарёю пламенел восток.
Повисли над землёй туманы.

Он смыл кровавые следы
И, как в предании старинном,
На берег из живой воды
Поднялся воином былинным.

В предутренней молочной мгле
Стоял живой и невредимый.
И поклонился всей земле,
Как матери своей родимой.

Потом врагу наперерез
Пошёл в предутреннем тумане.
Дышал тревожно Брянский лес,
И — пусто у него в нагане.

Всё явственнее топот ног,
Тележный скрип и скрежет стали,
Как будто плоть земных дорог
Там злые коршуны терзали.

Он шёл, как воин из былины,
Сквозь гул и гром, огонь и дым,
А вековые исполины
Смыкались армией за ним.

И вскоре слухи потекли
О первом брянском партизане,
Который будто б из земли
Встаёт в предугреннем тумане.

Встаёт, как призрак, на пути,
Как леший с тяжкою дубиной,
И ни проехать, ни пройти
Врагам туманною долиной.

Они палили лес огнём,
Пускали полчища пехоты,
Как вороньё, добычу днём
Высматривали самолёты.

Но днём он исчезал, как дым,
В бездонной светло-синей дали,
И вместе с призраком седым
Враги бесследно исчезали.

Но вот однажды он исчез,
Хотя опять плыли туманы,
Заплакал глухо Брянский лес,
Свои зализывая раны.

Не шелохнулся ни листок.
Дубы стояли грусти полны,
А по дорогам на восток
Катились вражеские волны.

384

МИХАИЛ МАНОШКИН



Н. Жуков. Фронтовые дороги

А он под дубом вековым
Укрылся, истекая кровью,
И мать-земля прощалась с ним,
Согретая его любовью.

И он ей говорил: прости, —
Что больше у него нет силы
И что упал на полпути,
Не вовремя сошёл в могилу,

Что больше сделать не успел,
Что помешал кусок свинца.
Что песнь, которую запел,
Не смог исполнить до конца...

Он тихо отходил ко сну,
Не утаив своей печали.
И сторожили тишину
Безбрежные лесные дали.

А был он просто человек —
Обыкновенный лейтенант,
Но прожил свой короткий век,
Как сказочный Атлант.

Когда накатывался вал,
Отчаянье вползало в душу,
А враг упорно наступал,
Уродуя, сжигая, руша.

И не было, казалось, сил,
И не было, казалось, воли
Подняться в рост среди могил
В изрытом смертью поле,

Чтоб тут же с пулею в груди
Упасть, раскинувшись, на глину
И, умирая, позади
Уж видеть дымную лавину.

Когда змеёю жгла тоска,
Удавом надвигались беды,
И бесконечно далека
Была ещё весна Победы,

И сажею сгущался мрак, —
Он встал, как исполин,
Вёл полчища к востоку враг,
А он же был — один.



М.Холуев. Солдаты. 1941 год. Фрагмент

Вдоль скатерти — гирляндами цветы,
Погоны, знаки, орденские ленты,
А перед грудой этой пестроты
Неутомимые корреспонденты.

Привычные слова струились в зал:
«Я горд, взволнован, радости не скрою,
Что в городе живу, который дал
Такое-то количество героев!»

Затем с многозначительным лицом
При молчаливом восхищенье зала
Часы вручал героям военком,
Начав, само собою, с генерала.

И в речь официальную его
Вплетались сдержанно аплодисменты.
Но свет погас — не стало ничего,
Кроме забытой старой киноленты.

Над вздыбленной землёю плыл набат,
Шли танки в лоб, жужжало в небе что-то.
В атаку в поле поднимал комбат
Прижатую к земле огнём пехоту.

На высоте, у стереотрубы,
Забравшись под накат, дежурил кто-то,
А там, где всё вставало на дыбы,
В атаку шла усталая пехота...

А сердце тоже било, как в набат,
А по лицу стекали струйки пота,
Но шёл безостановочно солдат,
И падала под пулями пехота...

Последний кадр — и снова светел зал.
Герои встали — в пышной позолоте.
Автографами сыпал генерал.
Механик оставался на работе,

Незримый, будто не было его,
А он припоминал те дни, то поле,
И вдруг заньли раны у него
Не вовремя, от непогоды, что ли...

Узнал он место, где упал снаряд,
И сам упал, не сделав больше шагу.
Припомнил, как вручал ему комбат
Солдатскую награду — «За отвагу».

Комбата самого давно уж нет,
Хотя он всё ещё ведёт пехоту...
Давно как это было, столько лет...
И сердце уж пошаливает что-то.

Оно всё помнит: чавканье болот,
Окопы, холод, братские могилы,
Непросыхающий солдатский пот
И с кровью убывающие силы...

Он запер будку, вышел в коридор,
Отдал ключи. Пустынно было в зале.
За дверью ровно заурчал мотор:
Герои друг за другом уезжали.

И он пошёл по улице домой,
Подтягивая ноющую ногу.
Вокруг него бурлил людской прибой —
Опять пехота заняла дорогу.

Он шёл по тротуару не спеша —
По-прежнему солдат стрелковой роты, —
И отдыхала у него душа,
Как после рукопашной у пехоты.

Пусть ты хоть десять раз Герой,
Весь позолоченный, — не важно, кто ты!
Почётнее тебя солдатский строй
Самоотверженной пехоты.

Ей очень мало выпало наград
И очень много черновой работы.
Когда же в праздничный наряд
Оденется великий День Пехоты!

И если ты действительно герой,
А не фигура в пёстрых позументах, —
Почаще вспоминай пехотный строй
На пожелтевших старых кинолентах.
1976

Танкистская

Ракеты красные взлетели,
Дана команда: «Все — вперёд!»
Моторы грозно загудели.
«Давай, водитель, полный ход!»

В одно слились броня и люди,
Одну судьбу всем разделить:
Под залпы танковых орудий
Иль умереть, иль победить.

Одна земля у всех святая.
Без передышки пушка бьёт,
И из брони, не умолкая,
Бьёт скорострельный пулемёт.

Но вот ударила болванка.
«Прощайте, люди, кончен путь!»...
Остановилось сердце танка,
Водитель тяжко ранен в грудь.

Машину пламя охватило,
Наполнил башню едкий дым.
Мать не найдёт моей могилы,
Я умираю молодым.



И.Костерев. Танки идут. Фрагмент

Когда-нибудь...

Когда-нибудь ты забредёшь ко мне —
Кого куда не заведёт дорога!
И может быть, у моего порога
Чуть-чуть взгрустнёшь в печальной тишине.
И снова, как когда-то на войне,
Побудем, помолчим с тобой немного,
На миг вернётся радость и тревога,
И молодость, всходившая в огне.
Ну а потом, конечно, снова в путь,
Чтоб встретиться ещё когда-нибудь.
Шагай, не стой! И я пойду с тобою —
Надеждою твою наполню грудь,
Чтоб ты своею светлою судьбою
Мог оправдать мою... когда-нибудь.

1982

Быль о комиссаре

Среди трёх дорог, где ковыль шумит,
Сбитый пулей с ног, комиссар зарыт.

Шёл на пулемёт, люди вслед ему.
Пал лицом вперёд, провалился в тьму.

Высоко орёл, далеко река.
Ни лесов, ни сёл, одна степь-тоска.

Одна степь кругом на семи ветрах.
На холму крутом комиссаров прах.

Зашумит трава, закивает вдаль.
Оживёт молва, набежит печаль.

Заблестит гроза, опалит курган,
Упадёт слеза, как его наган.

Потечёт рекой, загремит вдали.
Завершится бой на краю земли.

Встали цепи сёл. Ураган затих.
Высоко орёл. Никого в живых.

Ото всех сторон в поле рожь встаёт.
В ней не умер он — о нём степь поёт.

Степь бескрайняя, бесконечная,
Как душа его человеческая.

1974

У старого окопа

Ты здесь сидел когда-то с котелком.
В туманной пелене летели пули.
Потом, перед рассветом, мы уснули,
А от реки тянуло холодком.
А там вот ты упал ничком...
Всё потонуло в орудийном гуле.
Я тоже шёл, не зная сам, дойду ли,
И к горлу мне подкатывался ком.
Давно всё это и недавно было...
Теперь здесь лес, но время пощадило
Окоп, который вырыли с тобой, —
Здесь наша юность кровью исходила,
Из этой ямки поднялись мы в бой.
Теперь здесь дуб зашелестел листвою.

1974



Ю.Неприцев. Родная земля

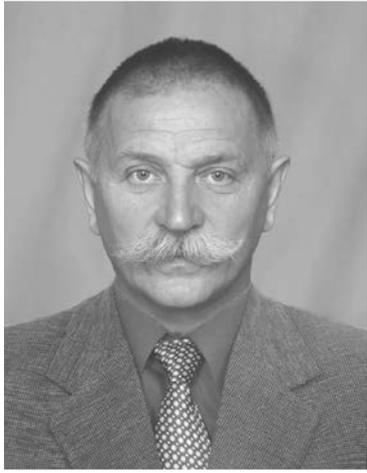


РОДИМАЯ
СТОРОНА





Графика Василины Королевой



Александр Борисович Сурков родился в 1950 году в селе Лысцево Коломенского района. Окончил Коломенский педагогический институт в 1972 году. После учёбы остался работать в родном институте. Доцент кафедры французского и немецкого языков, кандидат педагогических наук.

Автор книги «Пока горит свеча» (1990), сатирической поэмы «Борис Годунов» (1992), поэтического сборника «Коломна для своих» (2002), книги о родном крае «Мишатка» (2009).

Печатался в журнале «Молодая гвардия», в газете «Московский литератор».

Был народным депутатом РСФСР в 1990–1993 годах.

ТРИ БЫЛИ

Степан Разин... Разин Степан

Всякий раз, когда думается о людях военного поколения, с белоснежной завистью различаю в них огромную созидательную упёртость. Истоскованность по миру, по мирной, а не ратной работе за четыре года войны.

У капитана второго ранга, фронтовика Николая Михайловича Каменнова, как нам говорили, было два высших образования: философ и филолог. На лекции ходил он с какой-то тонкой тетрадкой, а то и вообще «без ничего». А как читал! То есть не читал, а говорил! «По поводу концепции свободы воли запишите слова Шопенгауэра...», и предложения три-четыре по памяти! Мы иногда проверяли по первоисточникам: никогда, ни малейшего блефа не было от доцента Каменнова.

Любимая работа, жена, дочь, сын... Как сказал бы кинематографический Абдулла, «что ещё нужно человеку, чтобы спокойно встретить старость?!».

Но судьба подло готовила капитану три, по её замыслу, смертельных удара. Умерла жена. Женился вдовец на её родной сестре, говорили, чтоб детишкам близкий человек — тётя родная — в подмогу. Потом и та ушла в мир иной. И наконец, красавица, скромная и умная дочка, как папа, с двумя высшими, трагически ушла из жизни...

Ну сколько же положено переживать одному человеку?! Как «тигром» вражьем, кружилась на месте семейного очага злая доля, лязгая гусеницами, безжалостно, с пьяненькой, садистской эсэсовской ухмылкой. И запил сол-

дат... Нет, не буйно, грязно, непристойно, а тихо, молча, со смертельной безутешной тоской, стараясь ничем не обидеть сынишку, которому дал имя деда — своего отца.

Помню партийное собрание по «персональному делу», когда в очередной раз пришла «бумага» по поводу появления в общественном месте и т.д., и т.п.

После нескольких обличительных залпов коллег вышел Николай Михайлович перед залом и тихо, но твёрдо попросил: «Со всей критикой полностью согласен! Согласен на любое наказание... Только одна просьба: не исключайте меня из партии, я вступил в неё в восемнадцать лет, перед боем, в сорок третьем...»

Но больше всего помню я другой эпизод из жизни любимого преподавателя философии (хотя, как почти всем ребятам, он мне поставил «четыре»). Это воспоминание и радует, и веселит, и в раздумья серьёзные уводит. По вторникам в городском, даже региональном масштабе проходили занятия в университете марксизма-ленинизма, своеобразные курсы повышения политической и общепрофессиональной квалификации для многих начальствовавших и рядовых партийных кадров. Тот экзамен по философии должен был проходить в Доме учителя. Там наша группа (человек десять–пятнадцать), заметно волнуясь, вот уже полчаса ждала «философа». Наибольшее возмущение высказывала молодая чета учителей из соседнего города: мол, автобус скоро, а потом «дыра» в расписании, как окно огромное в Европу, — часа на три, и когда же попадём домой?..

Наконец пришёл преподаватель, извинился за опоздание и сел за стол принимать экзамен. Первой к нему села та учительская пара, муж и жена. Я не спускал глаз с Николая Михайловича, переживал за него, поскольку однозначный запах его опоздания за два метра доходил до меня. Но тот как всегда спокойно, интеллигентно, размеренно, без малейшего сбоя задавал вопросы, внимательно и *резво* слушал ответы. Лица молодых людей, тоже, видимо, понявших причину запоздалости доцента, выражали какую-то неприязнь, а может и хуже. Я, забыв про собственный билет, не спускал глаз с экзаменатора и вдруг заметил, что тот понял, *что* пара напротив чувствует к нему. В глазах капитана мелькнула сначала его обычная боль-тоска, но тотчас сменилась озорным, азартно-боевым блеском, как перед лихой атакой: «Аппараты, товсь!»

— Ну, молодые люди, неплохо вы отвечали... А кто вы по профессии?

— Оба — учителя истории! — гордо, чуть с вызовом.

— Это хорошо, душеобразующий предмет... Наверное, и историческую литературу любите и читаете?

— Разумеется, — с вызовом и гонором.

— А скажите — это последний мой вопрос, — сколько книг написано про Степана Разина?

Немая сцена...

— Ну, друзья, не понимаю вас... Шишков, Чаплыгин? «Степан Разин» и «Разин Степан», да вот ещё сейчас третью книгу пишет талантливый режиссёр, актёр и писатель Василий Шукшин: «Я пришёл дать вам волю...»

Молодые собеседники краснеют, с затаённой злобой пытаются сохранить вид, достойную мину при начисто проигранной игре. А капитан уверенно продолжает обстрел:

— А про Петра Первого? (Не позавидовать историкам!) Ну хотя бы, бог с ним, с Павленко, Толстой-то что написал? Какой роман?

— «Пётр Первый»!

— А сколько было писателей Толстых?.. Ладно... Отвечали по билету хорошо, ставлю вам, молодой человек, «четыре», но запомните, не забывайте: учителю истории обязательно надо читать и знать историческую литературу. Без этого трудно детей заинтересовать вашим замечательным предметом. Идите... Кто следующий?..

«Да не высохнет море Баренцево...»

Однажды приехал меня навестить один из лучших моих друзей — француз Марк Салес. Его приняли по всем правилам нашего гостеприимства, и весть о феерическом пребывании его в Коломне разлетелась по всему миру (где только нет у него друзей!) фейерверком пышных электронных посланий. Когда ехали с ним в моей машине, я включил на автомагнитоле песню группы «Любэ», которая очень известна у нас и называется «Синее море». Я сказал другу, что со времени трагедии подводной лодки «Курск» эту песню часто связывают с этим событием. Марк сочувственно загрустил, попросил диск и написал мне потом из-за границы, что эту песню очень полюбил его старший сын Макс.

Через день мы — так уж получилось — поехали в Москву и, прежде чем пойти в Третьяковскую галерею, зашли в Черниговский проезд, в Международный фонд славянской письменности и культуры. Там, на втором этаже, была выставка макетов скульптур и памятников, созданных основателем фонда великим скульптором Вячеславом Михайловичем Клыковым. Среди многих потрясающих творений прославленного курянина (уроженца Курска) увидел я одно выражение глубокой христианской скорби Мастера по своему «земляку» — подводному крейсеру «Курск»: из жуткой зелёно-синей пучины выступает корпус подводной лодки, и из кроваво-красного вырuba в рубке в небо взметнулось Распятие... Изумительный памятник...

Вспомнил я, как в том жутком для всей России августе мы, ничего не зная, ехали в поезде после горного похода и южного моря. Я, дурачась, ходил по вагону, проверяя порядок, и говорил: «Осмотреться в отсеках!» А в это время в отсеках «Курска»... Действительно, «как много доброты в молчании!» Стыдно мне, как вспомню (хоть и не ведал!), за тот филологический словесный понос, стыдно, как в песне Визбора: «...прости за то, что выжил, дорогой». Простите, ребята, что порой чуток забываем, *что мы* без армии и флота ничто, а солдаты, моряки и лётчики каждый день на посту, на вахте. **Кто мы** без них? Да просто демографонаполнители без Родины, флага и голоса!

Вспомнив всё ту же песню «Любэ», спросил я как-то внучку Настю (ей было семь лет): «А почему, как ты думаешь, *их жёны не спят?*» —

«Дедушка, как же они будут спать?! А вдруг моряки вернутся ночью, кто же их встретит тогда на берегу?!»

Речная Коломна — во многом морской город. Это обусловлено двумя причинами. У нас чтут память о матросе Зиновьеве с «Потёмкина» и гордятся Адмиралом Флота Советского Союза, дважды Героем Советского Союза Сергеем Георгиевичем Горшковым. Его имя носит моя девятая школа, где преподавал его отец, который учил и сына: «Будь в жизни хоть дворником, но лучшим!» Из девятой, когда-то образцовой школы, мечта уводила лучших по два-три человека в год в Питер в «мореходку». Есть и остановка трамвая «Улица Флотская», где в нескольких многоэтажках, построенных адмиральской волей, живут моряки и сухопутные коломчане.

На автостоянке, где ночует мой автомобиль, работают моряки, в основном подводники. Командует же стоянкой противолодочник Адель Кашафутдинов. Стоит иногда вечером на мостике перед входом в дежурку кто-нибудь из «морских волков», не спеша курит и глядит вдаль, поверх всех отечественных и иномарок-шлюпок, в одному ему понятную синюю даль, «не мелькнёт ли там на бледной черте, отделяющей синюю пучину от серых тучек, желанный парус...», как писал М.Ю. Лермонтов.

Подъезжаю, ставлю машину, прошу зайти на пять-десять минут. Друг Михалыч (Владимир Михайлович Лизунов) разрешает: «Есть “добро” на вход в Кольский залив!» По морскому обычаю подводников стукнет пальцем по верхней точке и по дну рюмки с соком: «За то, чтобы число погружений всегда равнялось числу всплытий». Потом помянем всех, кто смотрит с неба... Чутко и за здоровье, потом чуть-чуть под коронный североморский тост: «Да не высохнет море Баренцево, да не оставит нас без работы!»

Потом уже из жизни лётчиков: «Время невозвращения прошло» (когда по времени горючее выработано, а самолёта нет на аэродроме). После этого прощаюсь и ухожу с бодрящим ощущением всей России: от Камчатки до Кронштадта.

Время от времени кто-то уходит с «мостика» насовсем...

Тогда к третьему, «небесному», бесшумному тосту прибавляется навсегда ещё одна неутешная грустинка. И вспоминается чуть неуместно, хотя и прямо в тему, ещё одна морская команда Владимира Михайловича Лизунова: «Стоп, моторы!» Это когда в печени, желудке и сердце надо недельку проводить «регламентные работы» с применением минеральной воды. «Стоп, моторы!..» И ещё почему-то приходит образ капитана Немо, уходящего навечно в «Наутилусе» на дно в конце «Таинственного острова».

Как тройной перекрёсток рек, завязана морская тема крепким морским узлом на Коломне. Первый корабль «Орёл» построил Пётр Великий в Дединове. И рядом, по преданию, глядя на удачливых рыбаков, восхищался царь-флотолюбец: «Любичи вы мои, ловцы». Стало быть — «Любимые мои ловцы». Теперь с тех времён живут рядом два села: Любичи и Ловцы. В Коломне же, где два приокских, прибрежных села-пригорода называются Бочманово и Протопопово, так и хочется от нестерпимого «филологического зуда» продолжить Петрово восхищение: «Бочманы вы

мои, протопопы!» Из Протопопова родом В.Макеев — один из великих оборонщиков, которыми гордится древний город. И хочется думать, что при его руководстве создавался противолодочный комплекс «Метель». Принцип его работы таков: после вертолётной разведки определяется примерное местонахождение подлодки противника и выпускается умная торпеда, которая кружит вокруг субмарины, постепенно концентрически сжимая кольцо. И наконец бьёт без промаха.

И ещё один коломенский «морской узел». В 1955 году зашёл в Севастопольскую бухту и загадочно взорвался у «графской пристани» полученный по репарации итальянский линкор «Юлий Цезаре» («Юлий Цезарь» по-нашему), переименованный в «Новороссийск». Правительственную комиссию по случаю страшной гибели «Цезаря» возглавил коломенец, «главный инженер» страны В.Малышев — ответственный работник оборонной промышленности. Во время взрыва в БЧ-5 погиб матрос по фамилии Кузнецов, родом из посёлка Пески, что под Коломной. А после расследования (видимо, в соответствии с оргвыводами) главком ВМФ Кузнецов (!) был отстранён, и главным флотоводцем назначили коломенца С.Г. Горшкова. Вот такие бывают «исторические буруны»...

Говорили, что в создании электронного мозга «Метели» участвовал Юрий Александрович Маматов, выпускник опять всё той же девятой школы, гений-кибернетик, чей барельеф — у входа в школу. Справа — С.Г. Горшков, слева — Ю.А. Маматов. Два года раньше меня закончил он школу. В то время работала в школе прекрасный учитель физики — Зинаида Михайловна Андреева. Бывало, спросит она в нашем 9 «Ж» классе программистов, где я был одной из двух-трёх «белых ворон», — гуманитариев: «Итак, какое решение предложите к этой задаче?» А задача не из школьной программы, а из одного из трёх «ландсбергов» — довольно крутых вузовских учебников физики. Будущий академик Саня Соловьёв поднимает руку и как всегда не спеша, но твёрдо, уверенно предлагает свой вариант. «Ну что ж, неплохо. А вот Маматов считает по-другому...» Гениальная фраза гениального учителя! Другими словами, мол, Капица с Ландау считают так, а вот Соловьёв с Маматовым докажут свою физическую правду.

Александр Соловьёв защищал свою докторскую закрытую диссертацию на учёном совете в Челябинске под руководством легендарного академика Нечая!

А энергичного, живого жизнелюба Юрия Александровича Маматова предательски зажали «молодые реформаторы» новой России, нацелившие ракеты «в никуда, ни на кого», по выражению одного из последних верховных «главнокомандующих снайперами» России. Ходил слух, что прекратили финансирование института, который создал Юрий Александрович. Что всячески склоняли его к выезду в одну денежную страну, что скупает «мозги» по всему миру.

Даже на плахе не повернётся язык назвать его и Нечая самоубийцами! Никогда!

А брат Юрия Александровича погиб в Афганистане...
Доколе???

* * *

Да... «Бочманы», «протопопы»... Ну а что же наследники страны?.. В «бурунные» девяностые годы в честь героя-лётчика А.С. Маслова патриотично и благодарно (и официально!) назвали улицу на выезде из Коломны в его родное село Андреевское. Но новой России, что живёт там в добротных домиках (и это хорошо!), совсем это не понравилось. Имя лётчика-героя Маслова сбили чем-то и повесили табличку с радостным названием, что придумали сами: *Солнечная*; следующую улицу называли *Западная*.

Эта ершистость, подкол и вызов понятны и просты, как колесо: задолбали, мол, героями-мертвецами, что воевали за совдепию, задолбали совковыми приёмами и методами... Лучше, мол, намного — Солнечная и Западная: тепло, вкусно, красиво и — без политики!

Не хочется совсем спорить, тем более что действительно хорошие или нейтрально-географические слова не виноваты. Отправятся они, наверное, или уже прибыли, эти благодарные потомки, на жёсткий, по-своему справедливый (паши, как вол, напрягай мозги или мышцы, и будет тебе рай земной, когда пахать будет нанятый тобой работник, а сам — на курорты или собой, телом или душой занимайся...) рыночный солнечный Юг, деловой Запад или тонкий Восток. А душу-то не продали? Ведь первый ориентир для них — Запад, который сами западники неоднозначно оценивают, да и оскал которого виден любому мыслящему человеку.

Вспомнить только неприятие этого мира ребятами-хиппи. Второй ориентир — снесённая семнадцатым годом старорежимная Россия, да вот не забыть бы, что ту Россию (не без помощи Запада) прошляпили именно те, кто закушался, надулся своей сановитостью, вознёсся до небес, отделился от такого же русского, как и они, мужика.

У моего доброго товарища, друга полковника Сорокина вышел какой-то разговор с двумя представителями одной возрождённой благородной организации. На вопрос, знает ли полковник свою родословную, мой друг Гена выдал подробные «жития» пяти-шести колен. В ответ один из тех дворян сильно удивился: «Смотрите, и простолюдины знают свою родословную». Гена сказал мне, что только офицерская честь помешала ему дать «джентльмену» в морду! Нужны, без сомнения, и купцы новгородские, и Александр Невский, только воин, который по определению не может откупиться, первичен, тем более в ядерном, силовом мире. Там, на Западе, это очень хорошо понимают. Да и у нас есть люди, что не плавают, а «ходят» по морю, и... море есть, Баренцево море, что никогда не высохнет.

Один из семи братьев

Берега когда-то полноводной Коломенки, что впадает в Москву-реку в Коломне, усеяны многими сёлами, деревнями, поселениями. Есть даже два хутора: хутор Лайса (на окраине Коломны) и просто «хутор» (напротив села Лукерьино). Есть два места строго исторических: деревушка

Ляхово и село Туменское — определённо, следы Смутного времени и нашествия ордынцев...

Стрелю из Туменского — тумен!
Мороз лицо и жилы студит,
И в снег летят убитые со стен
Пращуры, коломенские люди...

По-разному возлежат селения у своей кормилицы-реки: Лысцево, к примеру, обнимает Коломенку двумя слободами по обоим берегам. Лукерьино, как дородная баба, присела только на одном, правом, берегу, раскинув своё пышное платье живописными складками улиц и переулков. Село Андреевское — словно огромная русалка вышлепнулась из реки: хвостом из одной слободы чуть извернулась у берега, а на взгорье греет на солнышке своё уже двухслободское туловище с красивой короной-церковью на голове. Деревня Семибратское отскочила от речки на добрых три километра, сохранив, однако, связь совместным с Лысцевом кладбищем, что ровно на полдороге.

Семибратское... Кто они были — те семь братьев, что бросили здесь своё жизненное семя? Всё село — одна улочка-слободка вдоль оврага с прудами внизу, где недавно парень выловил карпа-старожила на двенадцать килограммов!

Может, братья те после какой-нибудь древней битвы за Коломну, устав от многих ратных лет и ран, воспользовались передышкой, отъехали на несколько вёрст, пустили коней попастьсь возле теперешних «семибратских кустиков», да и остались жить навсегда. Вот так и образовалась эта коломенская богатырская застава, стража с запада от ляхов или тевтонов.

Обзавелись братья семьями: наверно, дружно жили в мирной, славной пахоте-охоте, без неведомой тогда зависти друг к другу и к ближним. Семь «я», ладная, как дубовый сруб, община.

Семибратское — вишнёвый край, как и Молитвино, и Солосцово, и Верхнее Хорошово — деревни, убежавшие на пригорки от прибрежных туманов, губительных для этой ягоды. Вишню когда-то возили отсюда продавать «на Москву» в огромных ивовых корзинах. Эти коробки назывались «коханы» и использовались ещё и для перевозки новорождённых телят (!).

В середине деревни, в маленьком «финском» домике, был медпункт, где пятьдесят четыре года работала фельдшером моя мама — Екатерина Алексеевна. Однажды она принесла мне долгожданный офицерский ремень (это была мода шестидесятых) под брюки-клёш. Ремень был прошит рисунком, по-своему красив. Ну а при случае мог превратиться в серьёзное оружие, если намотать его на руку, оставив на коротком поводке стальную пряжку. Ремень маме дал Илюха Зайцев — брат Василия Зайцева, дважды Героя Советского Союза. Да, прославленный лётчик был одним из потомков семи братьев, гордостью маленькой деревни.

Даже внешне немного похожим на героя-истребителя чкаловским гранитным и одновременно добрым лицом и богатырской статью был другой фронтовик — танкист Лёня Голубкин. Фамилия его неволью

угадывалась в верхней части лица, было что-то (и осталось в сыновьях и внуках) невыразимое от этой благородной, красивой, мирной птицы. Всё же остальное в облике Алексея Алексеевича излучало мощь необыкновенную. Мог он спокойно поднять передок трактора ХТЗ — выполнить своеобразный колхозный тест-норматив на мастера спорта по ремеслу Микулы Селяниновича.

Был он любимым батей трёх сыновей — хоть и не семи братьев, но всё равно числа благородного, исторического.

Удивительно и неповторимо раскатывался его смех, похожий на грудной рокот мощного тракторного дизеля. Веяло от этого смеха былинной силушкой и добротой, что охватывали окружающих, как нежное и в то же время бодрящее облако...

Да и звали-то его в основном не Алексей (Божий человек), а просто Лёня, где первый слог — мощь, а второй — ласка материнская.

Пахал фронтвик на самом деле, как Микула. Ушёл солдат Алексей Голубкин от родных полей в райские кущи в 1982 году. А в 2008-м на мой вопрос о нём перемахнувший уже восьмой десяток бывший главный агроном нашего колхоза Екатерина Федотовна Сазонова, которую все звали и зовут до сих пор тепло и уважительно «Катя-агроном», сразу оживившись, ответила: «Лёня-то? Ну, Лёня был герой! У деревни Молитвино поле картошки вырастил: 320 центнеров с гектара! (Вот вам и память пожилой женщины!) Всё поле весной было сплошь белое-белое, как в снегу, — вот как картошка цвела! И ему за это дали орден Ленина... Лёня был человек, сейчас таких нет...»

Однажды по производственной необходимости пересадили его с танкообразного ДТ на «Белоруса». Долго сокрушался добрый великан, всё приговаривал: «Мой танк сменили на эту малютку!» Но на той шустрой «малютке» совершил Лёня Голубкин ещё один свой трудовой подвиг.

На том лукерьинском берегу, как брошенный прародительницей села Лукерьей платок, лежал хутор, и тех, кто жил там, называли хуторянами: Шура Хуторянка и сын её Виталька Хутор. За этим хутором раскинулся пустырь, неухоженное поле: камни, черепки от былых отвалов фарфоровой фабрики, глина... В общем, местность не для колхозных рекордов. В то время в пропагандистском ходу прописались слова «битва за урожай». Может, оттого, что ветераны войны любили это привычное для них слово.

Вот и ввязался Лёня в эту битву. Бился с полем года два и сделал его рекордным, как хороший учитель из разгильдяя — человека! Много там собирали и картошки, и кукурузы, и зерна в разные годы.

В подшивке «Коломенской правды» есть статья «Поле Голубкина». Статье этой лет за тридцать. И всё ждёт потускневшее поле, когда проснётся богатырь и огласит окрестность своим дизельным рокотом и добрым смехом.

Татьяна КОНДРАТОВА



Татьяна Ивановна Кондратова родилась в городе Наро-Фоминске. С 1978 года живёт в Коломне. Окончила филологический факультет Коломенского государственного педагогического института, работала учителем литературы в школе № 17. Кандидат филологических наук.

Занимается проблемами стиховедения, краеведения, авторской песни. Имеет публикации по проблемам детского чтения. На филфаке КГПИ ведёт курсы выразительного чтения, введения в филологию, спецкурсы по анализу лирического произведения, а также курс «Литературная Коломна».

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО ПОСАДА

«Не закрывайте вашу дверь, пусть будет дверь открыта» — сегодня этот романтический призыв Булата Шалвовича Окуджавы вызовет скорее всего усмешку. Практическое воплощение такого порыва заканчивается печально. Мы должны быть осмотрительны, благоразумны... Поэтому нечасто мы открываем дверь чужим людям. Впустить в жилище посторонних? Да упаси боже! Через глазок видим: не свои, значит, можно сразу захлопнуть, не вникая в суть просьбы тех, кто стоит по ту сторону дверей. И это кажется нам нормальным, потому что где только сегодня не твердят об осторожности — не впускайте, не открывайте, не доверяйте... Именно поэтому каждая практика студентов создаёт множество неловких ситуаций: мы, как цыгане, бродим в надежде — авось кто пустит, забудет о бдительности... И будет тогда нам чем поживиться... А чем нам поживиться-то можно? Ну, в деревнях — песни, частушки, легенды разные записываем, а в городе-то всё давно собрано, о каждом доме старой части города уже рассказано в краеведческих изданиях. Потому-то и удивило меня сначала предложение: собирать фольклор — на Посаде, коломенском Посаде! Господи, да что там записать можно? И потом, толпу студентов днём в городе кто в дом-то свой пустит? Ну ладно, попробуем, может, повезёт...

И повезло. Даже не ожидали, что за две недели практики столько узнаем,

откроем мир, который совсем рядом, совершим путешествие в прошлое, и не одного человека, а целой улицы.

Но сначала о том проекте, участниками которого мы стали, благодаря которому и возникла абсурдная на первый взгляд мысль — собирать фольклор на Посаде. Авторы проекта — Наталья Геннадьевна Никитина и Елена Николаевна Дмитриева. Именно они решили вдохнуть в Старый посад новую жизнь. Так и проект назвали — «Новая жизнь Старого посада». Здесь, в обычном доме по улице Посадской, зимой 2009 года был открыт Музей пастилы, коломенской пастилы. Это событие тоже имеет свою предысторию, очень древнюю: наш знаменитый писатель Иван Иванович Лажечников в романе «Ледяной дом», представляя разные народности Российской империи, изобразил свою землячку — коломенскую пастильницу. В открывшемся флигеле Дома Лажечникова впервые была реализована замечательная идея — воссоздать одну из страниц жизни и быта купеческой Коломны. Теперь уже без преувеличения можно сказать, что Никитина и Дмитриева вернули коломенцам забытый, едва ли не утраченный вкус — вкус коломенской пастилы — удивительно лёгкого, воздушного продукта, которым когда-то славился наш город. «История со вкусом» первоначально «разыгрывалась» в стенах музея Лажечникова, однако проекты у её создателей так разрослись, что неминуемо эти стены должны были стать тесными. Так возник Музей пастилы — на сегодня, пожалуй, самое привлекательное для туристов (после башен кремля) чудо Коломны. Очень вкусное чудо!

404

ТАТЬЯНА КОНДРАТОВА

* * *

В первый день практики Посад хмурился дождливым небом. Да, придётся закрываться зонтами. В такую погоду, как известно, хозяин собаку на улицу не выгонит. Но мы были без собаки, поэтому постучали в ближайшие ворота. Даже не с начала улицы пошли, чтобы, если совсем вымокнем, в музей быстренько добежать.

Открылось окошко, выглянула хозяйка. Я сразу, чтобы не дать опомниться: «Студенты пединститута, собираем материалы о посадских домах...» Про Музей пастилы, про проект тараторю.

— Сейчас калитку открою, — говорит женщина, — заходите.

А дальше уже в саду, под навесом беседовали. Антонина Викторовна Перова живёт в доме № 14 с 1966 года, а вот муж её здесь и родился. На крыльце появляется хозяин, удивляется:

— Аркадий Сергеевич Арзуманов уже много лет назад все воспомина-ния записал — в музей идите...

Объясняем, что мы вроде как вместе с музеем — общее дело делаем. И Сергей Иванович Перов соглашается — почему не вспомнить? С историей дома хозяин знаком прекрасно.

— Купец Шевлягин давал ссуду на строительство дома, а строился он из баржевого леса. Здесь гоняли баржи. «Бурлаки на Волге» — знаете такую историю? Вот когда этого моста не было, бурлаки шли по той стороне, а баржа шла по Москве-реке, потому что тот берег пологий идёт

до Бобренева, и им там легко было тащить. Дыни, арбузы, виноград — всё везли по Москве-реке из Астрахани. Останавливались они напротив Арбатской, отоваривались, ели, а потом двигались дальше, на Москву.

Сергей Иванович продолжает:

— Детство моё прошло здесь. Этим домом ведала моя бабушка, Клавдия Дмитриевна Аравина, но вообще она Силаева, это она второй раз вышла замуж. Она 1888 года рождения. Муж её — купец. Купил он этот дом, и у них было частное хозяйство: дом, магазин рядом. В нём торговала моя бабушка. После революции у неё всё отняли, из дома вывезли всё, оставили только икону Николая Угодника. Маме моей было семь лет, её брату четыре года. Им даже спать было не на чем. Тогда бабушка пошла на сеновал, взяла охапку соломы, постелила в углу и всех спать уложила. Потом пошла по родным — кто стул даст, кто чего. С тех пор одевалась очень бедно. Она была добрая, мягкая, ходила работать на земли вместе со всеми.

Просим Сергея Ивановича припомнить какие-то истории из детства, связанные с Посадом. Оказывается, во время войны в Храме Николы-на-Посаде жили девушки-зенитчицы.

— Они охраняли мост через Москву-реку. А вечерами на перекрёстке Арбатской и Посадской устраивали такие пляски, такие танцульки! И вальсы, и танго... ну всё-всё-всё. Под патефон, но больше под аккордеон. А ещё здесь была волейбольная площадка. Играли чуть ли не с утра до вечера.

А вот из послевоенной жизни Сергей Иванович запомнил такую любопытную деталь:

— Посадские женщины любили в саду играть в карты. Под одной яблоней ставили круглый стол. И они все усаживались, там у них чай был, чайники, и они часами просиживали в преферанс.

Сам Сергей Иванович врач, работал на Севере, в Архангельске, потом вернулся в родной город. Разве может для него что-то быть лучше Посада?

На прощание просим хозяев сделать фотографию с ними на фоне дома. «Нет, не сейчас, — оба в один голос: и Сергей Иванович, и Антонина Викторовна, — мы сейчас не готовы. Завтра заходите, нам подготовиться нужно». Но уговорить ни завтра, ни в другой день нам хозяев так и не удалось. А жаль: красивые люди, под стать своему красавцу дому.

* * *

В соседнем доме, под номером 12, нас ждал приём совершенно неожиданный. Стучим в ворота, просим вышедшего юношу позвать хозяев, объясняем, что студенты, что записываем истории, связанные с Посадом. Появляется хозяин; ни о чём не спрашивая, приглашает в дом. Мнётся: да, может, мы здесь, во дворе, поговорим... «Во дворе не говорят, заходите, чаем напою»... Это было так неожиданно — в наше время, когда щёлку в двери с опаской приоткрываем. Такое гостеприимство можно, наверное, только в глубинке русской встретить. А тут в центре города —

милости просим, сейчас чай поставлю! А к чаю угошеньке: мёд (в миску глубокую положен — ложками ешьте, не ложечками!), пряники, сушки, конфеты... Подвал дома купеческого, кругом картины, фотографии старые, на одной стене из напластований извёстки святой лик виден, роспись старинная (потом мы узнали, что в доме фильм снимали, действие его в монастыре происходило, и стену декораторы специально так расписали, а хозяин оставил!).

Пора хозяина представить: Виктор Васильевич Камаев, в прошлом известный в Коломне сыщик, теперь ещё более известный человек — кузнец высочайшего класса, его кованое оружие — произведения искусства. Камаев относится к тем новым жителям Старого посада, для которых здесь дорого всё. Он попытался узнать о своём жилище многое, поэтому рассказ его включает точные даты, архивные справки. Виктор Васильевич рассказывает, что дом приобрёл в 1997 году.

— Здесь руины одни были. Я вывез 76 «КамАЗов» мусора, помойки. А построен он примерно в 1840 году купцом Макаровым, строился из камней, которые городская власть разрешила брать из стены кремля,

ведь после нашествия Наполеона было решено, что кремль больше не нужен как оборонительное сооружение.

С гордостью говорит новый хозяин дома о его прежних владельцах; ощущение возникает, что о предках своих говорит, значит — сроднился не только с домом, но и с прошлым дома. Макаровы были купцами-хлебопёками,



Дом № 12 в начале XX века...

на пойменной части реки сеяли хлеб, рядом с домом магазин имели, там не только хлеб, но и пряники, пастила коломенская продавались. Его многие старожилы помнят, «макаркой» уже в советское время называли. А у Макаровых именовался солидно — «Хлебная, чайная и колониальная торговля». В доме было



...и сто лет спустя

три хлебных печи. Камаев нашёл при раскопках погреб. А внутри дома обнаружил окна — у дома было три пристроя, значит, расширялся он постепенно. Виктор Васильевич Камаев рассказал о судьбе одного из представителей этой купеческой семьи: Владимир Макаров ушёл воевать в империалистическую войну, вернулся поручиком, без руки и полным георгиевским кавалером. Хозяин показывает старую фотографию: Посад в начале XX века, в воротах дома жена Макарова — Ирина. Что стало с семьёй Макаровых после революции, Камаеву в точности неизвестно. Пока неизвестно.

— Изгнали, наверное, — предполагает он. — Дом стал коммунальным, потом его расселили.

Виктор Васильевич после покупки дома отыскал внучку купца Макарова, которая жила в Ямках, и выкупил у неё документ — дореволюционную купчую на дом.

Мы уходим из дома кузнеца Камаева с чувством удивления и восторга перед этим мужественным, щедрым (студенты получили в подарок книги!) и открытым человеком. Нас провожает не только хозяин, но и его дружелюбный спаниель Макарка — ну, понятно, в честь кого названный!

* * *

Конечно, не все хозяева так заинтересованы прошлым Посада, так пытливо относятся к истории своих новых жилищ. К тому же какие-то дома сданы в аренду, кто-то пустил квартирантов. По нашей просьбе арендатор (совсем молодой человек!) звонил хозяину старинного посадского дома, красота наличников которого просто поразила нас. Ответ был лаконичен: владею давно — ничего не знаю. Ну хорошо хоть не сказал, что и знать ничего не хочет! Да и понятно: здание в эксплуатации, доход приносит. Что ещё нужно? Обидно за такие дома! Мы обратили внимание, что самые красивые деревянные дома на улице — некрашенные. Их красота так естественна, натуральна, что ни в каком макияже не нуждается. Красоту эту ещё можно сохранить, но как стремительно идёт процесс её умирания. Успеют ли владельцы опомниться или же снесут древнюю постройку, на её месте возведут крепкий особнячок — место престижное, удобное!

Купеческая Коломна... На Посаде, как ни-



Деревянный красавец

все разлетелись. Потом, где-то в 60-х — начале 70-х, училище стало расстраиваться, нужны были территории, чтобы получить какую-то там категорию, как говорится, и эта территория больницы отошла училищу, и остался только один дом. И мы купили часть дома у племянницы Брушлинского. Он ведь в этом доме и умер. Мы внутри почти не перестраивали дом: большие потолки трёхметровые, двери мы оставили двустворчатые.

Татьяна Владимировна приносит домовую книгу: здесь отмечены все жильцы, годы их рождения: Брушлинский Борис Афиногенович — 1877 года, его жена Вера Васильевна — 1880-го (оба родились в Москве), дочь Елена Борисовна — 1907 года.

* * *

Да, старожилов на Посаде, к сожалению, мало осталось. Но что значит слово «старожил»? Одни говорят: да, старожилы, уже двадцать лет здесь прожили; а другие скромно: нет, мы недавно, всего сорок лет! Время — вещь относительная. И всё же нам повезло: желая воссоздать дух Посада, какие-то особенности быта (ну конечно же, уже советского времени — на другое и не рассчитывали сначала), мы встретились с людьми, родившимися здесь, для которых Посад — родина. Хозяин дома № 31 Хлюстов Николай Павлович с удовольствием беседует с нами:

— Я тут родился, на Посадской улице, в 1927 году. Крестили меня в церкви, которая сейчас стала старообрядческой, а раньше была обыкновенной. Дом в 1856 году построен. Здесь раньше, говорили, были сторожка и кладбище. Он мне остался по наследству, здесь мать жила, отец. Отец Павел Сергеевич Хлюстов с 1896 года, он работал в магазине «Первый номер» от Коломенского завода, был мастером своего дела — учился он мальчиком в Санкт-Петербурге.

Николай Павлович помнит историю бабушки и деда, которые попали в Коломну случайно:

— Они были беженцами из Брест-Литовска, бабка полячка была. Купец Шевлягин (это которые водопровод провели у нас в Коломне) подобрал бабушку, дедушку и всех детей (два сына и две дочери) на Казанском вокзале. Сначала они у Шевлягиных жили, бабушка была поварихой у них. У нас осталось очень красивое зеркало — это приданое бабушки. Бабушка Марья Васильевна всегда имела корову, дед держал поросят. На Посаде почти все держали коров, кур, уток, поросят. Праздники все справляли: и майские, и Пасху, и Новый год, много гостей было — бесподобное веселье!

Николай Павлович хорошо помнит свою посадскую юность, совпавшую с войной:

— Я с четырнадцати лет работал на заводе с восьми до восьми. На обед там давали ложку американского омлета, получали его мы по талонам. Если прогуляешь на заводе два-три дня — шесть месяцев тюрьмы! Поэтому ходили к Брушлинскому за освобождением.

Вообще Николай Павлович о медицине тех лет говорит очень уважительно: — Умели тогда лечить! Когда я болел (мне был год), врач Щукин облил простыню очень горячей водой, и завернули меня с головой в эту простыню, и только сделали эту процедуру — всё прошло: врачи знали приёмы, как лечить, таблетки почти не употребляли.

Этот дом был свидетелем настоящего чуда — воскрешения отца Николая Павловича, попавшего в плен, но объявленного погибшим.

— В начале войны прислали извещение, что отец погиб. Кучер у Брушлинского был в прошлом священник — батюшка Жилин Александр, но он это скрывал: наказывали. Жилин дружил с моим отцом, и, хоть в войну Богоявленская церковь была закрыта, он отпевал отца, предал его земле. А отец был в плену у немцев. У нас с ним встреча очень тяжёлая была, мать упала в обморок: отец воскрес.

После войны Николай Павлович Хлюстов увлёкся спортом: играл в волейбол, попал в сборную Московской области, стал судьёй международной категории. О прошлом вспоминает часто: много в памяти хранится, связанного с жизнью посадской. Вспоминает судьбы ровесников; ах, как по-разному они сложились!

— Лёша Лужечков отсидел два раза по двадцать пять, и последние десять лет он жил на Посадской — рядом с домом Щукиных.

— Вот это стаж! — удивляемся. — За что?

— Банда была, воровали здесь, народ не трогали — грабили в основном магазины. На Посаде была жизнь спокойная, а сейчас выйти страшно, — сетует Николай Павлович, — только вот дом мой как был, так и остался без замков — открыт и днём и ночью.

Удивительный дом, где до сих пор сохранились печка-лежанка, древние чуланы и чердаки. И где живёт удивительно радушный хозяин — Николай Павлович Хлюстов.

* * *

Хозяин дома № 33 Лев Иванович Борисов, живёт на Посаде седьмой десяток лет. Рассказывает, что дом был куплен его родителями у каких-то мелких купцов, что дому двести лет и что здесь когда-то останавливался Алексей Толстой. Родители Льва Ивановича были известными в Коломне людьми: Иван Ильич Борисов — в прошлом главный санитарный врач города. Мама, Анна Николаевна, преподавала в начальных классах. Они рассказывали сыну, что Толстой заезжал сюда до войны. Лев Иванович вспоминает, что когда-то Москва-река разливалась до самых домов, воды в подполе было от пола до потолка. Но сейчас этого давно нет, потому что тогда Москва-река ещё замерзала, и был лёд такой — метр с лишним толщиной, его ещё все рубили, погребя забивали, они были как холодильники. Из детских воспоминаний Льва Ивановича нас заинтересовало одно — про «ухорезов».

— Были такие парнишки. Когда стемнеет, здесь чужие боялись ходить. Да такие, будь здоров, ребяташки, немного воровали. Жили в двухэтажных домах. Но своих не трогали, только чужих.

Рассказал нам хозяин и об играх послевоенного времени:

— Горку нам помогали заливать взрослые, на санках катались, на Москве-реке каточек был небольшой, ну и, конечно, на лыжах ездили, по-другому немного жилось-то. И в лапту играли, в бабки — это у коров такие вот косточки на ногах внизу, они пустые становились, их заливали, я уже не помню чем — то ли свинцом, то ли цементом. И вот ставили их типа городков. Это называлась игра в бабки. Ну а лапта — это наподобие тенниса или бадминтона, но играли обычным мячом, травой набитым. Тогда ведь и в футбол мы играли, помню, тряпкой какой-нибудь или травой — мячей же не было.

Вспомнил Лев Иванович о жившем неподалёку, в доме № 25, церковном певчем Николае Даниловиче Муравьёве, женатом на купеческой дочери. И ещё о голубятнях, которые были почти в каждом посадском дворе.

— Другая жизнь была, совсем другая, — завершает он свой рассказ, и трудно понять, какие разбухшие воспоминаниями чувства теснятся в душе этого человека.

* * *

Мы идём по Посаду. Почти каждый дом нам теперь знаком — не просто какие-то там люди в нём живут, а знакомые нам люди. Сворачиваем в палисадник дома № 28. Валентина Ивановна Бикаева живёт здесь сорок лет, но от мужа и свекрови слышала, что дому уже два века, что раньше тут кельи были — монахи жили.

— А в советское время в храме Никиты Великомученика, — вспоминает женщина, — был инкубатор, всё там загажено было.

Мария Гавриловна Антонова из дома № 6 слышала от соседей, что в доме их когда-то давно была мастерская — шапки шили. Она вспоминает о военных годах:

— Все работали тогда — рассказывать было некогда. В войну нам есть было нечего — ходили за чибриками: мороженую картошку выкапывали, промывали, пекли и ели. Но жили раньше дружно. Пили чай вместе во дворе, беседка была, самовар большой ставили, в лото, домино играли.

Хозяйка дома № 50 Маргарита Леонидовна Травкина помнит свой старый дом, на месте которого отстроен современный:



Мария Гавриловна Антонова — старожил Посада



*Картинная галерея
на стене сарая*

отказалась) не пускает к Елизавете Владимировне, тревожась о её здоровье: «Всё она уже рассказала, всё уже записали за ней». Елизавета Владимировна была знакома с дочерью прасола Шукина, которому принадлежали все окрестные дома: № 22 (бывшая конюшня), № 24 (на первом этаже жила прислуга, на втором — хозяин с семьей), № 26 (странноприимный дом).

* * *

Конечно, не со всеми жителями Посада нам удалось побеседовать, кто-то общался на бегу, кто-то из окна машины. А одна молодая женщина



*Н.Г. Никитина — радушная хозяйка
Музея пастилы*

— Здесь все дома были старые, ободранные, наш был весь в землю вросши, три окна впереди. Не купеческий.

Около изгороди этого дома случайные прохожие всегда замедляют шаги. Надо же такое придумать: стену сарая превратили хозяева в картинную галерею — репродукции, поделки ручные — всё вроде нехитро, но как интересно!

А в доме № 24 живёт уже сама ставшая легендой Елизавета Владимировна Григорьева (Головастикова), старожил Посада, в прошлом учитель школы № 7. Соседи, ухаживающие за ней, говорят много добрых слов об этой женщине, благодаря которой были сохранены многие факты культурной жизни не только Посада, но и всей Коломны. Соседка Татьяна Евгеньевна (фамилию назвать

не удалось) упрекнула: Музей пастилы открыли, а посадские там и не были ни разу! Но это оказалось делом поправимым. Наталья Геннадьевна Никитина даже обрадовалась такому предложению, откладывая на долгое время, как это бывает обычно, не стали. Сотрудники музея подготовили пригласительные билеты, студенты разнесли по домам. Думали-гадали: много ли народу при-



дѣт? Да вряд ли, говорим, все так неопределѣнно говорили: посмотрим... Но неожиданно почти весь Посад собрался 10 июля на посиделки в Музее пастилы. Радостно, что это были все поколения: бабушки, дедушки, их дети, внуки... Гостеприимные хозяйки усадили детвору на кровати, на сундуки. И каждому гостю — малому ли, большому — на старинной посуде пастила, а к ней чай травяной. Но главное — слова. Вышла к гостям Наталья Никитина в наряде купчихи или мещанки позапрошлого века — и потекла речь её, зажурчала: и про традиции посадские, и про проекты новые, и про старинные рецепты пастилы коломенской.

Особенно изумляет один этап древней технологии: двое суток обычно взбивали кре-

постные или работники яблочную массу в деревянных лоханях деревянными лопатками! Попробуйте повторить! Честно говоря, я пыталась миксером — ничего достойного не вышло! Зато здесь, в музее, это лакомство просто во рту тает — смогли мастера современные вернуть утраченный вкус.

Посиделки в музее убедили жителей: только вместе можно сохранить историю Посада, да и сам Посад. Наталья Николаевна Кучерова из дома № 31, преподаватель музыкальной школы им. Алябьева, принесла в музей старинную утварь: этажерку, дубовый ящичек для визиток, утюг, подзор, рубель (кто не знает — приспособление для глажки белья) — все предметы хранились в доме ещё от прабабушки. «Так приятно видеть эти родные вещи в музее, — говорит Наталья Николаевна, — пусть все любуются». И это очень правильно. Музей пастилы начал новый этап жизни Старого посада. Цель проекта — обратить внимание на то, что достойно всеобщего любования, что обязательно должно быть сохранено.

*Материалы собраны студентками 1-го курса филологического факультета
Анастасией Ежовой, Екатериной Сысуевой, Дарьей Сазоновой,
Светланой Шориной, Ириной Проценко
29 июня — 1 июля 2009 года*

БЛАГОДАРИМ

Издание выходит при поддержке главы
городского округа Коломна **В.И. Шувалова**,
ректора Московского государственного областного
социально-гуманитарного института **А.Б. Мазурова**,
а также коломенских меценатов:

Николая Николаевича СИДЕЛЁВА — директора межрайонного
автотранспортного предприятия «Автоколонна 1417». Филиал ГУП
МО «Мострансавто»;

Николая Тимофеевича ВОРОНИНА — генерального директора
ОО ПКФ «ДОММ»;

Валерия Михайловича КАШИНА — начальника — главного кон-
структора ФГУП «Конструкторское бюро машиностроения»;

Михаила Яковлевича АРЕНЗОНА — учредителя и издателя из-
дательского дома «Ять»;

Сергея Сергеевича СЕРГЕЕВА — генерального директора ООО
«ТЕХНО-АС»;

Валерия Семёновича КОССОВА — генерального директора ОАО
«ВНИКТИ»;

Игоря Викторовича ЧИРКОВА — индивидуального предпри-
нимателя;

Сергея Анатольевича АСТАПОВА — директора негосударствен-
ного образовательного учреждения дополнительного образования
«Коломенский компьютерный центр»;

Юрия Михайловича УГОЛЕВА — генерального директора ООО Экологическая научно-производственная фирма «Новатор»;

Натальи Николаевны ДРАНЕЕВОЙ — заместителя председателя правления Коломенской городской организации общества «Знание»;

Евгения Владимировича ЗАХАРЧЕНКО — генерального директора ООО «Теплогарант-Плюс»;

Эдуарда Насибулловича ТУМЕРКИНА — директора ООО «Ракурс»;

Ильи Георгиевича ЛЕБЕДЕВА — директора ООО «Ликъ»;

Людмилы Платоновны РЫБАЛКА — директора магазина «Электрострой»;

Игоря Валерьевича ШАХ-НАЗАРОВА — директора ООО «Тираж»;

Геннадия Анатольевича КЛЮЕВА — директора ООО «Технология ТР и ОД».



Истинная цель дела благотворительности
не в том, чтобы благотворить,
а чтобы некому было благотворить.

В.О. Ключевский

Две славные юбилейные даты легли в основу этого выпуска: 65-летие Великой Победы и 220 лет со дня рождения нашего знаменитого земляка, писателя всероссийского масштаба И.И. Лажечникова. И если нам удалось этим номером вписать достойную страничку в летопись культурной истории Коломны, то в этом заслуга не только авторов, но и тех коломенцев, которые своими пожертвованиями поддержали наше издание.

Только благодаря этой помощи вышли и тринадцать предыдущих выпусков «Коломенского альманаха»; оценка качества нашего ежегодника — награждение его медалью имени великого русского философа Ивана Александровича Ильина «За развитие русской мысли». В её весомом блеске есть частица и вашего труда, наши друзья, наши меценаты.

Храни Вас Бог!

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ
«КОЛОМЕНСКИЙ АЛЬМАНАХ»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В.С. МЕЛЬНИКОВ

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Р.В. СЛАВАЦКИЙ
В.В. УШАКОВА
А.А. САХАРОВ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
А.Г. ВАСИЛЬЕВА

РЕДКОЛЛЕГИЯ

М.Г. Абакумов, А.П. Ауэр, С.А. Астапов,
Т.Ф. Башкирова (*редактор отдела поэзии*), **Е.С. Гринин, А.М. Дудкин,**
О.В. Кочетков (*референт главного редактора*), **А.И. Кузовкин, В.Н. Леонов,**
Е.А. Новикова (*редактор-библиограф*), **С.И. Патрикеев,**
И.Е. Ракша (*шеф-редактор аналитических проектов*), **М.М. Сигал,**
О.Ю. Шилов (*шеф-редактор гуманитарных проектов*)

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ РЕДАКЦИИ

Л.И. Бородин — писатель
В.Н. Ганичев — председатель Союза писателей России
В.Н. Крупин — писатель
С.Ю. Куняев — главный редактор журнала «Наш современник»
В.В. Личутин — писатель
А.Б. Мазуров — ректор Московского государственного областного
социально-гуманитарного института
Н.В. Маркелова — председатель Комитета по культуре
городского округа Коломна
С.М. Харламов — народный художник России
Л.И. Хитяева — народная артистка СССР
В.И. Шувалов — глава городского округа Коломна
Е.Ю. Юшин — главный редактор журнала «Молодая гвардия»

В оформлении обложки использован фотоэтиюд Юрия Колесникова
Штриховой рисунок выполнен художником Евгением Грининым

Редакторы *А.Г. Васильева, В.В. Ушакова*
Художник *Е.С. Гринин*
Компьютерная вёрстка *Е.Ю. Ерофеева*
Корректор *О.И. Киренко*

140402, Московская область, г. Коломна, ул. Калинина, д. 49. Тел. (8-496) 614-81-55;
e-mail: melnikov-vs@yandex.ru

Подписано в печать 07.03.10. Формат 70x100/16. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.

Усл.-печ. л. 36,14. Тираж 1000 экз. Заказ

Издательство журнала «Москва». 121918, г. Москва, ул. Арбат, д. 20.

Тел. (495) 691-83-91, 691-71-10. Факс (495) 691-07-32.

Отпечатано в ГУП МО «Коломенская типография»

140400, Московская область, г. Коломна, ул. Третьего Интернационала, д. 2а